

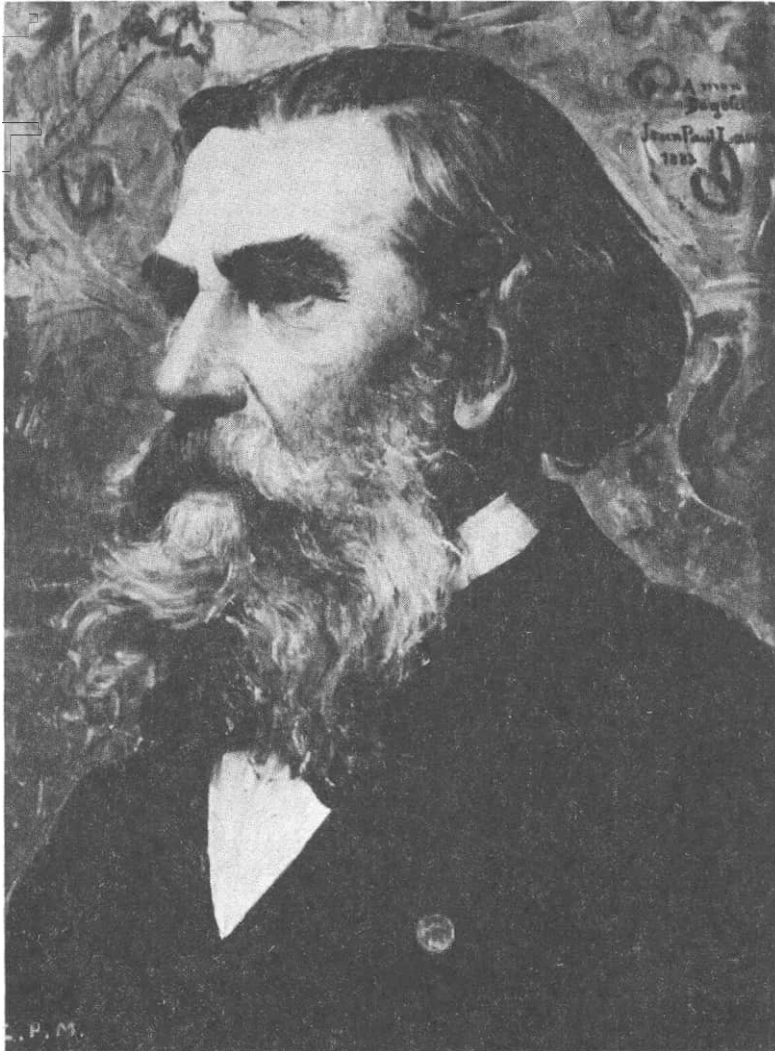
А. П. Боголюбов

Записки
моряка-художника



А. П. Боголюбов

Записки моряка-художника



Специальный номер (2—3) журнала «Волга»

К 300-летию Российского Флота

Содержание

Н. Огарёва. О «ЗАПИСКАХ МОРЯКА-ХУДОЖНИКА»	3
А. П. Боголюбов. ЗАПИСКИ МОРЯКА-ХУДОЖНИКА	7
КОММЕНТАРИИ	191
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН	197

На обложке — А. П. БОГОЛЮБОВ. *Сражение при Красной Горке со шведским флотом в 1790 г.* 1860-е гг. Масло. СРМ. Фоторепродукция Владимира Барулёва

На титульной странице — Ж. П. ЛОРАНС. *Портрет А. П. Боголюбова.* 1883. Масло. СРМ

Из общего тиража 3800 экз. Институт «Открытое общество» выписывает и направляет (периодичность выхода журнала — 1 раз в месяц) в библиотеки России и библиотеки ряда стран СНГ 1500 экз. журнала.

© «Волга», 1996

© Публикация, вступление, комментарии, указатель имён — Огарёва Н. В., 1996

О «Записках моряка-художника»

В год 1996-й, когда Россия отмечает 300-летие основания своего славного регулярного флота, наконец-то увидят свет «Записки моряка-художника» — воспоминания именно моряка и именно художника, замечательного русского человека Алексея Петровича Боголюбова, создателя уникальной по художественной значимости и историческому значению серии картин, воспевающих историю отечественного флота за два века его существования от петровских баталий на Балтике до Морского праздника в Шербурге, в честь Русско-Французского союза в 1896 году.

При жизни, во второй половине XIX века, А. П. Боголюбов был знаменит, признан корифеем русского искусства. В XX веке редко его вспоминали. Читатели «Записок» легко поймут, почему прямолинейное чёрно-белое советское время его отторгло. И, слава Богу, что к своему концу наш век начинает понемногу воспринимать мир объёмно и многоцветно. Теперь, свободно вздохнув, можно уже не только воздать должное многим явлениям родной истории и забытым её творцам, к которым бесспорно относится и А. П. Боголюбов, но и поучиться на их умении слушать Родине, любить людей и готовить будущее России.

И ещё — это издание «Записок моряка-художника» дань памяти потомков художнику и общественному деятелю Боголюбову, первому Почётному гражданину Саратова, подарившему городу Радищевский музей — теперь Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева и Боголюбовскую рисовальную школу — ныне Саратовское художественное училище.

100 лет хранятся его «Записки моряка-художника» в Петербурге, в Рукописном отделе Петербургской публичной библиотеки. Туда их определил сам Боголюбов по духовному завещанию с оригинальным условием: «2000 р. положить на проценты и документы отдать в СПб. Публичную библиотеку вместе с пакетом, где находятся «Записки моряка-художника». На пакете сделать надпись: «Издать по истечении 22 лет». За это время капитал возрастёт, и тогда Управление библиотеки разделит его пополам, выберет способного литератора, чтобы привести в порядок мои записки, исправить правописание, но сохранить мой слог и слововыражения. После чего на другую половину денег издать оные, предоставить продаже и выручку отдать поровну в мою Школу и музей Радищевский...». (Полностью завещание — замечательный документ — приведён в книге Н. В. Огарёвой «Летопись жизни и деятельности художника А. П. Боголюбова», изданной в Саратове в 1988 году.)

Боголюбов несомненно хотел, чтобы его «Записки» были опубликованы. Заботясь о будущем издании своих воспоминаний, Боголюбов как всегда щедро оставил Публичной библиотеке в Петербурге четыре своих рисунка, исполненных тушью и пером, — изящные пейзажные заставки к письмам. На обороте одного из них — марина с баркой под парусом — написал: «На память <тому>, кто будет составлять мои записки, идут эти рисунки» (Р. О., ф. 82, № 13, 14). Но 22 установленных года пришлось уже на послеоктябрьское время. Некому было исполнять волю автора — всё стало государственным. Засургученный холщовый мешок вскрыли, «Записки» инвентаризировали — 6 довольно толстых тетрадей, которые мы по-сегодняшнему назвали бы общими, стали частью персонального фонда Боголюбова (Р. О., ф. 82, № 1—6).

Кроме собственно «Записок», в этом фонде имеются и другие материалы — письма, рисунки и отдельные воспоминания Боголюбова о художниках, «Очерки», из которых мы присоединили к настоящей публикации очерк об И. Н. Крамском.

Вероятно, начиная писать «Записки», Боголюбов считал, что забавляется воспоминаниями о прошлом и составляет их только для себя, но потом понял их более широкое назначение. В тексте встречаем замечание: «Так как я пишу это для себя, а ежели когда и будет моя рукопись читаться кем-нибудь, то мы уже давно сгниём в земле и с меня ничего не возьмём, а кому угодно, то пусть меня и обругают за ересь. Я этого не боюсь, ибо пишу незлобно, а так, слогом весёлого человека, любящего анекдоты...».

И на самом деле, самобытные воспоминания Боголюбова, писанные предельно раскованно, можно сказать разговорно, уснащённые весёлыми случаями, смешными эпизодами, образно, картинно и правдиво поведали нам о многом серьёзном и горестном. В них есть и гневное, и проникновенно трогательное. А подчас — сложится фраза из пронзительно щемящих душу слов и расцветёт психологическим прозрением. Он не стесняет себя общепринятым пониманием. Чаще всего мнения его о людях и о себе, суждения об искусстве и исторических событиях неожиданны, предельно откровенны. Чувство самодостаточности руководит его пером, но порой оборачивается против него самого, принимает масштаб его личности.

Литературный автопортрет, с которым читатель познакомится на страницах «Записок», пронизан самоиронией и не совсем совпадает с настоящим Боголюбовым. Вот он пишет: «Учёности

глубокой за собой я никогда не признавал...». А ведь он был блестяще, европейски образованным человеком, знавшим несколько языков, гармонично соединившим познания двух фундаментальных, столь разных наук — морской и художественной, приложивший их к деятельности высокого класса. Или читаем: «...Теориями художественными и судьбами искусства считал удручать себя совершенно лишним». Да, пустопорожними теориями он не занимался, но на все движения в искусстве имел своё мнение историческое передовое и применял его практически, твёрдо зная, что надо делать в государственном масштабе — воспитывать молодёжь профессионально и современно. Профессорствовал, щедро отдавал силы наставничеству, и всё безвозмездно, по велению души. Среди его подопечных были и Репин, и Поленов, и И. И. Шишкин, и В. Д. Орловский, и любимый художник П. М. Третьякова — И. П. Похитонов. Он воспитал морских баталистов — А. К. Беггрова, Н. Н. Гриценко, М. С. Ткаченко.

Как государственную акцию он проектировал в крупных, губернских городах России устройство художественных музеев и два десятилетия отдал на организацию общедоступного художественного музея и художественной школы в российской провинции для «воспитания юношества»! Радищевский музей в Саратове был первым. Его примеру последовали Пенза, Самара, Нижний Новгород и другие.

А его вклад в установление и развитие русско-европейских художественных связей! Всё это и многое другое по-настоящему является судьбоносной его деятельностью для развития отечественной культуры и искусства, включая и XX век.

В его музее и его школе в Саратове выросли мастера мирового уровня, гордость искусства XX века — живописцы В. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов, скульптор А. Т. Матвеев и десятки других первоклассных художников — А. А. Савинов, П. С. Уткин, Д. Ф. Цаплин, В. М. Юстицкий, гравёры А. И. Кравченко, П. И. Поляков, А. В. Скворцов и многие, многие другие, вплоть до наших дней.

Живя в Париже, без устали работая, окружённый друзьями, коллегами, русскими и французами, тосковал Боголюбов по России. Вспоминались ему Нева, «щетинистый московский Кремль», Волга... И 25 декабря 1881 года начал он писать свои «Записки» в доме № 11 по бульвару Клиши, между пляж (площадью) Пигаль и пляж Клиши. В долгие вечера почти 15 лет будет он памятью вглядываться в прошлое, а иногда записывать только что совершившееся, например, кончину И. С. Тургенева, для которого найдутся слова, раскрывающие благородную, умную, любящую, нежную душу самого Боголюбова.

Но не суждено будет Боголюбову закончить «Записки». За их пределами останутся последние его 11 лет. Очень жаль. «Записки» завершаются на том, что он с братом поехал в Саратов открывать Радищевский музей. А как это происходило и как он готовил музей к открытию, мы знаем уже из других источников.

Не успел рассказать о большом своём друге, гражданской жене, парижанке баронессе Элиз Шивр, которая беззаветно его любила, приняла российский подданство, православие. Она умерла на полгода ранее Боголюбова и завещала Радищевскому музею и школе всё своё состояние — около 100 тысяч рублей.

Узнали бы мы и о драматической неудачной попытке вместе с Крамским организовать первый съезд русских художников в 1882 году. Поведал бы он и о своём юбилее — 50-летию деятельности в январе 1891 года. Ведь тогда уже определилось его место в русской культуре. Чествование происходило в Париже и заочно в Саратове. Боголюбов был засыпан телеграммами. Не было, пожалуй, ни одной газеты в Петербурге, Москве, Саратове, Париже, Лондоне, которая бы не откликнулась на это событие. Друзья, русские парижане и французы в знак признания его художественных заслуг преподнесли юбиляру золотую палитру с выгравированными автографами. Эта палитра до 1941 года находилась в Радищевском музее, но была изъята на нужды войны и погибла в её горниле.

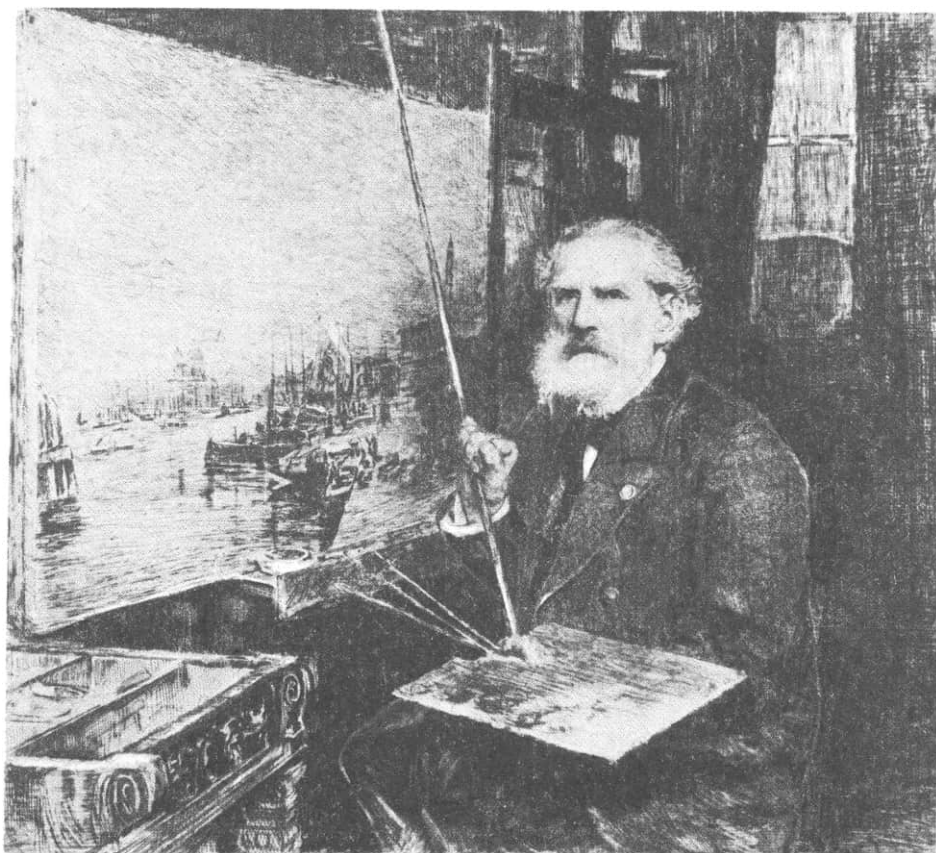
А может быть, художник А. П. Боголюбов открыл бы нам тайны создания дивных своих маленьких лирических живописных пейзажей и величественных крупных полотен, поражающих красотой композиции. Кто знает...

Жизнь А. П. Боголюбова была богата не просто событиями — коренными поворотами, со-вмещением, казалось бы, несовместимого.

Поначалу — как у всех незаурядных морских офицеров. «Лихой господин» — весельчак, кутила, отличный служака, баловень начальства и товарищеской дружбы. Его ждала блестящая карьера моряка. Но в тридцать лет всё меняется. Закончена Академия художеств. Впереди — тяжкий и радостный блистательный путь художника — живописца и рисовальщика, пейзажиста и морского баталиста, путь художественного деятеля.

Судьба одарила Боголюбова счастьем любви и дала познать трагедию её скорой потери. Но как бы возместила эту утрату дружеством с такими людьми, как И. С. Тургенев, И. Н. Крамской, царь Александр III.

В «Записках» говорится, как его привечали и Николай I, и Александр II, но Александр III, ещё наследником, был особенно расположен к Боголюбову. Отношения между ними строились на основе интереса к искусству, полного взаимопонимания и доверия. Они были какими-то, если можно так выразиться, равноправными, конечно, с соблюдением этикета. Боголюбов годами мог не исполнять просьбы Александра написать ту или иную картину, мог позволить себе оказывать чете наследников услуги — например, годами безвозмездно руководить занятиями искусством Цесаревны Марии Фёдоровны.



В. В. МАТЭ. Портрет А. П. Боголюбова. 1890-е гг. Офорт. СРМ

В «Записках» эта сторона жизни Боголюбова отражена довольно подробно. Очень интересно читать о том, как Боголюбов мог совместить царскую волю и радищевский вопрос, как он, в сущности, добился легализации имени Радищева. Многие через Боголюбова царь делал для русского искусства и, наоборот, Боголюбов через царя. История создания музея в Аничковом дворце, переросшего потом в Музей Русского искусства Александра III (ныне Государственный Русский музей в Петербурге), не обошлась без участия А. П. Боголюбова. Как и очень многое другое — реорганизация Академии художеств в 1893 году, пополнение Эрмитажных коллекций, снятие запрета с картины И. Е. Репина «Иван Грозный» и т. д.

Близость ко Двору не мешала Боголюбову быть активным деятелем оппозиционного Товарищества передвижников.

Всеми корнями и помыслами связанный с Россией, последние 25 лет Боголюбов был вынужден жить за её пределами. И только пару летних месяцев проводить на Родине — врачи запугали суровой русской зимой. Но и в Париже он жил для России и русского искусства.

Природа наделила А. П. Боголюбова многими талантами — общения с людьми, художественным, трудолюбием... И одним из редчайших в России. Он был человек завидной энергии — умной, доброй, пружинистой, дисциплинированной, знающей, куда направлять свои силы. Вот почему ему удавалось воплотить всё задуманное и в творчестве и на общественном поприще.

Заслуги Боголюбова на морской службе, в искусстве и как художественного деятеля отмечались и в России, и в Европе. Он имел высший чин действительного тайного советника. Был кавалером русских орденов — нескольких степеней Святого Станислава, Святого Владимира, Святой Анны, награжден датским орденом Данеброга, австрийской Звездой Франца-Иосифа. От титула австрийского барона отмахнулся. Франция отметила его труды сначала Офицерским Крестом Почётного Легиона, затем самым чтимым — Командорским Крестом Почётного Легиона. Когда он умер в Париже в ночь на 7 ноября 1896 года, у гроба его нёс караул с музыкой и знаменем батальон 28-го линейного полка французской армии.

Сам А. П. Боголюбов в журнале «Русская старина» (1888, т. 60) под названием «Записки моряка-художника. 1856—1857» напечатал главу, рассказывающую о его поездке на Ближний Восток, в Константинополь и Синоп, для сбора материалов к картинам о Крымской войне.

Нельзя сказать, что «Записки» не привлекали специалистов. С рукописью знакомились историки изобразительного искусства, особенно сотрудники Радищевского музея. Ещё до войны Г. И. Кожевников начал перебеливать рукопись. В начале 1960-х годов продолжила и завершила эту работу Н. В. Огарёва.

Опубликовать удалось совсем малую часть и только в специальных изданиях — об Александре Иванове, И. С. Тургеневе и И. Н. Крамском.

Многие частицы «Записок», как словесные иллюстрации, вошли в книгу «Летопись».

Журнал «Волга» печатает «Записки моряка-художника» целиком с очень незначительными исключениями, вызванными в основном техническими причинами. Подготовка текста велась по рекомендации самого автора. «В случае, ежели бы мне не привелось закончить моих записок, то мои заметки черновые должны быть окончанием моего труда, почему их поместить непременно». «Тот, кому будет поручено приводить мои записки в порядок, обязательно должен будет вставить повторения в моих описаниях, но выпустить, что не нужно. Но ежели есть тут мысль не занесённая, то не упускать её, а вставить где можно и где говорится о том же предмете».

Рукопись «Записок» объёмна — несколько сотен страниц. Примерно только четверть её — начало — начисто переписана автором, остальное — черновики, много разрозненных и дополняющих, повторяющихся заметок.

Чтобы придать стройность повествованию и следовать принятому автором принципу хронологической последовательности, пришлось собирать и составлять общий текст, состыковывать разрозненные части. Учитывая журнальный характер публикации, стыковки не указываются.

Для удобства чтения введена хронология — указаны годы перед каждым описываемым периодом и продолжено начатое Боголюбовым разделение текстового потока на абзацы, главы и подглавы, названия которых стилистически соотнесены с авторскими..

При подготовке к изданию безусловно сохранялся «слог» автора, сохранялась и инверсная манера построения фразы. Но в некоторых, совсем редких случаях, когда затруднялось понимание содержания, фраза редактировалась, приводилась в соответствие с правилами русской грамматики. Черновые страницы были засорены летучими словечками, штампами — «итак», «так точно», «надо отдать справедливость», «в один прекрасный день» и другими. Конечно, их приходилось просто убирать, когда они скапливались поблизости или употреблялись в неуместном сочетании. К примеру, о кончине хорошего человека Боголюбов пишет: «В один прекрасный день... имярек... умер». Разумеется, такие оговорки были сняты. Пришлось отчасти пожертвовать вежливостью XIX века и опускать слова «господин», «профессор», если они повторялись многократно и рядом. При частом наслонении титулов — Великий Князь, Наследник, Цесаревич — выбирался один. Недописанные слова, укороченные имена, фамилии — восстанавливались. В рукописи довольно часто присутствуют названия, отдельные слова, фразы на итальянском, французском, немецком языках. По возможности, если это не нарушало стиля, они переводились. Но иногда сочетание русского слова и иностранного придаёт особую выразительность фразе, и тогда перевод выносился как примечание под строку. Издание «Записок» снабжено комментариями двух типов. Пространные вынесены за основной текст, а малословные под строку.

В воспоминаниях Боголюбова упоминаются сотни людей. Для удобства читателя предоставляется указатель имён, конечно, не всех, и с минимальными пояснениями. Некоторые имена остались нераскрытыми, а хрестоматийные — Шекспир, Данте, Пушкин и другие — в указатель не включены.

Автор публикации «Записок моряка-художника» благодарит Публичную библиотеку в Петербурге, журнал «Волга», Саратовский музей им. А. Н. Радищева, Московский Центр культуры им. А. П. Боголюбова за предоставленную возможность этим изданием отметить 300-летие русского флота и 100-летие со дня кончины А. П. Боголюбова.

Н. ОГАРЁВА

Внук Радищева

На дороге из Петербурга в Москву

*Не торговал мой дед блинами,
В князья не прыгал из хохлов,
Не пел на клиросе с дьячками,
Не ваксил царских сапогов,
И не был безлым он солдатом...*

Пушкин

А был Александр Николаевич Радищев, что даёт мне право считать своё происхождение не холопским. Дочь его, Фёкла Александровна Радищева, вышла замуж за моего отца прямо из Смольного монастыря, куда была по сиротству отдана на воспитание вместе со старшей сестрою своею, Анной. Сын же, младший из них, Афанасий Александрович, поступил во Второй корпус, где и окончил воспитание. В 1816 году выпущен офицером в лейб-гвардии Кавалергардский полк.

Отец мой, полковник Пётр Гаврилович Боголюбов, был воспитанником Первого кадетского корпуса. Выпущен в офицеры в 1800 году и совершил тотчас же поход через Кваркон. Потом, в продолжение всей Французской кампании, до 1816 года, оставался в корпусе графа Воронцова. Во Франции, в Нанси, был тяжело ранен. После чего искал более покойной службы и, наконец, находясь на службе, умер от последствий раны, полученной в живот.

1824—1830

Детей у отца и матери было двое: брат Николай Петрович да я. Служба отца была на Санкт-Петербургско-Московском шоссе, где стояла военно-рабочая бригада в несколько батальонов. Он командовал Третьим, расположенным в Чудове, Тосне, Любани и Померанье, где я и родился марта 16, 1824 года и где моё раннее детство прошло почти бессознательно. Помню, однако, что там был чудный для детского воображения постоянный дом с большим двором, с царскими для проезда комнатами и трактирщица Елизавета Ивановна с дочкой Минушкой, утонувшей в пруду. Рядом был наш дом. Он прилегал к саду Почтовой станции. Тут были качели, куртины со смородиной, земляничные гряды, а в глубине — пруд, где утонула Минушка, и баня. Наш дом был двухэтажный, крестьянский, с большим двором, где ходили журавль, индюки, куры, утка всякая и собаки. Иногда воспитывался тут же медведь.

Отец любил животных и был натурой художественной, рисовал недурно, любил картинки по своим средствам, эстампы, гравюры. Чинил часы всем знакомым, точил с ангельским терпением самые тонкие колёса для часового механизма. Строил своими средствами возки, коляски и всем этим делом занимался с крайней любовью. Человек он был добрый и честный, а потому был небогат и по смерти оставил семье небольшие деньжонки, которые наша добрейшая мать берегла для нас, но не увеличила, ибо, хотя сама она жила бедно и скромно, но это, однако же, не мешало ей помогать ближнему и одождать всех своих приятелей. О ней я сохранил самые высокие и прелестные воспоминания. И ежели во мне есть что порядочное и доброе, то всё это вскормлено её чутким умом и высокой нравственностью. Ей мы обязаны были первыми нашими знаниями, ибо других учителей до поступления в Корпус у нас не было. Будучи воспитанницею шестого выпуска Смольного монастыря благородной половины, она получила воспитание вполне фундаментальное, хотя не обширное. Прекрасно знала языки, арифметику, историю и географию да Закон Божий. Но эта небольшая программа была в ней подробно разработана и усвоена с редким знанием, а что касается до эстетики и любви к прекрасному, то всё это выработалось познанием литератур уже своим умом и вкусом. Будучи сиротою, мать моя осталась при Институте

пензионеркою, а потом год классною дамою. В это время она познакомилась ближе со старой французскою, учительницею французского языка, которая имела большое влияние на её развитие. Они вместе читали Дидерота*, Вольтера и так далее.

Сколько памятно мне её лицо, оно было красиво до старости. Прямой нос, прелестные голубо-серые глаза, русые волосы, хороший рост, чудный рот и какая-то неухватимая улыбка доброты делали её милейшей женщиной. Кокетства тут не было, да с кем ей было и кокетничать, живя в Смольном монастыре в кругу старых вдов её пошиба. Скажу, что Вдовий дом этот был уделом вдов заслуженных людей.

Тут-то она себя всецело посвятила нашему воспитанию и, не держа под юбками, говорила о всём, что было прилично нашему возрасту, так что, вступая в жизнь, мы знали всё, но в такой форме, которая доступна умной и нравственной женщине. Не было темы, о которой мы бы не позволяли себе беседовать с матерью. Полная откровенность и внушение доверия к себе было её принципом и нашим нравственным платежом ей за все её ласки и предупреждения. Так что после, когда её не стало, я часто говорил брату: «Да кого из нас она более любила?». И оба, подумавши, отвечали: «Я никогда не замечал, что тебя предпочитала мне».

1831

По смерти отца¹ мы остались сиротами заслуженного человека, что дало право поступить в Пажеский корпус, так и было сделано. Брату скоро подошёл срок поступления в Александровский Царскосельский малолетний корпус, куда его и отвезла мать, поместив в Морскую четвёртую роту. На кроватином билете его значилось «Паж». Но вскоре судьба наша переменилась и, по совету А. А. Кавелина, бывшего воспитателя Александра II, друга отца, нас перевели в Морской, на том же основании, что без средств в гвардии служить плохо. В Морском же корпусе дают математическое образование и директор И. Ф. Круженштерн — человек учёный и умный. Так мне сказывала об этом мать, и тут показавшая, что она была умная женщина, не погнавшаяся для нас за видной карьерой гвардейского офицера без гроша в кармане с аристократическими аппетитами, к удовлетворению которых юношу невольно тянет богатенькое товарищество.

Как выше сказано, мать обучала нас всему, что приличествовало нашему возрасту. Я был всегда очень резов, а потому ей часто приходилось делать мне внушения, но во всё время её деятельной педагогической любви к нам она ни разу меня не высекла и не удари-



А. Г. ЧИРИКОВ. Портрет П. Г. Боголюбова, отца А. П. Боголюбова. 1810-е гг. Акварель. СРМ. Публикуется впервые

* Дидро.

ла, что было бы тогда совершенно в духе времени, ибо, приведу для примера, в Александровском малолетнем корпусе меня драли 17 раз да 2 — в Морском. Но об этом скажу ещё впоследствии. Помню, что одним из действительных наказаний её было — привязать меня ниточкой к стулу, дабы укротить мою излишнюю резвость. В подобных случаях я всегда сидел смиренненько, не смея порвать мои тяжёлые оковы.

До поступления матери во Вдовий дом мы жили вместе с дядей Афанасием Александровичем в Итальянской усадьбе, в доме Стручкова. Помещение было скромное. Мебель была отцовская, домодельная и по его вкусу. После его смерти она очень поизносилась, так что мать сама купила китайки и обила её своеручно, а я тоже старался помогать ей как умел, так что заслужил её похвалу за соображение в работе и художественном вкусе. Её она во мне видела давно, а потому в праздники никаких других подарков не делала, кроме карандашей, бумаги или красок, так что я был маляром чуть ли не с четырёхлетнего возраста. Рисовать сама она не умела, но всегда видела в рисунке неправильность и могла её указать. В злосчастную годину первой холеры в Петербурге мать увезла нас в деревню, в Кушелевку, что около Лесного института, наняв крестьянскую избу за 25 р. ассигнациями; тут мы пробыли до осени. Смутно помню рассказы про ужасы холеры, этого бича человечества, от кухарки нашей Дарьи.

Александровский Царскосельский

1832—1834

По возвращении нашем в город брата перевели из Александровского корпуса в Морской, а меня потребовали на его место. Ещё до определения прислали повестку, что надо представиться В. Кн. Михаилу Павловичу на смотр. А потому мать сама сшила мне новую курточку из градедана на манер носимых александровскими кадетами, серые с красной выпушкой штаны, из старого капиюшона отцовской шинели, и рубашку с плоёным воротничком. В таком праздничном виде отправили меня с дворовым человеком Степаном (он же сапожник) и в новых сапогах его работы на высочайший смотр.

Собралось нас до 10 мальчиков в Штыковом зале Михайловского дворца. Дивно смотрелось мне вокруг. В таких больших комнатах я никогда не бывал. Зал был глубокий, тёмный, в нём расхаживал какой-то полковник да ещё адъютант Ростовцев, который первый нас принял и опросил, записал фамилии да справку про отца и мать. Вот кто-то громко заговорил в соседнем зале и даже сердился. Всё замолкло. Вдруг отворилась дверь и вошёл в сюртуке и без эполет рыжий сутуловатый невысокий человек, говоря: «А вот они!». Мороз пробежал у меня по коже, ноги затряслись, но вошедший ласково к нам подошёл, потрепал меня в виде одобрения по щекам и сказал: «Ну, молодец. А кто был твой отец?» — «Боголюбов-полковник!» — «А где служил?» — «В Тенгинском полку, а потом был в Париже, там его ранили!» — «Ага! А потом?» — «Умер». — «Жаль! Есть у тебя родные?» — «Есть мать, дядя!» — «А кто дядя?» — «Радищев!» — «А, а, а! Что адъютант у графа Бенкендорфа?» — «Так!» — «Говорят — точно так!» И отошёл к следующему: «А тебя как зовут?» — «Иван!» — «Ну, а фамилия?» — «Атаев!» — «Откуда ты?» — «Из Вологды!» — «Отец кто будет?» — «Капитан!» — «Родные есть?» — «Есть — сестра!» — «Ты у неё и жил?» — «Нет, у попа!» — «А почему у попа?» — «Драла больно!» — «За что?» — «А за всё!» — «Дитя природы», — сказал Михаил Павлович и отошёл к следующему.

Атаев был, как теперь помню, рыжий как огонь мальчик с серыми глазами, редкими зубами и большим ртом. Одет был в нанковую курточку бедно и неопрятно. После, в Александровском корпусе, его продолжали драть по-прежнему, да, впрочем, кого там не секли!

После нас ввели в кабинет Великого Князя. Тут по стенам стояли солдатики всевозможных полков, конные и пешие. Они были под стеклянными колпаками, все очень походили друг на друга, смотрели как-то дико. Стояли также барабаны, ружья, висели сабли и пики. Книг было мало, но на столе стояла очень затейливая пушка времён Павла Петровича. Великий Князь сел на стул к письменному столу, и нам подали чай. «А знаете ли вы, что пьёте?» — сказал он весело. «Чай!» — «Нет, это китаец, разведённый в воде! Что ты не ешь? — обратился он к кадету, впоследствии он был директором в банке, Рербергу. Тот молчал. — Не вкусно, что ли?» — «У меня живот болит!» — «Ну так нечего ломаться, это дело житейское, — отведите его куда следует, да нет ли ещё охотников?» Человека три последовали за Рербергом и, возвратясь, опять пили чай и ели печенье лучше прежнего. Потом Великий Князь построил нас в шеренгу, велел поднять правую ногу и толкнул первого с краю. Мы все рухнули на ковёр и захохотали. «Ну, плохие же вы солдаты! Зато будете молодцы, когда выучитесь, а теперь ступайте по домам, кланяйтесь сво-

им и скажите, что я вас принял в Корпус». И воротясь к занке, он сказал ему по-французски: «Ежели есть бедняки без извозчиков, то всех их развезите по домам». Это было в октябре, погода стояла скверная. У Атаева даже не было проводника, а потому Великий Князь велел его оставить во дворце, на здешних харчах, и после сам отправил в Царское.

Возвратясь домой, я рассказал всё подробно матери и видел, как слеза навернулась на её глаза, но она это скрыла, целуя меня. Через два дня для меня наняли возок. Я прощался с Дарьей и Ариной, они навзрыд плакали, говоря, что Корпус то же, что солдатчина. Кухарка спрашивала: «Чем тебя будут кормить, Петрович?», а Арина судорожно всхлипывала и только крестила меня. Мать была совершенно спокойна, она собирала пожитки мон наскоро, после этого мы сели, посидели, по древнему русскому обычаю, и ещё раз расцеловались, причём она благословила меня образком (который впоследствии у меня украли в Сулине), говоря: «Помни всегда обо мне, когда захочешь шалить или когда тебе будет грустно; ведя себя дурно, ты меня глубоко огорчишь. А если будешь грустить, то и я стану плакать, чего ты, конечно, не хочешь, зная, что мне и так уже не весело расставаться с тобою».

По пути мы заехали проститься к её товарке по воспитанию директрисе Екатерине Васильевне Родзянко. У этой барыни тоже были дети. Она меня перекрестила, поцеловала и дала порядочную корзину сладостей, приобщив которую к животам, заготовленным матерью, я был обеспечен по крайней мере на 6 недель финниками, пастилой, пряниками и черносливом. В Александровский корпус² я поступил в 4-ую морскую роту к ротной даме госпоже Эспенберг. Она была вдова доктора и естествоиспытателя, сделавшего первый кругосветный русский вояж с Крузенштерном. Брат мой пробыл полтора года в её руках, а потому мать встретила в ней старую знакомую. Конечно, и тут дело не обошлось без подарков. Помню, что ей подана была корзина, за которую она очень благодарила, обещая хранить меня и любить как родного сына. «Долгие проводы — лишние слёзы» — говорит пословица, а потому часа через два мать простилась со мной, но тут и она не выдержала, заплакала и сказала: «Я люблю тебя, но ты сделай себя достойным моей любви, веди себя хорошо, я прошу тебя, но не приказываю!».

Дико было мне первое время привыкать к порядкам корпусного общежития. Александровский малолетний особняк был ни на что другое не похожий. Я его считаю одним из гуманных учреждений Николая I, царскою прихотью, но в этой прихоти была подкладка сердца, пожалуй, своеобразная, зато царь Николай Павлович и занимал крупную страницу в истории. Детей Николай любил, ибо не проходило двух недель, чтобы кто-нибудь из высочайших особ не навещал Корпуса, а потому держали нас чисто, кормили хорошо и заботились о нашем здоровье. Случалось, что Государь входил в зал, где нас кишело до 400 ребят и стоял гул, как в громадном птичнике, где разнопородные гогочут и щебечут по-своему на все лады. «Здорово, детки!» — говорил он голосом, которого уже после никогда не забудешь, и вдруг мёртвая тишина воцарялась в зале. «Ко мне!» — и опять взрыв шума и такая мятка вокруг него, как в муравейнике. Нередко он ложился на пол. «Ну подымайте меня» — и тут его облепляли, отвинчивая пуговицы на память и т. д. Всего более страдал султан шляпы, ибо все перья разбирались, как и пуговицы, и в виде памяти клеились в альбомы. Нангравшись вдоволь, он нас ставил поротно во фронт. Дамы помещались по отделениям (их бывало 3 в роте), а во флангах становились дядьки, старые фельдфебели гвардейских полков, обучавшие нас маршировке и построению не более как в колонны или взводы. Иногда повзводно, а иногда целою ротой с дивизионером проходили церемониально мимо Государя.

Перед Корпусом был свой садик. Проезжая в летнюю пору и не желая выходить, царь кричал из коляски: «Ступай ко мне!» — и все лезли через забор. Первый пятак он брал с собою во дворец. Сажал пару на козлы, а тройку в коляску. Во дворце счастливых кормили, набивали карманы конфетами и вечером привозили обратно. В праздники, даваемые кирасирам, перед Александровским дворцом разбивались длиннейшие шатры, накрывались столы и тут, вперевой с солдатами, размещали нас за полковую трапезу. Разница была только в том, что им давали стакан водки, а нам бутылку мёду, которую всегда пивали солдатики. Также частенько водили на Коровью ферму, где поили молоком досыта, отчего шествие роты домой по саду сильно замедлялось, ибо много было остановок в кустах по случаю желудочных отправлений. Тут на ферме мы бегали на лошадиное кладбище, почему я узнал, что конь Александра I прозывался «Бьют». На нём он сделал всю Французскую кампанию. Не знаю, придётся ли мне лежать в такой злачёной могиле.

Не состоится какой-либо обед во дворце или есть излишек конфет и фруктов — всё это присылалось в Корпус. Царица с детьми тоже часто у нас бывала. Но её приходы были больно церемонны. Кто мало-мальски подскочит к ней бойко с обычной фразой: «Дайте

что-нибудь на память», того после драли розгами, почему её и побанвались. Но всё-таки, коли даст бывало платок, то вмиг он уже оказывался в кусках, а иногда обдирали и всякие фалберы платья или шубки. При таких частых наездах наружность Корпуса, как я сказал, была хорошая.

Учили тоже недурно, хотя долбня (то есть на память) была краеугольным камнем педагогов. Естественных наук не было, да и не принимались они за основные, как ныне, так что и в Морском корпусе, где было вполне математическое образование, только физика просвещала умы либеральным светом, а выходили люди, да ещё и какие! За нравственность следили строго, а потому мы переходили в петербургские заведения мальчиками неспорченными, но что там делалось, это другое дело.

Начальница Корпуса была мадам Зон, баба толковая и строгая, держала она своих подчинённых дам в дисциплине. Инспектор, полковник Хватов, был добрый старик, его сменил г-н Мец и вскоре получил название Живодёра за то, что драл всех беспощадно солдатскою рукою, тогда как дамы секли руками ротных нянек. Странное было дело. Дадут розог двадцать — двадцать пять, конечно, не очень горячих. И, ежели не поцелуешь руку мадам Эспенберг, то опять положат, и так до тех пор, пока не покорисься. Мец не требовал этой благодарности, зато и бил серьёзнее.

Арифметике обучал Кох, бывший флотский офицер. Этот господин обращался варварски. Бывало, схватит за ухо, хорошо, если за оба, и подымет на воздух, а иногда бросит на пол. Выщипывал он также вихры волос и бил щелчком по губам, когда молчишь. Вначале учил чистописанию Лукин, человек мягкий, добрый, но после дали почему-то англичанина Потера, он учил и языку. Это был тоже варвар. Бывало, прикажет сложить пять пальцев вместе да и хватит по ногтям линейкой. Жаловались, но ничего с ним не поделали.

Французскому языку учил Даниэль, чопорный отставной солдат 1812 года, по методе Жакота или Эртеля. Указывал на картинку, где были нарисованы деревня, дерево, собаки, овцы, коровы, забор, дорога и прочее. Мы же нараспев пели, отвечая на вопрос: «Это собака, гора?» или другое что. Тут же было наглядное руководство с переводом. Мы так же пели глаголы, местоимения и целые предложения. Метода эта, хотя и была шумна, но невольно заставляла запоминать то, что видишь, и вместе с тем она была занимательна для детей. Чтобы не было лентяев, только открывающих рот, хитрый француз, бывало, вдруг закричит: «Silence!»* — и тогда пели поодиночке навыдержку. Рисование было тупое, то есть с оригиналов, но обучали хорошо и внимательно. Тут я всегда имел хороший номер и был, как апостол Иоанн у Иисуса, любимым учеником Живодёра Коха. Сказать про себя здесь такую похвалу я позволяю, ибо оправдал её впоследствии на деле. Замечу тут, что мне всегда казалось странным, что апостол Иоанн Богослов позволил себе такую несообразность и самообольщение в своих писаниях. Для меня Иисус образец беспристрастия к своим детям, как моя мать. А потому любимый ученик Христа не понял своего учителя или был человек больно самолюбивый и неглубокий мыслитель, но апокалиптический сумбурист с театральным воображением, рисовавшим ему всяких чертей, змеев и многоголовых. Положим, что глупо сравнивать фигуры его Апокалипсиса с картинами голландца Теньера, изобразившего св. Антония в его видении. Но, не знаю почему, глядя на неё, я всегда думал: «Вот черти Иоанна Богослова».

По большим праздникам приезжала ко мне матушка, конечно, всегда с гостинцами и с подарком даме Эспенберг, что её умирало ко мне недельки на две, а потом опять шла дёрка и порка.

Морской корпус

1835—1840

Минуло мне 10 лет, а потому в один прекрасный день я попал в число воспитанников, назначенных для перевода в Морской корпус. День этот был страхом Господним. Что ожидало там — страшило и радовало. Быть близко к матери и брату, переведённому уже два года тому назад, — было счастьем, но страшила новая дёрка, про которую вести доходила до нас, что она была куда серьёзней здешней.

Пришёл батюшка, отслушивал молебен при учителях и дамах. Начальница м-м Зон потрепала меня по щеке и сказала: «Кланяйся матушке». Кох выругал мерзавцем и советовал исправиться, товарищи по роте говорили — приезжай к нам опять, вероятно, потому, что другого сказать ничего не было.

Посадили нас в возки и в феврале 1835 года³ привезли в Морской корпус вечером. Встречал нас почтенный немец, директор И. Ф. Крузенштерн. Ласково и душевно реко-

* Тихо (франц.).

мендовал учиться хорошо. Повели к столу, который был куда хуже, чем в Александровском корпусе, а потом, наутро, в классы 4-й, Малолетней роты и, конечно, посадили в «Точку» (от точки замерзания), где сидели всегда дураки, отсталые и начинающие новички. Когда узнали наши способности ближе, то от козлищ скоро отделили и пересадили во второй класс.

Жизнь и учёба в Малолетней роте были недурны. Обращались офицеры, конечно, грубо, в особенности злобен был Иван Ирецкий, человек вспыльчивый, самодур. Бывало, из злобы придерётся и в субботу, когда все радуются, что идут за Корпус, закричит: «Боголюбов, домой не идёте!». Оно, конечно, заплачешь, иногда возмилуется, а иногда и просишь воскресенье.

Был у нас кадет Шигарин. Отец его, тот самый, который так славно ответил в Наваринском сражении, командуя батареей и высунувшись с борта по случаю того, что с французского фрегата послали офицера на катере сказать, что ядра фрегата «Елена» ложатся в борт союзника, закричал: «А зачем вы бьёте плохо турок!». В это время Иван Епанчин с борта орал: «Всё равно, валий его за двенадцатый год». Сей-то Шигарин, привезя сына в ученье, лохматого и нечёсаного в нанковом сюртучке, когда увидел, что служитель из матросов посадил его на табуретку, чтобы стричь, пристально всё время следил за этой операцией и, когда сын его вдруг преобразился из лохматого в гладко остриженный киверный помпон, то сам сел на табуретку, сказав служивому: «Ну-ка, валий и меня тоже поглаже». Факт ничтожный, но он так врезался мне в юную память, что и до сих пор вижу перед собой отца и сына.

Отделенный офицер был у нас Головинский — «Шлёпалка», что получил за отвисшую губу. Человек этот, хотя и воспитанник офицерского класса, но был груб и сильно шипал на башке волосы. Другой офицер назывался Всеволод Дмитриевич Кузнецов или «Верзила», а всего чаще «Осёл», что школярам-кадетам дозволяло делать каламбур из его имени, когда, например, подходили к нему, хоть бы проситься сходить в другую роту, то скороговоркой называли его Ослом Дмитриевичем, на что тот кричал: «Что! Как! Ну-ка ещё раз». — «Всеволод Дмитриевич...» — «Ну смотри у меня!». Этого Осла Дмитриевича страшно казнили. Бывало, повяжут верёвку в дверях его дежурной комнаты — и хватит по рожке концом мокрого длинного полотенца. Конечно, он бросится в погоню, споткнётся на верёвку и растянется, а кадеты уже давно у себя в постели и усердно храпят.

Летом плавали мы на фрегатах корпусной эскадры. Этим способом невольно смолоду изучались все снасти, вооружение фрегата и даже архитектура, компас и направление румбов. Так что в 12 лет я уже знал все морские мелочи твёрдо и любознательно.

В 1839 году первого числа⁴ я поступил в Гардемаринскую роту младшим чином, будучи за кадетство выпорот только два раза. В этой роте уже не порол розгами. Мне было тогда четырнадцать с половиной лет. Ростом я был велик и такой же был отчаянной весёлости. Любил кататься по галереям колесом, любил разные ломанья, скачки, в чём упражнялся с любителями этого дела Васькой Грехе и Бреверном. Бывало, опуститься по водосточной трубе на нижнюю галерею Сахарного двора ничего не значило, отчего постоянно ходил оборванным и часто избитым, ибо и до драк был неглуп. Силы тогда у меня много не было, но была ловкость броситься прямо в ноги сильнейшему, сбить его с ног и живо надавать лежащему оплеух и тумачков было делом пяти секунд. Здесь у меня было много невзгод с начальством и два раза едва не выгнали из Корпуса. Но раз спас мой дядя Афанасий Радищев, а другой раз — брат мой Николай Петрович, который уже был мичманом в офицерском классе и, будучи уважаем и любим директором Крузенштерном, меня отстоял.

Так как я имел при выпуске два нуля с минусом за поведение, что было ниже единицы, это ясно показывало, что моя резвость мне сильно портила в виду начальства. Подлого и безнравственного я никогда ничего не делал, но, так как был на дурном счету, всякая пакость, произошедшая в роте, рушилась на меня и я становился ответчиком.

Ещё с юности страсть к рисованию меня тоже губила, ибо я ударялся в часы досуга в карикатуры⁵. Делал директора, учителей, офицеров мелом на досках, на столах, словом, где ни попало, что тоже умалало мои баллы. Но зато у учителя Алексея Алексеевича Алексеева был на лучшем счету, равно как и у господина Фомина, который, когда я уже сделался профессором, с гордостью, будучи в ту пору малярным мастером в Петербургском порте, говорил всем: «А мой-то Боголюбов, ученик, глядите, знаменитостью в Академии сделался!».

Летом назначили нас в плаванье на Большую эскадру, то есть на корабли для похода в Балтику. Младшим гардемаринном я попал на корабль «Прохор». Им командовал капитан первого ранга Захар Захаревич Балк (или «Сахар Сахарович»).

Когда проходили у Дегерордского мыса, то адмирал Епанчин, минуя остров, всегда выливал добрую чарку водки в море, говоря: «На тебе, Борея, заткни глотку!» — делал он это, конечно, из предрассудка, как старый моряк, прилично закативши наперво, как говорится, для излиний к Борею, что заимствовал из старых преданий времён Грейговских и Сенявинских, при которых, чёрт знает для чего, даже салютовали трёхгорбой скале.

Как и всегда, на корабль назначались в плавание монахи. Конечно, настоятели посылали на флот народ негожий, пьющий, почти что для наказания. Но дело оказывалось иначе. Флот наш тогда весь бойко пил, а потому ссыльные попадали в некотором роде в вертоград винный и пили горькую в кают-компании не хуже монастырской. Был на «Прохоре» иеромонах из валаамского скита Алексей — человек Божий, мой тёзка. Я ему понравился, хотя делал с ним разные гадости, то есть пускал в бороду связанных за ножки ниткой двух больших мух, которых он, желая освободиться, давил на своей власянице. Наливал иногда в клубок воды на донышко, так что, вдруг, набросив себе его на голову, он невольно обольётся, а притом другой резвый офицер или гардемарин крикнет: «Батюшка, капитан зовёт!», затем раздаётся общий хохот. Но зато я ему разрисовал псалтырь водяными красками и очень старательно, и мы всегда жили ладно. По воскресеньям адмирал И. Епанчин приглашал к себе второго капитана, доктора и двух-трёх офицеров обедать, а по-па постоянно, над которым тоже любил трунить и подпивал его. Как видно, тоже для шутки, был сладким блюдом подан пылающий ромом пудинг с серебряной ложкой. «Батюшке, батюшке первому!» — заорал Епанчин. Батюшке поднесли блюдо. Взялся он за ложку — горяча, другой рукой — тоже не берёт, стал дуть сильнее, выдул спиртуозную влагу себе на бороду, она загорелась. Затушив рукой пожар, он благословил блюдо крестным знамением, сказав вполголоса: «А ну тебя... к ... матери». Адмирал чуть не умер от смеха и удовольствия и накатал батюшку до положения риз.

Покачавшись и научившись всякой премудрости между Дегерордом и островом Эйландом, к первому июля дивизия возвращалась в Кронштадт, где неделю шла бойкая чистка, окраска судов, ввиду предстоящего смотра Государя императора.

В декабре я сделался старшим гардемаринном, то есть шёл на выпуск. Когда дошло до экзамена, то мать моя убедительно просила меня заняться, и я, благодаря брату и частному учителю «Красноперому» (имел красное пятно на щеке), Леману, точно попалёг. Скотина Юхарин перед экзаменом злобно сказал мне: «Ну, я думаю, что вы угораздите в матросы».

Раз Александр Ильич Зеленой вызвал меня к доске вследствие того, что я начал что-то сильно разворачиваться на своём месте, тотчас после его лекций, и думал меня поймать, но, как нарочно, в этот день я не проронил ни одного его слова и при прекрасной памяти, которую напряг с полным вниманием на его рассказ, я ему стал отвечать почти слово в слово всё им сказанное. Конечно, он был крайне удивлён, замаялся, зашипел и говорит: «Ну, будете вы в арестантах, вспомните моё слово». После, когда я уже сделался художником, профессором, посещая постоянно его как доброго знакомого, я ему сказал: «Дурной вы пророк, Александр Ильич. Вместо арестанта я сделался профессором!». Он захохотал весьма добродушно: «Ну, да как же было возможно делать выводы о вас по тому, что вы были в Корпусе, там, ей-ей, вы были близко к каторге».

Экзамены шли очень хорошо, везде я имел не менее 9 баллов математических. Юхарин и тот на третий день совсем ко мне изменился и, не веря глазам и показаниям, встретив брата в офицерских классах, сказал ему: «Что это с вашим братом, да он прекрасно отвечает, быстро делает астрономические задачи, завтра я его ещё особенно спрошу, что гардемарины вообще не любят». Не любили мы «приливов и отливов» — тут надо было брать памятью и даже рассудком. Книги оказалось мало, выручил добрейший Николай Алексеевич Ивашинцов, гидрограф, известный по описи Каспийского моря, прочитав лекцию, надавал загвоздок в ухо и зубы и тем вложил в башку правила. И точно, Юхарин прямо обратился ко мне и сказал: «Отвечайте мне о приливах и отливах!». Я начал смело и бойко, дошёл до трети рассказа, он обратился к Ивану Тыртову (после инспектору Училища морского в Кронштадте), конец опять потребовал от меня. Тем дело и кончилось. Из глазных предметов я получил 11 баллов! Но ноль с минусом за поведение подвели при выпуске порядочно. Я выпущен был из 75 человек — семнадцатым, хотя по науке был третий. Привели нас в Зимний дворец в кадетских мундирах. Государь, видно, был сильно не в духе, обозвал мужиками-чучелами и отослал учиться фрунту и выправке обратно в Корпус, так что вместо того, чтобы надеть эполеты до праздника, нас всё Рождество учили и казнили гвардейские ефрейтора, и только 8 января 1841 года я сделался мичманом флота.

Офицерство

Мичман

1841

Меня выпустили, как говорилось, в Семнадцатую тысячу (17-й экипаж 2-й флотской дивизии), хотя не было мне семнадцати полных лет⁶.

Прозимовали мы в Питере важно. Кровь кипела клячочом, а денег было не ахти много. Мать моя была небогата, давала что могла, не более пятнадцати рублей в месяц. Жалование всё шло навывчет за обмундировку да за разные корпусные побития. Причём, как слышно, вычитали с нас и за потраченные розги, но я счёта не видел, а потому и не подтверждаю.

Имея страсть к художеству, я часто бродил в Эрмитаже, заходил в магазины эстампов, познакомился с Добидиели (Риппа), что имел магазин всяких красок в Академии художеств, и, наконец, напал в трактире «Золотой якорь» (кто его не знает!) на художника Круговихина. Сей человек был пьющий, но добрый, писал он маринны, и не совсем без таланта, влачил дни горькие, жалуясь на судьбу и на академическое начальство, которое ни за что не хочет ему дать академика. В это время он писал картину «Корбаз морехода Никитина», которого атаковал английский крейсер в Белом море. Мне казалось — хорошо и даже очень, но как выставил в третий раз в Академию — опять прокатили! И запил Круговихин пуще прежнего, в этом виде я его застал на дому.

Пошли сперва похмеляться, а после повёл он меня в Гостиный двор к купцу Кузину, картинному торговцу вместе с хрусталём — мужику умному, анатоку глубокому старой школы, который пользовался приятнью покойного благодетеля моего герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Кузин встретил нас сурово. Круговихин отрекомендовал меня как юного художника-любителя и попросил денег в долг будущих заработков. Оказалось, что по расчёту ему следовало 4 целковых — их выдали пьянице, а в долг не дали. Посмотрев, что было в лавке, я попросил Кузина позволить продолжать знакомство. Он сказал сухо и коротко: «Желаем-с» — и мы расстались. «Не клюёт ни для тебя, ни для меня, пойдём к Никифорову». Пошли в Апраксин ряд, взойшли в линии и нашли лавку, где тоже я увидел всякую живопись, но куда хуже Кузинской. Торговлей тут больше всего являлись Николай Угодники да царские трафаретные поясные портреты Николая Павловича. Никифоров пил чай, мы выпили по стаканчику. Круговихин тоже просил денег в долг, заслуги тут никакой не было, но всё-таки было выдано 3 целковых, а мне предложена была работа — за 5 рублей делать царские портреты или Николая Угодника. Материал готовый — холсты и краски, и прочее.

Круговихина я отпустил домой, а сам зашёл за лавку, где два парня, в круг остриженные, наводили трафарет розовыми красками, а третий — художник Ефимов — их флицевал, то есть сглаживал, ставил пуговицы, писал на них орлы, а потом закончил бойкими ударами звёзды, ордена и эполеты. Голову проходила уже напослед.

В два сеанса я стал писать не хуже этих господ, а потом, когда более насобачился, то делал два портрета в день, отличаясь пошлбом, который очень нравился хозяину. Так и зарабатывал деньги на свои удовольствия. Но так как это было только художественно-промышленное дело, то я вскоре сошёлся с Кузиным, который платил мне за мои картинки по 3 и 5 целковых, заставляя делать копии, давал очень разумные советы — в часы досуга не пренебрегать натурой.

Пришла пора ехать в Кронштадт. Экипаж шёл в поход, а потому вскоре я туда отправился, заполучив кое-какую работу от Кузина, но до осени ничего не пришлось делать, ибо служба и разгульная жизнь отнимали всё время.

Вторую флотскую дивизию командовал вице-адмирал Александр Алексеевич Дурасов, у которого в последствии был личным адъютантом до его смерти. Дурасов был весьма почтенный человек, тогда ему было лет шестьдесят, он был товарищем Михаила Андреевича Лазарева и Беллинсгаузена. В сражении при Афонской горе в 1807 году был сильно ранен в голову, так что лежал трое суток без признаков жизни и его уже обрекли бросить за борт. Он был человек читающий, образованный, служил в Англии волонтером, а потому владел языком, а также и немецким. Жена его, Марфа Максимовна, была очень умная и светская женщина, по рождению Коробко, дочь бывшего главного командира Кронштадтского порта, того самого, который, ехав в Петербург, был опрошен шутником-офицером на Гаванском посту: «Кто едет?». Лакей говорит: «Коробко». — «Ну, а в коробке-то кто?» (Возок был старомодный.) — «Тоже Коробка», — ответила сам адмирал. Офицер сконфузился. У него было три дочери. Первая вышла за адмирала Авинова, вторая за Дурасова, третья за адмирала М. П. Лазарева. Был сын, Фёдор Коробко, очень жеманный

и женственного воспитания, хорошо вязал и вышивал гладью. Все барыни были бойкие, умные, острые. Слыли за матерей-командирш и за великих сплетниц, что при таком светском воспитании было очень любопытно и поучительно для всех.

Вместе со мною поступил в экипаж мой товарищ по Корпусу мичман Леонтий Леонтьевич Эйлер, с которым мы остались друзьями до старости. Он был малый добрый, честный, весёлый и не глупый. С ним мы частенько живали вместе, и не раз придётся в моих нехитрых записках о нём упоминать. Эйлер был внук знаменитого академика Эйлера, математика. У дивизионного адмирала был назначен вечер, на который он меня и Эйлера пригласил потанцевать после нашей официальной явки. Дико было очутиться вдруг в кругу вовсе незнакомых адмиралов, капитанов и других сановников и офицеров. Но когда заиграла музыка, старшая дочь Дурасова Марфа Александровна подошла к нам и сказала: «Отец мне велел с вами обоими танцевать. Хотите?» — «Хотим», — ответили мы оба в один голос с Эйлером. «Ну, так пойдёмте». И мы пошли вальсировать поочередно, а потом она нас представила разным девицам, и мы до ужина плясали без устали.

Итак, первое впечатление было приятное. На другой день послали отыскивать товарищей. Устроились, конечно, на храпок, нищенски, жили впятером, валяясь на полу, но не грустили, ибо скоро приобыкли. Дулись в Летнем саду в кегли до изнеможения. Но пришла пора служить. Корабль наш назывался «Вола». Был о 84 пушках. Правильнее его было называть «Воля» в память взятия укрепления «Воля» в польском мятеже, но Государь Николай Павлович чужой воли не допускал, потому-то так его и окрестил.

У острова Сикоря адмиралу Дурасову вздумалось поманеврировать. Шли в кильватер, сигнал — «Поворотить оверштаг всем вдруг». Стали ворочать, корабль 15-го экипажа «Фершампенуаза» и давнул в «Волю», в правую раковину, а себе снёс левую. Как тут быть? Делать починку серьёзную некогда. Судили-рядили и придумали. Так как я имел репутацию художника, то и меня призвали. «Можно, — говорю, — когда обобьют корму парусиной, то берусь по ней раскрасить окна, чешуи разные и тяги отведу». И точно, лицом в грязь я не ударил. Когда всё было подготовлено, парусина вымазана сажей, отъезжал я на приличное расстояние и командовал старшему маляру — черти мелом так да этак. И после сам, подвесься на беседу, исполнил работу, как следует, так что получил от командира Шихманова полную благодарность. С «Воли» взяли пример и для «Фершампенуазы».

Год этот, то есть 1841, был грозный. Первого июля в Царицын праздник корабли чуть с якорей не сорвало, такой нашёл шквал, много лодок перевернуло. Катер с нашего корабля чуть не погиб, и в этот день утонул актёр Самойлов (отец Василия). Дня через три был назначен Высочайший смотр⁷. Конечно, князю Меншикову донесли о столкновении кораблей, и вот какую штуку он выкинул с Государем (да много он его так проводил — расскажу после). Стоят две дивизии в 18 кораблей носом к Кронштадту, выровнены, как солдаты. Идёт Государь по линии с правой стороны; вдруг, подойдя к 15-му, что ранен был с левой стороны, парход прорезает линию и «Волю» проходит со стороны адоровой раковины кормы. Показал он царю на фрегат «Новый» и опять вернулся на прежний путь. Так что Государь изьян не заметил и очень всех благодарил.

Пошли мы опять в море и пришли на зимовку в Свеаборг. У нас был бригадным командиром Захар Балк — тот же деликатный Сахар Сахарович, у которого гардемарином я служил на корабле «Прохор».

Молодечество

1842

Свеаборг, старинная шведская крепость, когда-то грозная, разбросан на каменных островах, защищая проход в Гельсингфорс — столицу Финляндии. Рейд его глубок и удобен, вход же узок и лежит между рядами сильных батарей. После чего слева расположена крепость со всеми портовыми крепостными постройками. Все они старые по типу и применены к жилью по необходимости дать приют флотской бригаде. Матросы размещались по-экипажно на блок-шифах, для того устроенных, и небольшая часть на островах. Торговля здесь самая убогая. Селёдка да табак — «Якорь» и «Незабудка», очень подлые. Тогда курили трубку. Булочная тоже не хороша, так что всё возили из Гельсингфорса. Офицеры размещались в флигелях или казематах, переделанных в жильё, длинных и нескончаемых. Ядро централизации был флигель «Глагол», выстроенный в виде буквы «Г». В нём происходили всякие офицерские безобразия и бесчинства. Пьянство было всеобщее. Пили, конечно, водку анисовую, а кто побогаче покупали иногда канки, флагу в три бутылки, мадеру и херес жгучего свойства не хуже Соболевского (Ярославского). Был здесь клуб офицерский в Густав-Сверже. В нём плясали. По два раза в месяц давались плохие концерты

и гнусные постряпные обеды. Собиралась туда публика всегда пехтурой, ибо на весь город была только одна губернаторская карета, развозившая и привозившая почётных дам. Остров невелик, но всё-таки сборы были часа два, а мы, грешные, во дни слякоти и дождя езжали в клуб на вестовых. Мы с братом жили в новом флигеле. Это здание было поудобнее, хотя тоже с сквозным коридором и сильным сквозняком.

«Кому быть повешенным, тот не утонет» — говорит пословица. Так и со мною случилось. Любил я бегать на коньках. Вот только что затянуло рейд льдом гладким, как зеркало, как приходит ко мне мой товарищ и друг Эйлер и мичман фон-дер Рекке. Побежим в Гельсингфорс завтракать. Побежали. Ступили на лёд, тонкий и гибкий, он почти волной гнулся под ногами, а потому порешили не бежать рядом. Вдруг у меня ремень отстегнулся и стал попадать под конёк. Я остановился, исправил повреждение и только дал два-три бойких шага, чтобы догнать товарищей, — провалился под лёд. Вынырнул, начинаю пробовать выйти из полыньи, но лёд подламывается, и я чувствую, что начинаю тяжелесть. По счастью, товарищи оглянулись и, видя меня в проруби, подбежали. Эйлер догадался первый, ловко подкатил мне палку, за ним Рекке сделал тоже, и тогда, кладя её плашмя на лёд, я разрешил свою тяжесть на большую площадь и Бог помог мне выкарабкаться, и я опрометью покатился обратно в Свеаборг. Пути было минут на 12—15. Достигнув берега, обледенелый, сбросил пальто, которое встало стоймя на снег, отвязал коньки, тут же их бросил и побежал домой. Руки мои трескались, и текла кровь, за ушами то же было. Брат мой Николай Петрович встретил меня в ужасе, но, придя в себя от радости, что жив, ничего другого не нашёл лучше, как вкатить в меня 2 стакана рому. Скоро я охмелел, сделался весел и лёг спать. Спал до 7 часов вечера и проснулся как встрепанный, а так как вечером в клубе танцевали, то взял потогонную ванну со всех вальсов, галопов и полек, что избавило меня от всяких осложнений получить горячку, тиф или что другое. С тех пор я бросаю бегать на коньках, да и хорошо сделал.

На Масленице устроили горы. Всё лучшее общество собралось кататься. В этом деле я тоже был мастак. Посадить почти на лету барыню на перед салазок и спуститься быстро, правя не руками, а ногами — составляло некий шик. Вот взял я поневоле толстую барыню, муж которой просил её прокатить. Как на грех, что-то подвернулось на самом сильном склоне горы и чебурыкнула я мою толстую сперва на лёд, а потом в снег. Задний катальщик саней не удержал и въехал ей в ноги и тем помял достаточно. Но, конечно, ахов и охов не было конца. Капитан 2-го ранга Цыпит сказал адмиралу Балку, что я это сделал нарочно, и заместо веселья всю Масленицу я высидел на гауптвахте. Суд был, как видите, скорый и справедливый.

Да вообще Свеаборг был какой-то отпетый порт. Рассказывали, что во времена Александра Благословенного было здесь такое воровство, что в делах портового архива находится показание одного зрителя экипажеских магазинов, де столь множество крыс развелось в оных, и эти бестии даже съели медную пушку 8-ми дюймового калибра. Были также сказания и такие: раз крысы съели живьём часового с ружьём и амуницией, возвращаясь с водопоя. А что крыс бывало много и в наше время, то и я о том свидетельствую, ибо, стоя в карауле у Морских ворот, видел, как целая серая масса плотно двигалась из одной подворотни магазина в другую, но часовых не трогала.

Кто живал в Свеаборге, тот непременно знал или слышал о «Золотой рыбке». Жил там подрядчик купчик Синябрюхов, и была у него, кто говорит, племянница, а кто — его побочная дочь. Но дело не в том, как она ему приходилась, а в том, что барышня была дивной красоты. Брюнетка с чудными чёрными глазами, таким носиком тонким, стройная, гибкая, словом — прелесть. А потому кто из молодёжи в неё не был влюблён! Делали предложения всякие лейтенанты и мичманы, но так как это была голь бездомная, хотя красивая и статная, купчина гонял всех влюблённых со двора. Но ведь не разом выдыхается любовь — надо на это время. А потому страдальцы ходили постоянно под её окна гулять и ловить чудный взгляд. А там, перед домом, стоял колодезь, на окраину которого влюблённый упирался страдающим телом, и, когда кто-либо проходил мимо, он устремлял для приличия свой взор в тёмное глубокое отверстие. «Что вы там делаете, — спрашивал хоть бы начальник, — что вы там потеряли?» — «Я гляжу на золотую рыбку», — отвечал офицер. Предлог был нравственный, а потому дальнейших разговоров не было. Наконец, «Золотая рыбка» вышла замуж за командира фрегата Струкова. Тут она стала блестящей барыней, но Бог не дал ей счастья, вскоре Струков умер и вдова поселилась в Гельсингфорсе.

Как-то раз у лейтенанта М. М. Филиппова была сходка, начали перебирать всё свеаборгское, и, когда речь дошла до «Золотой рыбки», то кто-то сказал: «Нет, теперь нашего брата она и видеть не хочет. Никого не принимает, и познакомиться с ней невозможно». —

«А отчего же нельзя, пари держу, что можно». То же повторил и приятель мой Л. А. Эйлер. «Но что бахвалитесь, — закричало всякое мичманье и лейтенантство, — выгонит по шее дураков — и всё дело тут». Спор пошёл хуже и хуже. Ударили пари о трёх ханках мадеры, водки и портвейну. Надо было действовать. И порешили мы так — надели вицмундиры и в одно прекрасное воскресенье поплыли к мадам Струковой, шли бодро до звонка двери, подошли — оробели, стали совещаться. «А вот что, — говорю, — мы взойдём, и я скажу: «Позвольте вам рекомендовать моего приятеля Эйлера», а ты в свою очередь скажешь — «Представляю Боголюбова!». Наспустили. Вышла барыня, не сконфузась, мы повторили условную речь. Она мило расхохоталась. Ободрившись, тотчас же мы ей рассказали о нашем пари, не упоминая о его количестве и качестве, смех удвоился, после этого надо было вещественное доказательство, что она нас точно приняла и не выгнала. «А вот что, господа, я вижу, вы люди весёлые, завтра у меня соберётся несколько барышней, будут также знакомые из Свеаборга, а потому приходите пить чай и повеселиться». Всё это нам было очень на руку. На другой день мы очень приятно провели у неё время, и так как в Свеаборге наутро всё уже знается, что делалось обитателями, то пари было выиграно и распито в самом весёлом кружке.

В том же Гельсингфорсе зимовал лет 7 тому назад 16-й экипаж, имея командиром Римского-Корсакова, впоследствии директора Морского кадетского корпуса. А корабль именовался «Коцбах», но так как в экипаже офицерство было почти сплошь пьяное, то и получил прозвище «Плавучего кабака». Ревизором на корабле был лейтенант Александр Семёнович Эсаулов, тоже не дурак выпить. Вот раз Римский-Корсаков посадил Эсаулова с собой в коляску, и едут они по Скатуден для осмотра работ по кораблю. Дело было осеннее. Проезжая городом, Корсаков, будучи знаком со всею аристократией города, кланяется графине Армфельд. Эсаулов сидит и не берётся за козырёк фуражки. Едет другая дама, тот же поклон Корсакова и неподвижность Эсаулова, едет ещё третья и четвёртая. Наконец, когда коляска наткнулась на пятую даму, Корсаков вознегодовал и, обращаясь к Эсаулову, спрашивает: «Кто это была первая барыня, которой я кланялся, как вашей знакомой?». Ответ был: «Просвирия, а вторая дьячиха, а третья жена шкипера, и всем им я отдаю вежливость, моим дамам вы поклонялись». — «Ну, ступай долой из коляски и плетись за мной по грязи!» И выбросил нашего Александра Семёновича в поколенную лужу.

Зима прошла, наступило время вооружения, работа в порту закипела, приятный запах смолы топлёной ласкал ноздри за неимением других, лучших ароматов. Я был назначен на 25-ти пушечный бриг «Усердие», а брат на корабль «Вола». Бригом командовал прекрасный, но строгий командир Василий Степанович Нелидов, моряк учёный, долго плававший при описи Белого моря, а теперь состоявший в отряде капитана 1-го ранга Михаила Францевича Рейнеке — главного начальника описи Балтийского моря и Финских шхер.

В отряде была также шхуна «Метеор», капитан-лейтенант Сиденскер Карл Карлович ею командовал, много баркасов гребных и два ботика. Вся эта экспедиция выходила из Кронштадта, куда мы последовали после вооружения и выхода на рейд. Бриг «Усердие» было старое судно, тембированное после Наваринского боя, а потому в подводной его части оказывалась часто течь. Положили за неимением сухих доков бриг на борт, чтобы оголить киль, да как-то и оплошали. Он, сердечный, перевалил через центр тяжести и не хочет вставать. Да потёк боком, вода хлынула в трюм, и тогда он поневоле встал, да только и затонул! Обидно было Нелидову. Но поставили помпы, нагнали народу, экипаж целый, и в 30 часов откачали. Зато всех крыс выжили из трюма, а их было немало.

Пошли в море рано, жутко было спать в каютах совсем сырых. Но ревматизмы тогда как-то не приставали. К нам на бриг сел Рейнеке, но мы его скоро спустили на берег в Борезунде, где он постоянно жил, а сами ходили в море и там занимались морским промыслом — делом крайне гупым и глупым, состоящим в том, что кидали в море лот через каждые пять минут левого хода. Промакав его таким образом недели три, возвращались к Рейнеке до острова. Тут было другое занятие — вычисления разные да промеры со шлюпки. Словом, казнили нас начальники серьёзными занятиями.

Но были минуты и смеха. Шхуна «Метеор» и бриг «Охта» капитана Карякина, тоже мастера описного дела, стояли вместе. Под вечер частенько мы съезжались купаться, а потому шлюпки двух бригов и шхуны гребли бойко, перегоняя друг друга. На «Метеоре» служил тоже мой товарищ детства и дорогой приятель мичман из офицерского класса Дмитрий Захарович Головачёв, впоследствии флигель-адъютант и командир царской яхты «Держава»⁸ и Гвардейского экипажа, звали его ещё в корпусе «Шавкой», потому что вечно лаялся и шутил. Кто его не знал только во флоте, как за балагура и за бравого офицера до конца жизни. Бывало, как только соберёмся в Кронштадт или Петербург, сейчас Шавка разденется нагишом и ну плясать, петь и выделывать разные фокусы. Вот едем мы купать-

ся, завидели две шлюпки финки, гребли только бабы да девки. Поравнялись с ними, Головачёв уже стоял нагишом, бойко направил четвёрку борт о борт с бабьей лодкой, вскочил в неё, сделав страшный переполох, и бултых в воду вниз башкой! Бабы ахнули, но всё обошлось благополучно, и мы все стали бросаться купаться.

Хотя пар уже везде в Европе был не новинкой, но у нас Меншиков его не любил. А потому средства съёмки были самые допотопные. То, что на паровом баркасе сделали бы в неделю, нам надо было на гребле, парусах выработать в два месяца, и плавание этих утлых аргонавтов — лодок и баркасов — было горькое. Когда в глухую осень приходилось морем возвращаться в Кронштадт, гибли шлюпки, люди, но это всё было ничтожеством. А. С. Меншиков берёт казну, и после из экономии его была учреждена Эмирительная касса морского ведомства с фондом в 12 миллионов, а говорят, и в 14. И за то спасибо!

Капитан Рейнеке был человек умный, но болезненный, желчный, всё страдал желудком и был ипохондр первой величины, фигляр, напускал на себя часто важный учёный вид глубокого мыслителя, говорил протяжно, заканчивая, что чувствует «тупость в голове и сухость в кишках». Брат мой жил с ним два лета, а также незабвенный мой товарищ Порфирий Алексеевич Зеленой. Тот даже квартировал у него, а потому изучил все уродства рейнековской жизни, сделал описание его жизни из часа в час. Рукопись эта была поистине замечательна, долго бродила между приятелями и потом исчезла. Говорят, что её приобрёл известный наш историограф морской Феодосий Фёдорович Веселаго и, будучи почитателем Михаила Францевича, укрыв у себя. Но не думаю, чтобы она погибла. Веселаго слишком даровитый судья памфлета, чтобы его уничтожить.

Дело съёмки он вёл точно и педантически, но всё это не мешало ему надоедать нам до горечи. Человек он был невоспитанный, но любознательный, аккуратный, вёл журнал, сколько его сука Эда (по-фински — шука) носила ежегодно щенят, сколько жило и где дарилось и кому. Наблюдал он над дикими утками тоже, ловил их, пока были молоды, то есть в гнёздах. Самцу и самке надевал на лапки серебряные кольца и на другой год находил, что пара прилетала издалека опять на старое место и получала новое колечко. Были бестии с семью и восемью шевронами. Воспитывал тюленей, делая их домашними, как собак. Но не достигал результатов ревельского командира маяков — генерала от маяков Павла Мироновича Баранова, у которого они жили годами в пруду его сада, спали в его кабинете и возвращались обратно, будучи брошенными в море. Пришли к Баранову рыбаки и говорят: «Лов у нас плох, а это потому, что тюлень живёт на берегу у тебя, брось их, родимый, помоги горю». По опыту Баранов знал, что тюлени возвращаются издалека, а потому и уступил их просьбам, и тюленей выбросили за островом Нарган в заливе. Через четыре дня они были дома. А дом Баранова был на Ревельском форштадте, куда тюлени приходили с моря пехтурой, скрываясь по канавкам города. Капитан мой В. С. Нелидов познакомил меня с адмиралом, и я сам видел, как, подойдя к пруду, старик хлопал в ладоши под водой, и вдруг умные рожи этих тварей выныривали, фыркая, выползали на берег и, ковыляя на своих плавательных перьях, брели за ним к дому, подымаясь скачками на лестницу.

Кроме тюленей у Баранова была ещё тогда голубиная почта. Он раздавал своих птенцов-пансионеров маячным смотрителям, и когда бывала какая авария морская, то птицы приносили ему вести, и он делал свои распоряжения ответными голубями.

Моряк-художник

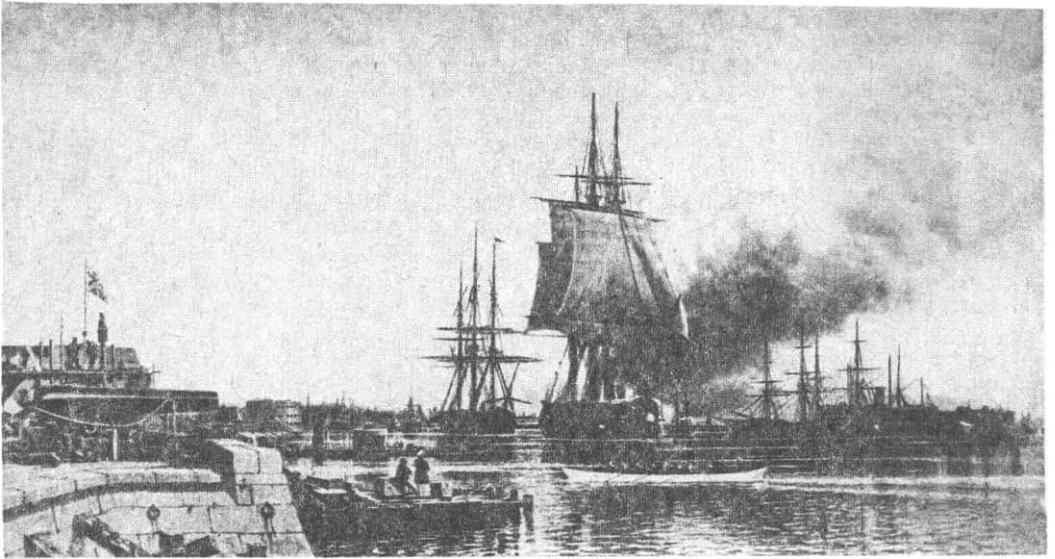
1843

Намакав лот, измерив глубины и прочее, экспедиция пришла в Кронштадт осенью 1842 года. Так что зиму 1843 года я провёл в этом городе. Тут только я опять сел за живопись, ибо в походе работало мало, зачерчивая кое-что в альбом.

Живя в кругу всегда морском, флотском, конечно, главные мои способности я обращал на корабль, его оснастку, тип и вооружение. Но это не была сторона питания. Кузин требовал весёленьких пейзажиков или, как он называл, «панданчиков», то есть вещей парных. На одном холсте берег справа, на другом слева и так далее. Опять пошла в ход Николы Угодники и Николай Павловичи, а в промежутках приходилось воровать в библиотеке флотской кое-что из прекрасного увража "Voyages a Roger le Duc de Jouonville"* по Сирию, Египту и Алжиру.

Жизнь шла кроме этого ни шатко ни валко, в разных потехах с товарищами. Центром был дом лейтенанта Ивана Ильича Зеленого — брата моих учителей. Это был опять образованный господин, трезвый, умный, нрава весёлого и острого. Тут же жил и брат его Нилушка Зеленой. Ему я много обязан, что попал в общество порядочных людей, хотя

* Путешествия Рожера, князя Жуонвийского (франц.).



*А. П. БОГОЛЮБОВ. Большой Кронштадтский рейд. 1865. Масло.
Картинная галерея в Клайпеде*

и у него занимались выпивкой, ибо братья были люди гостеприимные. Он очень любил меня и Эйлера и всегда снисходительно смотрел на наши шалости и ругал подчас безобидно за какую-нибудь из ряда выходящую глупость.

Жил он на Галкиной улице в доме Сполохова. Наверху была вышка в том же доме, где поместился я, Эйлер и Звягин — все товарищи по Корпусу. Мебели, конечно, не было никакой, кроме убогих кроватей и чемоданов, а потому углём и мелом я разрисовал зал стульями, диванами и даже столом с фруктами, когда и хлеба-то в доме иногда не было. В горькую минуту заложил я шинель с бобром Алёшке-барышнику, ибо можно было ещё ходить в летней. Я её тоже изобразил как укоризну и воспоминание. Конечно, вся эта обстановка художественная возбуждала смех, тем более, что над мебелью красовались карикатурные портреты начальства, очень часто сменявшиеся новыми, а поэтому посетителей бывало много, что составляло уже мою репутацию как художника.

К новому, 1843 году я снялся с мели, то есть мать помогла да «панданчиков» продал рублей на пятьдесят-шестьдесят, не брезгуя и Угодником Николаем, постоянно меня выручавшим.

Пришла весна, вооружились снова и поплыли на те же места и шхеры с Михаилом Францевичем. Опять макали лот, брали углы и шли в Ревель. Дорвавшись до берега, мы встретились с товарищем мичманом Розенталем. Тот пригласил нас в их Дворянский клуб, где один помещик нашёл, что мы слишком резво с Эйлером играем на бильярде, ибо какой-то шар влетел ему в нос. Конечно, мы немца обругали. А тот был важный барон и пожаловался на нас командиру порта, маститому адмиралу графу Гейдену. Сей, увидев Нелидова, говорит: «А у вас молодые офицеры не дают себя в обиду, вчера оборвали моего знакомого NN в клубе, да он гадина, дрянь, и я очень этому рад». Тем не менее, строгий капитан поставил нас бессменно на сутки на вахту. Через два дня граф пригласил его обедать и разговор опять зашёл о нас. «Я,— говорит Василий Степанович,— их наказал, более буянить не будут». — «Напрасно, простите их да приходите с ними завтра пить чай».

На другой день Нелидов привёл нас на дачу адмирала. Ласковый приём адмирала, а также почтенной графини и милой дочери Луизы Логиновны нас ободрил. С виду мы были ребята красивые, свежие, бойкие, да кроме того домашнее порядочное воспитание в нас отражалось, так что граф и семья его благодарили капитана, что такой случай дал средство нас узнать поближе. Долгом считаю сказать, что почтенные наши старики-адмиралы того времени носили на себе чудный отпечаток добродушия, чистоты, справедливости и гостеприимства. Кто знал И. Ф. Крузенштерна, Гейдена, братьев Лазаревых Михаила и Андрея Петровичей, А. А. Дурасова, Ф. Ф. Беллинсгаузена и многих других, тот подтвердит, что это были самые почтенные моряки, умные и честные. Такого закала был

и В. С. Нелидов, и мы много обязаны ему, что в два года стали порядочными офицерами, что и составило нашу будущность. Но, к сожалению для нас, на следующий 1844 год его сделали командиром фрегата, а на его место поступил капитан-лейтенант Василий Аникеевич Дуванов. Человек добрый, но неумный, раболепный, слабый духом, хотя и опытный морской офицер.

1844

Окончив плавание, бриг вернулся на зимовье опять в Кронштадт. Опять пошла та же бесшабашная мичманская жизнь. Скоро наступило Рождество. Тут-то разгар весёлости был полный. Нанимались сани-одиночки чухонские, что ездили за полтину серебра в Питер по льду. Насядут туда испанцы, тирольцы, буряты, Луи XV, евреи, черты, Арлекины, Пьеро и цугом, саней жуть, на огонёк. Где примут, а где обругают — за этим не гнались, где покормят и попойят, а где и просто пробалаганим. И так время шло изо дня в день.

Николай Степанович Горковенко сделал маску петуха, лепил её целый месяц, надел раз и потом, убоявшись простуды, передал её мне. Это были пернатые латы из картона, так что ездить сидя в санях было невозможно, приходилось стоять на их полозьях и буравить ногами снег. Но здоровье было чугунное, глотка тоже крепкая, ибо всю дорогу приходилось орать по-петушиному, что я делал с большим талантом. Компания наша была следующая: братья Роман и Александр Баженовы, братья Алексей и Николай Горковенко, Александр Опочинин, Христофор Эрдели, Эйлер, Николай Савинский, барон Гейсмер, Панифидин, Слизень, Абалешевы братья. Последние трое были постарше нас и служили центром сходок.

Мы никогда не были безнравственны, но дурили и шкодничали, как ребята, называли себя «ноги общества», потому что за башки наши нас ещё не признавали. Это стало дело будущего, но за плясунов и весёлых людей мы слыли в обществе и с честью поддерживали вечер или бал, куда нас необходимо приглашали, ежели хозяева хотели, чтобы у них было весело и оживлённо.

В этот год я сделал альбом карикатур на всё наше кронштадтское общество, за что, конечно, нажил себе много врагов и друзей. Да кроме того, раз в клубе отплясал мазурку так бойко-карикатурно с одной барышней, что чуть не пострадал по службе. Спасибо начальнику штаба Николаю Александровичу Васильеву. Этот славный человек помирал со смеху и так как был сила ддя, то и спас от арестов и других невзгод.

Он сблизился со мной и, узнав, что я занимаюсь художествами, доставил мне случай через князя Меншикова, два года спустя, сделать «Зимний приезд Государя в Кронштадт с принцем Оранским». Я изобразил гавани Военную и Среднюю, обмёрзшие корабли, выстроенные по стенке, около которых мчалась тройка, конечно, в снежной пыли, потому что лошадей рисовать совсем не умел. Тут пришлось мне встретиться в первый раз с итальянцем молодым, но хромым художником Премацци, впоследствии он прижился в России и сделался известным перспективным акварелистом, но пейзажи его были всегда грубы, ярки. Он сотворил ученика, сильно его эксплуатируя, из преображенских офицеров, Михаила Яковлевича Виллие, который во всём превзошёл своего учителя и сделался лучшим нашим акварелистом. Но о Виллие скажу после, ибо я был весьма дружен с ним, как с очень образованным и прекрасной души человеком, умным и всегда весёлым. По этому случаю выразилась жидовско-итальянская натура Премацци, который, узнав в Питере, что я получил заказ, приехал в Кронштадт и как нарочно встретился со мной на гавани, где я работал в камер-обскуру корабли. Я побежал и сказал об этом Васильеву, а тот говорит: «Не заботьтесь, сделайте скорее, и мы ему нос утрём». Премацци, конечно, был гораздо меня опытнее в рисунке и технике пейзажа, но не знал кораблей. А потому я сделал мою работу на папье-пели (что было тогда в великой моде) в два тона на сером фоне. Государю понравилось, и мне дали перстень в 150 р., который я тотчас же спустил, конечно, ибо драгоценные камни никогда не любил. Поощрение это я счёл великим! И между товарищами и начальством начал слыть уже за важного художника. Корабли Премацци Государь забраковал, назвав коровами, что передал кн. Меншиков Васильеву.

А ловкий был человек наш морской министр, я уже выше говорил, как он надувал царя на морских смотрях. То же выдвельвал он и на суше, когда Государь приезжал раз в зиму в Кронштадт, где ему представляли экипаж, идущий в караул по городу и крепости, а после обвозили по батареям и местам вылощенным и вычищенным, тогда как рядом везде была мерзость и запустение. Ко дню этому, конечно, готовились целые месяцы, и из матросов комендант генерал-лейтенант делал важных солдат просто на диво. Но вот раз как-то Государь отложил свою поездку к среды на четверг. В рапорте значился 18-й экипаж, на четверг, конечно, нельзя было показать тот же, а следовало идти в караул эки-

лажу 3-й дивизии. Долго не думали, доложили князю о затруднении и получили приказ перешить погоны на мундирах, обменять номера киверов, офицерам эполеты. В ночь всё обделали. И всё сошло как по маслу, царь благодарил. Дали полугодовое жалование офицерам за муку 4-х месячную, а матросам по рублю.

Адъютант

1845

Тут жизнь моя изменилась, я поступил личным адъютантом к Александру Алексеевичу Дурасову, нашему дивизионеру, и сделался членом его семейства, ибо обязательно ходил к нему обедать каждый день. В это время матушка моя стала сильно хворать, и добрый адмирал с весны 1845 года отпустил меня в Петербург, где я и провёл всё лето в Новой Деревне, и 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, она скончалась. Брат мой был в экспедиции у Рейнеке около Нарвы и приехал уже после её погребения.

Всякий человек ценит и любит своих родителей, ежели они были до него хоть мало добры. Мать моя посвятила всю свою жизнь нам обоим, и я обожал её, да и теперь сознаюсь, что все сравнения мои и суждения о жизни постоянно оживляются её словами, ибо сдерживала она нас только своей кроткой речью, и когда скажет: «Нет, ты меня не любишь и не понимаешь», то слов этих было достаточно, чтобы пробудить во мне и брате самое душевное сознание, что мы её огорчили. Поистине она была достойная дочь Александра Николаевича Радищева, и ежели не воспитала нас по главе «Крестецкий помещик»* «Путешествия из Петербурга в Москву», то глава эта была прирождена ей отцом, дабы воспитать своих детей по системе её родителя, а потому рекомендовать каждому, до кого дойдёт моё слово и кто любит детей своих, затрудняясь их воспитанием, обратиться к этому Радищевскому Евангелию! И будет спасён сам и дети его!

Мать была очень красивая женщина, говорят, что я на неё не походил лицом, но душой. Ежели я к ней приближился, то это была бы величайшая заслуга моей жизни, но не мне судить об этом, а тем, с которыми я жил, пусть они это выскажут, ежели найдут, что стою быть помянутым добрым словом.

1846

Теперь служба моя при адмирале давала звание флаг-офицера⁹, так что поход 1846 года я уже совершил на 110 пушечном корабле «Император Александр I». Проплавали обычным образом, пришли на зимовку в Ревель. Адмирал поселился на Нарвском форштадте. Следовательно, и я нанял вышку поблизости. Здесь жизнь была другого сорта и товарищество изменилось против кронштадтского. Дурасова все уважали, начиная со старика графа Гейдена, а потому опять дом его был центром общественной жизни.

К Рождеству я уже имел много знакомых между баронами, графами и дворянами города Ревеля. Весь город давал балы и вечера, весьма аристократические. Попал я туда через г-жу Кнорринг, женщину, занимавшуюся искусством, с которой я очень сошёлся, и начал работать очень усердно. Писал зимы с натуры, рисовал Ревель с его старыми башнями, даже написал два портрета. Сходство я всегда схватывал, что показывает моя способность делать карикатуры, которых сделал массу в жизни. Вообще зимовка в Ревеле меня вдохновила так, что, будучи уже в Академии художеств, я нарочно сюда приехал, чтобы писать виды его на программу Первой золотой медали. В сентябре было здесь крупное событие. Это похороны нашего славного первого кругосветного мореплавателя, директора Морского корпуса адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Умер он в своей мызе Ассе. Печальная церемония началась на Петровском форштадте и шла в Вышгородскую лютеранскую церковь, где он и погребён. Его встретили все три экипажа зимующих здесь кораблей. Войском командовал мой дивизионер А. А. Дурасов.

Кирка эта — Пантеон остзейского края, ибо там хоронятся именитые дворяне. Алая кирка с высоким шпилем в нижнем городе не такая древняя. В ней в наше время валялся высохший труп бедного герцога Де Крома в парике и камзоле времён Луи XV. Кто только не издевался над ним! Лежал он в склепе без оконных стёкол, и когда его мочил дождь, китор церкви ставил труп к окну дыбом просушиться. Лежал он, говорят, без дна и покрышки за долги. В силу закона лишился он погребения, пока его родня не уплатит. Теперь это пугало убрано, слава Богу, хотя законы русские ещё не введены сполна.

Такие уродства долго ещё жили в других городах Курляндии. Например, в Риге читались годов 30 или 25 тому назад с балкона ратуши положения городские и между прочим о том, что прислугу возбраняется кормить более трёх раз в неделю рыбой-лососиной. Тог-

* Глава называется «Крестыцы».



А. И. ШАРЛЕМАНЬ. Портрет А. П. Боголюбова. 1853. Смешанная техника. СРМ

Булъ» ответил ему, что дуэль не в привычках джентльмена. «Ну, а как же мне смыть нанесённую обиду, ежели вы не хотите извиниться? Вы трус!» — «Требуйте что-либо другое, и я готов доказать, что нет». Крузенштерн выдумал следующее. Положено было достать две гранаты, начинённые порохом, приложить к ним станины и дать каждому из обиженных по фитилю, чтобы они их зажгли и не бежали от них, но шли медленно, считая шаги по секундомеру. Такая дуэль состоялась. Крузенштерн бодро подошёл к своей гранате, выбранной полюбовно, зажгёт её, и на пятнадцатом шагу последовал взрыв совершенно благополучно. Англичанин, не дойдя до своей шагов пять, побежал обратно и был за то сильно избит боксёрами-секундантами, а Ивана Фёдоровича понесли с триумфом в таверну, где все ожидали конца поединка.

Оканчивая зимовку в Ревеле, я заготовил порядочный склад всяких картин, которыми убрал свою каюту и товарищей, но так как мы помещались на кубрике, где света Божьего не было, а только одна сырость, то к приезду в Петербург некоторые сильно почернели. По выходе в море раз в кают-компани во время штиля офицерство наше развеселилось, и я начал лаять собакой, изображая сердитую и, наконец, вой, когда её бьют. Адмирал, каюта которого была над нами, в это время сидел у окна и, услышав лай пса, позвал камердинера Стёпу и спросил его: «Да разве на корабле есть собаки и у кого?» — «Да это наш адъютант потешается, Ваше превосходительство, он и петухом очень хорошо поёт, уткой крикает и осла представляет». — «А-а, не знал, ну пусть его тешится». Когда я пришёл к вечернему чаю, добрейший Александр Алексеевич говорит мне: «Знаете, вы так хорошо залаяли, что я просто удивился. Не знал за вами этого нового художества, да и отчего же вы прежде не лаiali и не веселились?» — «На кубрике, у мичманов, это я давно слышал, Ваше превосходительство,— заявил капитан Струков,— но здесь господин Боголюбов забылся, и, надеюсь, этого больше не будет». Таким образом, я съел гриб очень горький.

1847

Возвратясь снова в Кронштадт на зимовку, жизнь пошла со старыми приятелями опять приятно и весело. Но вот случилась и невзгода. Наша командирша м-м Беллинсгаузен, не зная почему, нашла во мне большую перемену в обращении с её дочерьми и племянницей, хотя я весьма был сдержан вообще, и не стала меня принимать у себя в доме на

да как уже давным-давно она стала так дорога, что и бюргер и помещик-дворянин не ел её и раза в месяц из экономии. То ли дело немцы! Взяли Эльзас и Лотарингию — и в месяц все улицы уже были написаны по-немецки, и официально язык стал тот же. Хочешь достать что-либо, так будь немцем волею или неволею. А мы, грешные, вот уже более 250 лет ходим около этого народа, надев перчатки. Грех сказать про остзейское дворянство, что они не послужили России верою и правдою. Много они дали нам славных деятелей, героев и имён почётных, а потому отчего им не выдумать нарочно почётных привилегий. Но холоп этих рыцарей — расплодившийся бюргер их обворовывал, сделался теперь силою края и хочет быть берлинцем пуще дворянства, сочувствуя Бисмарку и даже жалуюсь ему на наше правительство. Вот это-то хамское уродливое племя надо было бы совсем сравнять с честным чухонцем, которого они эксплуатируют. Но у нас всегда были полумеры везде и во всём.

Вот что рассказали про И. Ф. Крузенштерна. Когда Крузенштерн был волонтером в английском флоте, какой-то юный англичанин задел сильно самолюбие русского офицера в людной сходке, почему Крузенштерн вызвал его на дуэль. «Джон

вечера. За ней последовали и подчинённые, так что я очутился в опале. Кроме меня остракизмом наказали ещё пятерых из нашей удалой компании, так что мы ещё более сблизились и зажили ещё веселее в своём кругу. Донскагься причины невзгоды было не трудно. Я надоед всем карикатурами и передразниваниями. Горковенко и Опочинин писали мадригалы всякие, Баженов Саша сплетничал много и прочее. Оно и точно. Вот некоторые стихи доморощенных поэтов.

Про командира транспорта «Пиннега» Сарычева сложилась следующая песнь, которая жила долго на баке в часы досуга:

А как шёл транспорт «Пиннега»
В виду Сойкиной горы...
Паруса белее снега
Аль берёзовой коры!

На Кудрявого, капитана 2-го ранга, тоже командира транспорта, сложили:

Там, где с почестью и славой
Дрался храбро Повольской,
Ныне транспортом Кудрявый
Ходит с салом и пенькой.

У адмирала Беллинсгаузена был личный адъютант Нил Вараксин, длинный, как брамстенъга, и неумный. Его сделали командиром дрянной адмиральской яхты «Павлин» — сейчас же явилось четверостишие:

Кронштадт наш чудо произвёл,
Какого не было в помине.
Уж ныне по морю осёл
Преважно ездит на «Павлинке».

Прошлым летом главному командиру, имевшему дачное помещение в кронштадтском Летнем саду, пришла фантазия выстроить беседку для отдыха и дать ей форму корабельного юта. И вот новая поэзия А. С. Горковенко:

В конце большой аллеи
Поставлен корабельный ют,
То пресловутого Фаддея
Именная затея —
Дать от дождя гуляющим приют.

Коснулись и барынь. Госпожа Александровская, хорошенькая блондинка, жена командира форштадта, уехала на зимовку в Ревель. А. С. Горковенко где-то сказал экспромт:

Молодцу ли, красной деве ль,
Всем приятно ехать в Ревель¹⁰.

Засудили и за это. Были ещё и другие поэзии, но уж очень пошлые, а потому и не надо их. Конечно, всё это вместе взятое не говорило в нашу пользу, и многие гнев Беллинсгаузенши считали справедливым. Всё это было неудобно, но, право, только шутивно.

Когда узнала о случившемся моя адмиральша, Марфа Максимовна, то даже очень обрадовалась и стала утешать, чтобы я не печалился, ибо что можно ждать от «гувернантки». А оно и правда, что командирша была мужем своим взыскана из этой среды, почему и яшсалась постоянно с французскими воспитательницами, как, например, с м-м Князевой, тоже прежде гувернанткой, и Резниковой. Ареопаг этот решил, что мы, точно, люди неблаговоспитанные, сорванцы и нахалы. Но зато Анна Максимовна Лазарева, родная сестра моей адмиральши, тоже стала очень нам благоволить, и многие другие высокопоставленные дамы, состоявшие в оппозиции с главной командиршей.

Некоторые барышни на балах, где была м-м Беллингсгаузен, с нами не хотели танцевать, желая угодить ей. Но мы всё-таки веселились другим образом, хотя и не очень похвально по положению и возрасту. После балов в клубе обыкновенно большой гурьбой, прилично поужинав, конечно, в долг на книжку, отправлялись рундом по домам терпимости и просто бардакам. Тогда лучшее заведение было под патронатом вельсьма почтенной, опытной дамы Марии Арефьевны. Все эти заведения почему-то помещались в Песочной улице, около Бастионного вала, в местах более отдалённых. Туда входили мы как старые знакомые, люди хорошего поведения и общества, с девицами обходились вежливо, а пото-

му пользовались добрыми кредитами хозяйки и её семьи. Титулованным её любовником был лейтенант Водский — рыжий детина, который и следил за порядком дома, и кто ежели забуйнит очень, то просто выбрасывал в окно, ибо дом был одноэтажный. По обыкновению, протанцевав несколько полек, галопов и вальсов, все ехали далее, в соседнее заведение и таким образом обходили два или три. Иногда делали и такого рода проделки: заберём гладильную доску в чулане, кадку, утюги и спешим в другой дом терпимости, а из этого перетащим корыто, самовар, посуду в третий. Но к этому скоро обывательницы привыкли, и товар разменивался без неудовольствия, а только говорили нам после: «Экие вы шутники, господа!». Раз как-то Эрдели занёс kota, но тот сам вернулся. В этих заведениях часто мичмана декламировали то Державина, то Пушкина и Лермонтова. Я тут же выучился от одного офицера крепостной артиллерии представлять полководца в гробу, что проделывал после с товарищами с большим успехом. Это было подражание тому, что выделывали куклы у шарманщиков 40-х годов. Наполеон лежал на смертном одре, окружённый маршалами, супругой и сыном. Маршалы ворочались, простирая руки, некоторые плакали. Словом, это была живая картина, и все пели при этом марш, подражая трубам разных величин.

Раз как-то первая дивизия уж очень набуянила у Марьи Федотовны, так что была принесена жалоба полицмейстеру. Тот пошёл сообщить её дивизионеру адмиралу Андрею Петровичу Лазареву. Выслушав донесение, адмирал сказал: «И только-то, никого не побили офицеры?» — «Нет, вашество». — «Ну, так это ничего, я им скажу, чтобы не шалили более и помирнее себя вели, а наказывать тут нечего. Вот брат мой, Михаил Петрович, так тот перед кругосветным плаванием очень нашааил. Призвал команду с шлюпа своего да и велел все рамы выставить зимой в бардаке да окна с петель снять и ставни даже и всё это сложить на дворе, а за что! Хотите знать? За то, что его клопы там заели да блохи. Он этих бестий страх как не любил». Полицмейстер почтительно удалился, а офицерам в вечернем приказе было рекомендовано вести себя везде прилично. Таковы были наши почтенные старики-начальники, дай им Бог царство небесное. Сами были молоды и нас понимали. И помню, какое впечатление произвела эта история на молодёжь, которая, к чести сказать, имела благодаря старым традициям хороший закал. Какие у нас ни были начальники, но мы их всё-таки уважали. Суждение, что всё старое глупо и тупо, для нас не было законом. Конечно, будучи более развиты чтением и воспитанием, мы ясно видели, что эти люди не мы, но явного презрения, как вижу нынче во флоте, и зависти друг к другу в нас не было, ибо жил корпусный закон товарищества, который, к несчастью, ушёл с новыми преобразованиями, что всех удивляет как в армии, так и во флоте.

«Э... да это князь Щербатов¹¹ и Александр Радцив», — скажут читатели Герцена. Нет. Глупо отвергать новое хорошее, но нельзя отрицать на службе строгую дисциплину и воинский традиционный дух, как и во флоте, где сколько было героев, и все из того же Морского кадетского корпуса и корпусов вообще. А либеральные гимназии что дали? И скажем спасибо великое Государю императору Александру Александровичу, что он снова воскресил наш расадник, преобразовав в Корпус¹².

Говорят, ныне пьют меньше во флоте. Это правда, что очень похвально. Но в наше время мы пили горькую и, к сожалению, было между нами какое-то молодечество в пьянстве. Не легенда, а истина, что лейтенант Владимир Ильич Мицкевич выпил гитару водки. Это что за мера, вы скажете? А вот какая. Сидели раз в Новом флигеле у Савицкого, тут же жил певец-гитарист Гогликов. Он был в этот день в карауле, но инструмент его ходил из рук в руки. Пили споро и дошли до пари о том, кто сколько может выпить в течение суток. Говорили о полуштофе, штофе, о двух — всё было мало. Взоры обратились на лежащую на столе гитару. Её приняли за меру, и решено было, что Мицкевич её выпьет в течение суток. Долго не думали, послали за водкой — и точно, к утру гитара была уже суха, а Мицкевич только завалился спать на целые сутки. Это был прекрасный человек, грубоватый, правда, но хороший служака, добрый. Родине после он служил в Американской компании долго, командовал в Тихом океане клипером, который сгорел. Умер он в Москве, служба в Городской управле в чине контролёра. Конечно, о питье впоследствии и помину не было, но оно его сгубило.

Рассадником пьянства был 16-й экипаж Шихманова, где я служил прежде. Командир наш отыгрывал гуманного! А потому самых горьких пьяниц, как лейтенанты Карпов, Разводов, Есаулов и мичман Шульгин (разжалованный в матросы за пьянство и буйство и после дослужившийся опять до первого чина), он брал к себе, говоря начальству: «У меня всё будет хорошо» — и тем губил этих господ, которые постоянно лежали в белой горячке, вследствие чего Иван Николаевич Карпов сгорел. Разводов покончил после ударом, а Шульгин повесился. Пили везде ровно и этого не замечали.

Натура моя была крепчайшая, я только бледнел, но ум пропил — много что раза три в жизни. Раз, возвращаясь зимой ночью с какой-то попойки, я был в хмелю. На парах начал буянить с братом и Эйлером, отстал от них. Вижу, тянется передо мной вереница говночистов. В пьяной башке мелькнула мысль, что они близко проедут около моего дома, я присел на полозья одного из ящиков и, несмотря на ароматы, сейчас же заснул. И какво было удивление, когда меня разбудили ночные деятели уже далеко за городом на кронштадтской косе, куда это добро сваливалось. Хмель прошёл разом, и я побрёл домой, проклиная судьбу, и притащился к себе, когда уже светало. Чёрт меня дернул нарисовать себя в этом плачевном виде, и тогда молва сделалась всеобщей, несмотря на то, что я показывал карикатуру только приятелям.

Познакомился с Виктором Андреевичем Ивановым — офицером в штабе командира Кронштадтского порта, человеком умным, производившим секретные работы по засыпке булыгой северного фарватера. От него я получил план кронштадтского наводнения 1824 года с показаниями кораблей, как их раскидало по стенке гавани. Благодаря ему, видевшему наводнение, и капитану Нелидову я мог воскресить событие весьма верно. Адмирал Дурасов помнил тоже этот эпизод, а потому, ежели я написал картину, не удовлетворявшую условиям живописи и техники, то корабли были верны и пейзаж тоже.

Картину тот же благодетель Васильев взялся представить князю Меншикову, а сей — Государю Николаю Павловичу, который весьма ею заинтересовался, взял её и велел меня наградить перстнем. Но каким! С рубином в 1500 рублей. Такой награды я не чаял никогда, тем более, что маклак Кузин всё меня держал на «панданчиках» по десяти целковых и никогда не возвышал цены.

Так прошло два года, наступила холера 1846—1847 годов. Скучная была жизнь в этой нездоровой крепости, народ мёр сильно, адмирал Дурасов храбро ходил по экипажам и больницам, водил меня за собою. Раз я ехал с ним на катере в Фаниенбаум, на пути гребец почувствовал себя дурно. Приехав в Ковш, адмирал вышел и тотчас же велел мне отвезти больного обратно в Кроткую Госпиталь. По пути больного тёрли щётками, но с ним была сильная сухая холера, и, когда его понесли на носилках ребята, он скончался. Впечатление было неприятное, но что делать, от судьбы не убежишь, а потому я продолжал жить в Кронштадте и работать кистью.

1848

Я уже в это время был второй год в лейтенантском чине, и мне дали орден св. Анны 3-й степени, что немало меня установило в среде товарищей. Но осенью добрый мой адмирал А. А. Дурасов вдруг захворал холерою и на вторые сутки скончался. В нём и его семье я потерял истинно добрых и почтенных людей, ибо адмиральше очень многим обязан по части светского воспитания, которому она меня выучила, часто подсмеиваясь остроумно над моими резкостями слова и действий. Они переехали в Петербург, а я серьёзно захворал, что и пригвоздило меня в Кронштадте.

Пароходо-фрегат «Камчатка»

Вскоре после адмирала Дурасова скончался и адмирал А. П. Лазарев, так что обе сестры овдовели. Оставаться адъютантом у нового дивизионера «Сахара Сахаровича» Балка, конечно, не было никакой охоты, да и он меня бы не взял. Тут добрые товарищи, А. И. Баженов и А. С. Горковенко, уже служившие на императорской морской яхте «Камчатка» под командою капитан-лейтенанта Шевандина, сказали ему, что я офицер бравый, ловкий, не дурак. Он меня тоже знал немного за лихого господина, а потому я был и перечислен в 3-й экипаж. Экипаж наш стоял в Петербурге, куда я отправился на зимовку.

Пароходо-фрегат «Камчатка» было лучшее колёсное судно нашего флота. Три года тому назад оно было приведено из Америки, где строилось под надзором капитана I-го ранга И. И. Шанца, который по приводе его в Россию сделался командиром. Офицеров набрали туда лучших, команду тоже выбрали из всех экипажей.

«Камчатка» была, точно, красивое судно по линиям и пропорции, имела три мачты, все с реями, сильно, но красиво поднятыми, заострённый нос, круглую корму, которую почти всецело покрывал громадный золотой орёл¹³. Скорость в те времена была большая — 12 узлов, как говорили, но пароход никогда не ходил с этой быстротой.

Капитан Шанц был моряк практический, прекрасный, служил и в Англии, и на торговом флоте Финляндии, откуда был родом и назывался фон Шанц. Будучи сыном кузнеца, авторитет он себе отвоевал нахальством со всеми, так что его все боялись. Вор он был первоклассный, ибо, как слышно и видно было по его жизни, сильно нагрел себе лапы в Аме-

рике при постройке «Камчатки», да и в походе, как говорили товарищи, везде крал — то с угля, то с продовольствия команды. Стоит «Камчатка» в Палермо, в гавани. Двор живёт на вилле графини Бутерра. Конечно, офицеров изредка, а командиров очень часто приглашали на вечера и обеды. Все оделись в штатское платье, а Шанц всё являлся в вицмундире или форменном сюртуке. Царица это заметила, и обер-камергер граф Шувалов сообщил её замечание капитану, на что он с полным хладнокровием отвечал: «А шейте мне фрак, так я буду его надевать». Что делать? Тогда гофмаршал прислал к нему портного и Яню (как его звала супруга) одели на дворцовый счёт.

1849

Сходили на Ревель на пробу машины, и стали поговаривать, что пароход идёт в океан. Но всё это было втайне, и только за две недели до отхода узнали, что идём на остров Мадеру с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским для его здоровья. Контр-адмирал Шанц, бывший строитель парохода и командир, ему сопутствовал в качестве начальника. А также назначен был при особе герцога князь М. П. Голицын, адъютант кн. Меншикова. Свита Его Высочества состояла: два адъютанта — кн. Багратион с супругою и гр. Ожеровский, секретарь и друг герцога Е. И. Мюссар, тоже с молодой и красивой женой, доктор Фишер и камердинер Баумгартен. Адмирал Шанц взял тоже свою адмиральшу Зельму Карловну (Шельма Карловна, как он сам произносил) и дочку семи лет — Онейду.

Плавание было объявлено в Кронштадте. Пошли всякие толки и рассказы. Зависть к нам была громадная, ибо редки были плаванья заграничные и дальние. Через три или два года посылались в Камчатку транспорты да и всё тут. А потому сходить в Свинемонд или Киль считалось уже важным плаванием. В это время спустили со стапеля первый русский винтовой пароход «Архимед». И на него смотрели как на чудо, но недолго он буровил воду, а как погиб — расскажу после. После меланьичных сборов, то есть долгих и скучных, назначен был день отплытия. В сумерки прибыл из Петергофа царский пароход «Невка» с Его Высочеством и свитой, и тихим ходом, пройдя Малый рейд, где мы стояли, вышли на Большой и скрылись в мраке ночи от злополучного Кронштадта.

Утро было ясное, тёплое, дышалось свободно, впереди рисовалось приятное будущее, тем более для меня, который ещё ни разу не покидал серьёзно родную землю и её воды. Первый день герцога мы и не видали, он не выходил из своей рубки, что помещалась на палубе, и познакомился только с его свитой. На другой день у Дегерорда герцог вышел на палубу, он был сильно ослабевшим, ибо страдал лёгкими, встав только что от серьёзного воспаления. Адмирал Шанц поочерёдно ему нас представил. Каждого он подарил внимательными словами, так что первое впечатление было самое отрадное.

Первый пункт остановки был порт Христиiania*, откуда Его Высочество поехал к королю повидать свою родную сестру и через неделю вернулся назад. Христиiania — это бедный городок, но в нём всё-таки есть музей, и я в первый раз узнал там по картинам норвежского художника Тидемана, который, можно сказать, был родоначальником всех жанровых сцен, которыми изобилует Дюссельдорф, где я уже позднее с ним лично познакомился. Задали нам здесь в городе два обеда, после чего мы и отплыли через Копенгаген прямо в Англию и стали в порте Саутгемптон. Герцог поехал в Лондон, а потом и мы по очереди туда съездили.

Столицу Альбионов я увидел в первый раз. С лоцманами мой английский язык был недурен, а на берегу явились нехватки в знании, но всё-таки я обходился как нельзя лучше. Прежде всего я побежал в Национальную галерею и тут в первый раз увидел мастеров Англии — Лоренца**, Тёрнера, Констебля, Рейнольдса и других. Конечно, я смотрел на всех новых для меня мастеров тупо, делая сравнения с тем, что видел в нашем Эрмитаже, но всё-таки свежесть колорита красок Рейнольдса и кипучий блеск пейзажей Тёрнера на меня очень подействовали. Но Тёрнер почему-то мне был в особенности интересен. Всё в нём, конечно, было ложно, да и перспектива хромала сильно, но гармония красок навсегда запала мне в мою башку. В Гогарте*** я даже разочаровался. Я знал его уже хорошо по гравюрам, сознавая, что он умный художник по злобе и насмешке, но картины его мне показались безжизненны, жидки по письму и вялы по колориту. Да что я тогда и понимал — очень мало, а потому, быть может, после где-нибудь выскажу об английском художестве более зрелое мнение.

Темза с тысячами судов и своим движением меня поразила. Я побывал в Ост-Индских доках, в церкви св. Павла, которая мне показалась очень громадной, съездил в Гравезонд

* Осло — столица Норвегии.

** Томас Лоуренс.

*** Уильям Хогарт.

к знакомому инженеру поручику Эшопару, бывшему там при строении яхты «Виктория». Побывал в каком-то театре и через три дня вернулся домой на пароход.

К вечеру вышел в море и направились прямо на остров Мадеру. Хотя Его Высочеству было, видимо, лучше, но он всё-таки страдал бессонницей, а потому ночи проводил сидя на палубе и куря длинную трубку. А трубок он выкуривал много, и матросики дрались, чтобы подать фтираль поочерёдно. С каждым он поговорит — тихо, душевно, так что в три недели он знал всех насквозь со всеми нашими слабостями и достоинствами. Говоря со мной, он прямо увидел, что во мне живёт чувство художества, и постоянно поддерживал во мне этот огонь. Просил рисовать для него всё, что будет только замечательного в пути, и дал мне несколько книг художественных для чтения. Баженов интересовал его своим разгульным добрым характером. Горковенко вскоре стал ему известен как знающий хорошо языки и даже пишущий человек, Панифидин — как певец русских мотивов, Киткин — как путешельга, действующая на нервы своим визгливым голосом и неуместным смехом. Механик его интересовал саутгемптонским эпизодом, доктор всегда держал с ним медицинские диспуты и прочее.

Пройдя 46 суток, лоя крюком с бараниной акул и касаток, скакавших постоянно около парохода, завидели мы три большие спины китов, бросавших фонтаны. С этими друзьями шутить не надо, а потому ничего против них не предпринимали. Показались сперва острова Дезерташ, а за ними оказался и мадерский пиик — кратер или вершина. Подойдя ближе, завидели белесой полосой город Фуншал, где против крепости на скале Луу-Рокк и встали на якорь. Так как мы пришли из Англии, места холерного, то нам объявили, что две недели должны стоять в карантине. Что делать! Надо было согласиться с постановлением правительства, а потому и выдумывали всякого рода забавы на пароходе.

Но что это за дивный край! И какая тут своеобразная жизнь человека. Тотчас же нас окружили мириады лодок, лодочек и пловцов со всяким продовольствием. Фуншалцы и их женщины плавают, как утки. Случалось видеть людей, проводивших шесть и восемь часов на воде без отдыха. После даже почта наша делалась посредством этих одиночек. Пловец крал письмо в свою остроконечную шапочку и доставлял его цело и невредимо по назначению. Нырjali они тоже превосходно. Бросишь пятак, так он за ним и не гонится, а плавно подплывает и берёт его ртом, ежели не рукой. Но когда перелавались гравеники, пятакки, стали бросать копейки — и те ловили так же бойко. Да как и не глядеть зорко в такой кристальной воде, как океанская. На глубине более 40 футов видите — проходит плавно стадо рыб, черепаха плывёт, хотя и тёмная скотина. Руль парохода виделся до киля совершенно ясно.

Встреча с Карлом Брюлловым

В первый же день к пароходу подъезжала шлюпка, в которой с консулом Лорика был наш знаменитый художник Карл Павлович Брюллов со своими двумя учениками, художниками Железновым и Лукашевичем, но могли только обменяться приветствиями, ибо на борт никого не пускали. Карл Павлович был цветущ, хотя у него была сильная хохотка¹⁴ в Петербурге. Но мадерский воздух кого не исправит, хотя он не забывал и её прекрасный виноградный сок. Ученики у него были бесталанные добрые ребята и почти ничего не делали около великого нашего мастера, который тоже мало работал. На другой год я видел у герцога его несколько прекрасных акварелей и портретов таких же, а у ребят опять очень мало.

Но вот настал желанный день и карантин сняли. Сейчас же Его Высочество переехал на виллу, терраса которой висела на высоте 250 футов над океаном. Природа вокруг палатки была могучая по растительности. И в парке чего-чего не было! Пальмы всякие, бананы, рисовый, яичный плод, чайное и кофейное деревья, а цветы посреди них стелились красивым пёстрым ковром. Будучи всегда гостеприимным, герцог приглашал нас по очереди каждый день к столу, к завтраку, так что проводили мы у него целый день, отдыхая под тенистыми плантациями. Часто ездили верхом, кто хотел, а кто на санях-лукошке, везомых двумя быками в горы, да и по городу. Были на кратере потухшем. Поездка туда очень интересна. По мере подъёма тропические растения исчезают, являются сосна, ель, а потом уже идёт каменная голь до потухшего жерла. А как взглянешь с этой высоты вокруг, так, право, какая-то небывалая полнота души ощущается и взор тонет в беспредельном окружении горизонта. Взглянешь вниз — «Камчатка» наша, как чёрная мошка, окружённая точками, виднеется пятнышком на голубом море. А прибой волны около берега тянется нескончаемой серебристой лентой у подножия городских белых пятен, рассыпанных в зелени. Был я здесь и в лунную ночь и, хотя ничего не пил, но, опьянённый от нервного удовольствия, возвратился домой. Случай последний, конечно, был гораздо ре-



А. П. БОГОЛЮБОВ. Карикатура. 1849.
Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые

вероятно, скажу что-либо о нём, ибо малый он был очень странный и, пожалуй, дико глупый.

Постояли всего месяц на Мадере, пришло время идти обратно в Кронштадт. На смену нам выслан был фрегат «Паллада».

Кумир Айвазовский

Зиму эту я провёл в Кронштадте и Петербурге. Брат мой служил в Гидрографическом департаменте. Он поместился в Галкиной улице, в доме Коробочнева с Воином Андреевичем Римским-Корсаковым, бывшим впоследствии директором Морского кадетского корпуса. Конечно, я был восторженно увлечён всем, что видел. Начал приводить в порядок мои эскизы для альбома. Познакомился в Петербурге с молодыми художниками в Академии и благодаря барону Петру Карловичу Клодту взял 28-ми дневный отпуск, даже стал ходить в рисовальные классы Академии. Но кипела жизнь во мне, и я работал так мало, пополая недостатки движения бойкими впечатлениями виденного, которые сбывал тому же Кузину по 10 рублей.

Тут я впервые познакомился с Айвазовским, который уже гремел славой великого таланта. В его квартире-мастерской я увидел в первый раз такой блеск красок на холсте, что даже позабыл Тёрнера. Синие, жёлтые, белые, серые и красные картины просто меня слепили. Я увлёкся ими до гадости, стал подражать и увидел, что это дело на руку лёгкое и скорое, тем более, что сам художник сказал мне: «Пишите всё сразу. Я так пишу, ибо свежее этого ничего нельзя воспроизвести».

Взяв эту истину за основу, я малевал бойко, нераскаянно думая, что делаю хорошо. Так что в неделю отпускал пять и шесть развратнейших картин, которые всем нравились, и я часто слышал: «Да, знаете, это чуть-чуть не Айвазовский». В это время точно из Гайвазовского он сделался в Айвазовского, ежели не верите, то посмотрите в галерее П. М. Третьякова в Москве картины с такою подписью. Ореол славы его был громадный: Государь Николай Павлович спрашивал у своих царедворцев: «У тебя есть картины Айвазовского? Нет? Ну, так приобрети!». А потому заказы как царские, так и частные сыпались ему из рога изобилия, а он, в свою очередь, писал без усталости, так что «Ералаш» Невахови-

* Любитель (от франц.).

ча изобразил Айвазовского сидящим на паровозе, а справа и слева на столбах стояли уже оконченные картины. В театре модный художник в первом ряду кресел стоял, гордо закинув гриву на застылок. Все его искали и шептались тихо вокруг: «Это гений Айвазовский!». Конечно, в этом чаду не до науки человеку талантливому.

Так он и пишет до сих пор — быстро и бойко. Все газеты писали позднее, что он в виду академических учеников сработал картину два с половиной аршина длиной и в полтора шириной в три часа времени, и все дивились быстроте! Но отчего же не сказать тут же, что в «Фоли Бержер»¹⁵ я видел однажды, что господин какой-то писал картину, правда, вполтину меньше, в десять минут — часы в руках. Ведь в быстроте последний, право, ещё успешнее нашего гения! Не отрицаю, что я тогда смотрел на Айвазовского теми же глазами, как и все его поклонники, ибо не было никого у нас в это время из современных пейзажистов, которые блистали бы такою фугою красок, как он. Почтенный и умный мой профессор, впоследствии, М. Н. Воробьёв, конечно, был художник серьёзный, но старой школы, хороший рисовальщик, но по краскам вялый и грязноватый. Был, правда, гениальный Щедрин, но он писал так мало, что его тогда и не ценили.

Итак, не было для меня другого кумира, как Иван Константинович. Он был со мною ласков, приветлив, даже раз до ушей моих долетели слова его к какому-то посетителю на вопрос, кто я такой: «А, это преталантливый молодой офицер», что меня очень ободрило, ибо слова такого художника были для меня многозначущи. После другое выяснилось и я узнал, к сожалению, что это за армянская натура. Впрочем, когда я стал сам художником, то посмотрел строго на него и на себя и вывел такое заключение, что близкого у нас ни в живописи, ни в воззрении на искусство ничего нет. Итак, в это время Айвазовский возжёт во мне огонь, хотя неважный, но способствовавший валять картины дюжинами и сбывать их всюду за гроши.

«Будьте художником»

1850

На следующий, 1850 год мы опять в том же составе пошли ранней весной в море, но не на Мадеру, а в Лиссабон, куда герцог Лейхтенбергский прибыл на фрегате «Паллада» и пересел к нам через неделю.

Вход в Лиссабон с моря очарователен! Широчайшая река Тахо бросается в море в самой живописной местности, гористой с обеих сторон. При входе стоит древняя мавританская башня Баллем с кружевными галереями. Далее тянутся набережные так, что доходишь по ним до торгового порта, к которому с гор текут улицы Золотая и Серебряная. Всё напоминает здесь о прошлом величии и роскоши, но настоящее было бедно и грязно. Кое-где в городе виднелись ещё следы страшного прошлого Лиссабонского землетрясения. Поехали мы посмотреть загородные дворцы Чинтру и Мафру, побуждали по городу. И через десять дней вышли в море. В Тахо мы стояли бок о бок с английской практической эскадрой. И тут-то я вспомнил наш Кронштадтский рейд, когда он оглашался раздирающими душу голосами матросов, которых пороли за всякие преступления, но только паузы болей людских здесь были продолжительнее, что ясно говорило, что у них дерут людей ещё свирепее.

В Бискайском море нас сильно отваляло, и только от маяка Уэссан в Бретани погода была потише. Все пассажиры наши лежали в лёжку до прихода в Саутгемптон. Здесь опять, кто хотел, побывал в Лондоне. На пути сюда у нас умер матрос холерою, что произошло на всех тяжёлое впечатление, но, слава Богу, больше жертв не было. Далее мы поплыли в Голландию, в порт Хелдер, и стали исправлять кое-что, поломанное бурей. Герцог, съезжая с парохода, рекомендовал мне посмотреть музеи Амстердама, Харлема и Роттердама, что я и исполнил. Но по неразвитию, конечно, тупо смотрел на великих мастеров, как Рембрандт, Ван дер Хельст, Рюисдаль* и прочих. Но меня всё-таки и тогда поразила Франс Гальс, когда увидел в Харлеме его полные жизни произведения. И с тех пор он у меня почему-то стоит выше всех мастеров фламандской школы.

Но хотелось видеть что-нибудь новое, я пробрался с Горковенко в Брюссель и тут впервые увидел юную европейскую школу. Галле меня просто поразил. В новом городском музее я увидел Мейссонье, Ари Шеффера, Поля Делароша, Декана, Марила, Калама, Диде, Коро, Руссо, Энгра и прочих. Увидел, также впервые, Марины Андрея Ахенбаха, и со мной сделался снова такой переворот, что всё прежнее — Айвазовский, наш Эрмитаж, Амстердам, Харлем, Брюссель — всё спуталось, начало бродить, кипеть и вышел сумбур, от которого я долго не мог установиться хоть в каком-либо направлении.

* Якоб Изакс Рейсдаль.

Вернувшись домой на пароход, я сел за работу и, вдохновясь архитектурой Ван Мейса, сделал гавань, какая в Амстердаме. Пленяли меня очень мельницы, пузатые кафе с красными и жёлтыми парусами, и я старался быть колоритным до отчаяния. Выходили, конечно, мазанки какие-то и не более, но всё-таки древних мастеров я ещё не понимал и смотрел на них, как на нечто прошлое, забытое, но жаждал новизны и в ней только видел блеск и силу, возможное учение и подражание. Кроме герцога, никто мне не сказал ещё, что древние мастера суть столпы нашей науки, а потому слова Его Высочества сильно запали мне в душу и я говорил себе — не может же быть, чтобы такой высокообразованный человек не видел правды в искусстве.

Пришли в Свинемонд, здесь Его Высочество нас покинул. Трогательным было с ним прощание, так он сумел всех привязать к себе своею высокою душою. Он был, слава Богу, здоров, загорел и смотрел совсем бодро. Прощаясь со мной, он сказал: «А вы, господин Боголюбов, мне сделайте то, что начали. Я жду от вас альбом моего вояжа. **Желаю вам счастья и науки, и чем быть дюжинным офицером, будьте художником, катается, вы тут вновь успеете**». На прощание Его Высочество подарил мне щенка Дакс, которого я назвал под влиянием чтения романа Поль де Кока — Мустанг. Об этом умном псе скажу далее, ибо он был очень забавен.

С этой великой минуты судьба моя была решена. Я решил во что бы то ни стало перенести фронт и идти по новому, указанному мне Богом и герцогом пути.

После возвращения из Пруссии в Кронштадт пароход наш скоро откомандировали в Данию, в распоряжение начальника штаба стоявшей тогда в Заненбурге русской эскадры под флагом вице-адмирала Ивана Епанчина. Эпизод этот у нас назывался Шлезвиг-Голштинским походом. Стояли там для страха кому следует десять наших кораблей. В конце концов пора пришла и им уходить. Приехал король датский, давался прощальный обед, где все очень выпили. Король просил перевести адмиралу и передать свою живейшую благодарность за стоянку в его водах, а адмирал кричал Глазенапу: «Богдаша! Переведи Его Величеству, что пока Епанчин с ним, то может на обоих ушах спать покойно». Конечно, тонкий и образованный Глазенап переводил и передавал совсем другое королю, почему оба остались очень довольны своими речами. Дым и гром салюта с криками «ура» окрасили ещё более картину расставания.

Флигель-адъютант Богдан Павлович Глазенап вскоре переехал к нам, и мы пошли в Копенгаген, куда пришёл также фрегат винтовой «Архимед», которым командовал его родной брат Владимир Глазенап. Будучи по дипломатической части, Богдан Павлович должен был остаться ещё несколько дней в Дании для устройства дел по пребыванию эскадры. «Архимед» вскоре развёл пары, прошёл у нас под кормой, люди высыпали на ванты, кричали прощальное «ура», на которое им отвечала наша команда тем же дружным приветом. Но вот какую печальную новость узнали мы на другой день вечером. Прошёл пароход с моря и говорит, что русский фрегат выбросился у острова Борнгольм на берег. Никто этому не хотел верить. Сказали печальную новость Глазенапу, тот побледнел. После того то и дело спрашивал проходящие суда. К утру узнали, что это истина, а потому тотчас же снялись с якоря и пошли к месту крушения. Найти его было не трудно, ибо явилась догадка, что он держал южнее мыса и принял маяк Моль за Борнгольмский. Когда мы бросили якорь, то увидели фрегат уже без мачт, лежащий на правом боку. Вскоре братья встретились, трогательно было видеть их. Конечно, вся тридцатилетняя служба Владимира Глазенапа погибла разом, а вместе с ней погиб и первый русский винтовой фрегат.

Придя в Кронштадт, после разоружения, я стал серьёзно думать, как бы устроить себя на карьере художника. Думал я об этом не раз и прежде, когда меня обольщали пошлый успех наживы от Николаев Павловичей, Николаев Чудотворцев и панданчиков Кузнецких. Заветную мысль мою я сообщил матери моей, но кроткие её слова, что я на хорошем счету по службе, что искусство дело тяжкое, коли нет таланта и денег для науки, заставляли меня смириться, и я опять шёл прежней колеёй. Но теперь я порвал всё и пошёл благоразумно к достижению моей цели. Служба на пароходе «Камчатка», конечно, была вполне лестная. Но все мы должны были серьёзно подумать о более существенном. А. С. Горковенко, А. И. Баженов хотели повышения. Я смотрел на искусство, как путь спасения. Все офицерство наше было brave, так что и стих сложили следующий:

Ус нафабрен,
Бровь дугой,
Новые перчатки.
Это, спросят, кто такой?
Офицер с «Камчатки».

Но вскоре А. И. Баженов женился на племяннице адмирала Беллинсгаузена, что нас всех снова подняло в общественном мнении, ибо адмиральша взмолилась, а то мы не хотели идти на свадьбу к товарищу. Всё шло хорошо, и Шевандин, командир, нами гордился, но свои интересы были сильнее.

В то время жил-был в Кронштадте полковник Заржецкий — славный строитель фортов Меншикова. Он был образованный инженер, любил искусство, часто со мной беседовал о моей жизни вообще, и когда я ему сообщил сказанное герцогом, показал ему свой альбом, он сильно мною заинтересовался и вот как повернул дело. В Кронштадте в то время помещался Учебный экипаж, командир его был из армейских, полковник Курлов. Такой палочной дисциплины и точности в военных артикулах и в гвардии не бывало. В Петербурге был другой Учебный экипаж, что составило бригаду, а потому был и бригадный командир генерал-лейтенант Кохиус. Этот генерал был три Курлова по изучению шагистики и всякой солдатской выправки. Выбыл у него адъютант личный. Заржецкий был с ним друг и приятель, и вот он его убедил взять меня к себе на службу. Представя, сказал, что из меня будет художник, ежели он даст мне свободу заниматься в Академии. «Да ведь он вовсе не фрунтовый», — отвечал генерал. «Да какой вам фрунтовый нужен, он честный малый. Ежели дадите ему какое-нибудь поручение, то никогда вас не надует. А фрунтовика зачем вам?». Генерал был убеждён, и я был снова в Петербурге постоянно.

Случился смотр в Петербургском экипаже и училище, прибыл князь Меншиков, почему-то и меня увидел. Я смотрел браво, стоял вытянувшись, Кохиус сказал: «Мой адъютант лейтенант Боголюбов». Он подходит ко мне и говорит: «Это ты, батюшка, представил альбом герцогу Лейхтенбергскому?». — «Я, ваше сиятельство». — «Хорошо, да где же ты учился?» — «В корпусе Морском и на службе». — «Его Высочество говорил мне, чтоб ты ходил в Академию, как вы об этом думаете, генерал?» — «Очень буду рад, когда свободное от службы время господин Боголюбов посвятит науке». — «Ну, так и действуйте», — сказал князь.

Итак, мне повезло, и всё это сделал благодетельный герцог! Правду сказать, что друг его и секретарь Е. И. Мюссар очень часто напоминал о моём желании быть художником. За альбом мне был дан перстень в тысячу пятьсот рублей, и я пошёл тотчас же записаться в ученики Академии. Поступив туда, зачислился к пейзажному профессору Максиму Никифоровичу Воробьёву.

Академия искусств или свободным искусствам

Профессора и товарищи

Что за чудное это учреждение, какой дивный мавзолей — Кокоринское здание¹⁶, — думал я, входя на этот раз серьёзно под громадную его крышу. Благодетельная реформа герцога Лейхтенбергского уже коснулась её, ученики сделались не такие, как были прежде, то есть замкнутые в дортуары, а свободно и вольно приходящие. Я был знаком при поступлении сюда с двумя деятелями Академии, с профессором Петром Карловичем Клодтом, известным нашим скульптором, и конференц-секретарём Академии Василием Ивановичем Григоровичем.

Барон Клодт лепил в это время памятник Крылову, что в Летнем саду стоит. Дело дошло до басни «Квартет». «Проказница мартышка» требовала природы, а у меня был Яшка мадерский, с которым я даже желал расстаться, а потому и предложил ему мою обезьяну, которую он принял с удовольствием и увековечил на своём знаменитом памятнике.

Кто знал этого прекрасного человека, тот, вероятно, навсегда сохранил о нём самые высокие воспоминания. Кого он не пригласил добрым словом и кому он не помогал денежно. Семейство его было всё художественное. Радужье и гостеприимство царило в доме, где в безрукавке наш знаменитый скульптор принимал и царей и всех добрых людей.

Григорович был сила великая тогда, и благодаря ему я начал свою науку в рисовальном оригинальном классе, откуда скоро перешёл в гипсовые головы. Он принял меня очень хорошо, отрекомендовал профессору Воробьёву. Максим Никифорович был умный человек, художник сухой. Читал он у нас перспективу и часто входил со мной в диспуты, ибо я её знал математически ещё в Морском корпусе, но он выучил меня прилагать её просто практически к натуре. Был он не кто другой родом, как сын солдата-привратника, что ни мало его не умаляло, но, напротив, заставляло почитать, ибо он образовал себя вполне, знал французский и итальянский языки, был хороший музыкант, даже ценитель и критик музыки. Играл с гр. Вьельгорским в квартетах вторую и первую скрипку, что было уже хорошим ручательством, что он был признан в этом умном кругу людей вполне светских того времени.

Офицерский мундир мне много помогал. Я познакомился с вице-президентом графом Фёдором Петровичем Толстым. У него игрались домашние спектакли, и я не замедлил поступить в труппу графини, которая имела к этому делу порядочную слабость. Фёдор Петрович был высокообразованный человек, хотя и проклят родителями за то, что смел из такой фамилии сделаться художником, когда в Академию отдавались только барские холопы.

1851

Вскоре я познакомился с молодёжью — кн. Василием Николаевичем Максutowым, баталистом, учеником профессора Виллевалде, с глухим уже тогда, добрейшим Владимиром Сверчковым, Бронниковым, Сорокиным, Лагорио, Чернышёвым и прочими. Первые два были прежде офицеры гвардии, а потому мы скоро сдружились.

Профессор Богдан Павлович Виллевалде меня тоже прекрасно принял. Старик-ректор живописи Шебуев приласкал, и я начал работать во все пары. Кроме вышеупомянутых профессоров должен упомянуть о Басине, Александре Павловиче Брюллове, Фёдоре Антоновиче Бруни. Последний был сильно в ходу, директорствовал в Эрмитаже, давал интересные маскированные балы и вечера. Толстая подруга его жизни, дочь трактирщика в Риме, отыгрывала такую барыню, что ей шло, как корове седло. Был также профессором Алексей Тарасович Марков. Это — адамова голова со стоящей в разнотык щетиной. К. П. Брюллов окрестил его в Колизей Фортуныча, нищего профессора в долг. Это потому, что он только и сотворил в жизни картину «Фортуна и нищий» и написал за все 8 лет римского жития эскиз «Колизей, или первые мученики христианства», пообещав написать картину. 25 лет белый холст стоял в его мастерской, и картину никто не увидел. Но, оставя эти насмешки в сторону, всякий из нас отдаст ему справедливость, что это был лучший профессор и преподаватель, а потому учеников у него было более всех. Басин, Бруни тоже были прекрасные рисовальщики, все они учили нас этому делу очень хорошо, преследуя классическое направление, что и давало прекрасные результаты, и шла в Риме даже добрая слава, что русские ежили не мастера писать, то все рисуют хорошо.

По архитектуре тузом смотрел профессор К. А. Тон, за ним шёл Александр Павлович Брюллов, Мельников и другие. Тон был ректором, строил всё крепко, но некрасиво, вор был первоклассный, по воспитанию невежественный и неучёный, хотя большой практик. А. П. Брюллов был вполне образованный человек своего времени, рисовал даже портреты прекрасно, пейзажи, кроме своей специальной работы. Математику высшую знал превосходно, был гостеприимен и честен в своих отношениях к ученикам, которых не эксплуатировал никогда, платя широко за труды помощникам. Тон, напротив, всё брал чистыми, а платили помощникам подрядчики. Тогда приехал из-за границы пенсионер Резанов, липко и слепо пошёл по следам своего учителя, которого во всём даже превзошёл, ибо был его гораздо умнее и хитрее. Будучи богат, Тон жил широко, кормя и поя всех пресмыкающихся вокруг него. Женился на девке-натурщице, которая была прекрасная пара м-м Бруни в смысле светского воспитания. Профессором гравюры был добрейший Н. И. Уткин. Кто знал этого образованного почтенного старика, внимательного, честного, тот никогда его не забудет. Умер он 83-х лет, состоя профессором, был в числе лучших наших европейских гравёров. Биография его известна, и, право, следует почитать её, чтобы узнать поближе эту почтенную личность.

К. П. Брюллов считался профессором, но был за границей, не переставая быть для нашей школы славным широким художником, хотя записной рецензент Стасов и старался смешать его с грязью. Всякий мало-мальский образованный человек, конечно, этому не поверит, но было время, лет десять, что талант Брюллова был у нас помрачён. Подогретый квас — гадость, тогда как нормальный хорош и любим народом! Этого Стасов никогда не понимал. Никто не поспорит с ним, что Брюллов у нас не создал школу, но никто от него не отнимет, что он работал превосходно, писал хорошо и мыслил, хотя и под влиянием старых мастеров Италии в своих больших произведениях, но в жанрах, портретах, акварелях и рисунках был всегда велик. Но у Владимира Васильевича вечно были крайности дикие! Хорош художник — до гадости его превозносит, посредственный — так опять совсем подлец! Умеренной и разумной критики у него никогда не было. Смотреть на картину и видеть в ней тонкое чувство колорита, техники, рисунка он не умел, а копал только «содержательность». Слово, которое до сих пор им практикуется без всякого понятия, что оно значит. Правду сказать, трудился он много, чего не перерыл, гнул дуги непаренные, как медведь в лесу, и так часто обрывался в своих тупых и огромных суждениях и критике, подписываясь В. С., что между нашим братом-художником эти две начальные буквы выражали «врёт смело». Но о нём придётся говорить позднее, ибо рано он начал пакостить русское художество и не мало сбил с толку юных, не стойких, голов, проповедуя им национальную тенденциозную самобытность, грязную, грубую и пошлую. Человек он был много

читавший, прекрасный, добрый, услужливый, дорывался в архивах до гла, чтоб достать вам материал для картины, но всё портил, навязывая тут же свои воззрения молодому художнику для выполнения их¹⁷.

Наказ царя

1852

В это время поговаривали сильно о 100-лети Морского кадетского корпуса. Директор его контр-адмирал Николай Петрович Римский-Корсаков был ловкий жонглер своего времени, светский, тёрся при Дворе, бывши флигель-адъютантом, с блеском командовал прежде 16-м флотским экипажем и кораблём «Кацберг». Вступив в корпус после И. Ф. Крузенштерна, он прямо потребовал перестройки здания. Переломал его разумно и, любя роскошь, стал украшать картинами среднего достоинства, ибо платить широко не любил. Года два тому назад, зиму в Кронштадте, он заказал мне сделать для тамошних царских комнат три картины: «Корабль „Императрица Мария”» (с Воробьёва) изображала шторм, вынесенный императором Николаем I у берегов Варны, где его чуть не выбросило на неприятельский берег, но капитан корабля Папа-Христо стойко отлавирил от берега; «Смотр русской эскадры в Буюк-Дере» — с какого-то француза; да «Бриг „Меркурий”» — эпизод турецкой войны 1828 года, который я написал самобытно. Картины эти и теперь висят в залах Морского корпуса. Но к 100-летию он мне предложил написать «Афонское сражение»¹⁸, материал которого я давно заготовил от героя его, моего почтенного адмирала А. А. Дурасова.

Ко дню 100-летия картина была готова, и Римский-Корсаков представил меня, показывая её Его Величеству. Государь долго на неё смотрел, взял лежавший под рамою плащ в руки и, обратясь ко мне, спросил, давно ли я занимаюсь живописью и где. «Теперь я учусь в Академии, а прежде учился в корпусе Вашего императорского Величества». — «Да! Помню, ты писал «Наводнение 24-го года в Кронштадте». Спасибо, продолжай!» За картину дали мне 1000 руб., и Государь заказал ещё копию для Военной галереи Зимнего дворца, что я и исполнил¹⁹.

Итак, это было второе слово, обращённое русским царём ко мне. Первое было по службе, когда в один из Июльских праздников меня назначили в Монплезир для наблюдения за 30-ю человеками из иллюминационной команды матросов для мытья посуды серебряной. Ужин был в полном разгаре, шкалики почти догорали, ясно доносилась музыка. Вдруг, вижу, подходит Государь, заложа руки назад, остановился около куста и внимательно глядел, как матросики сперва пихали всё, что оставалось съедобное, в свои шапки и карманы, а потом, облизав блюдо или тарелку, передавали её мытейщикам, которые в свою очередь её долизывали. На лице его была добрая улыбка. Вдруг он величаво вошёл, сказав звонко: «Здорово, ребята». Все вскинулись разом, но слово: «Продолжай» — возбуждало снова кипевшую работу. Я стоял тоже вытнувшись, рука под козырь кивера. Сказав «Здравствуй», царь спросил, какой это экипаж, ибо матросы были в колодках. Я ответил: «16-й, Ваше Величество». — «Сколько их здесь?» — «25 матросов и 5 бойцов». Стоял поодаль в красном фраке гофурьер, что ли. Он его подозвал, сказав: «Офицера и команду накормить». И пошёл дальше. Меня накормили, а матросы всё, что им предлагали, пихали опять за пазухи и в штаны, отчего все казались раздутыми, ибо сыты были первыми обедами.

Получив заказ, я долго счёл сообщить министру Двора. В это время князя Петра Михайловича Волконского сменил граф Владимир Фёдорович Адлерберг, доброту которого я буду помнить до конца моей жизни. Он, видимо, мною заинтересовался и велел к себе ходить, одобряя моё художество и учение в Академии. Опять тут я видел доброе слово герцога Лейхтенбергского.

В Академии художеств по вечерам мы устраивали натурные костюмные классы, беседы были шумные. Тут я познакомился с массою художников всякого пошиба, и вот какой тогда существовал промысел. Ученик Грим профессора Виллевалде был немец бесталанный, но хитрый на раздобычу денег. Чёрт его знает, как он пробрался к кн. Волконскому — через лакеев или горничных, вошёл в его доверие и устроил дело сбыта очень хитро. Бывало, намалует кто какую-нибудь мерзость, он её отбирает и тащит князю и приносит кому 20, кому 10, а кому 50 рублей.

Стали за ним следить, и вот в один день, когда Грим тащил во дворец здоровую вязанку художественной мерзости, ученик Чукаев вошёл вместе с ним в приёмную князя с картиной в руках. Грим стал его гнать, но так как тут было много народа, то тот остался, и когда министр вышел к просителям и обратился к Чукаеву и Гриму: «Вы что?» — «Картину принёс», — сказал первый, а второй — во множественном ту же фразу. «Поставьте их

в кабинет». В кабинете сидел чиновник, картины расставили по стульям, вернулся его сиятельство, покрутил сомнительно носом и говорит Чукаеву: «Вам 25 рублей и картину обратно». А Гриму — «За эту — 10 и обратно, за эту — 15, за эту — 10» и т. д. Взял только одну, какого-то солдата с трубкой за 50 рублей, а остальное всё потащили назад. Чиновник выдал деньги, и дело теперь сделалось ясно. Государь раз навсегда дал приказ Волконскому — мерзость не брать, а давать в виде поощрения полцены, а картины возвращать художнику, забрать только сносное. Но Грим брал с кого пять, с кого три, а с кого десять рублей себе за труды, оставляя и картины для новой продажи уже в собственную пользу.

За такую проделку, конечно, вне стен Академии, товарищи ему сильно побили морду. Но с назначением гр. Адлерберга в министры он снова стал ходить в класс, устроив тот же промысел, но ещё тоньше, то есть через Минну Ивановну Буркову, известную фаворитку графа.

Фёдор Бронников

Посещая Академию, я очень сдружился с учеником её, Фёдором Андреевичем Бронниковым, с которым мы остались истинными друзьями до сих пор и умрём в этой чистой дружбе²⁰. Знакомец мой был родом из Шадринска. Отец его, мещанин, не бойко торговал рыбой. Юноше попалась гравюра на дереве, он стал вдумываться, как это делается, и собственным умом и ножичком стал делать разные изображения на липовой доске, оттискивая потом тоже собственными средствами с помощью ваксы на бумагу. Любовь к художеству была ему прирождена, и вот он с рыбным обозом пришёл в Петербург. Купчина-подрядчик его кормил и поил, но настало время отъезда назад. Бронников никого не знал в Петербурге и в Академии, с робостью заглядывал в её широкую дверь, но войти боялся. Глядя разные гравюры древесные в изданиях, он прочёл: «Бернардский». Отыскал его и явился, прося работы. Кулак-художник испробовал его художество, оглядел прежнюю ваксу и говорит: «Возьму на выучку на пять лет бесплатно из харчей и одежды, хочешь?» — «Конечно, хочу», — ответил Фёдор Андреевич. И так он стал его учеником. Хозяин одел его, как тогда одевали всех подмастерьев, в китайчатый халат да дал сапоги.

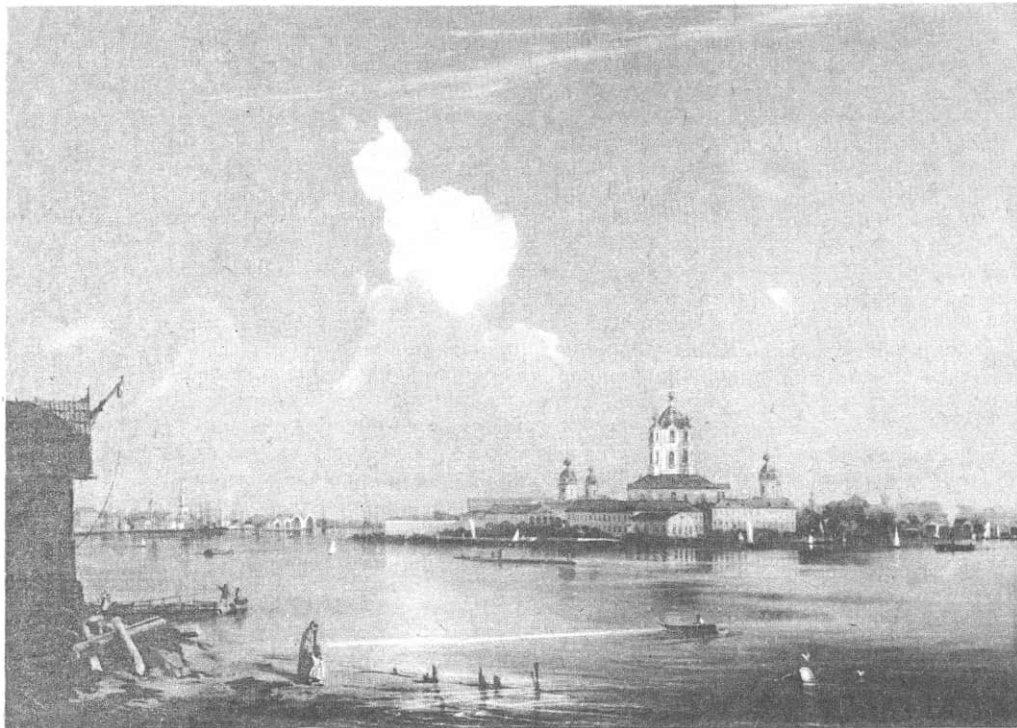
Заходит к Бернардскому барон П. К. Клодт, осматривает работы и видит оттиски Бронникова, интересуется им и говорит хозяину: «Вы этого молодца пошлите в Академию в вечерний класс учиться рисовать, он очень талантлив». Бернардский пообещал, но ничего не сделал. Заходит опять Пётр Карлович и говорит: «Отчего же вы его не посылаете, я ему дам даровой билет, пусть учится». — «Да ведь он у меня по контракту, это мне не с руки, он и так хорош». — «Да это разве негры у вас? Это люди — нельзя, вынуждая нуждой, губить человека. Вы это сделаете или, знаете, у меня рука длинна, чтобы вас изобличить». Бернардский испугался, и Бронников поступил в Академию учеником. Скоро контракт был уничтожен по настоянию Клодта, но, как честный человек, Фёдор Андреевич всё-таки четыре года ходил к старому хозяину в часы досуга, и лучшие гравюры «Мёртвых душ» Гоголя — его работы, хотя и не его подписи.

Большая золотая медаль

Написал я картину «Китобой», в каком море, право, не знаю. Кита я видел, а как их бьют — никогда. Всё это было дело моего воображения. За картину эту дали мне Первую серебряную медаль и перевели в натурный класс. «Китобой» мой купил за ничто почт-директор Прияшников, который был собиратель по дешёвым ценам русской школы. Впоследствии эта галерея составила основу Румянцевского московского музея.

Первая серебряная медаль опять придала мне форсу. Надо было думать о Второй золотой медали, почему из дома Гофмана на Большом проспекте и 14-й линии, где мы жили с братом, я временно переехал на Большую Охту, чтоб писать этюды Смольного монастыря от Охтинского перевоза, взяв с собой пса Мусташку для развлечения. Но вдруг на 3-й день он у меня пропал, что немало меня огорчило. В конце недели я поехал домой и нескладно обрадовался, когда он меня встретил в доме Гофмана. Пёс этот, точно, был очень смыслённый. При нас жили два крепостных человека — Степан Васильевич, старик уже, и Прокофий, или Прошка. Первый испивал, и когда старший брат мой делал ему внушение, то тот хрипло отвечал: «Вспомните, барин, что я вас держал, когда отец ваш сёк вас розгой». Такое убедительное слово старого слуги смягчало пыл. Прошка был у нас и повар, а потому всегда ходил на Андреевский рынок с Мустангом. Купцы и приказчики знали собаку, ласкали и прикармливали, заставляя делать разные проделки. Например, скажут: «Умри» — и пёс вдруг хлоп на бок! Мусташка, конечно, таскала, что прикажешь, служил, ходил на задних лапах, кувыркался через голову, входил по лестнице, положенной на крышу сарая, гнался за кошками, словом, был готов хоть в любой цирк на показ. Город он знал в совершенстве. С Васильевского острова бегал к тётке моей в Смольный с визи-

том, к дяде в I-ю линию, забегал на рынок, ежели чувствовал голод, к торговцам. Был драчлив до изнеможения сил и весьма ласков с знакомыми. Но визиты его не ограничивались одними петербургскими знакомыми. Раза два я посылал Прошку с ним в Кронштадт, и что ж, приезжает однажды оттуда к нам мой бывший сожитель В. А. Римский-Корсаков и привозит с собой Мусташку. Оказывается, это не первый раз пёс самостоятельно туда ездил, а бывал раза три на пароходе.



А. П. БОГОЛЮБОВ. Вид Смольного монастыря с Большой Охты. 1852. Масло. ГТГ

Вернувшись с Охты к октябрьской выставке²¹, я стал писать картину «Смольный монастырь». Дали мне мастерскую как конкуренту, и в 2 месяца я её окончил. Мастерская была в верхнем циркуле, это были комнаты в два или одно большое окно, отделённые друг от друга холщовыми перегородками. Я работал подле Бронникова с одной стороны, а с другой — кн. Максудов писал батальню времён мятежа Польского. Далее шёл нескончаемый ряд таких же мастерских конкурентов. В центре их помещалась мастерская художника Ксенофонтова. Человек этот был воспитания купеческого, религиозного, пел на клиросе в хоре, и, бывало, ежели затынет какую-нибудь «Херувимскую» или «Спаси, Господи, люди твоя», то все мастерские подтягивают, заливаясь на разные тоны и варианты. У него же работал добрейший, но весьма ограниченный художник, купеческий сын Плешанов, обладающий крутым басом, который тушевал всё в общую гармонию. У них же было и постоянное чаепитие, от чего переходили к водке и колбасе с чесноком. Раздавалась иногда и народная песнь со свистом и гиком так, что кисти и палитра летели к чёрту и заменялись трепаком, взамен гимнастики.

Натурщицы были всегда плохи, главная их сводня прозывалась Кузьминишна. Она была ещё времен Оленинских²², знала всех профессоров своей молодости. Пользовалась всеобщим уважением, называя Брюллова Карлушкой, Маркова — Алёшей, Бруни — Фёдкой. Так же и нас она чествовала. Всегда приходила расстроенная или «с перетуру», как называла это состояние, прося для восстановления здоровья водочки, а ежели её не было, то сама за ней бегала охотно. Воспитанницы её были молодые натурщицы Аксюша и Настя. Первая соответствовала сильно модели Марии Египетской и, наконец, сделалась впоследствии княгиней Черкасской, пройдя в Париже через всякие перипетии и гадости. Бла-

годаря подлости художника Грузинского изловили они бедного князя, которого вместе ограбили дотла. Вторую же умный скульптор Микешин стал мулировать с натуры, облепляя глиной, извлёк из неё животную теплоту в массу, и бедная девушка впала в чахотку! Конечно, сделано это было по невежеству, но никак не с намерением.

Кроме этого, в мастерских устраивались разные забавы художественные. Был у нас товарищ, пан Маршевский, писал картину «Ледоход на Неве у Зимнего дворца», бился, бился, и вот дело пошло на лад. Почему в виде поощрения положено было ему помогать посильным трудом. Я написал воздух сырой и лёд, Чернышёв — перспективу Зимнего дворца, Максутов — Государя Николая Павловича, а Владимир Сверчков — снег, сани и пуделя, с которым любил гулять император. Картину представили — получила полное одобрение, выдана Первая серебряная медаль, и была куплена Его Величеством за двести рублей. По бедности некоторые из нас сами золотили свои рамы по левкасу и лепили угольные орнаментом.

Но вот наступила выставка, все с трепетом ждали своей участи в трактире «Золотой якорь», куда собиравались, ожидая прибытия вестника — вахтёра Евреиннова или натурщика Тараску, которые присутствовали при обходе профессоров и приносили горячие новости, за что им платили и накачивали водкой до положения риз. Бронников, кн. Максутов, я, Веннг, Сверчков Владимир получили медали золотые второго достоинства²³. Радость была великая.

Августейший президент наш послал за мной на другой день и поздравил с успехами, сказав: «Ну, ещё год — и моё пророчество исполнится!». Но не так распорядилась судьба. Вскоре Его Высочество скончался, и я остался без благодетеля, которого чтил как отца родного. Но, умирая, он, вероятно, передал меня Великой Княгине Марии Николаевне, которая приняла меня весьма ласково и, став нашим президентом, всегда была ко мне безгранично милостива.

Но вот ещё новая тревога в моей жизни. Составлялась в 1852 году экспедиция в Тихий океан под начальством вице-адмирала Путятина на фрегате «Диана». При адмирале состоял капитан-лейтенант К. Н. Посьет, впоследствии воспитатель В. Кн. Александра Александровича и министр путей сообщения. Он знал меня хорошо, хотя был старше по службе, и как интеллигентный человек интересовался моими художественными успехами. Он думал, что я буду очень рад пописать в этом походе, куда вся флотская молодежь рвалась без удержу, ибо походы такие открывали будущность. Но моя уже была назначена на другом поприще, почему я был очень озадачен, когда мне это сообщил форменно адмирал Гейден, директор инспекторского департамента. Поблагодарив Посьета, я ему высказался и просил содействия его, чтобы оставили меня в покое. Отказываться от лестной службы было трудно, пришлось говорить, что я нездоров, что опять было глупо, ибо я был здоров, как бык. Побежал я к генералу Кохнусу. «Защитите, — говорю, — ваше превосходительство». Тот ответил, что это трудно, ибо меня ведь повышают этим назначением, и, наконец, перебирая разные способы уклонения, пришёл к тому, чтобы я отпраздновал к врачу экипажа и взял свидетельство, что я страдаю венерою. Меня оставили в покое, но отговорка сильно не понравилась начальству, и когда об этом доложили кн. Меншикову, то он ответил: «Ну, чёрт с ним, бросьте его!». Видя всё моё будущее в художестве, я был прав, а ежели бы оно не удалось, то проиграл бы много в карьере морского офицера²⁴.

Потерпев крушение, будучи послан к чёрту его светлостью, я встретил Васильева, рассказал ему мой успех в Академии, мои надежды на будущее и просил защитить меня добрым словом. Через некоторое время князь потребовал меня к себе, спросил, смеясь, о здоровье, показал свои картины, между прочим «Бомбардировку Красной Горы» Айвазовского, и сказал: «А вот я вам дам документ, чтобы вы сделали этот же вид на третий день бомбардировки» (которую он вёл). Простился весьма ласково. Но, будучи вскоре послан в Константинополь перед началом войны, работу не дал.

Живя в Петербурге, через старого друга моего Александра Ивановича Лера, служившего в морском артиллерийском департаменте и занимавшегося частным образом у известного почтенного купца, Почётного гражданина и даже действительного статского советника Василия Федуловича Громова, я был приглашён к последнему на бал. Благодаря кронштадтскому воспитанию я был плясун неутомимый, врал бойко всякую всячину барышням, и, ежели меня за это кормили, то, правда, не даром, ибо службу свою я нес честно. Поужинав очень плотно и даже чересчур, народ стал разъезжаться, но пьющие чашу до дна допивали её в кабинете хозяина. Тут ко мне стал приставать какой-то плюгавый купеческий сынок, я, не церемонясь, послал его к чёрту! Он обиделся, полез опять, и в третий раз. Это меня взбесило, я повернул его и сильно толкнул в угол, куда он и полетел кубарем.

После чего я уже не помню, что со мной было.

Наутро я проснулся, вижу, что лежу не у себя дома, а в прекрасной комнате, опять задремал. Часов в 11 утра взошёл лакей. «Где я,— спрашиваю,— у кого?» — «Да у Василия Федуловича». Мне стало ужасно совестно. Я скоро умылся, надел мундир свой и зашёл в кабинет. Радужный хозяин встретил меня весьма ласково, я стал извиняться в моём беспутстве, а главное, что дошёл до буйства. «А! За это я вам очень благодарен, дайте мне вашу руку, ещё раз благодарю. Давно надо проучить эту дрянь, он всегда ко всем пристаёт, и это, вероятно, его вылечит хоть на время». Вошёл друг мой Лер, он не мало помог мне в ложном положении. Выпили кофе, закусили, даже огуречным рассолом поправились, и к полдню я шёл домой вполне довольный моим новым знакомством.

Надо сказать, что Громов меня очень полюбил, и до его смерти я пользовался истинным расположением этого доброго русского человека. Жаль, что такая личность, как он, прошла почти бесследно, хотя много добра он рассыпал вокруг себя во всех слоях общества, в особенности служа в Человеколюбивом обществе, где обогатил школу, что на Лиговке. Отец Василия Федуловича, Федул Громов был крепостной человек гр. Орловых, стал заниматься торговлей, набил деньги и откупился, продолжая вести дело со своим старым хозяином, всегда крайне честно. Будучи лесным тузом на Бирже, он завёл под Смольным свою верфь. Жил скромно, умел подобрать к себе честных людей на службу, скончался в старости, оставя Василию Федуловичу громадный капитал и вполне солидный торговый дом. Последний женился на Федосье Тарасовне Лесниковой.

Это была чудная русская купеческая пара. Приятель мой В. А. Римский-Корсаков всегда с наслаждением произносил имена супругов, заключая: «Экая Русь широкая, крепкая и пышная в этих двух именах». Оно и точно. Супруги зажили широко и гостеприимно. Василий Федулович всем говорил про своего отца с глубоким уважением, что потому он и богат, что у батюшки вся контора была в сапоге. У него всё пошло шире, но без увольнения старослужащих.

Крушение столь солидной фирмы произошло уже после его смерти, когда богатство досталось беспутному и слабоумному брату его Илье Федуловичу. Он взял к себе в управляющие великую бестию правоведа Рожнова-Ротькова, семью которого и братцев я знал по флоту. Это были нищие, разорённые дворяне-костромичи, но не глупые, почему грели себе лапы, кто в министерстве путей сообщения, а кто в адвокатуре. Когда Громовы умерли, то всё уже принадлежало Рожному-Ротькову, который так славно обработал дело юридически, что, право, сделала этим честь Школе правоведения, где воспитывался, и потом благодушно занимал весьма честно и даже с блеском место деятеля в Городской думе. Конечно, ежели бы Василий Федулович подумал о духовной, как он мне говаривал, то всё достояние досталось бы Человеколюбивому обществу и Рожнов-Ротьков ходил бы нагишом, но, к сожалению, так не вышло.

Не был Василий Федулович человеком образованным, но имел прирождённую любовь ко всему изящному. Ему принадлежала дача против Каменного острова, купленная от кн. Лопухина. Сад содержался роскошно. Дом стоял, что дворец загородный. Били фонтаны, была парходная пристань и лёгкий паровой катер для прогулок, а по другую часть въезда стояла превосходная громадная оранжерея, где иногда зимой давались феерические праздники под громадными пальмами и другими редкими растениями. Он любил цветы, и дом его круглый год имел роскошное украшение. Любил он и лошадей, конюшня его была первоклассная. Музыка была ему тоже сродни по душе. Он иногда пел для себя, как умел, а для гостей давал концерты, приглашая всех знаменитостей петербургского музыкального мира. Стол держал открытый постоянно, как на даче, так и в городе, угощая всегда хоршим вином и тонкой кухней. А также любил он и картины, художество и художников.

Познакомясь со мной, он пришёл ко мне в Эрмитаж в верхние залы, где я копировал картину «Вид Неаполя», которая была куплена Николаем Павловичем во время его вояжа в Палермо. Вид этот его очень заинтересовал. «Надо там побывать когда-нибудь,— сказал он,— уж больно хорошо, а пока сделайте-ка для меня копию». После этого он заказал мне ещё две больших копии с Айвазовского — «Керчь» и «Феодосия». Мастер этот был весьма лёгок для копирования, ибо всё писал сразу,— к чему, к сожалению, я очень привык. У Громова познакомился я с богатым ладожским купцом Пименовым, который строил форты в Кронштадте. Громов убедил его, что надо себя увековечить воспроизведением своих построек, так что я написал и ему форт Раф-Беюк с судами, стоящими на рейде. Но это была неудачная картина, никто её не хотел покупать, и я её подарил бывшему министру А. А. Зеленому, которому написал также, как их затёрло льдом на транспорте «Иртыш» в Ледовитом океане.

Натурный класс в Академии я посещал только вечером. От пейзажистов в наше время не требовалось знания фигуры, и в дневной мы не ходили. Ходил слушать лекции конференц-секретаря Григоровича об изящном искусстве, но он читал их очень не толково, так что по этой части я ничего не приобрёл. Но настало время весеннее, надо было идти на конкурс, то есть на жизнь или на смерть, на Первую золотую медаль, чтобы быть пенсионером Академии.

Куда ехать, где искать впечатления? Бывал я на Иматре в Финляндии зимой, меня она очень пленяла. Вот я туда и отправился, прожил три недели на озере Сайме, из которого берёт начало река Вокша. Написал несколько этюдов, опустился к порогу Иматры. Но всё это было так трудно, что я упал духом. Перебирая себя по всем костям, я всё-таки додумался до того, что мой элемент — корабли и море, а пейзаж дело второстепенное, почему порешил ехать в Ревель. Попал в разгар холеры, которую я очень не любил. С неделю не знал, куда сесть. Наконец, случился шторм, выбросило транспорт «Свирь» к Екатериненталю, и сюжет был найден.

Сделав рисунки и этюды, я приехал в Петербург, хотя тоже холерный, но на людях и смерть красна, а потому уже не беспокоился, принялся работать с жаром и пылом. «Буря» моя была уже скоро готова. По системе Айвазовского написал сразу, отчего через год резко почернела, потом написал ещё «Утро в Ревеле» с военным кораблём на рейде и видом города в фоне картины. Пришёл ко мне ревельский магистр барон Мейндорф, генерал-адъютант. Его привёл Пётр Карлович Клодт. Увидев картину, очень был ею доволен, бурю забраковал и купил красивый, по его выражению, восход солнца.

Обе эти картины с этюдами я выставил на экзамене. За какую из них меня наградили, до сих пор не знаю, и, к величайшей радости, в том же трактире «Золотой якорь» узнал от вахтёра Евреинова, что я пенсионер!²⁵ Надо было видеть эту молодёжь в момент ожидания! Кто плакал от злости, что провалился, кто плакал от радости, кто недоумевал потому, что вести были неполные, был ещё второй обход профессоров, но в конце концов всё улеглось. Почему-то здесь попал приказчик с Кронштадтской пристани, с парохода «Виктория», начал он ко мне приставать, чтоб я сделал его портрет, и всё орал «Виктория» и «Виктория», ставя бутылки шампанского одну за другой. На другой день я узнал, что получили Первые золотые медали следующие мои товарищи: живопись историческая — Бронников, Вениг, Кабанов; пейзаж — Боголюбов, Давыдов; батальный жанр — Максудов.

Итак, я художник

Итак, я, наконец, художник признанный, окончив второе воспитание своё. Поблагодарив всех профессоров, делавших мне эту важную услугу, надо было думать об отставке. Но как это сделать, в воздухе носились вести о войне с турками. Кн. Меншиков давно уехал туда. Пошёл я в инспекторский департамент. Оттуда проводили подобру-поздорову, хотя с руганью, назвав подлым сыном отечества. Оно и точно, для офицера удалиться от войны дело нечестное, а потому пошёл я к В. Кн. Марии Николаевне, нашему президенту, заявить, что де готов так и так, в некотором роде, как капитан Копейкин, проливать кровь за отечество. Но Её Высочество, выслушав шустрые фразы, сказала: «Всё это очень хорошо, но когда будет время, то в общем докладе я вас всё-таки помещу, это решит сам Государь».

Одумавшись от своего счастья, я присел за работу и написал «Вид Петербурга с Невы на Зимний дворец». Пришёл ко мне киевский губернатор Юзефович и купил её. Я написал другую. Мастерскую посетила В. Кн. Мария Николаевна и велела послать картину к ней во дворец. Через три дня получаю руки её письмо: «Капитан Боголюбов! Государю очень понравилась картина, он её берёт, но приказывает Вам переменить флаг на стоящем впереди корабле, ибо Вы сделали французский! Это не по времени. Мария».

Конечно, я сперва обрадовался, а потом страшно струсил. Но, слава Богу, дело обошлось без последствий. Ещё прежде получения пенсионерского звания в компании с приятелем моим А. Шарлеманем для купца Проньки Пономарёва мы написали две картины берегов Невы против Зимнего дворца. Когда Пронька пропил всё, то оба эти произведения купил барон Штиглиц и почему-то поместил в царские комнаты Балтийской железной дороги, где они и теперь стоят чёрные, как сапоги.

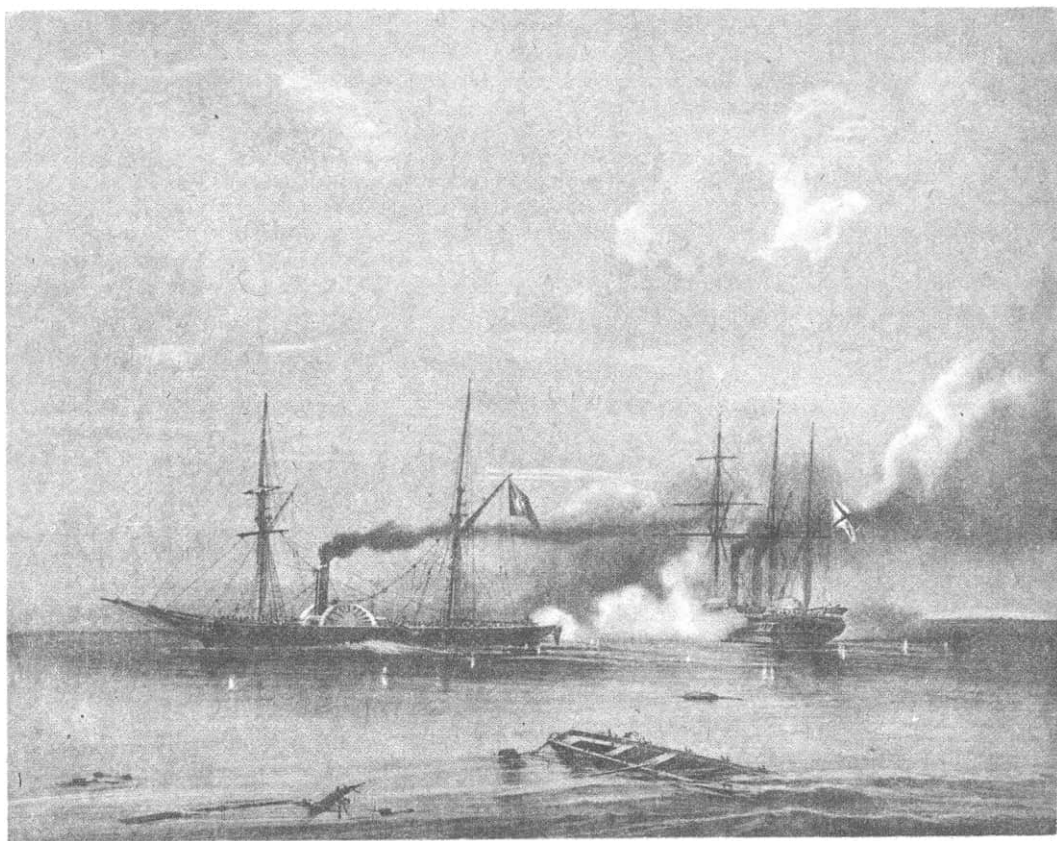
Но вдруг грянула Крымско-Турецкая война. В один миг весь Петербург зашевелился, смотрел сменялись смотрами Гвардейского корпуса и других войск. Государь везде произносил слова призыва к жаркому бою. Вскоре узнали, что армия под командой кн. Меншикова отступила к Севастополю, но радостная весть Синопского боя и полного пораже-

ния турецкого флота адмиралом Нахимовым раздилась в жилах всех русских людей. Петров-певец с азартом пел везде экспромт нашего товарища по флоту А. П. Опочинина:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Попирает Русь на карте
Указательным перстом — и прочее²⁶.

Ставилась на сцене пьеса «Синопский бой». Ко мне обратилась дирекция, чтоб я сделал эскизы боя. Я отрыл из «Путешествия Чихачёва» вид Синопа, снятый художником Дороговым, наставил кораблей, напускал много дыму. Но на сцене вышла мерзость хуже моей, ибо корабли чёрт знает как написал декоратор Вельц. Но всё-таки это очень мне помогло. Государь Николай Павлович, когда ему сказали, что эскиз делал я, приказал графу Клейнмихелю, чтоб он заказал мне сделать рисунки боя и ещё других следовавших почти одновременно морских боевых эпизодов. А именно: Синопское сражение, две бомбардировки крепости Исакчи нашей канонерской лодкой, взятие турецкого парохода «Перваз-Бахри» нашим военным пароходом «Владимир» (командиром был В. И. Бутаков под флагом контр-адмирала Корнилова), ночной и дневной бой фрегата «Флора» с тремя турецкими линейными кораблями у берегов Пицунды и, наконец, сражение парохода «Колхида» (командир капитан-лейтенант Кузминский) у абхазского берега при укреплении св. Николая.

Через десять дней элегантный альбом был готов, и я повёз его лично гр. Клейнмихелю. Жил он в том же министерском доме Юсуповского рода на Фонтанке, в котором много лет спустя я бывал запросто у почтенного нашего адмирала, министра путей сообщения, Константина Николаевича Посьета. Но тогда, откровенно скажу, я шёл туда со страхом



А. П. БОГОЛЮБОВ. Сражение пароходо-фрегата «Владимир» с турецко-египетским военным кораблём «Перваз-Бахри» 5 ноября 1853 г. 1859—1860. Масло. ЦВММ

и трепетом. Предстать перед таким вельможею, каким был граф во времена Николая I, для молодого лейтенанта было страшнее, чем говорить с высочайшими особами.

Ввели меня в громадный зал тёмно-палевого цвета. Потолок и мебель были в стиле ампир. Почти в шеренгу стояли тут разные люди, военные и статские. Больше всех было путейцев, многие с портфелями. Все тихо шептались друг с другом, некоторые имели вид важный, другие походили на угнетённую невинность, в числе коих примостился и я. Через четверть часа прибежал какой-то господин в адмиральском фраке, покрытый звёздами, всё на нём звенело. При беге он произносил направо и налево: «Так! Так!» — и скрылся. В зале сделалась устрашающая тишина. Вскоре послышался чей-то звонкий голос и бойко вошёл В. Кн. Константин Николаевич, юный генерал-адмирал. Все согнувшись моментально в букву глаголь, и когда приподнялись, то видение исчезло и робкий шёпот снова полился. Но вдруг тот же генерал-чиновник с звенящими звёздами снова выбежал, держа в руках лист, и хрипя закричал: «Лейтенант Боголюбов!». Я пошатнулся, душа ушла в пятки, и подался вперёд. «Ступайте скорее!»

И вот, пройдя ещё зал, я вошёл в кабинет страшного временщика. Его Высочество знал меня, подал ласково руку, а графу я низко поклонился. «Ну, покажите, что вы сделали». Я раскрыл папку. После осмотра Великий Князь первый выразил удовольствие, за ним и граф сказал: «Хорошо, хорошо. Литографировать вы умеете?».— «Никак нет-с, ваше сиятельство»,— ответил я. «Ну, так ежели Государь одобрит рисунки, то я велю это сделать специалисту, а вы всё-таки последите за работой». В этот момент вошёл лакей с чаем и шоколадом на подносе. Видя, что это не про мою честь, я счёл долгом откланяться. Великий Князь снова подал руку, сказал: «Хорошо, любезный», а граф: «Подождите меня в зале».

Я встал опять в толпу понуренных козлищ, но имея вид уже бодрый, хотя полузаконченный. Но вот обе половины двери отворились моментально курьерами. В глубине слышался резкий говор, наконец, показался его сиятельство, около которого в виде поддужного подсказкивал тот же звездоносец с листом бумаги. Граф обходил всех, говорил отрывисто и немного, двух-трёх отослал в кабинет, дойдя до меня, сказал: «Встаньте на конец», я перешёл, и когда дошёл, то, поглядев в сторону, как бы задумавшись, вымолвил: «Ступайте, я за вами пришлю».

И точно, прислал через неделю. Принял не сурово, сказал, чтоб я ходил следить за изданием литографическим, объявил монаршую благодарность, а главное, что Государю императору благо было дано повелеть эскизы в картинах исполнить для Военной дворцовой галереи, для чего рекомендовал отправиться к министру Двора с письмом, которое подал в готовом виде. Поблагодарив его с непритворною радостью, я вышел и весёлыми ногами побежал домой, рассуждая и говоря почти вслух, что дуракам счастье бывает, ибо такой работы я никогда не ожидал! В ней, впоследствии, осуществилась вся моя будущность, и пусть кто хочет ругает гр. Клейнмихеля, но для меня он стал благодетелем! Вскоре добрейший Владимир Фёдорович Адлерберг выдал мне бумагу и тем укрепил за мной царский заказ.

Я говорил прежде о знакомстве моём с художником М. И. Железновым, сопутствовавшим К. П. Брюллову на остров Мадеру. Благодаря ему я познакомился с его почтенным отцом Иваном Григорьевичем, жившим тогда в собственном доме в Измайловском полку широко и гостеприимно. Семейство у него было обширное, и хотя он был женат на второй жене, но это была такая умная и прекрасная мачеха, что товарищ мой Мишка Железнов говорил: «Ежели бы встала из гроба настоящая мать, так, право, я бы пожалел, что уходит мачеха!». В доме Ивана Григорьевича всё велось патриархально. За огромным столом во главе сидели люди солидные, товарищи хозяина, сенаторы и генералы, а хвост занимала молодёжь, весёлая и резвая. Мишка в это время вернулся с Мадеры. Карл Павлович поехал в Рим и скоро там скончался на руках некоего адвоката Титони. Я не знал в жизни другого фанатика, столь тупого и ограниченного, как мой товарищ к своему патрону, у которого всё равно ничему не выучился, а потому, вероятно, из раскаяния курил ему финнам везде, где мог, а когда ему возражали, что и в гении могут быть недостатки, то он злобно ссорился и долго носил месть к тому, кто только подумал не чтить память великого русского мастера.

Отец, видя, что он не из бойких по таланту людей, рад был, что и этим он занят, оставляя его витийствовать. Из художников, товарищей Мишки, дом его отца посещал я, кн. Максатов и Чернышёв. Жили мы дружно, плясали и катались с горы зимой. А Екатерина Ивановна Железнова умела вести свою семью и дом самым почтенным образом.

Года два тому назад в среде художников нашего кружка возникли «четверги», или четверговые сходки, основатель которых был весьма образованный человек Ф. Ф. Львов

(родной брат автора «Боже, даря храни»), бывший гвардейский конно-пионер, впоследствии конференц-секретарь Академии художеств. У всех Львовых натура была художественная. Наш — любил рисовать и, хоть состоял в любителях этого дела, но пейзажи работал очень хорошо и ловко акварелью, тушью и сепией. Первые вечера состоялись у художников братьев Шарлеманей (баталиста и архитектора). А потом стали мы все поочередно ходить гурьбой друг к другу, сперва рисовали, а потом ужинали по средствам каждого хозяина. Лучшая еда и попойки бывали у Львова в Коровинской и у кн. Максutowa.

Старики Максutowы были люди весьма почтенные, старого солидного закала александровского времени. Как Железнов, наш кн. Максutow был у них единственное детище, воспитался сперва в юнкерской школе, вышел в Иамайловский полк. Но, любя художество, поступил, оставя службу, в ученики профессора Видлевалде по батальной живописи. Это был человек добрый, радушный, но всю жизнь оставался маменькиным сынком, и не будучи бойкого таланта, хотя и был пенсионером со мной одного выпуска, но не выдержал срока, вернулся из-за границы спустя полтора года и скоро женился на м-ль Железновой, самой достойной барыне, которую я знал.

«Четверги» эти прочно прижились в среде художников, и когда я вернулся из-за границы, то нашёл «пятницы», составленные из тех же учредителей во главе с Львовым и Е. И. Мюссаром, неизменным другом художников. Работы наши, конечно, были несерьёзные, но всё-таки развивали в бойкости рисунка, хотя часто и не натурального, составляя поддержку существований, которую заведовал А. П. Бегров, как сбыватель всякого гожего и негожего произведения искусства. Деятельное участие принимал также известный художник-лошадятник — как его звали — Николай Егорович Сверчков, вечно милый, острый рассказчик анекдотов, душа общества. Тут же был учитель рисования Ульянов, архитектор А. В. Петцольд, В. К. Макаров, хотя молодой тогда, но родившийся в парике. Приходили просто весёлые люди, как инженер-путеец Молас, музыкант-импровизатор и певец, хотя с пропитым голосом. Тоже остряк большой руки, говоривший, что ежели он пьёт, то потому, что страдает жаждой.

Как только вышли литографин моих морских сражений, в мою мастерскую пришёл гр. Кушелев-Безбородко. Из любви ли к искусству или чтобы показаться меценатом, он просил меня написать Синопский бой в большую довольно величину, обусловив известным сроком. Конечно, я картину исполнил через три дня. Граф давал блестящий бал, выставил при эффектно освещении мою работу, около которой просил меня присутствовать, и когда Цесаревич Александр Николаевич взойшёл с лестницы, то первым впечатлением был мой труд. Граф меня ему представил, он милостиво со мной поговорил и с тех пор всю жизнь свою, будучи императором, всегда был ко мне до крайности добр, внимателен и милостив, почему память его лично для меня останется священной! Тут я сошёлся с сыновьями графа Григорием и Николаем Александровичами. Оба были воспитаны в традициях отцовской любви к художеству. Живя окружёнными с детства редкими картинами и художественной утварью, сделались вскоре широкими меценатами, тратя щедро унаследованные от своего родителя деньги. Впоследствии, живя в Париже, я узнал их обоих ещё короче, а потому вовремя скажу несколько слов о моих отношениях с ними.

Но судьба моего выхода в отставку и отправки нас за границу всё ещё была в тумане. Наведывались мы везде, но положительного решения не было. Канцелярия Академии, конечно, в наше время была образец сжатости и простоты, помещалась вся в двух комнатах, где теперь музей древностей, да ещё в каморке, составлявшей архив, тогда как теперь она занимает чуть ли не одну десятую всего громадного здания. Теперь там есть и правители, и помощники, и всякие другие чиновники, но у нас она представлялась конференц-секретарём и двумя братьями Образцовыми да тремя писцами.

Братья Образцовы, конечно, были дельцы нашего времени, взяточники, но скромно и без треску, как во времена исеевские, довольствуясь десятью, а иногда пятью-тремя рублями. Конечно, бывали дела и семидесятипятицелковые, и даже я знаю дело сотенное. Вот оно. У дяди моего А. А. Радищева, когда он был губернатором в Каменец-Подольске, был почтенный знакомый помещик Иржидкий. Он имел сына, белого и длинного, как спаржа, игравшего на скрипке. Да кроме этого вообразившего, что он и художник. Вторая способность была почти незначущая, но послужила ему в весьма трудном в наше время деле получить паспорт на выезд за границу для изучения искусства. Образцов-старший за вышеупомянутый гонорар достал чужой рисунок в натурном классе, написал молодцу прошение, приложил все нужные документы, как свидетельство доктора и прочее, и Иржидкий выехал за границу на свой счёт ещё прежде нас, и мы встретились с ним уже в Неаполе, о чём скажу в своё время, ибо жизнь этого человека была очень странная. Чиновники общества воровали на дровах, свечах и других мелочах, но ведь это было везде и, следовательно



Портрет А. П. Боголюбова. 1850-е гг. Фотография

усердно более тысячи поднятых ног с их подошвами. Раз я свидетельствовал почему-то музыкальные инструменты Учебного экипажа, не смысла в этом деле ровно ничего. И старательно занимался корректурой рисунка к Уставу фрунтового обучения. Но всё это было ни служба, ни искусство.

Наконец, через год с небольшим я узнал от конференц-секретаря Григоровича, что представление наше лежит у него в портфеле и В. Кн. Мария Николаевна в тот же день будет лично докладывать Его Величеству об отправке нас за границу пенсионерами на 6 лет и при этом будет говорить обо мне. С трепетом ждал я этого важного решения и, к великой радости, лично от Её Высочества узнал: Государь, принимая во внимание, что я на службе окончил второе моё образование, сперва как морского офицера и ныне как художника, позволяет мне выйти в отставку, несмотря на военное время, и переименовывает меня в художника Главного морского штаба с причислением к Морскому министерству²⁷. Последнее звание, как я узнал после, доставил мне В. Кн. генерал-адмирал Константин Николаевич.

Итак, ура! Наша взяла, хотя рыло и не в крови, как говорит народная пословица, но напротив, в улыбке, в сиянии радости и надежды. Думаю, что всё это давало мне весьма глупый вид, но я об этом не думал, ибо был счастлив как ещё никогда!!! Надев фрак после мундира, который носил с детства, я стал обходить в новой форме всех, кого следовало поблагодарить, начиная от высочайших особ, заканчивая Образцовыми и Евренновым, ибо чувство благодарности во мне всегда жило.

1854

Ранней весной в Царское Село меня потребовал Государь император с портфелем моих рисунков Крымской войны. Стоял я в зале ожидания с другими лицами. В углу на кресле сидела весьма почтенная по виду, хотя ещё не очень тогда старая дама гр. Тизенгаузен (я узнал это после). Вижу, что она смотрит на меня, разговаривая с каким-то расшитым по всем швам камергером, который вскоре подошёл ко мне, сказав, что статс-дама желает со мной говорить. Я робко подошёл к ней, поклонился. «Вы художник, как мне сказали?» — «Точно так-с!» — «Знаете ли вы Худякова в Академии?» —

но, даже не обличение, а только рассказ в духе времени, весьма наивный. Вице-президент гр. Фёдор Петрович Толстой, как я уже сказал, был человек весьма почтенный и образованный. Я знал его уже семидесятилетним старцем, он всё ещё работал кое-что. Последними его трудами были «Морфей» и «Нимфа», что стоит теперь в Петергофском саду в колоннаде фонтана из сердобского камня. Он усердно писал свои мемуары, и я, как теперь, вижу его с зелёным зонтиком на лбу, погружённого в этот труд, который до сих пор ещё не выглянул на свет Божий, что, вероятно, ожидает и мой настоящий.

Всякий знает, как неприятно ждать, сидя в какой-нибудь лакейской или даже приёмной комнате, но ещё мучительнее в моём неопределённом виде ждать решения участи. Генерал мой Кохиус, хотя и с снисхождением, но, видимо, был угнетён моим неопределённым видом, давал мне из милости кое-какие поручения, например, съездить в Финляндию, в Выборг, умиротворить дело по случаю буйства матросов Учебного экипажа в каком-то кабаке. Приказывал иногда осмотреть у целого экипажа сапоги, надетые на людей, почему приходилось оглядеть

«Слышал». — «Это мой бывший крепостной мальчик с талантом. А вы чей вольноотпущенный?» Вопрос этот меня очень озадачил, и я, запинаясь, ответил ей: «Сударыня, я дворянин, едва оставивший флотский мундир, у меня у самого ещё крепостные, хотя и очень немногие». — «Ах, виновата! Но ведь в Академии так их много, мы все отдавали туда детей дворовых, так что ошибка моя простительна». Я ей поклонился и отошёл, размышляя — странная эта барыня! А, ничего нет мудрёного, что гр. Ф. Толстой был проклят родителями за то, что вступил в среду академической «сволочи», по мнению наших бар того времени.

В конце апреля месяца 1854 года нам серьёзно объявили, что можем ехать, куда хотим, по Европе для изучения искусства. Прежде всех ссылали в Рим как центр классического художества, но благодаря просвещённому воззрению на дела президента герцога Лейхтенбергского и В. Кн. Марии Николаевны дали свободу каждому жить и учиться, где хочешь. Эта благая мера существовала до 1886 года, но тут исеевская ферулла* нашла, что Париж, Дюссельдорф, Мюнхен и другие центры портят нравственность пенсионеров, а потому решили возобновить Рим как центр учения и благонравия, стали даже хлопотать об устройстве там Академии русской, вроде французской Виллы Медичи²⁸, от которой правительство республики давно порешило отделаться. Но у нас надо было создать место господину профессору Якобию, столь талантливому и умному другу Исеева, что дело не на шутку поднялось. Но так как говорить здесь об этом не место, то скажу после, какое я принял участие, дабы подорвать всю эту нелепую чиновничью махинацию.

Для поездки за границу единственным средством был тогда дилижанс. Главный почт-директор Прянишников был меценатом художников. Благодаря Ф. Ф. Львову, служившему у него, он даже приглашал нас раза два в четверговом составе у него порисовать, после чего поил и кормил сытно, за что мы оставляли ему наши маранья как бы в благодарность. Шла про него слава, что он покупал картины по совету своих начальников, как говорил бессмертный Гоголь, но всё-таки у него составилась довольно серьёзный фонд русской живописи. Г-н Прянишников велел нам дать дилижанс, куда мы все записались, включая Бронникова и Кабанова, поехавших сперва на родину. Но вместо них сел запоздалый пенсионер-пейзажист Эрасси. В самый день отъезда маменькин сынок Максутос захворал, так что около меня осталось место пустое, а потому его занял добрый друг и брат мой, Николай Петрович, проводивший меня до первой станции, что меня немало утешило, ибо, живя всегда душа в душу, мы расставались надолго!

Пенсионер Академии. Заграничное житие

Берлин

В детстве мать учила меня немецкой грамоте, но после, как подобает моряку знать скорее английский язык, его почти забыл. Но для крайнего обихода у меня было его всё-таки достаточно. По-французски я говорил от юности моей, так что мог двигаться с язычными знаниями без посредства чужой помощи. У товарищей, кроме Венига, был полный недостаток по этой части! Вот мы и начали обход города гурьбой, но скоро Венигу надоела эта должность, и, будучи вообще враждебен по воспитанию всему русскому, он разругался с Эрасси, что было первым разладом между нами.

Нашли мы около дворца лошадей работы барона П. К. Клодта, что стоят на Аничковом мосту. Здесь они стояли у старого дворца на чёрном фоне, потому они не так заметны, как у нас, но пользуются общим уважением. Побывали в старой коллекции картин, помещённой в только что отстроенном музее. Очень нас поразили при входе фрески знаменитого Корнелиуса. Работа была только в начале, смотрели тупо на это мастерство, не смея ни хвалить, ни осуждать. Войдя в громадный зал с парадной лестницы, с тем же тупым воззрением глядели на фрески Каульбаха. Готовы были только «Пророчества» и «Преобразования». «Бой гуннов» только писался, а сумбурная «Реформация» ещё зрела в уме художника. Не знаю почему, но и тогда я смотрел на все эти произведения с каким-то недоверием. Выражение профессора Маркова, произносимое ученику за неясность представленной на заданную тему композиции, было: «Это не сочинение, а „колесо, песок и укус“», то есть вещи вовсе вместе не гармонирующие. Остановил наше внимание Египетский отдел. По стенам альфреско виднелись пейзажи страны фараонов с большим блеском красок, а начинка музея была даже полнее досель мною виденных древностей — мумий, саркофагов

* Надвор (турецк.).

и ваз. Картинная галерея оказалась куда слабее нашего Эрмитажа. Читали везде почти — школы Рубенса или Ван-Дейка без обозначения мастеров. Нашёл я тут и Франса Гальса, опять он мне очень понравился. Пейзажи Рюнсдаля, Бонгейма, ван дер Неера, ван дер Вельда, Гоббеми, Кюппа и других очень мне были по нутру. В особенности своею золотистостью запад мне в голову Кюпп. Скульптура древняя тоже здесь не бойкая, много слепков гипсовых с того, что я увидел после в Риме, но ценных оригиналов мало.

Побыли ещё три дня, посетили танцклассы и пивные, порешили ехать в Дрезден посмотреть тамошнюю галерею. Проходя по Унтер ден Линден, видели памятник Рауха Фридриху Великому. Разом порешили, что плохо, но после я думал уже о нём иначе. Слава Богу, что все первые мои рогатые суждения о художестве я описывал брату моему, но не Владимиру Стасову, который после, будучи в переписке с юным талантливым художником Ильёю Ефимовичем Репиным, интимные его письма предал печати, где он, по незрелости, конечно, обругал весь Рим Рафаэля, Доменикино, Мурильо и прочих древних мастеров, в чём впоследствии, конечно, раскаялся. О чём мне не раз говорил, осуждая медвежью услугу Стасова, патриота, считающего воздать хвалу каждому, кто только обругает какую художественную святыню иностранную. Письма эти долго служили попреком Репину в публике.

Приехали в Дрезден. Вид города был праздничный, на Брюгише-террасе играла музыка. Немцы пили пиво, под ногами текла река из-под высокого каменного моста, а налево виднелись горы Саксонской Швейцарии. На другой день гурьбой пошли в Музей. Каждый из нас по гравюрам уже был знаком с некоторыми главными его картинами. Прежде очень меня интересовала «Ночь» Корреджо, но когда я её увидел, то тщетно искал ночь в картине и ушёл, не найдя также игры света огня. Конечно, «Мадонна» Рафаэля всех заинтересовала. На Веласкеса и Мурильо я тогда и смотреть не умел, также как и на «Христа с динарием» Тициана, и только впоследствии стал выникать как следует во все эти прелести.

Более всего заинтересовал меня Каналетто с его видами Дрездена и Венеции. Последнюю я, подражая Айвазовскому, беспощадно валял ещё в Петербурге с гравюр, а потому, увидав мастеров, сознал всю подлость своей живописи, горя нетерпением скорее туда отправиться. Знаменитая коллекция пастельных портретов лучших мастеров тоже меня не тронула, так я был не развит в моём художестве. А когда посетил чудные собрания редкостей Грюн Гевельбе, так вышел вон просто дураком, заметя некоторые брильянтовые вещи, пуговицы да галерею латников всех времён. А ковры древние разных эпох, мебель, утварь, серебряная и золотое дело и прочее меня даже и не интересовало, так вкус мой к этому был туп и неотзывчив.

Закупив здесь холстов и красок ради того, что в Питере говорили, что этот материал здесь дешёв и хорош, порешили ехать далее. Некоторые стремились в Рим, я тоже думал туда ехать, а Эрасси, бредивший Каламом, порешил поступить к нему на выучку. Но, проходя бойкой улицей, вижу магазин картинный. Я робко в него зашёл и стал разглядывать новые картины немецких разных художников. Вдруг вижу «Шевенинген»²⁹ Андрея Ахенбаха. Гляжу на него и оторваться не могу. Люди, паника, лошади с возами — всё это в движении, с волнующими меня парусами судов и прибоем морским тонудо в солнечной водяной пыли! Далее гляжу — вечер золотистый на острове Капри, тоже полный тишины и поэзии. Читаю — «Освальд Ахенбах». Уже Италия, но с фигурами и тонкими гармоничными тонами красок и чудною зеленью пиний, кактусов и кипарисов. Смотрю на пейзажи Лессинга, стильные и глубокие, хотя сухие, читаю везде: «Дюссельдорф да Дюссельдорф!».

Как опьянённый, вышел я из лавки и, когда добрёл домой, в Рим уже не поехал, а подрал прямо к Андрею Ахенбаху. «Вздор!» — говорили мне товарищи, но я их не слушал. Итак мы разлетелись в разные стороны.

Отыскать в Дюссельдорфе Андрея Ахенбаха было не трудно, его знают все. Приведя себя в порядок, я к нему пошёл и тотчас же был принят весьма любезно. Из разговора я узнал, что лето он всегда проводит при море на купанье и этюдах, а нынешнюю осень намерен отправиться в Италию, и сколько пробудет там, сам не знает. О намерении моём быть его учеником потому я и не высказался и, распрощавшись с ним, поневоле впал в раздумье, что мне делать и решил пробраться сперва в Брюссель, мне уже частью знакомый.

Приехав туда и насмотревшись досыта всяких картин, надо было начать работу. Выбрал порт Антверпен, как недалёкий и тоже интересный по работам Рубенса и Ван-Дейка. В это время я переписывался с кн. Максutowым. «Маменькин сынок» сообщал, что хворает и что только в августе будет в Женеве, где мы и положили съехаться. Этюды я начал

писать с жаром, но, будучи весьма мало опытен, глядел на натуру не своими глазами, а всё думал об Айвазовском, то об А. Ахенбахе, отчего выходила сильная мерзость, часто меня бесившая.

Было у меня письмо в Брюссель к виолончелисту Серве от его шурина архитектора Кузьмина, они были женаты на родных сёстрах Фойгель. Я к нему поехал в виде отдыха и развлечения. Маэстро жил на даче тотчас за городом. Принял он меня радушно, оставил обедать, много говорили мы о России, которую он обожал за гостеприимство и сочувствие к его высокому таланту, просил у него бывать, когда хочу, и дал письмо к другу своему, знаменитому художнику Лейсу, который жил в Антверпене.

Возвратясь туда, я опять сел за работу, имея ввиду царский заказ. Работал усердно — пароходы колёсные, корабли всякие во всех поворотах. Там же стояла батарея и производились часто учения, а потому я изучал пороховой дым в его разнообразных формах. На досуге пошёл к Лейсу, который благодаря рекомендации Серве принял тоже очень хорошо, ввёл меня в клуб художников, так что я чувствовал себя не одиноким. Беседовал он со мной часто про русское художество. Но я, как только что вступивший в эту среду, отвечал неуверенно, потому что очень мало его знал. В один прекрасный день он говорит мне: «Вы не масон?» — «Нет», — отвечаю я ему. «Ну, так я вас им сделаю, хотите?» — «Очень благодарен вам, но позвольте подумать». — «Да чего тут думать, масонство только будет для вас везде полезно, а художнику, как блуждающему страннику, нужно иногда прибегать и к чужой помощи». Как он меня ни уговаривал, но я всё просил отсрочки. Сказать прямо, что я русский офицер, что в силу того дал клятвенное обещание при присяге не вступать ни в какие тайные общества, показалось неуместным, а потому я старался избегать этого разговора. После в Дюссельдорфе был дружен со многими масонами художниками, которые тоже меня туда манили, не знаю почему, но никогда не соглашался.

Ездил иногда в Брюгге, Гент, но Мемлинг и прочие старые мастера на меня не действовали, так я был ещё туп воспринимать их высокую художественную сторону. Пожив ещё в Брюсселе, я проехал в Кёльн, увидел Рейн и не удивился ему. Обещали, что он далее великолепен. В гиде Бедекера³⁰ прочёл про замки легендарные и с жадностью ждал увидеть что-либо задирающее, почему рано утром взошёл на пароход. От горы Пяти братьев, то есть Бонна, до Майнца встречались, точно, очень интересные виды, но более помогала тут всё-таки легендарная сторона. «Лорелей» в его узкости хорош. Тогда железных дорог ещё не было по берегам, да и виноградниками он не был так разинееен, как теперь, что отняло у этой речки всякую прелесть. Но англичанки и другие туристы и теперь восторгаются. А когда я повидал нашу матушку Волгу с её разнообразием от Твери до Астрахани, так все Саксонские Швейцарии, Рейны и Дунай, кроме Железных Ворот, всё это разом пало в моём воображении.

Из Майнца проехал во Франкфурт, он был тогда ещё не прусская казарма. Видел в музее «Ариадну», остался доволен, поел и закусил Frankfurten-valet и выбыл в Гейдельберг. До Университета мне было мало дела, но читывал когда-то про замок чудной архитектуры, и точно, развалины были хоть куда. Всё обросло плющом, сквозь который виднелись чудесные линии здания эпохи Ренессанс. Поглядел я на бочку «Гигант» и её пасынка и подивился, что бывали такие широкие склады вина в древности, которое теперь мне казалось порядочной кислятиной.

Горы и озёра Швейцарии

Поехал в Базель искать снежных гор, потому что слышал, что вся Швейцария ими покрыта, и только с террасы заметил что-то белешее вдали. Террасу нарисовал. Почему-то она показалась привлекательною. Проехал далее через Интерлакен, Тунк и прибыл, наконец, в Женеву. Кн. Максудов уже был там, и я поместился вместе с ним у м-м Шоссей, вдовы капитана жандармов.

При отъезде из Петербурга барон Штиглиц и Фелейзен дали мне заказы к Каламу, очень славному в ту пору художнику, в Петербурге и даже Германии слышшему за чудного мастера. Когда кто является к художнику с широким заказом, то всегда бывает хорошо принят, а потому швейцарский гений принял меня прекрасно. Но когда пришлось обуславливать дело, то очень удивил своими правилами касательно выяснения ценностей будущих трёх картин. Вытащил он длинный свиток в сантиметрах, подошёл к стене своей мастерской, снял что-то белое разиннованное вроде марколерской карты, разложил на столе и говорит: «Картины мои я ценю квадратными сантиметрами, на сколько вам угодно иметь их?». Я не знал, что ответить, так меня озадачила эта коммерция великого художника-аршинника! «Ну, например, вот эта картина. В ней 92 см длины и столько-то ширины, стоит она 5000 франков. Эта в 75 длины и ширины — стоит 4527. Это поменьше — пройдёт по расчёту в 2201 франка и так далее». — «Но позвольте мне, прежде всего, спросить вас —

лес, горы, вода, небо — всё это идёт в ту же цену? Ежели бы я попросил вас написать только небо, горизонт и волны, вот как на этом этюде». — «Да, тут, конечно, можно сделать уступку, но ведь говорили, что желаете иметь гористые, озёрные местности, меня характеризующие, так это всё будет та же цена». На основании чего я ему и сделал заказ, прося уже лично списаться с будущими владельцами картин, но так как была одна готовая картина «Вид с одной цепи Альп на другую», то я её тотчас же купил.

Узнав, что я остаюсь несколько времени в Женеве, он просил у него бывать, что я и делал частенько, приходя вечером. Работа его мне очень нравилась. Поражала всего более элегантность и чистота его письма. Рисунок тоже был отчётлив, тона красок приятны, зелень прозрачная, как и вода. Но, к сожалению, не прошло и года, как я перестал ему удивляться, когда добрые люди навели меня на серьёзный анализ его работы. Рисуя по вечерам, Калам всегда говорил: «Это моя забава» — и я охотно тому верил.

В городе Женеве одновременно с Каламом жил и другой силач по пейзажу, то был старик Диде. Письмо его было уже другое, широкое. Рисовал он тоже хорошо, но принадлежал к школе XVII века — подражал Н. Пуссену и К. Лоррену. Хотя и не очень сильно, но всё-таки завязтость виднелась в его работе. Человек он был добродушный, широкий. Узнав, что я пенсионер русской Академии, спросил: «Вы, верно, тоже поступите в ученики к Каламу, как ваш товарищ Эрасси?» — «Нет, — отвечал я ему, — я брежу Андреем Ахенбахом и только о нём и думаю». — «Ну, поздравляю вас с этим выбором, он великий мастер и учитель, куда опередивший всех нас!» Такое признание честного почтенного художника меня весьма порадовало.

Познакомься с молодыми людьми, учениками Диде, вот что я узнал про Калама в деталях, что мне подтвердил впоследствии обожатель его Эрасси. Патрон их был отвратительный скупердяй, имел пять или шесть домов в Женеве, в которых помещались громадные гостиницы, хоть бы Отель де Бержер. Каждый рисунок или маленький эскиз, не говоря уже о картинах и этюдах масляными красками, был у него на счету и отпускался всегда по сантиметрам. С учеников он брал плату и вперёд. Мастерская хотя и была в его доме для них, но отапливали её молодые люди сами, таская ежедневно своё полешко. Работал он неутомимо и всё одним глазом. Когда я простился с ним, то он был ко мне весьма внимателен, вероятно, за сделанный заказ, подарил два рисунка сепией с надписью: «*Offert a M-r Bogoluboff par A. Calame*»*.

Осмотрев бедный незначительный художественный музей, с Максотовым мы переехали жить около городков Вева и Монтрё в Отель Альп. Жизнь была тогда крайне дешёвая. За всё суточное содержание с вином и едой и комнатой платили три франка, причём мёд ели до тошноты. Тут же какой-то благочестивый англичанин дал нам по Евангелию с двумя текстами, русским и французским. Озеро было внизу по шоссе, а потому я принялся писать его изумрудную воду, пароходы и баржи, паруса которых раскидывались на его гладких водах, как крылья садящихся на воду чаек.

Неподалёку был и Шильонский замок. Отражение воды в нижние окна окрашивало изумрудным светом в солнечный день своды и колоннаду галереи, где сидел узник Бонивар, воспетый Байроном. Я тотчас же начал писать здесь этюд и первым делом выцарапал на колонне моё имя в числе тысяч дураков, занесших свои прежде меня. Работу я оставлял на ночь привратнику, уходя домой, и очень с ним сдружился. Ещё этюд не был окончен, как какое-то длиннорубое английское семейство у меня его купило за семьдесят пять франков, что было мне очень на руку. Я начал другой — та же участь. Видя, что угол Бонивара всем нравится, я сделал для себя один и с него, когда был спрос, писал повторения. Намалевал также наружный вид замка и продавал его с ещё большим успехом, ибо катал иногда бури, иногда закаты, жёлтые, как яичница, по системе Айвазовского, не замечая, что развращаю себя этим занятием.

Все ходы здания я знал не хуже проводника, слушал каждодневно его рассказы о прошедших ужасах. Они вдолбились мне в голову со всеми вариантами, ибо, смотря по настроению духа, он говорил сегодня: «На этом камне в один день было отрублено 500 голов евреев». А в другой раз уже рубил — 5000. Про Бонивара говорил, что он ходил с цепью на ногу около колонны, где вырыл подошвами дыру, двадцать лет, а иногда тридцать и тридцать пять. В тайники башни, где была лестница для ложного спасения, иногда у него валились десятки людей, а иногда очень скупо опускал одного. А слушатели глядели ему с удивлением в глаза, верили, ибо заносили этот вздор в свои путевые книжки.

Как-то под вечер сторож-проводник говорит мне: «Очень сожалею, что не могу быть на свадьбе моего брата в Женеве, некого оставить за себя, а завтра день воскресный — доходный, не хотите ли послужить за меня и поводить гостей по замку?» — «С удовольстви-

* «Подарено г-ну Боголюбову А. Каламом» (франц.).

ем,— ответил ему,— басни я ваши твёрдо знаю». И вот наутро стал валить всякий народ, привратник, старый солдат, формировал группы любопытных у ворот, а я их бойко обводил по замку, убивая и громя узников прошедших времён ещё щедрее настоящего чичероне. При выходе мне платили деньги, и, когда настал вечер, то я натаскал из кармана 17 франков, которые сдал моему доверителю на другой день, к великой его радости.

Перебрались мы с Максutowым на другой берег озера в деревушку Евнион. Тут со мной случился казус, так что я не на шутку струсил. Вижу — скала, а на половине её люди копошатся и что-то делают. Любопытство меня увлекло, и я побрёл в гору, которая имела вид наклонной крутой горы, была вся покрыта щебнем. Цепляясь кое-где за кустики, не замечая крутизны, без оглядки бойко шёл я вперёд, но, взойдя три четверти высоты, вдруг почувствовал, что быстро еду назад. К счастью, бросился на брюхо, распростёр руки и ноги и тем задержал свой побег вниз. Хочу встать — опять скатываюсь.

Пронял меня холодный пот, оглянулся назад — пропасть почти вертикальная. Тут я начал орать во всё горло. По счастью, двое рабочих, что были поближе, меня увидели, известными ходами ко мне приблизились и бросили верёвку, за которую я уцепился, окрутил около пояса, и таким образом они меня притащили к себе. «Надо быть таким дураком, как ты,— сказал мне пожилой рабочий,— чтобы ходить по крутизнам, хоть бы: назад, гаупец, оглядывался!» За эту науку я дал им пять франков, и так как ноги мои дрожали, то они проводили меня до места, где уже не было такой опасности.

В Евнионе нас заели буквально клопы и блохи, так что на другой день мы отправились в долину Роны через Бакс в Мартиньи. Наняли ослов и на следующий день были уже в долине Шамуни, перевалив через «Чёртову голову». В полдень весь люд высыпал из гостиницы на площадку, где палили пушки, салютуя показавшимся на вершине Монблана четверым путешественникам. То были четыре эксцентричные мисс с проводниками без мужчин. Когда они сошли вниз, был дан обед в их честь, за который они, конечно, платили сами. Не знаю, почему-то и нас пригласили. За столом около меня сидел молодой английский офицер-артиллерист, очень милый малый. Он сказал: «Видите ли этого с проседью, но свежего ещё человека? Это англичанин, он очень богат, каждый год сюда ездит и проводит время в розысках, всё ищет Линду де Шамуни, сорит деньгами и никак не хочет поверить, что это оперный вымысел. А вот барыня, которая двенадцать раз ходила на Монблан, из коих два без проводника. Это американка. Имя её записано в золотой книге Альпийского клуба». — «Неужели!» — «О да, такие ли штуки выделывают здесь мои соотечественницы! Два года тому назад сюда приехала беременная леди, велела себя втащить на Монблан, свита состояла из доктора и нянечки-кормилицы, всего двадцать человек,— и там родила дочь. На третий день её снесли благополучно. А, знаете, зачем она это сделала? Говорит, что теперь богач-эксцентрик сейчас женится на девушке, хоть и приданого не давай».

На другой день ездили мы на мулах на Ледяное море. Вглубь я не пошёл, ибо всё это одно и то же, те же зелёные волны льда, а сел писать этюд, из которого как-то ничего не вышло, ибо что интересно оглядывается глазами, часто неизобразимо краской.

После Шамуни ездили мы на Большой Сен-Бернар. Въезд на него труднее перевалов в Шамуни, но только доверьтесь ослу или мулу — он вас везёт по окраине пропастей с удивительной уверенностью. Дрожь пробегает по коже, когда чичероне говорит: «Посмотрите в эту пропасть, тут на дне лежит наполеоновская артиллерия, две батареи свалилось». Врал ли он или правду говорил, не знаю. Стояли домики по дороге, это были морги с трупами погибших в снегах и выюгах. Валялись там кости людские. Только к вечеру мы добрались до обители. Было холодно — ниже 0. Благодаря религиозному фанатизму монастырь, церковь и всякие вокруг здания очень хороши. Стены жилья обшиты досками для теплоты. Нас накормили и дали порядочные кельи. Наутро пошли смотреть церковь, которая тоже небедна. Посредине стоит сборная кружка в виде столба, в которую всякий опускает по мере своих щедрот за гостеприимство. Озерко, что стоит за монастырём, было затянато ледяной корой. Собак было немного, всего пять. Говорят, что порода уже перевелась, что далеко не та, что была прежде. Спускаться вниз было очень приятно, почти заметно мы переходили из слоя свежей температуры в более тёплую, так что к 11 утра в долине было невыносимо жарко.

Милан — Венеция — Триест

Начали доходить слухи, что и в Женеве холера делает опустошения, а потому мы порешили ехать через Симплон в Северную Италию и в дилижансе добрались до Лаго Маджоре и Комо. Не поразили меня несколько острова второго, стоящие на голубой воде в виде банкетных горок, на которых в 1840-х годах разносили конфеты официанты на купеческих русских свадьбах. Да и статуя Карла Баромейского подействовала разве величиной, но не пропорциями и прелестью линий скульптурных. Кн. Максутов поехал в Милан, а я остался на озере Комо немного поработать.

В Милане было что посмотреть, интересовал очень собор. Но зачем здесь рядом с богатством мрамора такая бедность, потолки готических сводов не были резные, а расписаны под готику. Поглядели на св. Карла Баромейского и богатую раку, за стеклом которой он лежал прекрасно сохранившийся. Кто-то говорил мне, что это вздор, что сами мощи лежат рядом за стенкой, а передовое изображение есть кукла. Опять говорю то, что слышал, и не утверждаю, но склоняюсь к сплетне, ибо когда пожил в Италии, то насмотрелся всяких фокусов и жонглёрства этого рода, начиная с фальшивых ног папы Пия IX, за которыми наблюдал во время обноса его на носиках вокруг Ватикана в Риме. Конечно, 70-летнему старцу невыносимо было стоять полтора или два часа на коленях у богатого, золотым шитьём обитого престололика, с опёртыми на локти руками и сжатыми ладонями. А потому его сажали просто на табурет, закрывая его широкой мантией, равно как и фальшивые ноги, обутые в туфли, тогда как его собственные находились под столиком. Наблюдая за неподвижными ступнями, легко можно заметить, что во всё время они даже не шелохнулись.

Видел фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», но она очень плохо сохранилась, ибо тут была прежде конюшня. Осмотрели мы и музей. Много фальшивых картин в нём старой школы, до которой, я уже сознавался не раз, не был тогда охотник.

Через два дня пустились снова в путь, приехали в Венецию вечером. Шёл проливной дождь, нас тиснули в закрытую гондолу — барку или водяной омнибус — и стали развозить по отелям. Желая быть поближе к центру города, мы остановились в Альберго* де ла Луна.

Хотя я и спал, как топор, но в 6 часов утра проснулся, уже рассветало. Поэтому, одевшись скоро, выбежал я на узенькую улицу, прошёл направо-налево наудачу и вдруг очутился на площади св. Марка, где долго стоял, разинув рот от удивления. С час бродил я по ней, заглядывая то на пьяджетту, то в портал палатцо Дуколе, то в двери храма, ни на чём не останавливаясь. Почувствовал голод и свернул под колоннаду в кафе Флориани, который, как идёт предание, с основания не закрывался ни днём ни ночью. Со мною был «Бедкер», почему я и решил войти в храм св. Марка, где уже было несколько молящихся. И точно, это дивный монумент византийского стиля. Недаром про него позднее говорил знаменитый Мейссонье, написавший в нём массу этюдов и немало чудных картин, что он не понимает, как католицизм мог не преследовать в своей церковной архитектуре старую греческую орнаментацию. Начиная от пола до потолка, всё здесь полная гармония и изящество. Конечно, тут, пожалуй, есть пестрота мрамора, но время всё покрыло своею вековою патиной. А что за чудная колоннада под колокольной св. Марка постройки Сансовино, а потом, как величественны в своих пропорциях остальные три стены площади, о которой Наполеон I мудро сказал, что «только одно звёздное голубое небо достойно может служить потолком для подобного зала».

Итак, первый день я был всё равно что вешка в колесе, бросаясь от одного вида на другой. Наступил тёплый венецианский вечер, выплыла, как нарочно, полная луна, ночь упала, как занавес, и тут-то Венеция ещё более мне понравилась. Чёрные гондолы полосами серебрили поверхность Канала Гранде и лагун. Всё покрылось тонким голубоватым флёром. Я вскочил в гондолу общую, меня перевезли к Таможне. Тут я просидел на мраморной лестнице долго-долго и пошёл обедать в 10 часов вечера.

Товарищ мой, кн. Максутов, действовал иначе. Он отыскал своего знакомого Павла Михайловича Ковалевского, писателя об Италии, который жил здесь для здоровья с молодой своею женой, милой хохлушкой, очень приятной и умной женщиной. На другой день я с ними познакомился и, благодаря указаниям Павла Михайловича, начал осмотр Венеции в более правильном порядке, но страсть что-нибудь нарисовать или написать скоро меня утишила. Первым моим этюдом была набережная — с дворцом Дожей на первом плане.

Трудно, очень трудно было не только писать, но и начертить в деталях это затейливое

* Гостиница (итал.).

здание. Теперь я бы ограничился только перспективным наброском и размерами здания, сняв все детали с фотографии. Но она только что возникала, заменяя дагерротип, а потому синьор Понти, здешний лучший фотограф, продавал виды по сто франков лист и более, что для меня было вовсе недоступно. Вот почему я чеканил пером все колонны, капители и карнизы дворцов и всех зданий, делая рисунки в целый лист, что немало меня выучило чертить свободной архитектуру, к которой я всегда имел страсть. Рисунки эти можно видеть в числе 400 экземпляров, составляющих собственность Академии художеств.

Потом я сделал этюды церкви с каналом, ездил на остров Лидо писать море. Написал несколько раз виды из публичного сада на Венецию. Два месяца работал неутомимо. Но настала осень, а с ней холода и даже раз снег. На моё счастье, случилось наводнение. Вся площадь св. Марка была покрыта водой, и гондолы ездили по ней от одной кофейни до другой. Жизнь в это время текла как будто ещё живее. Под колоннадой раздавались песни народные, играли на гитарах, так что всю ночь я пробыл вне дома и наутро, когда вода спала, по илисто-му мрамору добрался до гостиницы.

Познакомился я здесь с художником Терциони, это был бедняк, почти бесталанный, писавший разные ведуты в магазин под колоннадой св. Марка. С ним я дружил потому, что он был очень услужлив и готов был идти или плыть на гондоле куда угодно, только бы пописать на даровщину. Раз приводит он ко мне какого-то покупателя, родом из Кубы, говорит, испанца, чёрного, как уголь. Этот господин взял у меня три этюда за двести цванцигеров, сказав: «Завтра принесу деньги». Но что же оказалось? С тех пор я не видел уже ни Терциони, ни испанца, оба куда-то удрали. Стал я с тех пор недоверчивее. Но, заглянув, гуляя вечером, в витрину картинного магазина на площади, вижу — стоит мой этюд. Всмотриваюсь, подпись: «Терциони». «Да как же,— спрашиваю у хозяина,— это моя работа». — «Едва ли,— отвечает тот,— это копия с вашей, а оригиналы я давно уже продал, купив от того же художника, который мне высылает постоянно теперь копии с них». — «И вы это не преследуете?» — «Да какое мне дело, ежели даже он их у вас украл, я не виноват, он с вами не первым это делает».

Не буду описывать моих впечатлений и восторгов венецианских. Считаю это личным достоянием каждого, кто здесь побывает. Конечно, можно побывать везде чемоданом, а мои впечатления кто увидит в картинах, то пусть составит понятие, верно ли я глядел на красоту морей и точно ли передавал её тонкий серебристо-серый колорит, её мутную, но очаровательную воду и разнообразнейшие строения перспективных линий. Красы её так глубоко меня поразили и врезались в моей памяти, что я много раз её писал во всех видах в разнообразнейшие времена, да и буду писать до конца моей жизни, несмотря на то, что за это не раз был обруган газетами. Живя в России, её воспроизводишь, что я делал и делаю. Но отчего же, написав Венецию, делаешься совсем подлец? Однако скажу, нимало не кадя себе, ежели бы я не писал её порядочно, то имел бы все свои этюды, картины в мастерской. Но так как ни одно моё произведение не оставалось на руках, то я всегда был завален работой, которую ещё выгоднее продавал за границей.

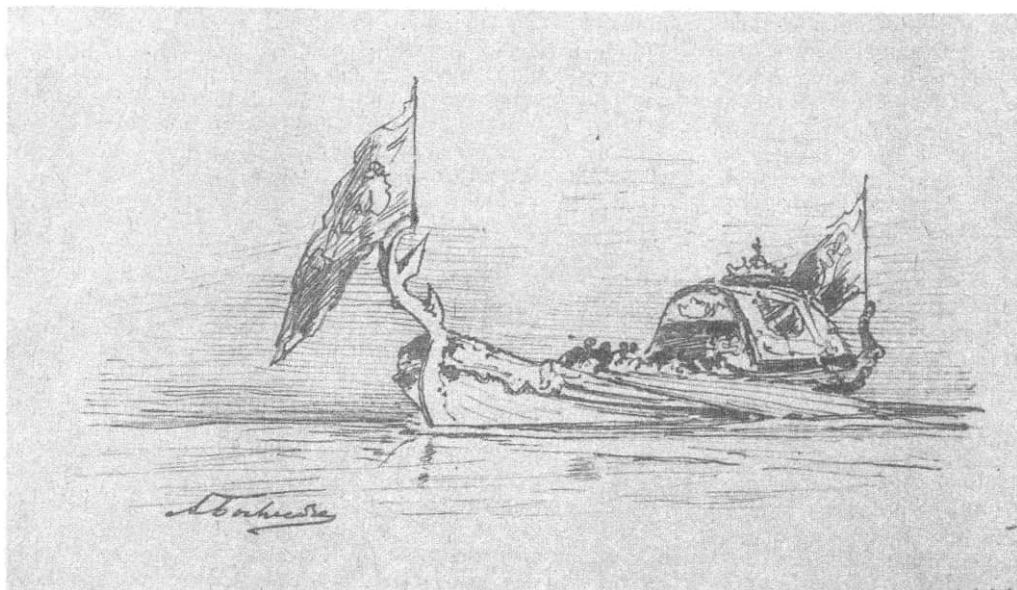
В palazzo Дуколе я много поучился, глядя на различные изображения морских подвигов прежней славной Республики. Но действовали на меня также картины П. Веронезе, Тинторетто и многих других. А обходя склепы заточений и читая историю, как беспощадно топили под Понте ден Соспире* осуждённых или жарили их под металлической свинцовой крышей после разных пыток, юное моё воображение строило разные картины ужасов, которые, впрочем, я раз написал, изображая ночь, людей в саванах и сбиров, спускающих их в глубину канала при свете факела около стен дворца. Где эта гадость, не знаю, и кто на неё смотрит и с какими умозрениями, тоже неизвестно. Но, ведь, это был грех юности с пылом и жаром, требующий снисхождения.

Повидал я также в октябре на лагунах и Канале Гранде праздник в силу воспоминаний о страшной чуме, унесшей в могилу славного Тициана когда-то. Конечно, это не то, что было прежде. «Будентавр», галера дожей, хотя и плыла по задкам Адриатики с массою гондол и лодок, на которых были всех колеров флаги и фонари, но на нём сидела австрийская ауторита** в белых мундирах, не гармонирующая прежней тоге венецианцев. Но впечатление всё-таки было дивное, именно в сумерки, когда по всем швам церкви зажгли иллюминации, которые тянулись по всему Каналу Гранде к зданиям, мешая слоистую копоть шкаликов с туманом потухающего дня и заходящего солнца. Плеск вёсел, сумбур, толкотня лодок — всё это было грандиозно чарующе!

Конечно, после, побывав ещё раза два в Венеции, я написал не одну, а десять картин этого сюжета с различными вариантами. Большая из них и лучшая принадлежит

* Мост вздохов (итал.).

** Официальное представительство на празднике (итал.).



А. П. БОГОЛЮБОВ. *Набросок лодки. 1855. Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые*

А. Г. Кузнецову в Москве. Другая, такой же величины, у Её Величества королевы датской, третья в ратуше города Триеста, а где остальные — так Бог их знает. Сюжет этот весьма нравился, и ежели бы я хотел эксплуатировать публику, как это делал Ю. Ю. Клевер, по подготовленным бедняками-художниками за два гроша холстам проходя слегка, подписав фамилию, и — таким образом непрерывный доход обеспечен. Но так как это не искусство, а ремесло, то я отказался от дальнейших повторений.

В Академии художеств я был более всего поражён картиною Тинторетто «Чудо св. Марка». Для меня он выше Тициана, Паоло Веронезе и прочих мастеров по могуществу композиции и красок и ширине письма. Но из небольших вещей музея на меня сильно действовал Карраччи. Это дивный мастер, колорист сильнейший и гармонист вместе с этим. Его «Обручение» есть столп средневекового искусства. Конечно, я признал его позднее, благодаря кн. Г. Г. Гагарину, которого считал всегда глубоким знатоком итальянской и других старых школ, хотя он был только любитель-художник, а не воспитанник Академии.

Бродя по церквам, стал я приглядываться к скульптурной древесной резьбе и вскоре сделался её великим поклонником. Много видел я тут хороших картин, но впечатление моё не путеводитель по достопримечательностям городов, а только собственные впечатления и не критика, а потому много я не распространяюсь. Интересовал меня Арсенал, или Адмиралтейство. Тут я перерисовал все старые гондолы, буцентавры, изучал резьбу на них, обстановку, окраску, что немало меня тешило и занимало, ибо все эти древности носили на себе патину времени, трудно уловимую для художества, в особенности наша юная школа любит сырые тона красок, руководствуясь жалкими правилами писания сразу, забывая, что и Господь Бог Свет создал не в один раз, а в шесть дней. Недаром французы, всегда острые, подобный приём в картинах называют *reinture constopire* (запор). Это мудрое выражение я услышал от Изабе и многих других художников, когда шло дело о быстрой работе в один присест, столь приличный И. К. Айвазовскому, который его проповедывал ученикам Академии, когда делал своё «блестательное» представление.

Остановил моё внимание также двор палатцо Дуколе, где находятся превосходные бронзовые колодцы самого изящного литья и формы. Тут постоянно можно видеть красивых рыжих венеццанок с их медными вёдрами в национальном костюме, напоминающих золотистыми своими кудрями женщин, прославленных кистью Паоло Веронезе и других мастеров. Они не изменились, также как и масса голубей, прилетающих на пьяджетту и площадь св. Марка.

Нега и убаюкивающее чувство в гондоле тоже составляют особенность страны. Гребцы-гондольеры красной и синей корпорации дают прекрасные концерты под сводом Понте

Риальто, а иногда и в одиночку. В особенности хорошо, когда в лунную ночь густой баритон улаживает прогулку по очаровательным каналам и лагунам.

Как ни хороша Венеция, но надо было её оставить и ехать далее, преследуя художественные цели. В. Н. Максудов тоже почувствовал надобность ехать к своим в Рим, уехал уже три недели. Ковалевские находили Венецию сырой и тоже отправились в Рим. Павел Михайлович хворал всё время, но, кажется, не без удовольствия. Как теперь, вижу его в качалке-кресле (*caza barbiegi**), кажется, это единственный дом, где был маленький садик, покрытого пледом, а когда солнце пекло значительно, то он клал на ноги батистовый платок, утверждая, что иногда и такой покрывки достаточно для успокоения нервов. Люди это были крайне добрые, милые. В Риме мы продолжали знакомство снова, о чём скажу в своё время. А теперь я собрался и отплыл в Триест, где думал найти что-то морское, но очень обманулся и вот как жил.

Нанял квартиру у арматора судового, следовательно моряка-строителя, который был со мной очень любезен, видя, что я специалист-художник по части кораблей. Благодаря ему я узнал, что колыбель Петровская строителей галер до сих пор ещё существует, что есть семьи, владеющие дорогими документами русского первоначального судостроения в Бока-ди-Катарро. Те же драгоценности по части русского Петровского судостроения хранились в библиотеке «Фрари», где я видел чертежи, снимал их, за подписями Апраксина, Лефорта и Петра I. Не знаю, черпал ли наш историограф русского флота Ф. Ф. Веселаго из этих источников, но, по-моему, они единственны, и следовало бы хоть сделать фотографические снимки со всех этих редкостей, дабы иметь их в нашей адмиралтейской библиотеке.

Было уже конец декабря, здесь я встретил Рождество в славянской церкви и дивился, что хор поёт так же, как и у нас в России — стройно и правильно. Погода стояла бурная. Часто ходил на мол к маяку, написал несколько бурных этюдов, но серьёзного ничего не делал. Начинала пробирать тоска, и страсть ехать в Рим поджигала меня ежедневно. Наконец, я взял место на пароме в Анкону. И на другой день, в полдень, был там и как раз попал в холерную эпидемию. Как видно было, народ там валило страшно, все ходили с куском камфары у рта, а попы пудрили рясы хлором. В Анконе только и помню красивую арку, древнюю, вроде римской Септимо Северо. Она стоит на моле у берега Адриатики. К ночи я взял место в дилижансе, чтобы ехать в Рим.

Рим. Русская колония

1855

На третье утро доехали до реки жёлтой и косматой, которая прыгала в горных ущельях. Это был Тибр. Погода стояла тёплая, всё было кругом красиво, роскошно, и я горел нетерпением увидеть вечный город. Но вот после скудного завтрака, состоящего из колбасы и яичницы с салатом, мы снова уселись в рыдван. На подороге я не вытерпел и попросил каретника позволить мне сесть на крышу дилижанса. Наконец, въехали мы в нескончаемые заборы или каменные стены и вырвались на простор, где вдруг показался Понте Молло. Тибр виляя широкой жёлтой лентой, а позади кипарисовых рош виднелся купол Петра и синелась Монте Мария, а за ней голубовато-розовая цепь гор. «Это Рим! — заорал я. — Roma!!!» И, наконец, мы въехали в Вечный город через Порт дель Пополо, остановились в Альберго дона Мишели.

Давно, кажется, в детстве, был я в звернице и прочитал на клетке: «Россوماха». Зверёк этот сновал во все стороны — и в бока, и вверх, и вниз без всякой системы, и с тех пор, когда я вижу людей-хлопотунов, то сейчас говорю «россомаха». Но, приехав в Рим, это название честно приложил к себе и начал сновать во все концы, тоже без всякой системы, не зная улиц, и, наконец, только вспомнил, что адреса всех художников в кафе Греко, куда и отправился.

Было уже около пяти часов, и вот я очутился в дымном кабаке, довольно глубоком, где по стенам силуэтами рисовались посетители, коих было легион. Шум, гам, трескотня посуды, свист гостей, зовущих камер-лакеев, и отклик их: «Есо, signore»**, хохот. А в глубине чучорская музыка с гнусливым пеннем «чучи». Всё это меня ошеломило. Гляжу направо, налево — ни одной рожки знакомой, начинал уже жалеть, как вдруг слышу в глубине хохот и чисто православную матерщину. Ну, думаю, спасён!

Я смело подхожу к столу, около которого сидит человек пять молодых людей, натравливающих пуделя на хозяйского кота. Первым узнал меня Орест Тимошевский, по прозва-

* Удобная мебель (итал.).

** «Да, синьор» (итал.).

нию «Тимоха». Мы обнялись, он был уже выпивши и как следует, начались представления. Тут сидели гравёр Пищалкин, аматер-художник Брандт, дьячок Долотский. Конечно, стали пить. Расспросам не было конца, где тот, где этот — здесь, а кто в Неаполе и прочее. Приведа мысли немного в порядок, спрашиваю: «А где бы поесть, господа?» — «Какая тут еда, подожди до 7 часов, пойдём все тогда в тракторию, а теперь пей и рассказывай». Надо было быть вежливым, и я, точно, начал пить. Спросил себе сыру, кусок хлеба и таким образом продержался до 7 часов, и тогда кто пошёл к Лепре, а кто в тракторию «дель Белль Арте». Меня отвели в последнюю, за что я был сильно обруган Тимошевским, ибо он был завсегда у Лепре. Тут я встретил Евграфа Сорокина, Железнова, кн. Максutowa, И. К. Макарова, Лагорно, Забеллу юного, Чернышёва. Вскоре пришли Кабанов, Давыдов. «Где Бронников?» — спрашиваю, — говорят: «Едет». — «А Венниг?» — «Эта немецкая свинья к Овербеку прилепилась, и мы его не видим».

На другой день из Альберго я перебрался к кн. Максutowу на Виа Систина — это было почти рядом с Монте Пинчио, неподалёку от Тринита де Монте. Как и прежде, князь мой ничего не делал, аккуратно ходил к обеду и к ужину с товарищами в тракторию, а до этого зайдёт, бывало, к товарищам, к Мишке Железнову, и тут-то начинаются вечные споры про искусство, где, конечно, К. П. Брюллов был всегда ореолом русского художества. Во всё своё пребывание в Риме Мишка писал «Ангела молитвы» в подражание известному ангелу Брюллова, так что получил название «художника по ангельской части». Он был хотя жалкою, но какою-то душою общества. Во время моего приезда в Рим слыл за знатока искусства, читал и даже писал всё опять более про Брюллова, собирал его этюды, дружил с Титони, у которого жил и умер Карл Павлович. И так как мы все тогда никакого Бога по живописи в России не признавали, то, пожалуй, и верили ему. Но после дело стало иное, мы окрепли, стали глядеть своими глазами и теории Мишки сделались смешными и односторонними.

Но довольно о нём, пойдём далее. О Железнове ещё речь будет, ибо он, по своей бесхарактерности и бездарности, часто нас беспокоил. Дельнее всех нас по искусству и, пожалуй, по рисунку был Евграф Сорокин. Это всегда был хороший товарищ и прекрасный человек, хотя недостаток образования до старости оставил на нём отпечаток сырого человека. Сорокин был прекрасным рисовальщиком и преподавателем, писал мудро образа, но по части картин был человек без эстетического чувства и без идеи, а когда исполнит её, так выходило плохо — передумано и даже бестолково. Сорокин был нашим коноводом. Ему верили, его слушали, замечания его всегда были правдивы и метки.

Через месяца три приехал сюда мой добрый друг и приятель до конца моих дней Фёдор Андреевич Бронников. Это тоже был даровитый молодой человек, хотя сырой, как Сорокин. Но сейчас занялся своей культурой, много читал, всегда ревностно работал с натуры, а потому все картины его носят отпечаток знания исторического и археологического. Проживал здесь в это время также Пимен Никитич Орлов. Картины писал колоритно, но всегда одного пошиба. Проживал также в беспечности и добротe Иванов, под названием «голубой». Сей субъект был завезён сюда пьющей братней Чернецовыми, теми самыми, которые верстами писали Волгу, писали Палестину, Рим, — словом, много писали, но в конце концов сгибли, как тля, ничего не внеся в искусство, кроме подражания своему профессору М. Н. Воробьёву. А «голубым» Иванов прозван потому, что варвары-братья бросили его в Риме и прикрыли наготу голубой шинелью. Взяли они Иванова где-то мальчиком на Волге, держали как слугу, заставляли рисовать и, видя, что он не совсем без способности, везде его с собой возили и дотащили до Италии.

Проживал здесь в это время и знаменитый Александр Андреевич Иванов, и когда я приехал, то писание его картины было лето девятнадцатое. Он держал себя от нас далеко и строго. Дружил с старовером Солдатёнковым, когда сей заезжал в Рим, и Гоголем, с которым у «Фальконе»* обедали по три порции фитуч, то есть волосяной пасты макаронной. Проживал при нём его родной брат, таинственный архитектор Сергей Иванов. Работ его тоже никто не видел, верили в долг и говорили: «У, какой талант! Термы Каракалы воскрешает — лучше римских древних изобразил!».

При начале я назвал гравёра Пищалкина. Это был господин точно с пискливым голоом, работал тоже таинственно, слыл за даровитого, превосходно рисовал под гравюру карандашом и делал прекрасные портреты, но по гравюре лет десять всё не оканчивал ничего. Он был умён, ехиден и прндирчив, часто его травили и смеялись над ним. Проживал здесь также Штельб — архитектор, ученик профессора Тона, пьяница, но очень талантливый. Его скоро выслали за буйство, и он поступил из пенсионеров к своему патрону Кон-

* Ресторанчик, называемый по фамилии хозяина.

стантину Тону, которому сделал рисунки всех зал и их орнаментацию в Московском Большом дворце.

Тут же находился и художник Раев. Этот жил подаением Солдатёноква, был туп и бездарен, писал какого-то святого, что церковные стены расписывал, а так как этих господ было много, то изображал тех с ангелами, трущими краску, или в одиночку, но картин не оканчивал, так что его покровитель их имеет у себя в зачатии. Известен был Раев вот почему. Когда приехала в Рим президент нашей Академии В. Кн. Мария Николаевна, то бывший попечитель кн. Волконский потребовал, чтобы все обрили бороды, ибо время было Николаевское. Что делать? Надо было уступить. Некоторые сказались больными, но представление назначили. Сбрил бороду и Раев. Представьте, обошлось благополучно. Великая Княгиня всегда была добра и отзывчива к нуждам художников, всех подарила ласковым словом и скоро уехала. С радости, конечно, началось пьянство, и Раев придумал похороны своей бороды. Собралась публика наша в кафе «Греко», и порешили хоронить бороду на Монте Мария посреди стоящих там шести кипарисов. И вот забрали вина, лёгкую закуску и отправились. Вырыли посреди ямку, опустили бороду, зарыли и потом под лихую песню утаптывали землю вприсядку, после чего хозяин вынул из кармана кисть и банку с белыми и написал на каждом стволе кипарисном: «Бо-ро-да Ра-е-ва».

Рядом с Тимошевским жил художник Костя Григорович, весьма добрый малый, но бездарный, сын конференц-секретаря Григоровича, который его и вытаскил. Но он скоро умер в чахотке, а потому мир его праху и памяти. Орест Тимошевский был великий кутила-мученик, художник даровитый, но невежественный и развратный донельзя. Студия его была рядом с Григоровичем, и в ней была всегда такая возня и шум, что бедняк не знал, что делать. Тимоха, как его звали в простоте, был музыкант — играл на гитаре, цитре и балалайке в совершенстве. Пел, плясал, был вида весёлого, стройный блондин и почти всегда пьяный. Вздумал он писать «Ганимеда». Надо было подвесить натурщика. Устроили с потолка мастерской петли и водрузили туда молодца. Но по русскому гостеприимству оба сперва выпили и закусили и стали работать. Прежде заснул натурщик, а потом и мастер. Вдруг Григорович слышит вопль и стон, вбегает в студию, а Тимошевский во все горло орёт и хохочет. Сбежались ещё художники, высвободили из петли бедного Алессандро. А тот, подобрав свою одежду, выбежал на двор голый, перепугавшись, чтоб Тимоха снова не угораздил его в пути. Тем «Ганимед» и закончился.

Об этом товарище придётся говорить далее, а теперь скажу несколько слов о знаменитом в то время Фёдоре Антоновиче Моллере. Это был прекрасный, скромный и душевный человек, весьма образованный и в высшей степени христианин, широко делавший добро ближнему, по своим скромным средствам. Он писал тогда картину «Апостол Пётр проповедует на острове Патмосе». Картина эта стоит в Академии, она бездарна, а главное, что, бросив милый натуральный жанр, как «Первый поцелуй» или «Обручальное кольцо», Моллер увлёкся Овербеком, этим незунтом живописи, первоклассным вором всего рафаэлевского и даже дорафаэлевского времени. Конечно, он не был без таланта, но, видя, что самобытности достичь не может, пустился, как хитрый немец, поддерживаемый папизмом, в святые сюжеты, мистические толкования которых скоро поставили его в ряды гениев искусства в Германии. Дура-Россия, в виде Орлова-Давыдова, барона Ферзена, тоже попадалась на эту удочку, но теперь всё это хлам и вздор и ученик его, профессор Вениг, разве потому, что глуп от рождения, не сознаёт, что Овербек был жонглёр весьма ловкий своего времени. Но Ф. А. Моллер, когда говорил о святости складок рафаэлевских, не говоря уже о фигурах, то верил с убеждением этой ерунде. Я вступил тогда только на путь художника, а потому не возражал, но в душе всё это мне было противно и казалось напускным. А почему? Потому что в реальном труде сил у этих господ не было, да и думы своей тоже.

Проживал здесь акварелист, академик архитектуры Андрей Лавеццари. Это был добрый и подчас весёлый малый. Ещё тогда он привёз из Парижа в Рим натурщицу-цыганку Мадлен, с которой жил до конца жизни, будучи женатым одно время на дочери карнавального кучера, очень красивой итальянке и умной. К сожалению, она скоро умерла, и кривое колесо писало до конца жизни с цыганами при лёгком сперва, а потом и постоянном запое.

Приехал сюда и Иван Козьмич Макаров, и тогда уже лысый, слащавый гомеопат, но всегда прекрасный и добрый товарищ. Из художников молодых он выступал вперёд сильно, ловко писал детские портреты и даже дамские. У него мы частенько собирались, но и тут Мишка Железнов отравлял всё своим Брюлловым. Тут же заведателями были Чернышёв, Сорокин, Бронников, я, Лагорио, кн. Максотов и другие. Время проводили более за чаем без крепких напитков.

Алексей Филиппович Чернышёв тогда уже начал впадать в мрачное настроение. Это был милый, честный мальчик, за что его захвалили и считали талантливым в Академии. Ума у него не было, но благодушия пропасть. Чертил он бойко, вроде Штернберга, который был его идеалом, делал акварельки с тушью, но картин его умных и сильных не было до самого его сумасшествия.

Как пейзажист меж нами считался Лагорио самым даровитым, хотя всегда был он близоруким и писал этюды в бинокль. У него уже тогда образовался какой-то пошиб в письме змейками, который он сохранил до конца жизни. Краски его были приятны, но редко естественны. Смесь розового с зелёным он унаследовал от Айвазовского, и эта болячка его пекла постоянно. Здесь он написал много хороших этюдов, они в галерее П. М. Третьякова, а у Солдатёнова находится его прекрасная картина — около порто Д'Анцио пиниевый лес. Потом его заела женитьба, он ударился на Кавказ, где хотел заместить Горшильда, и, вернувшись в Петербург, стал писать всё плоше и плоше ради скорого заработка. Нрава он был весёлого — острил, шутил, пел, плясал, словом, был в Риме душой общества вместе с Карриком, высоким красавцем, бездарным художником, потом фотографом, но всегда добрым товарищем и шутком. Бродил по Риму таинственно и дико Кабанов. Этот парень, не бесталаный, к сожалению, пил горькую вместе с пейзажистом Иваном Давыдовым, который скоро погиб в чухотке и умер на руках доброго Моллера. Но Кабан Кабаныч Кабанов, как его звали, уже сторел от вина в отечестве. С нами он пить не любил, но удалялся в Трастевере или к римским извозчикам-ломовникам в пределы храма Весты и там, в кабаках, пропивал последнюю копейку, а когда отрезвлялся от запоя, то зелёный и часто избитый являлся к нам и уже ничего не пил недели две. После чего его снова прорывало, и жизнь снова шла в кругу стервы римской.

Из скульпторов были юный Забелло и с паклевой головой и красными глазами поляк Бродский, совершенная бездарность, но и он как-то кормился подавниями русских бар, которым всучивал свои мерзвейшие мраморы. Проживал здесь тоже архитектор Шурупов. Сей господин лет шесть всё сочинял щит великой России, попивал, толковал и ровно ничего не делал. Дружил он, как и все мы, с Карлом Брандтом. Это был художник-любитель, сын архангельского купца, богатенький, почему и служил нашим банкиром. Этот, бесспорно, был бездарнее всех, что его не огорчало, ибо, за деньги, разные тёмные немцы ему исправляли его картины. Преимущественно он писал только Римскую Кампанию с буйволами и акведуками, за которыми то вставало, то ложилось солнце. Это светило во времена безгрома приносило мне хорошую ренту, за его изображение я брал пять и десять скуди с приличным угощением.

Я уже сказал, что поместился у кн. МаксUTOва. Князь был баловень своих родителей и, как единственный сын родителей не без состояния, не занимался серьёзно, но будучи прекрасным товарищем, дружно ходил в нашем стаде и, подобно дурню Мишке, носил типичную широкую шляпу а ля Рембрандт и кутался в плащ испанский, сооружение весьма неудобное. Но без широкополой шляпы и этой хламиды художник не мог считаться полным и даже талантливым.

Прошло месяца два в осмотре города, галерей Ватикана, церковей знаменитых, и только тогда пришлось подумать о работе. Товарищи меня любили, говорили: «Пиши Тибр, поезжай в Альбано, на озеро Неми». Но как ни сядешь за работу, всё казалось, что я ничего не знаю, да и на натуру-то гляжу, как корова на проходящий поезд — тупо, бессознательно. Походил я к художникам-немцам, пейзажистам, к Швейнфурту, Тотен-Роту, Францу. Но всё это были люди, проникнутые традиционной пуссеновской теорией классического пейзажа, городили виды с десятью планами, роццами, каскадами, а натуры я у них не видел. А то, что повидел нового в Бельгии, Голландии, Дюссельдорфе, сильно меня мучило, и я не знал, с чего начать.

Раз иду с альбомом около Понте Ротто — вижу, сидит художник. Я подошёл к нему, это был зрелый человек, не старик, ещё красивый, но уже с проседью. Я робко глядел на его работу, и когда он ко мне обернулся, то извинился по-французски. «А вы француз?» — говорит он. «Нет, русский, но ещё не говорящий бойко по-итальянски». — «Кто вы?» — «Пейзажист морской и перспективист». То был Франсуа, известный французский художник. Впоследствии я ему обязан, что познакомился со всеми пенсионерами Академии Вилла Медичи, что разом сделало во мне переворот, и я стал вглядываться, как этот народ, выросший в школе Энгра, Руссо, Коро и прочих новых светил, ещё только что тогда открывших новую эру французского пейзажа, глядит на натуру.

Вскоре товарищи мои это заметили как в работе, так и в жизни моей. «Ну, смотри, Офицер (такова долго была моя кличка), офранцузись, и ничего из тебя не будет». Но будучи под влиянием нового веяния, я всё более и более вдавался в простоту линий пейзажа. Писал очень мало, но зато чертил массу рисунков и пером, и карандашом, что устано-

вило меня совершенно в перспективе, которую я хотя и знал научно, но к делу прилагал плохо. Первые мои этюды были вялы, бледны. Мне всё хотелось изображать солнце, и только при серой погоде я его улавливал. Бесила также синева неба, когда захочешь удариться в сильный колорит. Сочлазовать краски я совсем не умел, но прежде, бывало, куда ловко сбивал по айвазовскому рецепту флейцем и небо и дали.

В это время на моих товарищей и на меня нашла страсть учиться акварели. Проживал здесь тогда известный Корроди. Вот мы сложились по десять скуди за урок и пригласили его к себе и стали по его шаблону его же копировать. Такой скуки, чистоты, зализанности я никогда не испытывал! Точно, его пейзажи были верх отчётливости и приятности условной в тонах. С натуры он делал контуры в камеру-лючиду, но правды и пошиба бойкого в них не было, а только «конопатка». Скопировал я его «Сорренто» и приношу к французам. «Да, — говорят, — это тупица Корроди, художник для англичан и дурней заезжих. Да разве это искусство, разве это работа! Ну взгляните — вот Изабе, Гюден, вот Лами, вот Тройон, ведь это огонь, а Корроди ваш — лизун!» Вечером у Макарова была сходка, я навёл разговор на Корроди и говорю, что-де это сухарь. И вот на меня посыпалась ругань. «Да ты что о себе воображаешь! — кричит разъярённый Мишка Железнов. — Даже Карл Павлович его признавал лучшим акварелистом, он тоже с ним учился, а ты, прохвост, что сделал?» — «Я, конечно, ничего пока, но по этой дороге тупости не пойду». — «Официришка ты этакий, горло широкое, пропадёшь, как тля!» Да и от всех мне попало за Корроди. Один Евграф Сорокин сказал: «Да пусть его идёт своей башкой, сломит её, сам виноват будет, а как что-нибудь сделает хорошее, так увидим».

И стал я делать гризали, то есть туши с красным обводом контуров пером. Это я выгладел в музее Палаццо Барберини у старых мастеров. Выходило гармонично и свежо. Французы меня ободряли. «Так переходите к масляной краске, — сказал мне художник Буржуен, — и на полотне». Это меня познакомило с серым подмалёвком и очень облегчило взгляд на натуру.

Приехал тогда в Рим Орас Верне, меня ему представили. «Когда будете в Париже, приходите ко мне, всегда буду рад вас видеть, я люблю Россию и вашего царя!» — сказал мне дитя и баловень искусства тех дней. А после что вышло? В 1860-х годах, когда мир стал признавать только живопись с натуры и простоту идеи труда, полетели к чёрту под гору О. Верне, Поль Деларош, Ари Шеффер и прочие сладкие и красивые мастера 1830-х годов с пуссеновскими пейзажами ходоульными, без идеи и натуры. Таков стал смысл нынешнего труда и воззрения на искусство. Все мыслители-художники, вроде Каульбаха, Корнелиуса, Шпора, Ретеля, Пилотти и других, хороши разве для тупых бюргеров Германии, как были Верне и Деларош для Франции, а для России — Бруни, Брюлов, Басин, Шебуев и прочие. Всё это была традиция воровства с мастеров итальянской древней эпохи. И только с появлением Жерико, Энгра, Прудона, Делакруа и других явилась новая эра сортировки нашего брата по истинному мерилу, и французская школа сделалась торжеством современного искусства.

Так шло наше время до известия о внезапной кончине Государя Николая Павловича. Сидели мы в трагатории Белль Арте, и И. К. Макаров принёс эту потрясающую новость. Война уже кипела в Крыму. Нас всё били. Да, били, хотя товарищи севастопольцы геройски держались в своих окопах. Побежали в церковь посольскую и целую неделю ходили на нанихиды. Кн. Григорий Волковский, наш попечитель, привёл нас к присяге, и долго мы бродили по Риму, как ошпаренные, замолкли песни на улицах, где мы, не стесняясь, со свистом и гиканьем певали «Вниз по матушке по Волге» или «Камаринскую». Между нами проживал один субъект, очень серьёзный глухой мозаичист Реймерс, воображавший себя Петром Великим в смысле открытия какой-то мази крепящей, в которую он всаживал свою мозаику. Этот человек по глупости или слабонервности месяца два рыдал везде по Николае Павловиче, так что его прозвали «Николаевский плакучий фонтан», а Тимошевский нарисовал карикатуру: Реймерс стоит в числе статуй фонтана де Треви и одни ослы пьют его слёзы.

Но стало пахнуть весной, надо было думать ехать на этюды к морю, решили ехать в Неаполь, Сорренто, Палермо, Мессину — до Катании и Сиракуз. В мае бывает у художников «герборский» праздник, но мы, русские, от соучастия отказались ввиду траура по царю.

Риму я обязан первым внутренним честным сознанием, что древнее искусство имеет свою громадную прелесть. Глубоко я его никогда не изучал, ибо всегда был предан новейшей школе мастеров, как более для меня доступной, но, глядя на Джотто, Чимабуэ, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Карпаччо и прочих, я почувствовал, что это были люди не нашего развратного пошиба. Быть может, они были кутилы и пьяницы, но воззрение их на дело

картинное было вымучено каким-то священным культом, что и составляет их особенность, не присущую нашему времени.

Да, пожалуй, если рукопись моя будет читана людьми, знавшими мою молодость, буйную и пьяную, они справедливо скажут: «Вишь, напускает какую чистоту в себе, разбирая древних мастеров». А я отвечаю — не напускаю, а говорю, что чувствовал и чувствую. Как мне нравилась скульптура Донателло, так омерзителен мне показался Канова в своих «Бойцах», «Грациях» и других монументах. Конечно, это люди несравнимые, но опять я здесь для себя вижу, что Донателло был человек глубокой веры и чувства, а Канова — баловень века. Скульптура греческая колоссальная меня никогда не радовала и не привлекала. Но в Венере Капитолийской и в многих других мраморах нельзя не сознать, что это были люди высокой культурно-художественной линии, создавшие тип красоты классической. Что же касается до всех статуй эпохи барокко, то тут есть ширь, но зато и самая ужасная необузданность в форме. А почему «Давид» Микельанджело, осуждённый вечно стоять без спины, — торжество искусства? Пожалуй, дерзко сказано, когда вспомнишь, что это творец «Моисея», что стоит в церкви св. Петра. Но это мой взгляд, ругайте меня, как хотите, сознаюсь, что это был могучий художник, что гнул дуги непаренные красиво, увлекательно, но не натуралист, как греки, а идеалист.

Южная Италия

В это время в Неаполе разыгрался Везувий, говорили, что лава уже находится у предместья города, а потому мы скорёхонько собрались в числе шести человек — Боголюбов, Чернышёв, Бронников, Баскаков, Лагорно и Клагес — взяли места в дилижансе, где помещалось всего шестнадцать человек снаружи и внутри, и отправились в четырёхдневный путь. Ветурин, то есть кучер, он же кормилец путешественников, платил за постой и нёс на себе власть полицейскую. Как при поездке из Анконы, утром давали серое пойло, называемое кофеем, за завтраком — яичницу и салат, а за обедом — суп из помоев, опять яичницу и баранину, да кусок сыру и вина флягу, конечно, мерзейшего. Ветурин был и чичероне. Чтoб не ругали очень за еду, перед посадкой нас в клетку он входил в зал, где мы ели, и говорил так: «город Валетри, вид прекрасный, здесь на Понтийских болотах свиньями торгуют, башмаки для дам делают». О Понтийских болотах выражался так: «Здесь шёл Пётр апостол, всё пешком, малярия свирепствует летом, буйволов воспитывают». И точно, их там было легион. На полпути ветурин останавливался и кричал: «А вот здесь Павел встретился с апостолом Петром, и они поцеловались, сидели вот на этом мостике». На половине пути в болотах была опять остановка в трактире, но здесь уже была полная голодовка, дали сыр лошадиный да буйволового молока с хлебом. Кусали крепко нас и лошадей москиты и комары, так что до Террачино все чесали себе морды, шею и руки.

В Террачино был привал и ночлег. Здесь, на берегу моря, стоит большая старинная четырёхугольная генуэзская башня очень красивой формы. Сиди её чертить. Спали плохо потому, что к комарам и москитам прибавились блохи. И наутро опять в путь двинулись и таким образом, наконец, добрались до Неаполя, который дал себя почувствовать станции за три серным дымным запахом, который усиливается по мере приближения к Везувью. Остановились мы в заезжих комнатах на набережной Санта Лючия.

На другой день, отдохнув, стали помышлять о походе на Везувий. Проводниками брались быть лаццарони, выбрали двух, сели в две коляски и поехали в Гезину. Там уже была тьма народу, солнце уже село, а потому огонь клокошущей лавы, покрытой то там, то сям чёрными корками, пылал в русле высохшего потока, куда лава направилась. Высота её была в сажени полторы. Мы спустились в русло. Тут испытывалось необыкновенное чувство. Масса медленно на нас как бы выливалась, фыркающая и дрожа, а поток нёс с собой обуглившиеся оливы, которые вдруг вспыхивали. А тем временем по верху лавы отчаянные мальчишки становились на корку и прыгивали за бугёк, в сторону. Тут же сейчас открылась фабрика сувениров. Брали с нас монету, зачерпывали лаву и всаживали её в горячий состав, макали в воду и отдавали уже оправленную в блинчик, на котором был отпечатан год извержения.

Но как поступить, чтобы добраться до Везувия, когда мы даже не были у его подножия? Лаццарони в числе четырёх, кроме двух наших, говорили: «В час ходьбы мы будем там, господа». Но после долгого обсуждения положено было отложить восхождение на завтрашний день, почему и отдан был приказ проводникам отвезти нас в Альберго. В это время, как из земли, вырастают перед нами кн. Максудов и Железнов. «А я, — сказал Максудов, — приехал только закурить папироску огнём Везувия и завтра еду обратно». И точно, уехал, а Мишка пошёл с нами в какой-то ужасный постоялый двор, где до утра страшно ела блоха и вошь. Комаров же и москитов выкурила сера.

Наутро рано наняли каретину и гурьбой, человек двенадцать, отправились к Эрмитажу, где подлецы-монахи торгуют Лакрима Кристи*, весьма подлым вином, но попробовать следовало. Отсюда началось восхождение — трудное и долгое, ибо зола то и дело осыпается под ногами. Чем дальше и выше, она становилась горячей. Бронников, как более благоразумный, остановился и говорит: «Да, господа, что мы увидим там, на кратере? Здесь, посмотрите, и то задыхаемся от серного дыма, а выше будет ещё хуже». В это время нас сверху обдало горячим песком, и вдруг всё вокруг стало темнеть. Смотрим, наши проводники первые бросились бежать вниз, чему и мы последовали. Но сходить с Везувия — это удовольствие. Сделаешь шаг, а проедешь их десять. Так что через минут 10 мы опять были у эрмитажа. Рожи у нас были чёрные, все провоняли серой, а сапоги у кого без подметок, а у кого лопнули. Мелкий песок всё сыпался по временам, задул ветер с моря, прогнав дым за гору, и тогда мы увидели ручьёв лавы огненной лавы, которая с треском бежала по направлению к Неаполю. Сделав из тряпья сандалии, у кого поотлетели подошвы, побрели к Помпее и к полудню уже сидели под верандой, обжираясь свиной и макаронами.

Успокоившись от передыжки, решили два часа осматривать раскопки города. Мишка Железнов, бледный от страха до сих пор, оправился и начал уже ораторствовать. «Вот, господа,— начал он,— Плиний Младший, указаниями которого руководствовался К. П. Брюллов для своей картины, говорит, что прежде всего пошёл песчаный дождь, потом каменный, а потом уже водяной горячий. Движение началось с восточной стороны, и те, которые побежали на юг, к морю, могли спастись, а Клавдий Юний и дядя Плиния говорят, что...» — «Да ты, Михай, не пори нам орунду, а покажи лучше город, ведь у тебя Бедкер, да, ведь, кроме этого ты прихватил план Карла Павловича». Рассказчик хотел обидеться, но все встали и повели его к входным воротам.

Опять я не стану описывать помпейских улиц, бань, жилья булочника, портного, бордели, кладки камней мостовой, их борозды от колесниц. Но когда мы пришли на пункт, откуда была взята точка улицы гробниц для картины, то я невольно сказал: «Да ведь то маленькие монументы, а где же здесь колоссальные портики, колонны валяющиеся! Как видно, всё это сочинение в характере того, что мы видим, да и улица-то вся в две сажени». Тут Мишка начал неистово кричать: «Да разве вы не видите этого да этого, что ж вам, чёрта ещё нужно, что ли?». Так что, наругавшись достаточно, часа три с половиной или четыре бродя по разным дворикам и храмам, возвратились мы к вечеру в помпейскую Альберго и стали думать да гадать, что теперь предпринять нам — остаться ли в Сорренто, Амальфи, на Капри или ехать в Сицилию. Бронников остался с Железновым для работы в Помпее. Я, Чернышёв, Баскаков и Клагес решили ехать в Палермо, а Лагорно поехал нас ожидать в Сорренто, где решили собраться для этюдов.

Хотя и в Неаполе была холера, но ещё не сильная, а в Палермо мы её застали в полном разгаре. Поместившись в довольно убогой гостинице близ порта, ночью спать не могли, ибо задыхались от жирового угара, происходившего от жиротопки рыбы тон, которая в таком количестве здесь вылавливается в эту пору, что снабжает всю Европу. Здесь её солят, маринуют, пластуют, купорят то в бочки, то в жестянки. Всё производство работы идёт на набережной, по которой валяются рыбы башки, глаза и внутренности, и всё это вместе с жиром и смрадом не способствует, конечно, прекращению холеры, почему на другой день я подал голос дом этот покинуть и, ежели товарищи не хотят, то порешил от них отделиться. Тот же мудрый совет нам подал наш генеральный консул г. Кистер, милый и любезный человек. Хозяин Альберго, узнав, что шесть душ оставляют его отель разом, пришёл в такой азарт, что к вечеру у него сделалась холера.

Мы переехали почти на край города, в место более покойное и чистое, и начали свои поделки, но не бойко. Жара стояла такая ужиственная, что только с 5 часов утра до 10 можно было работать или от 5 до 7 вечера. Я более всего ездил на Монте Пелегрино — это чудный утёс, похожий на каравай по форме, с которого вид на Палермо очарователен. Сделал этюд грота св. Розалии с прорывом через арку на город, работал также в порту, тогда как товарищи мои ездили в Монреале и писали с этой дивной греческой базилики, едва ли не самой искусной и богатой во всей Европе.

Раз, возвращаясь оттуда, на полути нас остановил какой-то не то монах, не то светский человек, очень вежливо по-французски он пригласил нас зайти к нему в обитель освежиться. Перед нами был монастырь с небольшой церковью и прекрасным домом и садом. В нижнем этаже дома был салон, биллиард, библиотека, курильня с фонтаном. А кругом под окнами прекрасные террасы с совсем редкими растениями. Монах принёс нам поднос с фруктами, сербетами, вином. Вскоре вышли ещё два молодых человека, тоже в белых ря-

* Слёзы Христа (итал.).

сах, но распахнувши их. Было видно чистое бельё джентльменское, штаны, чёрные лаковые сапоги. Тот час же пригласили к биллиарду, подали сигар, и мы были как у себя дома. «Позвольте вас спросить, синьор,— начал я с подобающей скромностью,— что вы за почтенные люди. Костюм ваш как будто духовный отчасти, но жильё и привычки совсем светские». — «Да, это странно, но вот в чём дело. Все мы дети богатых отцов, кто закутил очень, а кто задолжал, кто обольстил женщину и пр. и пр., словом, мы приговорены к тюрьме. Но так как содержать таких господ дорого, да потом мы народ непокойный, то правительство устроило здесь, в монастыре, ссыльный дом с наружным покаянием. Мы дорого платим за своё содержание, что очень выгодно братии, и вступая, даём слово не бежать, а жить в пределах монастыря. Нас в церковь не гоняют, хотя это положено, конечно, и за это мы платим. Одно трудно, честное слово возбраняет нам женщин, но и их всё-таки переряжают в послушников, закрывая глаза». — «Удивительно разумное учреждение,— сказал я,— и кто же его придумал?» — «А, это сам *Il Rei Bomba**, то есть Фердинанд. Он здесь тоже отбывал свои грехи, и ему мы обязаны этим прекрасным наказанием. Но скучно здесь, нас все обходят, боятся, но что делать. Жаль, что не могу вам представить ещё двух товарищей, они больны, у них запой теперь, но когда зайдёте в другой раз, то, верно, болезнь их оставит. Это милые люди». Отдохнув, напившись и наевшись, мы поблагодарили своих добрых хозяев-узников и пошли в город.

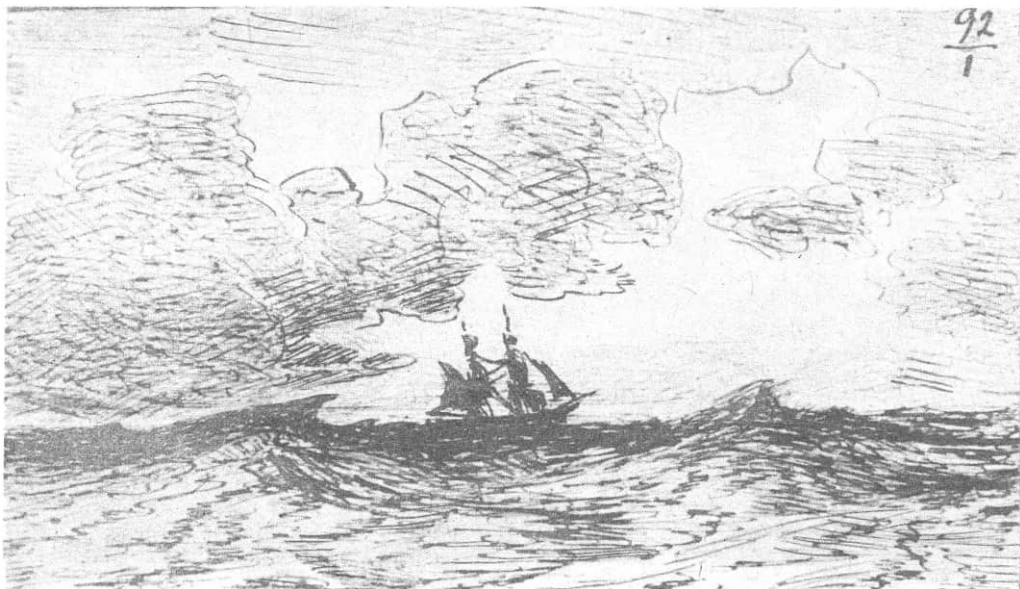
На пути зашли в катакомбы, весьма оригинальные и громадные. Это подалее, где жила наша Государыня императрица Александра Фёдоровна, то есть за городом на вилле Буттера. Воздух здесь очень чист, несмотря на то, что во всех галереях справа и слева лежат покойники. Последние очень художественно убраны звёздами из голов, черепов, костей рук и ног. Поделаны также из этого материала люстры, а из спинных позвонков цепи их. Всё это очень изящно, но странно. Были здесь с нами англичане с красными книжками, и одна мисс оторвала кусочек юбки висевшей на стене бабы и положила в свой «Беджер». Почтенный наш генеральный консул был очень гостеприимен, он научил нас жить в Палермо, ибо жизнь здесь летом совсем другая. Ложиться спать с рассветом, спать до четырёх часов, потом завтракать. Обедают в 12 часов ночи и потом гуляют и делают визиты.

Несмотря на жар, я здесь порядочно поработал — написал до двадцати этюдов и много сделал рисунков, которые впоследствии мне сильно послужили. Жили мы здесь благодаря холере очень скромно и не поддавались даже предложениям местного сводника Меркурио. Это был тип, мимо которого проходить нельзя. Во-первых, он был всегда во фраке, стоял у кафе, держал себя с достоинством, кланялся каким-то строго нравственным поклоном, что не мешало ему вполголоса сказать вам: «Я дон Меркурио, сводник короля обеих Сицилий и всех принцев крови, посещавших Тринакрию, как и коронованных особ, особ высшего общества, равно как монахинь. Всё можете получить и никогда не наткнётесь на дурные встречи с мужьями». И точно, о доне Меркурио я слышал от моих товарищей, моряка Баженова и других, что это был весьма ловкий человек. Он имел собственный дом, и дочь его, по его словам, была женою префекта какого-то округа. Но я с ним в сделки не входил, хотя он отдал нам визит в отель, куда прибыл в коляске.

Пробыв здесь около трёх недель, я с Чернышёвым порешили ехать в Мессину, а товарищи назначили нам Сорренто, как место сходимки. Для скорейшего перехода мы взяли место на маленьком пароходе, что ходил по берегу Сицилии, и рано утром пустились в путь. Погода была чудная, ветер дул с моря, а потому держались не очень близко берега. Ехала с нами труппа актёров со всеми своими костюмами и декорациями, которые взвалили между кожухами. Пароходик работал, топя колёсными перьями, ибо был загружен порядком. Часов около 10 стихло, и вдруг дунул ветер с гор. Море забелело. Стали держать ближе к берегу, но надули паруса. Нас тащило в море, где прихватило волнение и стало валять не на шутку, макая декорациями в воду. Валы вкатывались и мыли палубу. Понимая, в чём дело, я забрался на мостик к капитану и говорю ему: «Ведь вы нас потопите, если не опустите паруса». Капитан отвечает с полным спокойствием: «А эти бедняки что станут делать без декораций? Однако уходите, я думаю, что этот хлам смоем и без вашей помощи». Вкатило ещё волны две, вопли баб и мужчин огласили палубу, но в этот момент старый матрос подошёл с топором к кожуху и с наветра дал два удара по снастям, державшим декорации. Вкатила новая волна — и с нею дрогнула труба и все поручни и декорации очутились в воде. Пароходик как будто вынырнул из воды, послушал руля, и мы через 3 часа уже были под берегом и бежали снова 8 узлов.

Грустно было видеть бедный люд, разом лишённый хлеба насущного. Антрепренёр рвал на себе одежду, показывая кулаки капитану, а он преспокойно ходил по палубе. Мо-

* Король Бомба (итал.).



А. П. БОГОЛЮБОВ. Марина. Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые

стик был снесён, борт подветренный выломан. В 2 часа как бы совсем стихло. Все вынули свои корзиночки и стали угощать друг друга. Между актрисами была старая баба, сидела она растрёпанная, густые чёрные с проседью волосы висели у неё по плечам и болтались по грязной кофте. Видно, что она была очень красива смолоду. «А вы что за синьор? — спросила она меня. — Художник-портретист, француз?» — «Нет, русский». С этим словом она вскочила. «Из Петербурга?» — «Да!» — «А я была в России 4 года, вышла замуж за поляка там, который меня бросил с ребёнком. Но он околел, слава Богу, и вот мой сын. — Тут она показала на парня лет 22-х, красивого, с белыми зубами: — Филипп, господин из России, ты знаешь, как я люблю этот край, там люди все хорошие, и в это время жилось весело. А как у вас пьют здорово, так прелесть! Я была первой балериной в Москве, Харькове и Одессе. И не встретить этого поляка, я была бы принцесса, ибо меня очень любил В. Кн. Михаил Павлович, да и кн. Волконский — это тоже был славный старик».

Таким образом мы добежали до мыса, обогнув который, увидели Мессину и Калабрийский берег, а за ним, вдруг, выскочил пик Этны, убелённый снегом, несмотря на то, что из неё валил дым. Расprostились с актёрами, нас отвезли в гостиницу около собора, весьма порядочную, хотя скромную. На другой день был канун праздника св. Богородицы.

Весь город иллюминировался флагами, коврами из окон, жгли хлопушки, пускали ракеты, и толпы народа уже с утра бродили по городу. По протекции хозяина отеля нам дали два билета в собор, чтобы видеть вечернее служение и на другой день обедню. Растянулись шпалерами около собора войска, и начали расхаживать с факелами в белых, инквизиторских, красных и чёрных колпаках разные корпорации. Пол устлали пальмовыми ветвями, лавром, миртом. Около 8 часов показались золотые кареты XVII века, расписные. Там сидела кардинал Эвеки и другая именитая поповщина, а потом ехала знать городская. Всё это вошло в храм, куда и мы проскочили. Места нам дали на второй скамье. Началась музыка, пение и, наконец, такой шум, что стены храма с окнами задрожали. То ауторита поднимала ковчег с волосами Богородицы, который, по преданию, подарил Мессине апостол Лука. Ковчег обнесли кругом церкви и поставили на возвышение перед алтарём. Опять началось пение, музыка и, наконец, тот же гам, шум и крик. Ауторита снова подняла ковчег и обнесла его. После этого третий раз ковчег поднял над головой уже кардинал, и тут должно было совершиться чудо, которое состояло в том, что прядь волос Богоматери вдруг развёртывалась в длинную линию. Как то делалось, я не знаю, но на другой день я точно видел прядь волос на золотой подушке старых кружев развёрнутую. Тогда начался шум с треском, ибо на улице пускали петарды и палили из ружей. Народ стал расходиться, а ауторита осталась дежурить всю ночь в церкви с попами.

На другой день в 9 часов вынесли ковчег в карету епископа и возили кругом города.

Конная толпа в костюмах XVII века провожала шествие. Через 2 часа все вернулись в собор, где была торжественная служба. Три дня был в городе разгул и веселье, а потому мы поторопились уехать в Таурмину и Катанию.

В первый раз в жизни моей мне пришлось ехать по корнишу* от Мессины до Сиракуз, и я, скажу, был поражен величием этой природы. После я видел ещё два корниша: от Генуи до Ниццы и, наконец, Крымское побережье. Генуэзский совсем слаб, но наш Крым в своём роде не уступит Мессинскому, хотя нет у нас Этны, но зато Алупка, Орианда и Гурзуф имеют свой собственный прелестный серьёзный колорит при ничтожном сравнительно Ай-Петри и Чатырдаге. Развалины храма Таурмино тоже замечательны. Мы здесь прожили четыре дня и, побывав в Катании и увидав Дионисово ухо в Сиракузах, вернулись в Мессину, где, поработав две недели, отплыли в Неаполь и Сорренто. По дороге кратер Стромболи сильно бушевал, да, впрочем, как говорят, он всегда задорен, даже когда Везувий и Этна покойны.

В Мессине А. Ф. Чернышёв, проходя по улицам, наткнулся на лавку. Тут происходила забавная сцена. Около дверей лавки на улице, у хозяйна на коленях, был растянут молодой кот. Со слезами придерживала его хозяйка. Рядом стояли девочки-дочери. А, припав на колени, пов в сутане производил операцию холощения кота. Чернышёв ловко начертил всю группу и в дней пять, благодаря услужливым хозяевам и даже попу, написал очень милую картину с натуры, которую продал в нашей гостинице какому-то американцу за триста скуди. Я думаю, что это была лучшая его вещь, ибо была схвачена из жизни без всяких условных композиций.

В Сорренто мы нашли своих товарищей, туда ещё подъехали некоторые из Рима. Мы жили все в одном доме, в Альберго Луиджи. На площади около моста справа виднелся глубокий красивый овраг, а слева стояло аббатство, где жил сам епископ неаполитанский. Около моста была часовня и, конечно, с куклой во весь рост — Мадонной в кринолине.

Как не восхищаться Сорренто! Здесь колыбель народных песен. Здесь стоит дом Таско, говорят, иногда бродит тень Элеоноры. Здесь жил Щедрин, Сильвестр! И тут же он погребён в церкви св. Духа, сделавшись католиком, чёрт знает с чего! Тут работали Лебедев, Штернберг, Александр Иванов. Тут жил Коро, Леопольд Робер (хотя ну его), Руссо, Пуссен Никола, Андрей и Освальд Ахенбахи. Да, впрочем, кто тут не поработал влады! А потому и аз грешный сел на то самое место, где сидел Щедрин, и начал с яростью писать картину прямо с натуры в утреннюю пору. А вечером сидел на Пикола Марино. Дерзость была великая, но я всегда обожал этого мастера и с любовью копировал его этюды в нашей Академии. Дело, картина, конечно, не шло. Пришлось написать десять этюдов, и тогда только, в Риме, я смог окончить эту работу.

Писали все усердно, делали акварели. В полдень приходили домой обедать и с 2 часов до 8 снова работали. Конечно, являлась к услугам стая местных мальчишек, таскавших нам нашу художественную утварь, а когда рассядемся по берегу, как чайки, то этот народ жил в воде, ловил крабов, открывал им спину, высасывал и бросал обратно в море, и крабы, как ни в чём не бывало, уходили с быстротою. Не любили наши спутники попов. Раз, когда их купалось целых три, они захватили их одежду и шляпы и опустили далеко от берега в море. Святые отцы бросились спасать своё имущество, а мерзавцы тотчас удрали и явились только поздно вечером.

Раз как-то после обеда пошли мы гулять и проходили мимо Соррентского старого кладбища. Ночь была тёмная, и вот что мы увидели. Между кипарисами и лианами ходили светлые фосфорические пелены, а понизу бегали блуждающие огни. Сейчас же перелезли через стену и стали их преследовать, но только, кажется, я стою в огне, он уже очутился или сзади или спереди. А фосфорические пелены состояли из мириадов светлых мошек, которые лезли в рот, уши, нос. Несколько раз ходил я смотреть эту чудную картину, которая ещё очаровательнее была в лунную ночь. Но не всё то изобразимо, что поражает глаз.

Соррентки слынут за красавиц, и, точно, случалось видеть девушек, лет шестнадцати, дивной красоты. Как теперь помню, раз, идя к святому колодцу с Чернышёвым, мы увидели спускавшихся с вязками сена на головах крестьянок, они были только в рубахах и босые. Полуденное солнце освещало сзади их золотые волосы и смуглые плечи, над которыми виднелась в рефлексе зелени чудная голова известной красавицы Мариуччи. Ну отчего я никогда не видал подобного ни у кого. Известный Ридель в Риме со своими искусственно фольговыми рефлексами всегда писал кукол наряженных вместо истинной деревенской итальянской красоты. Правда, после я видел итальянок Бонна, они были близки к Мариучче, но итальянские жанристы как бы не понимают своих национальных красот.

* Дорога вдоль берега моря.

Но вот настал в Сорренто праздник в честь Богородицы. Уже с вечера ставили шесты, вешали флаги, гирлянды вдоль улиц. Наутро усыпали дорогу цветами с большим вкусом ковровым рисунком, по которому должен был идти кардинал. Была служба в церквах, а потом все процессии собрались на площадь. Мы в своём Альберго были в первых ложах, пришло к нам много горожанок. Все они были вычесаны, чёрные косы лоснились, но зато не нюхайте их — вонь страшная оливковым маслом. Но вот глядим мы на кринолин Мадонны, он новый, весьма обширный. Кругом горят свечи и светильники, но зато юбка вся постоянно в движении или какой-то хлопотне. Началось шествие, солнце золотило эту нарядную картину. Шли попы всех цветов, именитые граждане, и, наконец, под балдахинем двигался кардинал. Ему махали справа и слева в лицо опахалами. Он взошёл на астраду. Начали петь кантаты под звуки бас-горнов и тромбонов. И, наконец, он подошёл к Мадонне, дёрнул шнур — и что ж?! Из юбки вылетели тысячи птичек, которые начали кружить в голубом воздухе, а народ в это время заорал: «Viva Maria! Viva la Santissima!»*. Праздник этот назывался *Delivzenza*, то есть «Освобождение», что представляют птички, находившиеся под юбкой Богородицы и вдруг освобождённые. Какой тут смысл, я до сих пор не знаю. Несколько раз принимался я говорить с католическими попами, что это кошунство так поступать с матерью Христа. Но получил ответ: «Вы испорченный человек. Конечно, лучше сажать птиц под юбку, чем пускать вашего брата». Вот вам и мораль.

Дом Тассо, или Альберго ди Тассо, вот что представляет. Он стоит на крутой вертикальной обрывистой скале. Архитектура совсем ordinaria двухэтажная, как и все гостиницы. Вид оттуда чудный на весь Неаполитанский залив, виден остров Капри и Прочида, Кастелламаре, Вико, Везувий и Неаполь. Гостиница дорогая, но всё-таки с блохами. Без них Италия — не Италия. Говорят, что там комната будто бы та, где жил поэт. Но коли видишь там рыжую зубастую англичанку, кровать и традиционный ночной столик, то всякая иллюзия о Элеоноре и Тассо бледнеет. Здесь, как я узнал после, был наш гр. Григорий Кушелев со своей женой и шукарем-зятцем Юмом и разными приживалками и, будто бы, вызвал Тассо и даже были слышны звуки арф и голос Элеоноры. Об этом, быть может, скажу после, но остаюсь при мнении, что по истории Тассо здесь родился и жил, но где и в каком месте, это очень гадательно.

Мы насаделись в Сорренто. Составилась группа сделать прогулку в Амальфи и Пестум. Для удобства за двадцать пять франков я купил осла, взяли с собой четырёх мальчишек и пустились в путь. К вечеру подошли к деревушке Масса. Там, как нарочно, был храмовый праздник и ярмарка. Мальчишки наши были бойко обучены ходить раками, то есть сцеплялись они на поясе ногами, ложились на землю и так бегали очень ловко. Я и Лагорио представляли Карлика — голова и руки Лагорио были перед зрителем. В мой пиджак я пропускал свои руки, голову мою закрывали чем-нибудь. На ноги Лагорио надевали башмаки или чулки и ставили впереди стол, на котором он выделывал ногами разные фокусы, а я ему сморкал нос, трепал волосы и снимал шапку. Иллюзия карлика была полная. Народ собрался кругом, я взял гитару для проформы в руки, Тимошевский другую, на которой играл превосходно, а Лагорио очень комично распевал разные песни. Опять восторг был неопишуемый. После этого стали петь хором плясовую. Тимоха отколол трепака и заслужил столько брависсимо, что никакая Внаардо, ни Рубини ими не пользовались. Окончив комедию, видим, какой-то господин снял шляпу и стал обходить толпу, собирая гроши или байони. Навалили их на верный скуди и подали Тимошевскому. Тот, раскланявшись, с достоинством сказал: «Господа и госпожи, мы художники, друзья народа и, ежели можем веселиться с вами, то очень счастливы. Денег нам не надо, а отдайте их беднейшему из вашей деревни». Послышалось браво восторга истинно-непритворного. Бабы начали целовать Тимоху, и нацеловался он, что в Христов день.

Здесь переночевали и отправились в Амальфи, отечество Флавия Джойса, изобретателя компаса, который, как говорят умные люди, изобрели прежде китайцы, а кто говорит, финикийцы. В Амальфи пробыли три дня. Здесь Бронников подметил с природы хорошую картину, которую и исполнил, она находится в Саратовском Радищевском музее. К воротам монастыря принесли больного малярией. На веранде над морем сидит братия и попивает вино, а в калитку высунулась толстая лоснящаяся морда капуцина, который гонит к чёрту больного и окружающих.

Из Амальфи побывали в Пестуме — храм чудесный, колорит дивный, но комар, муха и всякая мошкара нас просто заела. Писали здесь два дня этюды, наконец, сели на лодку, на которую взяли и осла, и прибыли обратно в Сорренто. Хороши везде южные, покойные, полные благоухания и мистерии, задумчивые ночи. Как приятно глядеть на них, но как трудно передавать эту мглу, эту тончайшую тёмно-голубую пелену воздуха с золотым

* «Да здравствует Мария! Да здравствует Святейшая!» (итал.).

блеском моря. Я знаю только одну из них — «Ночь на Капри» Андрея Ахенбаха. И, пожалуй, другую — Освальда Ахенбаха «Санта Лючия», что принадлежит С. М. Третьякову. Скажут: «А ван дер Неер?» — «Это не Италия, а Голландия с коричневым условным оттенком, полным иллюзии, но не натуры».

Я же сказал, что подле нас было аббатство, где жил кардинал, а у кардинала был безукоризненно белый пудель, который каждый день бегал к нам в часы нашего кормления. Аббатство, или монастырь, имел прекрасный дворик с колоннами XVI века, тут же был фонтан, тоже очень стильный. В часы досуга братия выходила на него поразмять свои члены, чтобы не лопнуть от жира, а потому часто в длинных рубахах без яса била ногой мяч, играла в чехарду. Тимошевский и Чернышёв ходили туда рисовать и подметили эти рекреации, весьма типичные и смешные, сделали рисунки и как-то раз показали зашедшим к нам в гостиницу людам. Эти скоты передали, что видели, братин, и нас положено было не пускать в монастырь, как скандалистов. Сейчас же у Тимошевского созрел план мести. Порешили белого пуделя сделать фиолетовым, ноги малиновые, а лапки чёрные, на голове сделать тоже чёрную шляпу, то есть уподобить его кардиналу. Долго не думали, наболтали на сикативе красок и живо раскрасили. Потом вздули ему бока, так что он вырвался, как бешеный, и стал бегать по городу. Скандал и смятение сделалось всеобщее. Пуделя, конечно, поймали, и более его уже не видели.

Через три дня я получаю от секретаря миссии письмо, где он говорит, чтоб я сейчас явился к послу Кокоскину по очень важному делу. Я отправился. Дело было недоброе. Сказал товарищам, чтоб в случае побега забрали мои пожитки. С Кокоскиным я был очень хорошо знаком, он был по службе товарищем моего дяди, а потому принял меня очень мило, но строго. «Вы, господа, что там наделали в Сорренто? Кардинал подал мне на вас жалобу и требует предать вас суду, или будет просить судить здешним судом. Одно, что я сделал в вашу пользу, ответил, что сейчас отправлю вас всех в Рим к вашему начальнику кн. Волконскому, чтоб тот вас наказал. А потому поезжайте обратно к товарищам и тотчас же исчезайте из Сорренто. В противном случае я не отвечаю». — «Так мы поедем на Капри, ваше превосходительство, и проживём там в тени и покое с месяц». — «И прекрасно, только, пожалуйста, пуделей не красьте, а, ведь, хотя это и плоская шутка, но не без ума». Ночью я прибыл в Сорренто, наутро наняли лодку и гурьбой с ослиами поехали на Капри, избегая всяких встреч, ибо многие католики были оскорблены нашей выходкой.

Что может быть грандиознее и милее по контурам острова Капри, который является как бы тонущим в голубо-серебристой атмосфере. Пристали мы на Гранде Мариньо и, так как дешёвые обиталища находятся на верху острова, то поместились в Альберго Позано. Наутро после ночлега в комнате, где я спал с Ф. А. Клагесом, мы были удивлены какими-то чёрными пятнами, как будто движущимися по углам нашей спальни. По тщательному осмотру оказалось, что это были скорпионы, числом шесть, и когда мы заявили об этом хозяину, тот с усмешкой сказал: «Будьте покойны, только не трогайте их, они вам вреда не причинят». Другой раз я нашёл подобного зверя у себя под подушкой, что заставило подвергать свою постель строгому осмотру прежде, чем ложиться спать. Неподаляку от нашего жилья был знаменитый утёс Тиберия. Говорят, что отсюда, с высоты 102 метров, он бросал людей в воду. Предание говорит тоже, что св. Антоний спрыгнул отсюда верхом на осле, на котором и припал в Неаполь. Такие рассказы передавал нам монах, очень типичный, жирный и пьяный, торговавший тут образками, ладанками и вином.

Пиколо Мариньо находится по южную сторону острова, и отсюда открывается чудесный вид на огромные каменные глыбы, называемые здесь форильонами. Ночью в тихую погоду, когда луна рассыпает свой золотой блеск на море, монолиты эти стоят гигантами, бросая тени на золотистую поверхность. Сколько холстов перемазал я, чтобы изобразить эту дивную картину, и всё-таки никогда ничего не мог сделать хоть немного близкого к природе этюда.

Здесь я случайно узнал впервые о знаменитом колористе Зиеме. У рыбака, у которого он жил, я увидел его этюд голубого неба и воды и с тех пор стал глубоко уважать художника, с которым познакомился после в Париже. Изображать южную природу в полной её силе красок — дело весьма трудное. Декан, Марилла, Зиём — вот люди, которые её одолели. Освальд Ахенбах, прекрасно изображающий Италию, редко пишет её голубую. Его эффекты всегда ночные или вечерние. Лагирио написал здесь со мной несколько прекрасных этюдов, но он никогда не обладал силою краски и писал условно.

Вечера на Капри тоже очаровательные. В сумерки начинается песнь перепелов, летит их такая масса, что случалось лопатой вышибать штук пять из густой вереницы. Обыкновенно их ловят сетями наподобие веера. Птицы ударяются в него, и их захватывают разом

штук по двести и более. Живых сажают в корзины и везут даже во Францию.

Нельзя, будучи на Капри, не побывать в Голубом гроте, почему и мы туда поехали на маленьких лодочках. Чтобы войти в самый грот, надо лечь на дно их и вскочить в маленькое отверстие — и вдруг вы очутитесь в огромной камере молочно-голубого цвета с совершенного голубою прозрачною водою. Явление очень просто, когда вникнешь в устройство грота. Весь он освещается рефлексами от воды, пронизанной солнцем, дающим лазурный рефлекс на стены, покрытые селитровыми сталактитами. И это начали писать — и опять ничего не вышло, ибо эффект неуловимый по тонкости.

«Вы лучше пишете, чем рисуете»

Отсидев здесь до конца сентября, решили ехать обратно в Рим на зимние квартиры. По возвращении скоро вступили в прежнюю колею жизни. Но только в смысле эмансипации умов с некоторыми из моих приятелей случилась вот такая перемена. Проживал здесь наш добрый знакомый П. М. Ковалевский с своею молодою женою. Тот самый, который писал заметки об Италии. Это был человек умный, образованный и либеральный. Конечно, около него сгруппировалась молодёжь и, как всегда, начались жаркие споры о искусстве и, наконец, достигли полноти и религии. В последней этот господин успел пошатнуть умы моих приятелей так, что прежде они певали на клиросе, но нашли, что глупо драть горло попусту, и перестали ходить в церковь. Умы бродили в выборе сюжетов картин по части истории. Наконец, Сорокин додумался до того, что зачем писать Благовещение непременно традиционно, и стал писать Богородицу перед ангелом-призраком всю в цветах, кисеях, браслетах и ожерельях, говоря: «Да ведь она была дочь первосвященника, а это были люди богатые, воры, следовательно, жили в роскоши». И вот картина создавалась по новому эмансипированному гению художника и вышла, конечно, дрянь, украшающая палаты Кузьмы Терентьевича Солдатёнова. Дошло до того, что всё вздор, всё чепуха, а потому стали писать обнажённых с натуры.

В один прекрасный день сидел я в своей студии, как вдруг ко мне вошёл Александр Андреевич Иванов. Такое появление меня сильно озадачило, ибо до сей поры я только почтительно кланялся ему на улице. «Вы были в Сорренто и делали этюды, — сказал маэстро, — покажите-ка их-с. Да, говорят, что и картину писали с пункта Щедрина». — «Писал, но не знаю, как вы её найдёте, я только что её закончил, а потому буду очень счастлив слышать ваше мнение». С этими словами я его усадил на стул против мольберта и стал показывать сперва этюды и, наконец, поставил картину.

Раз пять, не говоря ни слова, Иванов перебрал этюды и, наконец, сказал: «Поздравляю-с, хорошо-с! Картину продаёте-с?». — «Конечно, продаю!» — «А сколько-с?». — «Цены не знаю, право, назначьте сами, мне это гораздо приятнее, ибо я никогда ничего не продавал за границей». — «Двести скуди довольно?» — «Очень благодарен». — «Ну-с, так пришлите её ко мне». — «Но будьте так добры, скажите мне ваши замечания насчёт моих этюдов. Я пишу ещё ощупью». — «Мне про вас говорил мой приятель Франсуа, и я вижу, что вы его слушали, это умный художник, но вы лучше пишете, чем рисуете, — займитесь последним, это никогда не повредит. Молодёжь ошибочно думает, что кисть есть всё. Нет, она только совершенна, когда ею художник пишет и рисует».

Последние слова Иванова всегда жили в моей памяти. Много рассказывали курьёзного про этого замечательного русского художника, но всё это бледнеет перед его серьёзным художественным трудом и тем глубоким знатоком природы, которым показал себя Иванов в своих этюдах к картине. Имя его всегда будет первое на страницах русской истории искусства, хотя он далеко не был колорист и живописец, но всё это забывается, когда вникнешь в добросовестный труд.

Иванов был маньяк. А кто говорил, что имел букашку в мозгу. Когда дело дойдёт до моих отношений с ним в Париже, то я по собственному убеждению могу сказать, что он боялся отравы. Что он дурачил глупцов — и это правда. Рассказывают, что он иногда позволял заставить себя сидящим над чтением еврейской Библии. Быстро закрывал громадную книгу, говоря: «Умные вещи необходимо и почитать». А в еврейской грамоте он столько же смысла, сколько свинья в апельсинах. А посетитель с подобострастием говорил: «Вот учёный-то мастер!».

Всю свою жизнь он макачил и нищенствовал, напуская на себя какое-то таинство двадцатидвухлетним писанием своего Иоанна и Христа. Жил очень скупо и скромно, хотя имел небольшие средства, и умер в тревогах по денежным делам, продавая свою картину правительству. Но умер, оставя славное имя, чтимое всеми, кто только понимает истинное глубокое искусство.

Первый недуг

В один прекрасный день И. К. Макаров был именник, а потому пригласил многих из своих приятелей отправиться в Олевано, чтоб провести день в Римской Кампании. Пообедав и выпивши порядочно, пошли мы бродить по городу. Проходим мимо тюрьмы, видим за решёткой окон бритые головы арестантов, протягивающих руки для милостыни. Все стали им давать байони, а Макаров стал давать и золотые. Вдруг в тюрьме поднялась драка. Тут сбежалась стража и едва навела порядок, ибо некоторые, получивши по золотому, не хотели поделиться с товарищами. Видя, что дело плохо, мы побежали в город, но тут готовилась другая неприятная для нас сцена. Пьяный Тимошевский сел в кафе и над стаканом пуниша начал выделывать разные фокусы, продолжая кривляться, как то делают попы-католики над причастием. Горожане, обидевшись, бросились на него. Но Тимошка был парень дюжий и ражий, забаррикадировал себя столами, из-за которых начал пускать стульями, графинами и всем, что попадало под руки, в толпу. Видя, что рано или поздно его всё-таки одолеют, мы вступились за товарища, а потому свалка сделалась всеобщей. Наконец, кое-как мы его выгнали и дотащили до экипажей, мгновенно вскочили в них и удрали обратно в Рим. Но через два дня нас требует к себе Волконский и говорит, что неаполитанский пудель-кардинал кое-как сошёл с рук, но теперь посол требует строгих мер и потому решено было Тимошевского выслать из Рима. Подавали мы петиции, но ничто не помогло. Так Тимоша улетучился из-под чудного итальянского неба на холодную Неву!

1856

Весной я снова поехал в Неаполь с некоторыми из товарищей, но на этот раз мы были в обществе Корроди и его семьи. Остановились снова на Санта Лучия. На этот год холера очень сильно здесь свирепствовала, но человек ко всему привыкает. Подле нашего дома был вход в катакомбы Санта Рокка, и каждый день сюда приезжали колесницы разных достоинств, из которых вытаскивали гробы для постановки в норы галереи. Бывало, смотришь, та же самая парадная колесница прибывает раз шесть в сутки, а другие победнее — и по десять.

В Неаполе мы познакомились со старожилом художником Гоццолофом. Сам он был ничтожество, писал ведуты разные для продажи путешественникам, но был интересен для русских, потому что знал молодым человеком Сильвестра Щедрина и вот что он рассказывал. Щедрин влюбился, хотел жениться, да невеста-католичка не хотела выходить за шизматика*. Попы его облапили в Сорренто, стали эксплуатировать, и, наконец, душевная борьба расстроила его умственные способности, он впал в меланхолию, принял католичество, сделался почти монахом и вскоре умер.

Благодаря Гоццолфу я видел во дворце две прекрасные картины Щедрина «Сорренто» и «Амальфи», которые он писал для короля. Что стало с этими славными произведениями, неизвестно, ибо когда «король-бомба» был изгнан, дворец его грабили порядочно.

В этот год я жил на острове Иския, писал там этюды и даже написал картину, которую продал американцу Митчелу. Он же меня просил написать ему его виладу и портрет яхточки, на которой я жил, как на собственной даче.

Максутов, видимо, начинал скучать по России. У него были в Питере престарелые родители, а потому в один прекрасный день он бросил всё и поехал домой.

Здесь со мной в первый раз в жизни случилось сердцебиение, но такое сильное, что я струхнул. Конечно, при этом сейчас является потеря энергии и невыразимая тоска. Я напал на доктора, немца Дигоня, который сказал мне, что здешний воздух раздражителен от серных испарений. «Поезжайте в Киссинген, тем более что вы хотите ехать в Константинополь и Малую Азию для ваших картин, а поездку эту надо совершить в здоровом виде, не с болезнью, какова у вас теперь».

Делать было нечего, я собрал свой скарб и отбыл в Рим. Хотя и был больной, но дело не обошлось без пьянства и проводов. Товарищи меня любили, но расставаться было необходимо. К тому же Италией я был достаточно насыщен. Природа её, хотя и роскошная, но никогда не была моей любимой. Я чувствовал себя всегда перед ней не способным её изображать, разве в сером тоне, ибо блестящие краски в верхней гармонии мне не были тогда доступны. Впоследствии, когда я стал осмысленно смотреть на колорит и его силу, то я понял, что всё дело состоит в гармонии и тонкости красок. А потому жгучие эффекты Айвазовского, жёлтые и красные с форсированным небом, то синим, то зелёным по краям картины, искусственно и безнатурно сделанным только для того, чтоб вызвать свет жёлтого яркого солнца, мне казались совсем пошлыми, ибо в основании их лежит ложь, нравя-

* Иноверец (жаргон).

щаяся по жгучести красок, брошенных дерзко без всякого изучения природы. Отчего же в серых вещах, хотя очень немногих, Айвазовский является здоровым художником? И точно, его картины удивительны! Но там, где он жарит в своих розово-жёлтых степях чумаков и баранов или в Венециях без всякой перспективы и рисунка пускает кривые гондолы, то тут он уже не художник, а торгош!

Да кроме того, Рим мне сделался ещё грустнее. Перед самым моим отъездом умер от чахотки Давыдов, за которым добрый Ф. А. Моллер ухаживал, как сердобольная вдова, и похоронил на свой счёт. Сердцебиение моё навело на меня странную грусть, всё казалось опустыленным. Ехать надо было, и я сел на пароход в Чивита-Викцио. Через Ливорно я прибыл в Марсель и на другие сутки был в Париже.

Не зная Парижа, я отдался вполне на волю извозчика, который почему-то привёз меня на улицу Ришелье, в Отель Альп. Втащив свой скарб в мансарды, я был очень доволен возможностью отдохнуть, ибо сердце моё прыгало, как белка в колесе. Наутро около 10 часов я вышел на улицу и взял путь налево, дошёл до Комеди Франсез. Вижу, что что-то передо мной строится колоссальное. Это был новый Лувр. Прошёл под аркадами направо, увидел сад — это был Тюльерийский. Сел на скамью и считаю пульсации, а передо мной бегали уже дети и ходили солдатики с няньками. Смотрю, поодаль стоит на дорожках почтенный человек, а около него воробьи так и шныряют, садятся на плечи, рвут хлеб из рук без малейшей боязни. Подалее дама довольно пообтасканная занимается тем же делом. Странная забава у этого народа, видно, им делать ровно нечего, подумал я и опять пошёл под аркады.

Зайдя в табачную, спрашиваю: «А где здесь русское посольство?» — «А очень недалеко, в улице Сант Оноре». Добрёл. Спрашиваю, кто посол? «Граф Киселёв». — «А секретарь?» — «Грот», впоследствии обергофмаршал. — «А... Грот, что был в Брюсселе, где он?» — «Ещё у себя на дому, в канцелярии будет в 2 часа». В Гроде я узнал своего брюссельского знакомого, который был всегда со мной очень мил. Увидав мою смятую рожу, он спросил: «Что с вами?» — «Да вот, сердцебиение одолело». — «Жаль, так ступайте к доктору Андролю, это учёный старик, вот вам моя карточка, да ступайте сегодня же — это его день». Я его поблагодарил и сказал, что зайду дать отчёт о решении моей участи.

Со страхом и трепетом шёл я к знаменитости тогдашней. Пришёл в приёмную, лакей говорит: «Впуск в 2 часа». — «Позвольте, — говорю ему, — сердцем страдаю, по лестнице ходить трудно». Он сжалился, посадил в передней. Сажу с четверть часа, вдруг дверь открывается без звонка ключом и входят два человека — один старик, а другой помоложе. «Что вам нужно?» — говорит старик. «Да вот я жду доктора Андроля, зная, что не время, но мне тяжело ходить вверх, и я попросил человека позволить посидеть здесь». — «Так зайдите в зал. Вы кто такой?» Я подал свою карточку и Грота. «А, художник, ступайте сюда. — Ввёл меня в кабинет, за ним вошёл и приятель его, красивый, улыбающийся. — Ну что у вас, рассказывайте». Я объяснил, в чём дело, он велел мне раздеться, отслушал меня кругом, щупал живот и сказал улыбающемуся: «Это желудочный Intermittance». А мне: «Давно ли страдаете?» — «А с полгода». — «Можете ехать в Киссинген?» — «Могу». — «Только не теряйте времени». — «А что прикажете делать?» — «Только не пить и не курить. Потом всё нагонится, а после вы куда едете?» — «В Турцию и Малую Азию и Париж». — «Когда приедете назад, то зайдите». А другой вдогон говорит: «И будете жить в Париже?» — «Да-с, хочу учиться». — «Ну, так ко мне тоже зайдёте непременно». — И, захохотав, подал руку. И точно, впоследствии я был очень хорошо знаком с ним, ибо этот шутник был не кто другой, как знаменитый Рикар.

Итак, в Париже мне было делать нечего, и я поторопился уехать в Киссинген к доктору Дируфу, которого нашёл под третьей линией справа от источника Рагоцци, где его встречал и во вторую, и в третью мою поездку в Киссинген. А потом, когда он умер, так мне говорили, что по наследству в 1880 году стоял уже сын — Дируф.

Как и всегда, русских везде много, и потому я нашёл здесь моего петербургского знакомого капитана Н. Д. Селиверстова с теми же длинными характерными усами, статс-секретаря Комовского, девицу Кулябко, барышню поющую, через которую познакомился с знаменитым Россини. В то же время тут проживали Дженни Линд и пианист Тельберг. Нервный трепет и сердцебиение продолжали меня мучить, так что первое время, скучный и усталый, я бродил по всем аллеям сада вокзала, в парке, чувствуя, что мне нужно уединение.

Конечно, около Россини группировалось много всякого народа, гожего и негожего. Хохлушка мадам Кулябко, как я уже сказывал выше, представила меня маэстро Россини и его супруге, которая эксплуатировала всем, чем могла, досуемую публику, как на водах, так

и в Париже, в своём помещении на улице Сен Лазар, куда я впоследствии иногда заходил. У неё были альбомы, наполненные рисунками всех артистов и подписями всех именитых людей. Конечно, и я должен был внести свою лепту, нарисовал Киссингенскую мельницу. Девушка Кулябка пользовалась фавором как мадам, так и месье и не мало подписала альбомов с коммерческой целью, зато в её альбоме я видел какие-то ноты, писанные самим Россини, и где тоже красовался и мой рисунок. Вообще она была особа добрая, радушная, умная и приветливая, что не осталось незамеченным Комовским, за которого она вскоре и вышла замуж. У Россини пели все и хвалили всех, так что не разберёшь, кто тут талант. Но приятно было ходить вечером под окна виллы Дженни Линд, откуда вылетали точно волшебные звуки и в ночной тиши слушать её с каким-то невольным трепетом и уважением. А потому воспоминание об этом чудном голосе во мне так же живёт, как когда я слушал Виардо-Гарсна во время моей юности.

Бывала и музыка в Курзале, где выступали местные таланты, играли мальчик-скрипач лет десяти и девочка одиннадцати на фортепьяно с подспорьем фокусника. Но от таких забав — упаси Боже!

В числе заезжих сюда приехал и В. А. Кокарев, русский человек, тогда в цвете лет и в силе своего капитала, с своим хлебопёком, квасником и пекарем. Конечно, и тут сейчас, как около Россини, составила группа славных объедал и всяких припевал, как говорится в сказках. Русская натура любит делать дела широко, а потому пекарь получил приказание печь калачи, сайки, валять баранки и витушки. Все эти отечественные прелести, конечно, раздавались даром всем, кто только хотел, и русским, и иностранцам. Квас, что пробки рвёт, хотя и не гармонировал с Рагоцци, но всё-таки находил любителей. А бок бараний с кашей, щи, борщ, кулебяки, ватрушки, огурцы малосольные и прочее, несмотря на запреты докторов, знакомыми уписывались на славу.

Но вот к бургомистру от торгующих булками в большой аллее баб поступает жалоба, что-де русский человек подрывает их коммерцию и что половина товара не раскупается публикой. Бургомистр, который сам, не противясь ширине и щедрости Кокорева, получал от него всякое утро корзину русского хлеба, видит, что дело плохо, просит Кокорева умерить свои щедроты, а тот говорит: «Извольте, я поставлю стол в саду, пусть покупает, кто хочет, нищие берите даром, а вырученные деньги отдарю городу». Вопрос оказался важным. Собрали Думу городскую, дня три думали, дня три объявляли. На ту пору Кокорев окончил курс лечения и, дав пятьсот гульденов бедным города, уехал домой.

Прожив здесь шесть недель, я усмотрел, что сердце моё в порядке, слава Богу, а потому поспешил в Париж, где сделал визит Андрюлю. Тот опять меня осмотрел и сказал, что я здоров, что немало меня обрадовало.

На Ближний Восток

Возвратясь из Киссингена после окончившейся Крымско-турецкой войны в Париж, я сделал всё необходимое для успешного исполнения Высочайше сделанного мне заказа покойным Государем Николаем Павловичем, для чего необходимо было написать серьёзные этюды с натуры для Синопского сражения и пяти других боевых морских эпизодов на Чёрном море.

Получив письма от посла Киселёва к послу Бутеневу в Константинополе, благодаря его товариществу по службе с покойным моим дядей Боголюбовым и выданному мне по повелению Государя значительному пособию, я мог отправиться совершенно удобно в продолжительное путешествие. До Вены я доехал вполне благополучно, за исключением того, что проспал Вену и; проснувшись, нашёл себя в вагоне 3-го класса, который уже был поставлен в разряд совершивших путешествие и отдыхал на рельсах.

В Вене я остался недолго, только справился о времени отхода парохода К^о Ллойд из Пешта вниз по Дунаю. По приезде в Пешт, в тот же день взял себе место 3-го класса на палубе с намерением, конечно, возможно более наслаждаться берегами Дуная. До Железных Ворот верхний Дунай далеко не интересен и походит совсем на наш Дон от Калача вниз по течению. Совсем иное представляют Железные Ворота. Кто был на озере Туне в Швейцарии, тот согласится, что если бы окружающие его горы были сближены до такого расстояния, как узкий проход Дуная в этом месте, то не оказалось бы никакой разницы в берегах. Вода под парходом здесь клокочет, как в кипящем котле. Далее Дунай начинает походить на наши низовья Волги за Столбичами, в особенности, во время разлива.

Подходя к берегам Белграда, как у каждого русского человека, сочувствующего славянам, воспоминания о реках Саве и Лаве обратили особое внимание моё на народ и его костюм, в котором я сейчас заметил древнюю славянскую вышивку на женщинах и бараньи шапки на мужчинах. Пора была летняя, а потому не видно было в этот раз бараньего тулупа.

Пройдя Браилов и подходя к Галацу, все пассажиры встрепенулись, помышляя о том, как бы скорее отправиться в Константинополь, для чего необходимо было пересечь на морской пароход того же Ллойда. Но я был озабочен, как бы приютиться в Галаде и достать лодку для моих работ против крепости Исакчи. За пятьдесят франков в день какие-то три оборванца предложили мне свои услуги, но, по правде сказать, я не решился прямо принять их, а предварительно осведомился в конторе Ллойда, можно ли довериться первым попавшимся на угольной пристани людям. Благодаря доброму совету конторщика, первые торги с оборванцами были нарушены и их заменили три матроса с пароходной пристани. Один из них был славянин из Бокка ди Катарро, что меня немало обрадовало, ибо я мог объясниться с ним по-славянски.

Работа моя была очень трудная не потому, что пейзаж представлял собою сложность. Это просто плоский берег, из-за камышей которого виднеются белые здания и несколько минаретов, одни целые, другие сбитые нашими ядрами. Трудность состояла в том, что турки, недоверчивые после погрома Исакчи нашими канонерскими лодками, постоянно подходили ко мне с расспросами, «что» и «зачем» делаю. Подплывал даже какой-то чиновник, угрожал, что отведёт меня к коменданту крепости, но, получив 5 франков, оставил в покое, прося только на ночь поглубже забираться в камыши, а главное, не жечь огней. Таким образом, я промаялся два дня и две ночи. На второй день всё лицо моё и руки были в огромных волдырях от комаров, готовых, как мне казалось, выпить кровь целого человека.

Работа была кончена, вдали по течению виднелся дым парохода, идущего в Константинополь, а потому я поспешил переехать на противоположный берег в Исакчи, где и взял билет для дальнейшего плавания. Чувствуя себя очень усталым, я поместился в каюте первого класса, но тут-то и начинаются все мои несчастья, как бы за то, что я позволил себе излишнюю роскошь.

Прибыв в Сулин к вечеру, капитан парохода объявил пассажирам, что в море выйти не может по случаю мелководья на Баре (мель в устье реки), потому все стали располагаться на ночлег. Из предосторожности я вытащил под стол общей каюты свой кожаный чемодан, а сам занял место за занавеской на диване. Все мои денежные богатства хранились в кожаном поясе; он порядком натёр мне бока во время исакчинских работ, и я был очень рад опять его уложить в дорожную сумку, где был мой паспорт, рекомендательные письма, золотые пуговицы и образ. Всё это я запер в чемодан, затянул ремнями и велел подать себе постель.

В это время против меня садится какой-то молодой человек и очень бесцеремонно говорит мне: «Вы русский?». По выговору я тотчас же узнал, что имею дело с южным человеком. «Да, русский,— говорю ему,— а вы кто такой?» — «Я болгарин, фамилия моя Пиотрович, я русский офицер, эполет не ношу, потому что в походах это совершенно лишнее, везу знамя в Константинополь, и со мною на пароходе находится несколько солдат. Они спят теперь, но завтра вы их увидите». Такой странный приступ вовсе незнакомого мне человека очень меня озадачил. Моё недоверие ещё больше усилилось, когда названный офицер стал мне предлагать своего вина. Я счёл, однако, неловким отказаться и потому обменялся с ним стаканами. После чего лёг спать и, конечно, как усталый, захрапел во всю ивановскую.

Спал я очень крепко, но часов в 5 утра меня разбудил крик: «Ай, ай, ай! Меня обокрали, что я буду делать!». Чувство самосохранения невольно заставило меня отдёргнуть занавес и взглянуть на мой чемодан, чтоб удостовериться, не нахожусь ли и я в таких же обстоятельствах. К ужасу моему, я увидел, что вся внутренность моего чемодана выворочена через огромную прореху, которую вор сделал в нижней его части и вытащил через неё вышеупомянутый мешок с моими богатствами; бельё же, платье и обувь валялись вокруг. Такая неприятность заставила меня почти нагишом вскочить с постели и, в свою очередь, закричать по-русски: «Ах, чёрт возьми, и меня обворовали!». В это время все занавеси поотдёргнулись и разные неизвестные мне люди в таком же костюме, как и я, стали высккивать, подбегать к столу и вытаскивать из-под стола свои пожитки. Но пострадавшими оказались только я да мой вчерашний знакомец.

На шум и смятение, несмотря на раннюю пору, прибежал каютный слуга, повар, помощник капитана, штурман и, наконец, сам капитан. Началось разбирательство. Каютный слуга прямо показал на русского офицера, говоря, что видел его выходящим на берег в 3 часа ночи, видел, что он говорил с какими-то двумя личностями, что за темнотою не рассмотрел, кто они, но слышал, что офицер даже ругался с ними на неизвестном ему наречии, после чего снова спустился в каюту и лёг спать, уже не раздеваясь. Видя себя жертвою негодяя, я просил капитана принять участие в моём положении и опросить пассажиров, так чтобы каждый показал свои деньги, ибо у вора могут оказаться бывшие со мною

в числе прочих русские полуимперялы, французские лундоры и серебро. Все пассажиры охотно на это согласились, лишь самозванец-офицер громко стал протестовать против подобного насилия, однако, по настоянию капитана и всех нас должен был повиноваться общему требованию. На предварительный опрос он не мог определённо сказать, какие у него есть монеты, и назвал прусские, австрийские и русские. Я же заявил, что в числе русских монет моих был полуимперял 1824 года, который я носил при себе, как редкость. Только что поясной мешок офицера был выворочен, из него покатилося моё золото и, по счастью, талисман мой, явно удичая вора. Но, несмотря на это, он упорствовал, говоря, что вчера играл в карты в Галаце, где и получил неизвестное ему золото.

На пароходе был турецкий полковник, который раньше уже несколько раз говорил со мной. Человек он был до известной степени образованный, путешествовал по Европе, жил в Италии. Он предложил наверно указать того, кто меня обокрал. Велел принести крутое яйцо, разрезал его на несколько частей, долго что-то шептал над ним, а потом раздал их пассажирам, говоря: «Тот, кто не вор, может безопасно съест свой кусок, ему от этого не будет никакого вреда, вору же будет плохо. Только что он проглотит яйцо, как оно тотчас разорвёт его». Все согласились есть яйцо, за исключением офицера, который опять запротестовал и не притронулся к нему.

Я удивился такому способу открывать воров, но паша ответил мне: «Видите, какой весь этот люд у нас. Он как будто по наружности похож на цивилизованного человека, в сущности же он дикарь, полный всевозможных суеверий и предрассудков. Он знает, что все теперь будут его считать вором, но ни за что не съест яйца, потому что вполне верит, что оно может разорвать его».

Тем не менее, денег я своих не получил и без гроша въехал в Константинополь. Утро было чудесное, виды бесподобные, но мне было не до них. Прибыв в город, я тотчас отправился в консульство. Но не был принят консулом Пизани, потому что, как он выразился, к нему уж слишком много является беспаспортных бродяг, особенно из поляков, которые все выдают себя за потерпевших несчастье и надувают консульство с целью выманить деньги. Денег у меня почти не было, за исключением десятков двух франков и каких-то завалевшихся по карманам двургривенных. Положение моё было не красно. Я отыскал себе квартиру у какой-то гречанки, где было отвратительно грязно и где меня более нежели скверно кормили. По её указанию я заложил за семьдесят франков отцовские золотые часы и решился отправиться к русскому послу.

Нужно упомянуть, что обокравший меня некогдай для того, чтобы вытащить из чемодана деньги, взрезал его снизу, а внизу, куда были положены менее нужные вещи, находилась мой фрак, рукав и полу которого вор тоже прорезал. Пришлось мне ехать в летнюю резиденцию посла в Бююк-Дере во фраке, починённом собственноручно. Когда я спросил швейцара, принимает ли посланник, он потребовал мою фамилию и, услышав, что я Боголюбов, ответил: «А вот вас-то и не велено пускать, о вас есть предупреждение из консульства!».

Я вернулся к гречанке и стал ждать. Предпринять я ничего не мог: как паспорт, так и рекомендательные письма мои были выкрадены вместе с деньгами. Не знаю, что б я стал делать, ожидая ответа на посланные мною в Петербург письма, если бы меня не выручил фотограф, на которого я попал случайно.

Шёл я по улице и увидел фотографию, решился спросить работы как ретушёрь. Фотограф дал мне ретушировать портрет и, увидав, что работа исполнена так, как ещё никогда не исполнялась у него, предложил мне десять франков в день. Я от десяти отказался и взял всего пять, но с тем, чтобы полдня у меня оставалось для собственных работ. Я прожил две недели, ретушируя у фотографа по утрам, и в остальное время рисовал виды Константинополя.

Между прочим, я написал английскую лодку, стоявшую на рейде, и выставил её в фотографии. Случилось, что офицер с лодки зашёл в фотографию, увидел рисунок своего судна и тотчас спросил, продаётся ли он и за сколько. Я ответил ему, что возьму то, что он даст, потому что деньги мне нужны вследствие того, что меня обокрали. Он предложил мне 4 фунта, но потом посоветился и прибавил ещё фунт. На рейде в это время стоял большой английский корабль «Король Георг». Капитан его тоже явился ко мне и предложил нарисовать его корабль за пятьсот франков. Тут я заявил фотографу, что не хочу больше у него работать. «*Vous etes un ingrate!*»* — сказал он мне. На это я доказал, что неблагодарен он, а не я, так как заставляет меня готовить для него чуть ли не пятнадцать портретов в утро, платя 5 франков. Отпустить он меня ни за что не хотел. Он дал мне два-

* Вы неблагодарны! (франц.).

дцать франков в день за известное число портретов, которые я взялся ретушировать у себя дома, большую же часть времени я проводил на английском корабле, рисуя корабельные манёвры, уборку парусов, пушечное учение и прочее.

Хотя денежные обстоятельства мои и поправились отчасти, но положение по отношению к посольству было всё то же, и ответов на письма в Россию пока не получал.

Тут со мною случилось опять неожиданное и счастливое обстоятельство. Я шёл в Перу. Нужно сказать, что улица, идущая в неё, так крута, что ехать по ней в экипаже нельзя, а если и спускается с этой горы какая-нибудь фура, то сзади несколько человек держат её изю всех сил за колёса, обыкновенно же с неё съезжают и на неё взбираются верхом на лошади. Раз, проходя по этой улице, я слышу, что меня сверху окликают: «Алексей Петрович, неужели это вы?». Я поднял голову и узнал генерала Чирикова. Я рассказал ему свои приключения. «Неужели же вас в консульстве не признали?» — спросил он. «Как видите, не признали!»

После этой встречи бедствия мои были кончены. Генерал Чириков удостоверил консула в моей личности, а посол не только принял меня вполне ласково, но и выдал денег для поездки в Самсун и Синоп. Теперь только я мог честно познакомиться с прочими членами нашего посольства, приёмом которых остался весьма доволен. Но до тех пор, оскорблённый консулом, не смел никуда показаться. В консульстве же мне заявили, что из турецкого суда уже несколько раз писали о разыскании Боголюбова, присутствие которого необходимо по делу о краже у него бумаг и денег. После этого я был несколько раз в суде, но дело тянулось, и мне ни денег, ни бумаг не возвращали, говоря, что всё это должно оставаться в суде до окончания дела. Так я и уехал в Синоп.

Перед отъездом из Константинополя меня снабдили султанским Фирманом*, который немало послужил мне в пользу у местного начальства. Поездка обошлась без всяких особенностей. На пути я всё-таки заехал в Самсун, но так как эта страна не более как табачная плантация, то художнику в ней было мало дела. Впрочем, я вывез оттуда хороший материал для картины, которую исполнил, а именно — «Приём лоцмана на пароход в бурную погоду».

Синопский рейд произвёл на меня сильное впечатление; сюда я ехал подготовленный всеми репликациями известного славного боя, а потому, только что мы попали в бухту, изображение уже рисовало мне две линии флотов — русского и турецкого с клубами пушечного дыма и следующими друг за другом взрывами. Сильная зыбь заставила, однако, подумать о том, как бы благополучно перебраться на берег. Для этого пришлось воспользоваться весьма плохими кайками, гребцы которых, по восточному обыкновению, в беспорядке цеплялись за трап, вырывая пожитки из рук пассажиров и заноса их на третью или четвертую лодку от парохода.

Съехав на берег, я был весьма озадачен, где и у кого пристроиться. Идти в первый попавшийся караван-сарай я счёл неудобным, а потому решил адресоваться к австрийскому консулу (русского ещё не было). Австрийский агент указал мне на прежде бывшего русского консула, у которого я и поместился. К сожалению, я забыл фамилию этого гостеприимного человека. Фирман дал прямой вход к паше — губернатору провинции. От него я получил каваса** для предохранения меня от всяких столкновений с местными жителями, так как для них имя русского после последнего погрома было вполне ненавистно.

Само собой разумеется, что прежде чем приступить к какой бы то ни было работе, я собирал всевозможные сведения о действиях нашего флота и о диспозиции турецких судов. Изучить последнее оказалось очень просто, стоило только сесть на лодку и проехать по бывшим турецким линиям. Невдалеке от берега, на дне бухты, чернели остовы судов, а два фрегата лежали на боку у подножия крепости. Жители рассказывали мне, что пожар многих турецких судов произошёл от зданий, горевших на берегу, — пламя раздувало и крутило вихрем до того сильно, что он отрывал и разбрасывал целые горящие брёвна. Насколько это правда — не знаю.

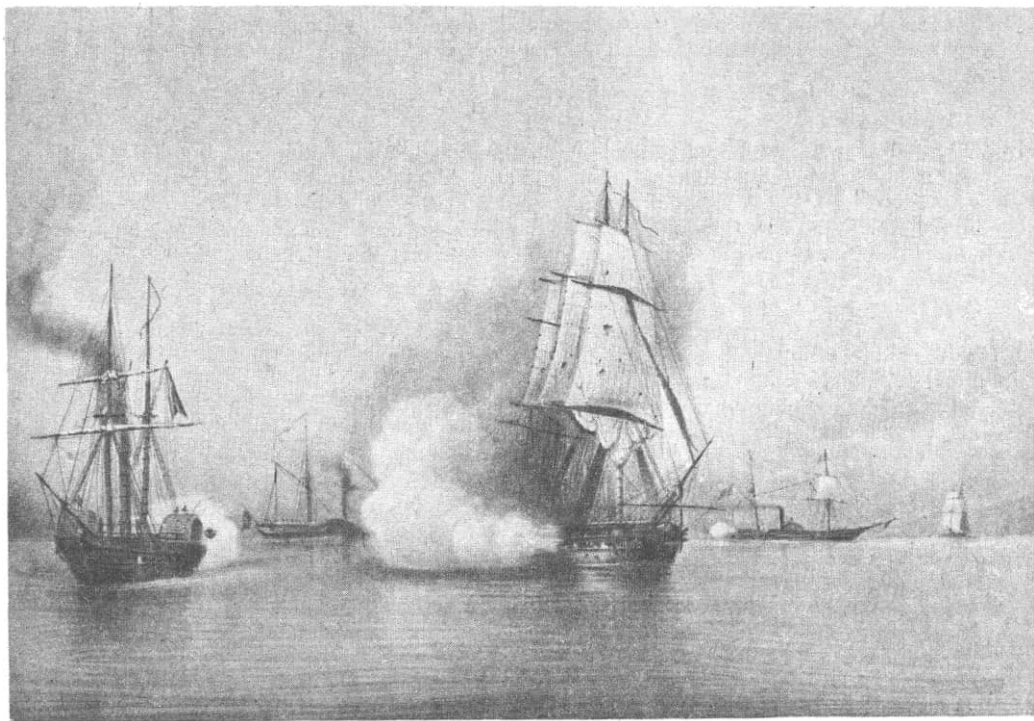
Диспозиция наших судов мне была известна из репликации, а потому я должен был обратиться к изысканию пункта для картины. На это у меня ушло около недели. Я решил взять точку с первой батареи, откуда, хотя и немного с птичьего полёта, вправо виднелся город с его затейливыми башнями, стеною, как бы текущею прямо в воду, и синеющею далью гор, окружающих бухту. Но это не мешало мне во время моего пребывания в Синопе нарисовать и написать его со всех сторон.

Более всего казалось живописным синопское кладбище в сумерки или лунную ночь. Между обычными монументами, изображающими чалму на палке, здесь находятся пре-

* Указом (персидск.).

** Охранная грамота (турецк.).

лестные капители коринфского и дорического ордеров громадной величины, разрубленные на части и служащие могильными украшениями. На них вырублены надписи из Корана и имена правоверных. Кладбище окружено кипарисами, бросающими длинные тени на старые мраморы. Между всем этим вьются всевозможные ползучие растения и целый рой блестящих мошек, они переносятся из тёмной полосы в светлую и теряются в лунном свете. Днём кладбище тоже прекрасно. Диких собак здесь столько же, как и в Константинополе, но они смиреннее и пугливее и при появлении человека тотчас же скрываются в свои норы, вырытые под надрбными камнями.



А. П. БОГОЛЮБОВ. Бой фрегата «Флора» с тремя турецкими пароходами у мыса Пицунда 9 ноября 1853 г. 1854. Литография. ЦВММ

Варварское обхождение турок с остатками древности не удивительно, но что сказать о просвещённых англичанах, явившихся в Синоп после русского погрома в виде благодетелей и занявшихся систематическим ограблением страны. Целые горельефы вырубались ими из стен и варварски дробились на куски для лучшей упаковки, что напоминало русскую поговорку: «Медведь гнёт дуги непареные, переломит — не тужит!». Найденные непригодными для перевозки обломки с изображением торсов и ног валялись на пристани, а когда-то и они составляли прекрасное целое. Вся восточная крепостная стена была выстроена турками из разбитых на части колонн. Мне случалось видеть основные камни в два и больше метра, когда-то служившие фундаментами древних зданий. Но так как учёность моя не велика, то я и не ломал своей головы, чтобы узнать, что это были за храмы.

Паша, к которому я являлся довольно часто, был человек образованный, насколько это подобает турку, говорил по-итальянски и немного по-французски. Он постоянно спрашивал меня, доволен ли я прислугой и не было ли столкновений с жителями. Любезность его дошла до того, что он просил меня написать портрет его сына, маленького восьмилетнего турчонка. Не будучи вовсе портретистом, но сознавая, что патрон не густо смыслит в живописи, я намалевал какого-то дьяволёнка в красной феске и расшитой куртке, чем остался весьма доволен его отец. Он предложил мне плату, от неё я отказался, но должен был принять в подарок прекрасный ятаган, в рукоятку которого была врезана ценная бирюза. Я часто завтракал у пашы и тут-то убедился, что мясо жеребёнка с пом д'амурами не уступает несколько козлёнку, телятине и даже лучшей дичи. Метод приготовления подобного

мяса таков — ездок кладёт его под седло, и оно поступает на кухню только после двухчасовой натуральной мятки.

Гостеприимство консула было отчасти польдекоковское. Вечерами к нему собирались знакомые европейцы. Все кавалеры и дамы рассаживались по диванам вдоль стен, курли трубки и крутили папиросы. При этом разносились шербеты домашнего приготовления. В углу стояло старомодное фортепьяно. Хозяин был музыкант и аккомпанировал, кому угодно было петь, что часто всеми делалось поочерёдно, так что и мне случалось петь, как умел, «Вниз по матушке по Волге» или «Антипка, балабайку!».

С хозяйкой дома я был настолько дружен, что однажды она поставила меня за ширмой в то время, как к ней пришли турецкие жёны. Не подозревая присутствия мужчины, они сняли чадры, и я видел двух безобразных старых ведьм с накрашенными ногтями, служивших, по-видимому, евнухами других двух молоденьких жён кавказского племени. В другой раз услужливая хозяйка доставила мне случай видеть ещё двух армянок дивной красоты, принадлежавших тому же паше, обратившему их в ислам.

Особенностью Синопа считал я деревенскую почту. По улице идёт человек, тяжело стуча палкою о древнюю мостовую, вместе с этим он выкрикивает названия городов: Дамаск, Стамбул, Мекка, прочее и прочее. Его зазывают в дом, снабжают денгами, которые он берётся доставить, проходя различные местности, родным и знакомым посыльщикам. Расписок никаких не бывает. И что главное всего характеризует честное отношение мусульман к общественному доверию, к почтарю, это то, что ему не приходится бояться разбойников, шадящих его в силу всеми признанного в нём почётного звания почтаря. То же доверие видно и в торговле. Несколько раз случалось мне наблюдать, как прислужники табуна верблюдов, навьюченных мешками пшеницы или других зёрен, насыпали их из амбаров владельца без его малейшего надзора. Купец здесь просто отдавал приказание нарыть столько-то мешков и по окончании работы чертил мелом на стенах амбара палочки и крестики, составляющие его бухгалтерию.

После трёхнедельного пребывания в Синопе я с хорошим запасом этюдов и чертежей, не без удовольствия, сел на австрийский пароход Ллойда и, распрошавшись с пашою и консулом, отплыл в Трапезунд. Но тут на пароходе схватил лихорадку, не то обвевшись фруктом, не то от простуды — не знаю, но только эта незваная гостья отравила мне дальнейший воляж от Трапезунда к укреплению св. Николая, бывшему последним пунктом моих работ по черноморским заказным картинам. Приняв хирина вдоволь, подходя к Босфору, я почувствовал себя бодрее, а потому самый Босфор — Леандрова башня, мыс Сераля и мириады мечетей, расположенных по холмам чудного Царь-города, — произвели на меня в этот раз более сильное впечатление и приятное, чем когда я их увидел впервые, обворованный.

Вступив на землю, я прямо отправился в порядочный отель, потом повидал своих знакомых и был у посла, где получил деньги, присланные из кабинета Государя. Я нашёл много писем и между прочими известиями прочёл с грустью уведомление, что украденный у меня аккредитив был разменен мошенниками в Вене, почему я и лишился 5 тысяч франков, что составило порядочную брешь в моей фортуна. Негодяи распорядились, однако, до некоторой степени честно: сознавая ненадобность для них моего паспорта, они прислали его в посольство, где он мне и был выдан. В то же время я был приглашён консулом в турецкое судилище, где разбиралось дело о моём воре. Страшный этот суд! Мне сказали, что от меня зависит смягчение участи Пиотровича, на что, конечно, я отвечал сердечным прощением его грехов! Но найденных при нём моих денег мне, однако, всё-таки не выдали, говоря, что на них кормили преступника и из них же платили судьям, так что я остался благодарным провидению, что с меня не потребовали дополнительной платы.

Несмотря на всё это, я не был беден, почему часто ходил на стамбульский базар, который и до сих пор живёт в моём воображении самым красивым этюдом. Дело было осеннее, дождь шёл вперевод с солнцем, а потому мостовая базара отражала лучи, падавшие на всякого рода лавки с бакалейными товарами, за которыми сидели фигуры турок-торговцев, курящих кальян. Константинопольский базар помещался в крытом здании с большими круглыми отверстиями, через которые свет падает как бы полосами, и в нём ярко оттеняются фигуры навьюченных верблюдов. Эти корабли пустыни тянутся длинными вереницами, шлёпая ногами по грязи и далеко разбрасывая её блестящими брызгами, ещё более окрашивающими этот очаровательный жанр.

Обедая часто под открытым небом в турецком съестном ряду, я скоро пристрастился к тамошней кухне — рубленой баранине с пом д'амурами и лошадиному мясу. Впоследствии мне часто приходилось вспоминать в каком-нибудь плохом ресторане Дюссельдорфа или Монмартра о народных турецких блюдах.

Накупивши себе несколько костюмов, мне пришла фантазия их носить. Время было жаркое, хотя и осеннее, и тут по опыту я узнал, что тюрбан с феской, халат, пояс на животе и турецкая нежная обувь предохраняют всякого человека от простуды и многих других болезней, обеспечивая полную свободу всех движений тела.

В Константинополе в это время старшим драгоманом* служил господин N. Он был женат на воспитаннице Смольного монастыря г-же Бородухиной, бывшей также воспитанницей моей тётки А. А. Радищевой. В её обществе, которым, к сожалению, пришлось воспользоваться довольно поздно, я проводил время весьма приятно, и так как это была очень умная особа, то пользовался её указаниями на все редкости Константинополя, а потому видел всё, что можно было и стоило видеть, начиная от св. Софии до продажи невольниц, куда был допущен благодаря протекции мужа г-жи Бородухиной.

Так как торговля ими есть один из курьёзов Стамбула, то позволю себе сказать о нём несколько слов. Меня провели в караван-сарай, то есть грязный двор, окружённый с трёх сторон галереями и балконами. В тени, под навесом, сидело женщин тридцать, а на середине двора стояли верховые лошади приехавших покупателей, зажатых турок, ибо упряжь и кони были драгоценные. Следя за тем, что происходило, я поочерёдно видел всех женщин в их наготе. Тут были и негритянки, обречённые на исполнение обязанностей по домашней службе. Все они были молоды. Но самым лучшим типом были молодые девочки кавказского племени, поступавшие в жёны, а потому, в то время как негритянки кутались в грязные лохмотья, белые невольницы были одеты в роскошные туалеты, состоявшие из полупрозрачного белого халата, надетого прямо на тело, и шитых жемчугом туфель. На руках их были кольца, а на шее бусы то голубые, то красные. Тёмные волосы, оттеняя матовую белизну кожи, придавали ей особенную прелесть. Цены белых невольниц доходят до 3 и 5 тысяч, между тем как негритянки покупаются за тысячу и 500 турецких лир.

Распростившись с посольством и почти обругав консула, которого мне благодарить было не за что, я собрался в обратный путь, взяв билет на пароход французской компании «Империаль» прямо до Марселя. Этот билет давал право остановки и продолжения пути на судах той же компании.

Я не буду говорить о моём пребывании в Греции, об афинском Акрополе, который мне удалось видеть в лунную ночь, о храмах Тезея, Эола и других, но скажу лучше несколько слов о Смирне, которая сильно на меня подействовала в художественном смысле.

Базар её хоть и невелик, но полон прекрасных жанров. Роскоши тут не меньше, чем в Константинополе, но только её оглядываешь быстрее. Знаменитые смирнские фиги занимают целый ряд лавок и амбаров, куда я ходил и где сам видел их укладку. Турок быстро их укладывает пластами в ящики и покрывает дощечкой. После этого другой специалист, который прессовал их, прыгнул раза три в одном ящике, перескакивает в другой, к другому укладчику и так далее, так что со стороны и не вступишь в дело, вы видите перед собой каких-то блаженных, производящих на вас впечатление крутящихся дервишей. Здесь я купил себе ковёр, потом вьючный мешок и, наконец, серальского масла розового, с которым, по правде, впоследствии не знал что делать по его страшной крепости. Кроме этого я посетил живописную кофейню на окраине Смирны, у подножия которой журчал горный ручей в скалистых берегах, обсаженных кипарисами и каменными дубами. Тут я познакомился с бродячим англичанином и его семейством и от них узнал, что можно на караване верблюдов совершить прогулку в ближайший городок и скоро вернуться назад с обратным.

Мысль эта меня очень заняла, почему в назначенный час я был на сборной площади с моими художественными доспехами. Вместе с англичанином я нашёл место на верблюде громадной величины. Напротив меня в кибитке поместился еврей с женой и ребёнком, а рядом сидела коза-кормилица. Караван вышел за город. Впереди ехал вожатый на лошади и несколько вооружённых турок. Вереница верблюдов была в восемьдесят голов. Долго ехали мы по песчаному, почти плоскому берегу и, наконец, подъехали к бухте и взяли её на пересечку, и тут-то я увидел картину, которую в жизни не забуду.

Дело было к вечеру, солнце начинало тонуть в багряном горизонте, караван дошёл до половины бухты, глубина которой была незначительна, вода едва доходила до полноты верблюду, и потому брызги, вздымаемые каждым шагом животных, летели выше наших сидений и, заряжаясь лучами заходящего солнца, переливались изумрудными и рубиновыми цветами. Я оглянулся назад, и хвост каравана показался мне в каком-то волшебном облаке, а тень от него стлалась по синему морю ещё более синеею полосой. Видение это продолжалось с четверть часа. После чего солнце вдруг закатилось, пали сумерки, и тогда весь караван вырезался тёмно-вишнёвым пятном на красном горизонте. Два в жизни

* Переводчик (турецк.).

принимался я делать эскизы этих двух чудных видений, но картин не писал, потому что эскизы продавались, а после наступала обычная лень и ссылака на то, что впечатления натур, необходимые для серьёзной картины, уже испарились.

Городок, куда мы приехали, был вовсе не интересен, и потому я на другой же день вернулся назад с новым караваном. Бухту проезжали ночью, вследствие чего не было и художественного впечатления. Кстати, упомяну о козе-кормилице и еврейском ребёнке. Когда он начинал плакать, то мать преспокойно клала его к вымя козы, которое он обхватывал ручонками и тут же засыпал, убаюканный шатанием верблюда.

Возвратясь в Смирну, я сделал несколько этюдов и через четыре дня сел опять на пароход. По пути он остановился в Мальте, куда я и съехал, желая познакомиться с портом Магон и английским флотом. Времени у меня было мало, а потому, осмотрев корабли только мельком, я отправился в церковь мальтийского ордена, где погребены его знаменитые кавалеры. Я сам принадлежал немного к ордену, потому что был крестником холостого мальтийского кавалера, который передал мне свой крест с правом носить его. Тут же видел я портрет императора Павла Петровича, а под ним читал имена всех русских умерших кавалеров. Вот всё, чем осталась мне памятна Мальта. Помню ещё, однако, что купил я себе здесь две головных щётки английского изделия. Одну употреблял более 15 лет для головы, а другую постоянно чистил платье и даже сапоги, отдавая полную справедливость их надёжным качествам.

Далее мы плыли по Средиземному морю, сильно в ту пору бурлившему. Прошли пролив между Корсикой и Сардинией и через день, вечером, при тихой погоде увидели Марсель с его старинной греческой башней. Тут начались мои моральные тревоги. Денег у меня было немного, но всё-таки рассчитывал, что за 100 франков съеду на берег и доеду до Парижа. Хотя и беспокоили меня мои восточные покупки, я, однако, не ожидал, чтобы пошлина на них сделала в моём бюджете чувствительную брешь. А для избежания могущих встретиться затруднений я надел на себя турецкий костюм, сам хорошенько не зная зачем, но соображая, что, быть может, в таком виде таможня меня примет за восточного человека и облегчит досмотр. Но она была неумолима и с меня содрали франков 150, что не только меня озаботило, но и привело в совершенно нервное состояние.

Я долго провозился с обратной укладкой вещей и в грустном настроении отправился в отель, совершенно отдавшись на произвол извозчика. Вечером, побродив по городу и на минуту заглянув в какой-то певчий кафе, я скоро вернулся домой и лёг спать, всё раздумывая о том, как бы мне скорее уехать в Париж, почему и решил либо завтра же послать письмом к парижскому священнику Васильеву, у которого хранились мои деньги, либо, ещё лучше, телеграфировать об их высылке. В этих думах я заснул, но через час сон меня оставил, и вот что со мной случилось.

Комната, в которой я спал, была глубокая, постель помещалась в алькове. Вдруг я вижу в углу светлое пятно. Я вперил в него глаза. Из пятна образовалось, сперва не ясно, а потом я уже хорошо его видел, лицо старичка с улыбкой на губах. Протерев глаза, я взглянул в другой угол — видение повторилось и там. Я быстро повернулся лицом к стене, закрыл глаза, но открыв их, в темноте снова увидел над собой то же лицо. Нетерпеливо вскочив с постели, я зажёл свечку, думая, что свет успокоит моё зрение, но не тут-то было. В тёмных углах всё появлялись те же пятна. Я вымыл голову, лицо и плечи, думая освежить себя, но всё было напрасно. Наконец, под утро, часов в 5, я заснул и спал как мёртвый.

Часов в 7 кто-то сильно постучался ко мне в дверь. На вопрос: «Что надо?» — гарсон кричал мне, что меня желает видеть какой-то господин. Послав его к чёрту с объяснением, что никого здесь не знаю, я думал, что меня оставят в покое. Но настойчивость гарсона заставила меня встать чуть не нагишом и отворить дверь, от которой я невольно отскочил, потому что за человеком стоял тот самый старик, который меня мучил всю ночь.

Я принял его с недоверием, спрашивая: «Что вам надо? Я вас не знаю!».— «А я вас знаю очень хорошо,— отвечал он утвердительно.— Вы вчера приехали с моря, я видел вас в таможне очень занятым при осмотре вашего багажа таможенными чиновниками, а потому не осмелился вступать с вами в разговор. Дело в том, что я нарочно приехал из Ниццы по сообщению г-на Васильева, что вы будете в Марселе. Жена у меня больна, покинуть я её не могу, но надо отправить сына на воспитание в Париж, а так как вы туда едете, то, будьте добры, доставьте его к отцу Васильеву».— «Да, помилюте, у меня гроша денег нет, и я только хотел писать ему об их высылке...» — «Это не нужно. Отправляя сына, я вам передам тысячу франков, из которых издержите, сколько надобно, и отдайте потом Васильеву».— «Да кто же вам сказал, что я их не украду и не брошу вашего сына на дороге?» — «Это вы сделать не можете и говорите разве для того, чтобы не одолжить меня, я вас прошу смотреть на меня, как на человека вам обязанного».

Моё безвыходное положение и настойчивость старичка убедили меня принять его предложение, а потому в тот же день я уже ехал в Париж, предаваясь размышлениям о такой странной встрече и нечаянной помощи в минуту затруднительную. В то время мне не удалось выяснить, почему старичок надоедал мне ночью. Впоследствии я отдал этот факт на суждение приятеля Николая Мартыновича Якубовича, резавшего тогда собак и кошек под руководством Клода Бернара. Вот какую разгадку моей марсельской шарады я получил. Старик обладал магнетической силою. Он всё время пристально следил за мной, я же видел его мельком, не отдавая себе в этом отчёта, и образ его бессознательно запечатлелся в моём мозгу и после мучил меня всю ночь вследствие силы магнетизма.

Сдав моего пассажира и забрав чемодан от Васильева, я сначала поместился в гостинице, в улице Пигаль, а через несколько дней въехал в мастерскую — улица Бреда, № 60.

Консьерж дома мосье Досс и его супруга были воспитателями огромного семейства кошек. Досс взял на руки моё хозяйство, да и меня взял в руки, как человека вновь приезжего и не знающего Парижа. Через неделю я видел, что он плут и берёт взятки везде, куда меня посылает покупать вещи для моего маленького хозяйства. Когда же я узнал его лихоимство и сказал ему об этом, то он отвечал, что служит не „*pour mes beaux yeux*“*, а для своего желудка. Но так как надобно жить с консьержем всегда в ладах, то я скоро опять был с ним на дружественной ноге. Человек этот обладал какой-то угрюмой весёлостью, если можно так выразиться. Раз как-то зашёл ко мне приехавший из Петербурга инженер Тиле, старый кронштадтский приятель. Спрашивая у консьержа адрес и помещение моей мастерской, которая была в шестом этаже, он получил в ответ на слова: „*c'est au premier*?“** — „*Oui, en descendant du ciel*!“***.

Париж

Итак, я поселился на улице Бреда, № 60, в квартале девок и художников. Мастерская была маленькая. В алькове стояла кровать. Несколько деревянных стульев, стол и мольберт составляли её обстановку, а чемодан служил комодом и, пожалуй, мягким сидением, ибо кресел не было. Рядом со мной, на той же площадке, жил швейцарский художник Карл Жирарде, человек уже пожилой, художник хороший, пейзажист-натуралист, но не идеалист. Ему я обязан многими добрыми советами и даже скажу, поистине он был укротителем моего буйства, в которое я невольно впал, очутившись в столь развесёлом городе, как Париж.

Повидав мои этюды, он мне сказал откровенно: «Вы талантливы, но науки у вас очень мало, ступайте-ка в школу Кутюра и рисуйте там строго и пишите голую натуру месяца три, а потом увидим». К счастью, я его послушал и предался делу очень прилежно и сознательно.

Школы частные в это время были, пожалуй, те же, что и ныне, но только там проделывались с вступающими новичками разные грубые шалости и, ежели субъект оказывался робким и слабого характера, то терзаниям его было «несть конца». Меня об этом предупредил тот же Жирарде. На первый раз после класса и ухода натурщика какой-то господин, весьма развязный, подошёл ко мне и сказал: «Ну, ты сегодня наш должник, мы пьём за твой приход. Приходи вечером на угол в улицу Бонапарта в кафе и там угостишь нас». — «С удовольствием», — отвечаю я, — я сам не прочь выпить». После этого он подаёт мне свои грязные кисти и палитру и говорит: «А теперь вымой их мне и палитру оботри, обходя годные краски». Я на него взглянул, отступил на шаг назад, сжал кулаки и говорю: «Лакеем ничьим я никогда не бывал. Слово «ты» я допускаю только с тем, с кем я пью братство, а потому прошу вас извиниться передо мною в оскорблении, а потом, ежели у вас нет денег, чтобы купить мыло, то дам вам на это, но служить всякому нахалу не намерен. Я лейтенант и кавалер русского флота! А вы кто такой?». Водворилась тишина, стали меня окружать, я прислонился к стене и взял перед собой табурет. «А, так вот он какой!» — И в это время мне вылили на голову кувшин с водой, вероятно, чтобы прохладить мой пыл. Затем посыпался громкий общий смех. Я не оробел, начал размахивать кругом табуретом и говорю: «Первому, кто меня хоть пальцем тронет, я размою голову!» Но вот вижу, что один из учеников проталкивается в толпу, крича: «Назад, назад! Оставьте его!» — И, подойдя ко мне, говорит: — Испытание окончено. Вы моряк, как говорите, вообразите, что переходили экватор, где не обижаются, ежели кого выкупают. Мы видим, что вы браваый парень, дайте мне вашу руку и подайте руку господину Ватсу, кото-

* «Ради моих прекрасных глаз» (франц.).

** «Это на первом этаже?» (франц.).

*** «Да, спускаясь с Неба» (франц.).

рый вас обидел». — «Вам с удовольствием даю, но господин Ватс пусть первый её мне протянет, а иначе я всё-таки обижен им». То же сделал и Ватс. Мне пробили браво в ладоши, и вечером я пропил с ними на пиво и вино сто двадцать франков. Сумма для моего кармана была крупная, но зато я разом стал со всеми в хорошие отношения, и поистине скажу, что в школе учился более от товарищей, чем от самого Кутюра, который обходил нас раза два в неделю, и то весьма небрежно.

По воскресеньям с раннего утра я отправлялся в Люксембургский музей, а после в Лувр и до одури глядел на французскую школу, в которой находил невыразимую прелесть. Всё, что я видел до сих пор в России, Германии, Италии и Бельгии, было бледно перед теми образцами новейшей живописи, которые доводилось видеть здесь. Приходя домой, я, конечно, создавал себе план той или другой последовательности, но, только что приступив к делу, видел, что я ничего не знаю и что сил у меня нет, чтоб писать что-либо мною задуманное.

1857

Будучи морским художником, я увлёкся Гюденом, ходил в его мастерскую, но когда повидал картины Эжена Изабе, то Гюден мне показался паточным и слабым. Жозеф Верне со своим ловким пошибом и сочинёнными пейзажами тоже меня не удовлетворил. С ним я был знаком ещё по картинам в петербургском Эрмитаже. Рокеплан, писавший фигуры нормандцев, был колоритен, но сочинения и натяжки за волосы эффектов вместо реальной природы тоже меня не трогали. Оставалось пойти к Изабе. Я жил от него очень недалеко. Авеню Фроше был художественный центр северного Парижа. В глубине её стояла огромная липа, и под этой липой после завтрака в хорошую погоду все художники этого окологда собирались покурить, и тут велась самая живая беседа, где Изабе был председателем.

Раз как-то я туда пробрался и стоял поодаль, робко глядя на живого и бойкого Изабе, маленького, но крайне энергичного, и одолевала меня дума, как бы с ним сойтись. Мой сожитель Жирарде его не знал лично, но дал совет подойти к нему: «Скажите, что вы такой-то, и просите позволения осмотреть его работы». Так и случилось. Изабе принял меня очень ласково. Узнав, что я пенсионер Академий и моряк, стал расспрашивать про наш флот и под конец спросил меня, что я здесь делаю. «Хочу учиться, но, право, кроме вас не вижу ни одного специалиста этого дела. Не примите меня за дерзкого и навязчивого человека и, ежели возможно, то не откажите указать мне, что я должен делать». Тут я ему сказал, что имею заказ от Государя Николая Павловича писать историю Крымской войны, к которому я сделал этюды на местах, но просто боюсь приступить. Последнее его заинтересовало, и он ласково сказал мне: «Очень буду рад вам быть полезным, приходите ко мне, принесите ваши работы, и я всегда дам добрый совет».

Радость моя была великая. Я притащил к нему мои этюды, говоря, что хотел бы сделать картину к выставке. Он выбрал у меня вид Константинополя и сказал: «Попробуйте сделать этот вид. Придумав освещение, составьте и начертите картину, напишите эскиз, и я приду к вам, чтобы сделать замечания перед началом письма».

Через десять дней ко мне пришёл Изабе. Поглядев на трёхаршинное полотно, молча потребовал уголь и вдруг посредине картины на скате горы бойко начертил два гигантских тополя, которые разом заполнили пейзаж и отдалили Золотой Рог на необозримую даль. «Ге-е,— сказал он протяжно,— это вас пугает? Не бойтесь и продолжайте. Эскиз ваш красками мне очень нравится. Начинайте, и когда подмалюете, то скажите». Уходя, ещё раз взглянул на полотно и говорит: «У вас в этюдах я видел кладбище. Вы его поместите под кипарисами — это будет уместно!».

Через неделю я к нему зашёл. Он был один, работал над громадной картиной «Пожар парохода „Австрия“». На бурных волнах плыл громадный пароход. Корма была высоко поднята, а с неё на обрывках снастей спускались люди в катер, падали и тонули. Вся корма была занята публикой, и чёрный дым с пламенем составлял сильную колоритную массу на сером небе. Движение в фигурах и во всей обстановке было могучее, колорит Изабе играл здесь во всей красе, и я просто ошалел, стоя раскрывши рот. «Ну, что вы скажете, ге-е?» Я молчал. «Ну, вы моряк, знаток линий корабля, как вы на это смотрите?»

Тут я только обратил внимание на корпус судна, подошёл поближе к холсту и отступил назад, прикинул невольно палец к глазу и всё-таки молчал. «Ну, наши что-нибудь, не бойтесь, говорите!» — «Да,— говорю,— корма-то у вас не в пропорции с длиной парохода, линии, кажется, очень быстро падают к носу». — «Ге-е..., да, это правда, пожалуй, только не задавайте много работы, сообразите, что фигуры уже написаны». — «Фигуры с кормы останутся все на месте, да,— говорю я,— и боковые тоже не понадобятся переменить, только корпус судна, и то от половины до конца». — «Ну, возьмите мел и

чертите». — «Не могу, — был мой ответ, — позвольте сперва наметить вам остов на полу мастерской, тот же размер, и коли убедитесь, что я прав, тогда и к картине приступим». — «Умно!»

Тотчас, отодвинув картину назад, Изабе запер двери на ключ, велел мне снять сюртук и начал разбивать со мной на полу парход, измеряя муштабелем величину кормы, по которой я вычертил ему сообразно горизонту линии парохода. Минут через 25 работа была окончена. Изабе взобрался на лестницу и, оглядев чертёж на расстоянии и с высоты, сбегал быстро вниз, поцеловал меня и сказал: «Ну, вы перспективу корабля знаете. И я её знаю, да слишком иногда на себя надеюсь и не прибегаю к магическому шнуру, по которому вы всё так скоро вычертили. На сегодня довольно, приходите ко мне завтра к 8 часам, и тогда мы это перенесём на картину». И точно, на другой день к полдню все линии были выправлены, фигуры остались почти нетронутыми, и картина только требовала последних ударов молодецкой кисти великого мастера.

С этих пор Изабе ко мне стал крайне ласков и внимателен, часто заходил в мастерскую, приглашал меня к себе на домашние вечера, где я познакомился с многими сильными художниками того времени. Через посольство я был представлен Орасу Верне. Через него узнал знаменитого Энгра, Поля Делароша. После узнал Коро, Добиньи, Руссо, Тройона, Марилла и Декана.

Тут я узнал, кто такой Марилла. Этот гениальный художник имел несчастье получить венеру, она бросилась ему на мозг и довела до сумасшествия. Я застал его ещё в положении, что рассудок не был совсем помрачён, и потому, часто сидя в саду Клиши, беседовал с ним о его роде живописи и, дивясь его сильным краскам, полным гармонии, узнал, что он был педаант по части их производства — сам их тёр, в особенности кобальты и настоящие ультрамарины и белила, потому они и имели такую тонкость. Да кроме того никогда он не употреблял ни сикативов, ни масел. В минуту отсутствия разума он чертил на стенах парка разные восточные архитектурные задачи и вдруг падал в обмороке. Через полгода он умер — тихо и почти без сознания.

Конечно, я тогда не сознавал, что судьба привела меня жить в Париже в такой чудной плеяде художников, каковыми оказалась теперь эта знаменитая школа людей 1830-х годов, как её называют французы. В это время возникали уже таланты Жерома, Бугеро, Зимакориста. Были учителя, как Энгр, Поль Фландрен, великий колорист Эжен Делакруа и гениальный Мейссонье. Ари Шеффер считался и тогда не великой единицей, хотя по его сентиментальности он был замечен и любим дамами. Роза Боннер уже становилась замечательной художницей.

Вот написал я свой «Константинополь», его приняли в Салон, порядочно поместили. Изабе был доволен, хотя ругал за то, что пишу грязно. Картину, на счастье, купила у меня г-жа Занодворова (сибирячка), так что я разбогател и свободно мог ехать на этюды в Нормандию и Бретань. Изабе указал мне два места — Марло и Дуарнен, где я провёл всё лето до глубокой осени с моими товарищами Лагорио, Чернышёвым и обоими братьями Клодтами, Константином и Михаилом. Жили мы здесь довольно дёшево, за три франка в сутки, и весело. Работали серьёзно.

Возвратились в Париж. Нас, русских художников, оказалось множество. К вышесказанному прибавлю скульптора барона Бока, шолика Сташинского, декоратора Бочарова, гравёра Серякова, Хлебовского, Худякова и прочие — до 30 человек.

Я уже сказал выше, что здесь проживал гравёр по дереву Серяков. Был он человек талантливый. Прошёл трудную школу жизни. Как кантонист образования не имел, но тоже пускался впоследствии в литературу и в «Русской старине» упоминал об этой эпохе, что здесь описываю, выставив нас всех кутящим людом и только себя благообразным умником, тихим и трудолюбивым. Всё это неверно. Мы, точно, жили бойко, но пьяниц и гуляк между нами не было, напротив, работали усердно.

1858

В числе русских людей проживал здесь Николай Арсентьевич Жеребцов — умный человек, когда-то инженер путей сообщения, товарищ министра Мельникова, богатый — не богатый, но тароватый. Я часто бывал у него в доме и познакомился с будущей моею женою, девицей молоденькой, институткой, весьма миловидной.

В это время возникла мысль у русских парижан о постройке храма посольского, который всё скрывался под наёмными крышами. Благодаря Наполеону III получили позволение воздвигнуть его самостоятельно. Орудовал тут сильно наш известный умный отец Васильев, Иосиф Васильевич. Принимал также живое участие кн. Николай Орлов, впоследствии наш посол в Париже. Сборы шли успешно. Государь и царица тоже дали здоровую

ленту. Место было куплено в улице Дарю. План составил архитектор Кузьмин, а строителем был мой друг Иван Васильевич Штром.

Будучи хорошо знаком с кн. Орловым ещё в юности и видя, что кругом него ходят разные барыни, жаждущие доставить работу по росписи храма своим мужьям и протеже, я обратился к нему с просьбою пригласить к этому делу моих товарищей, русских пенсионеров Сорокиных и Бронникова, проживающих в Риме, людей уже бывалых, с делами православия знакомых. Он мне обещал. Поп тоже был на моей стороне, но юлила тут сильно г-жа Рубио, урождённая Кологривова, настойчиво ратуя за своего мужа, бездарного портретиста, жившего когда-то в Москве.

Пришёл я к князю, он в это время был женихом графини Трубецкой, и, как на грех, столкнулся у него с г-жей Рубио. Мы сидим молча, ожидая выхода князя. Баба не вытерпела, подошла ко мне и говорит: «Вы господин Боголюбов?».— «Да, так точно».— «Вы хлопочете и перебиваете работу у моего мужа, рекомендуя каких-то своих товарищей, людей неизвестных, тогда как мой муж человек громадного таланта!» — «Не спорю,— был мой ответ,— но он, во-первых, не православный, церковной нашей живописи не знает и, верно, будет писать итальянские католические образа, что нам вовсе не нужно. А ежели захочет подражать византийским, то на это нужны годы изучения. А что касается до моих товарищей, которых обзываете людьми неизвестными, то ошибаетесь, они пенсионеры, строго окончившие курс Академии. Тогда как ваш муж — человек без всякого диплома». Барыня возвысила голос, люто назвала меня интриганом, но тут на наш шум вышел кн. Орлов. Г-жа Рубио вдруг сделалась весьма слащава, полезла в карман, из него вынула маленький молитвенник и вручила князю, сказав: «Вера да укрепит вашу невесту, чтоб быть достойной подругою жизни такого прекрасного человека, как вы, князь». Несмотря на то, что у Орлова был один глаз, а другой был выбит под Силистрией, но я ясно заметил, что эта сладкая выходка после ругани его покорила. Не желая ставить его в щекотливое положение, я его спросил, когда его могу видеть и поговорить с ним о деле, получил ответ: «Завтра, в то же время».

Не знаю, что тут изрыгала эта особа на мой счёт, но на другой день я выслушал от князя окончательное «Да», что мои товарищи будут расписывать храм, о чём он хотел писать Великой Княгине, дабы им продлить срок пребывания за границей, если потребуется.

Через полтора года храм был расписан Бронниковым, Сорокиными Евграфом и Павлом. Руководил работами Евграф, и храм до сих пор говорит в пользу моих товарищей, которых, к сожалению, отец Васильев наградил весьма плохо, даже не уплатив должного. Но мир праху этого умного иерея. Не в пользу его ещё случился такой эпизод: он потерял записную дарственную книжку, не имея ей дубликата. Говорил, что оставил у извозчика в карете и что все поиски были тщетны, а потому и счёты по церкви остаются на его совести, но всё-таки такого попа, умного и ловкого, наша паства ещё не видела, да и не увидит.

Александр Иванов

Сюда приехал со своею картиною из Рима Александр Андреевич Иванов³¹, завезённый В. Кн. Еленою Павловной, которая всегда ему протезировала. Сидя у себя на улице Бреда, я был удивлён его внезапным ко мне появлением, но вскоре, увидя его благодушное настроение, очень был польщён доверием ко мне и предложил ему свои услуги самым чистосердечным образом. Дело было к вечеру, вычистил свою палитру и пошёл с ним обедать по его просьбе в ресторан, где всегда пользовался столом. Дорогой говорю ему, что трактирчик плох, что, быть может, он ожидает роскошного обеда, но так как мои средства не бойки, то и обедаю за 1 франк 25 сантимов с хлебом вволю и даже полбутылкой вина.

«Да, это совсем в моих средствах»,— сказал он, и мы уселись за маленький столик грязненького кабака. Подают суп в налитых тарелках, только что я хлебнул первую ложку, Александр Андреевич выхватил у меня её и подставил свою. Я смутился, ничего не сказал, и мы продолжали обедать, только он как бы нечаянно брал и ел мой хлеб, подкладывая свой. Пообедав, мы пошли на бульвар в кафе, пили кофе без прикличений, говорили о Риме, Гоголе, его приятеле, и о том, что нелегко ему было после 24 лет оставить Вечный город, чтобы везти свою картину в Петербург со страхом и трепетом, что его уже там давно забыли и что он плохо верит в свой успех.

На другой день он повёл меня на железную дорожку в пакгауз, куда был выслан громадный ящик с его детищем. Осмотрели, цел ли он, и, найдя в благополучном виде, я ему устроил, что его подержат в магазине до отправки в Петербург за самую умеренную плату, чем он, видимо, был доволен.

Обедали мы постоянно вместе, и в это время обсуждался вопрос, как бы похитрее поместить ящик на платформу железнодорожного вагона, ибо прежней отправкой он был недоволен. А дело состояло в том, что по случаю длины ящика, выходящего за края платформы, его пришлось поставить полудыбом, подложив подпорки, которые легко могли свернуться в пути и причинить крушение. Поперёк, чтобы занять один вагон, или по диагонали класть ящик тоже было дело неподходящее. Так прошло три дня. Невольно и я ломал голову, как бы это устроить, и, наконец, додумался: «А вот нельзя ли возвысить картину над платформой, положив её на подставки, так, чтобы ящик лишнею переходящей длиной лежал над другой, за ней следующей, не касаясь?». Уперши перст в лоб, он задумался: «Да как же-с это, начертите-с». Я изобразил ему в профиль мою систему, он долго думал и сказал: «Умно-с и практично-с, только, пожалуй, будет драгоценно-с». — «Да несколько, — говорю ему, — товар будет лежать на следующей платформе плоский, низкий, и я думаю, что дело можно устроить».

И пошли на другой день на Северный железнодорожный вокзал. Отыскали распорядителя поездов и два часа битых говорили и выговаривали постановку картины на поезд. Француз был очень мил и добр и согласился устроить дело даже с передачей условия за границу, и Александр Андреевич остался вполне доволен, сказав: «Да, и у них есть порядочные люди-с, но не надует ли-с?».

В Париже проживал мой хороший знакомый по Риму Павел Михайлович Ковалевский с женою. Зайдя к ним, я рассказал причуды Иванова, на что получил ответ: «Да, ведь, когда мы жили с ним в Интерлакене до приезда сюда, то он в гостинице проделывал всякие штуки и постоянно выхватывал наши тарелки с кушанием и пил налитые стаканы. Он боится отравы, разве вы это не заметили?». — «Ну, теперь я соображаю, что это так, а потому и буду действовать сообразно». То же подтверждает в своих очерках римских и И. С. Тургенев.

«А каково здесь посольство-с?» — спросил у меня Александр Андреевич. «Да это люди не дурные, вежливые». — «А вы их знаете?» — «Знаком, — говорю, — даже у посла обедал раза два». — «Вот как! Ну так отрекомендуйте меня-с!» — «Да как вас рекомендовать, ваше имя так известно, что мне, право, неуместно быть вашим предтечею, коли вы написали настоящего и так славно!» — «Без острот, пожалуйста-с, а попросту-с мне не хочется испытать отказ, а вам нипочём-с».

Делать нечего, я пошёл к секретарю Гроту, сказал ему, чтоб устроил порадушнее приём нашего славного художника, он взялся за это с удовольствием, ручаясь за полный успех, сказал: «Да я сам заеду к Иванову, сделаю ему визит и приглашу к послу». О всём этом я пошёл сказать Иванову, не застал его дома, но к обеду он зашёл ко мне. Выслушав мой отчёт, он вдруг вскинулся за всё очень благодарить. «Но за визит г-на Грота не благодарен-с». — «Да почему?» — «А я никому не говорил своего адреса, кроме вас, и вы меня предали-с, я должен переменить отель, да-с». — «Извините, право, не сообразил». — «Да, это всегда молодёжь ничего не думает, ну, так как же быть, я перееду-с». — «Да, ради Бога, не делайте этого, я устрою, чтоб Грот напишет вам письмо». — «Хорошо-с, не мне, а на ваше имя с передачей».

Что делать, надо опять пойти в посольство, но на этот раз так счастливо, что г-н Грот возложил на меня приглашение к послу, которое я и передал Иванову.

«А вы не пойдёте-с?» — «Да меня не приглашали». — «Очень жаль, было бы приятнее». Тут начались расспросы о галстукe, о фраке и даже было сказано: «А сапоги, нет нужды, что не лакированные? Я таких никогда не носил».

Приёмом гр. Киселёва Александр Андреевич остался крайне доволен. Около часа после стола посол с ним беседовал, предложил ему письма в Петербург рекомендательные, и так очаровал, что на другой день, когда мы свиделись, Александр Андреевич сказал: «Здесь, как на железной дороге, есть люди обходительные!».

Раз как-то я хотел с ним завести речь о французской современной школе. Но съел гриб! Иванов ровно ничего не сказал, а задал вопрос, сколько дают на водку гарсонам, когда оставляют отель.

Пришёл, наконец, день отъезда в Россию. С раннего утра накануне пошли на железную дорогу, при нас установили картину на платформы, Иванов пробовал связки верёвок, и когда мы уходили, то раза три оглянулся и молча останавливался. На другой день я его проводил. Он очень любезно со мною распрощался, благодарил, сказав: «Хотел бы я вам послужить чем-нибудь».

Но судьба не привела мне случая более его видеть. Знаю по рассказам, что много тревоги перенёс этот знаменитый человек и всяких невзгод. Виною была всё-таки его бесхарактерность и неопытность в жизни. Друг его Солдатёнков, купец и кулак, постоянно его сбивал с толку в переговорах с Двором о цене его картины, которую он менял несколько

раз. Всё это его сильно волновало, и так как время на ту пору было холерное, то после обеда у гр. Кушелева он захворал и скончался.

Жаль! Не удалось этому славному русскому деятелю пожить всласть после своего торжества. Целая серия религиозных картин, им задуманная, осталась им не осуществлённой. Картина его «Христос и Иоанн Креститель» стоит теперь в Румянцевском музее в Москве³². Конечно, это вечный памятник славы художника. Но есть невежды, которые позволяют говорить о ней непочтительно, как о выцветшем ковре, не углубляясь в её рисунок, самый строгий, и гениальную композицию.

Я когда гляжу на неё, то вижу прежде всего Христа, а потом уже замечаю колоссальную фигуру Иоанна и всех его окружающих, хотя первый помещён на дальнем плане картины. А когда всмотришься в его черты и образ, то невольно скажешь, что разве Тициан в своей картине, что в Дрездене — «Воздай Божее Богу, а кесарево — кесарю», может встать рядом с выразительным лицом Христа Спасителя творчества гениального Александра Андреевича Иванова.

Русские парижане

Проживали здесь два брата, графы Кушелевы-Безбородко. Я их знал ещё в Петербурге через отца. Николай Кушелев был собиратель картин французской школы. Делал он это осмысленно и по смерти свою богатую коллекцию оставил Академии художеств, за что великое спасибо. Благодаря ему я познакомился с Тройоном, Руссо, Добиньи, Коро и Зиеном. Цены на их картины в то время были баснословно дешёвы. Коро платили по 500 франков, 1000 и 2000. «Утро» Тройона стоила 8000 франков, Добиньи — 1000, «Кромвель» Поля Делароша — 12 тысяч франков, а нынче можно приставлять к ним по два нуля.

Григорий Кушелев шёл другой дорогой. Он был женат на бойкой бабе, г-же Кроль, сестра которой была замужем за известным в то время фокусником Лейстином Юмом. Жили они весьма открыто на площади Пале Рояль в отеле того же имени. Тут всегда там был известный Александр Дюма. Врал он увлекательно, заказывал ужины лукулловские, и поистине было очень приятно его слушать. Не бывав никогда в России, он говорил о ней, как будто был старожилом Петербурга. Павловский дворец, Инженерный замок были ему известны во всех деталях. Он как будто присутствовал при кончине императора Павла I, говорил о каких-то тропах спасательных, нарочно повреждённых гр. Паленом. Описывал стоны и грусть императрицы Марии Фёдоровны, соучастницы императора Александра в этом деле. Словом, послушав его, так и видишь всю эту историю, которая до сих пор темна для нас, русских.

Двор императрицы Екатерины тоже был ему известен. Часто он её выставлял в смешном виде и между прочим рассказал, что однажды она гуляла по Царскосельскому саду около источника, где стоит статуя «Разбитый кувшин». Куртизан Нарышкин сильно надоел императрице, и та, когда он говорил, что готов жертвовать за неё жизнью, поймав его на слове, сказала: «А вы точно это говорите? Так утопитесь в этом источнике». Куртизан сейчас же прыгнул в лужу и стал в ней барахтаться, причём утопиться не мог, но выпачкался в грязи по уши, за что получил царскую улыбку.

Львы, тигры и пантеры были, по словам Дюма, им истребляемы сотнями в Африке. О фазанах, сернах и козах говорилось, что он ловил их тысячами. Иногда ездили в Шато его друга в Ville d'Ouvre*, где он лично стряпал обеды и завтраки, и надо отдать справедливость, что кухню он знал тонко и работал просто гениально.

Дело окончилось тем, что граф повёз его к себе в Россию, и на его счёт он объехал нашу родину и написал пошлую книгу, отуманившую ещё больше французов насчёт нашего отечества, уснащая её везде неправдой и пошлыми рассказами³³.

Давались также сеансы Юмом. Вызывались духи, черти и именные люди, вроде Наполеона I и Юлия Цезаря. Гуляла под столом какая-то рука, играли бубны и колокольчики в соседней комнате, словом, творились чудеса. В этом случае Александр Дюма, кажется, был заодно с Юмом, ибо раз на его курчавой голове очутился варённый большой рак, которых мы ели за ужином, да и на шею висел в виде ордена таковой же на розовой ленте. Графиня Кушелева разыгрывала сентиментальную восточную барыню, ходила в каких-то прозрачных нарядах, сурмила сильно глаза и брови, валялась на подушках с какой-то восточной негой и вообще представляла вид дамы пошлого тона. Бедный граф, страдавший падучею болезнью, всё нюхал спирты, тряс головой и мало обращал внимания на всё его окружающее, которое было полно проходимцев, в которых и я участвовал для курьёза.

* В городе Овере (франц.).

Приехал в Париж в это время добрый мой знакомый и поощритель моего таланта Василий Федулович Громов. Он, придя ко мне, купил картину «Вико» и приказал ходить к нему как можно чаще. Зашёл к Жирарде, тоже купил две картины, что очень обрадовало моего соседа, и начал жить в Отеле Бодэ жизнью широкою и гостеприимною, как будто у себя на Фонтанке в Питере. Блюдолизов опять вокруг него нашлось достаточно, знатно пили и ели на его счёт. Покупал он разные машины для своей технической школы, что на Лиговке, першеронов для завода, овец в Рамбуйе и сюрпризы для котильонов. Вообще вёл он себя честно, пожертвовал на русскую церковь сумму здоровую и уехал, говоря: «Ну уж чёртов город ваш Париж, по правде, угоришь».

Скорее после мира по окончании Крымской кампании приехал сюда В. Кн. Константин Николаевич и с ним явился известный устроитель Черноморской паровой компании Николай Александрович Новосельский. Великий Князь жил в Тюльери, гостем у Наполеона III. Как его подчинённый и художник Главного Морского штаба, я к нему явился. Обойдя всех, он очень мило говорил с Айвазовским, стоявшим около меня, а после, нахмутив брови, не подав мне руки, сухо спросил, что здесь делаю, и всё время смотрел мне в бороду. Я отошёл, недоумеваю, что это значит, ибо он был ко мне всегда милостив. На другой день зашёл к сопровождающему его Головину, впоследствии министру народного просвещения, и говорю: «Уясните мне, что это за курьёз?» — «А очень простое дело. Великий Князь не любит бород. Вы его подчинённый, и ему не понравилось. Обрейте её и приходите завтра — и поверьте, что дело будет совсем другое». Дня через три без бороды я явился снова к Его Высочеству, который меня встретил с улыбкой, сказав: «А, какой ты сегодня пригожий, очень рад тебя видеть. Ну, что делаешь, работаешь? Ну хорошо, заходи ещё до моего отъезда».

Великий Князь уехал, но остался Новосельский, и тут-то я узнал поближе этого курьёзного человека, с которым был знаком и прежде, когда он служил ещё в Синоде, бедствовал, и тогда мы, распив вместе полштофа водки, закусывали селёдкой. Теперь дело было иное. Новосельский жил в Гранд Отель дю Лувр, занимал огромное помещение, держал приёмный салон и имел двух секретарей — виолончелиста Ададунова и скрипача Горского. С их содействием он набрасывал планы будущих контор паровых, покрывающих и Европу, и Азию для русского парового Черноморского общества. Набирался персонал, устраивались корреспонденции, телеграммы шли по всем направлениям, и народ кишел и сидел в Отеле дю Лувр, ища случая представиться гениальному творцу нового, небывалого русского дела. А в это время, когда зал был полон просителями, где все молча ожидали своей участи, мы весело с хозяином закусывали в ожидании сытного обеда. Но вот настал момент действия! Николай Александрович, встрёпывая себе чуб, принимал вид усталого глубокомысля и подобно удручённому неусыпными трудами государственному деятелю, когда два зува в цепях на груди открывали обе половины дверей, он, медленно ступая, подходил к одному из концов посетителей, выстроенных шеренгою, которая вся целиком, подобно тростнику от нашедшего порыва ветра, преклонялась перед государственным человеком. Все опрашивались очень обстоятельно, секретари записывали прошения устные и принимали бумаги, и это было приятно видеть, что все уходило с лицами радостного удовольствия, ибо Николай Александрович умел всем обещать широко, поощряя надежду.

Сыграв эту комедию, он возвращался к нам и тут-то был опять мил, непритворно любезен во всём. Пили у него очень хорошо, играли в карты. Подчас Ададунов оскорблял наши уши своею неумелою игрою. Так шли дела по устройству Черноморской компании. Как видно, ерунды было много, деньги летели, как сор, и впоследствии всё сделанное Новосельским пошло насмарку. Но эскизный набросок, идея всё-таки осталась за ним. Позднее я видел его упавшим очень низко, но он вставал опять и снова падал, не переставая быть добрым, пожалуй, умным человеком, но только с вечными провалами, как у себя в семье, так и в обществе. Но что нельзя отнять у Новосельского, это был своеобразный тип деятельной плодотворной русской природы. Как только у него заводился грош, он меценатствовал, покупал картины, так же скоро их продавал, будучи в снижении. По-видимому, был набожен, неплохо верил, призывая помощь Божью, мало помня поговорку «На Бога надейся, да сам не плошай».

В Париже в это время проживал кн. Григорий Григорьевич Гагарин. Он занимался изданием у Лавресье коронационного альбома императора Александра II. Натура его была художественная. Он недурно рисовал и писал, в особенности изучал древнюю византийскую живопись и старогреческую, Афонской горы. И немало потрудился на пользу этого дела. Конечно, если бы не бездействие и невежество наших митрополитов и обер-прокурора св. Синода, то не встречалась бы в России безобразная итальянщина в иконах, ибо

кн. Гагарин вполне установил своим трудом эту область искусства, расписав лично многие церкви и создав художников вроде Бейдемана.

Я в то время был сильно недоволен своими заказными работами. Пенсия моя шёл к концу, почему я решил попросить князя, как будущего нашего вице-президента Академии, осмотреть мои работы. Князь ко мне приехал и, когда я ему сказал, что вся работа моя мне не нравится и что я порешил её уничтожить, пришёл в смущение и договорился со мной — две картины оставить, а три переписать, обещая мне выхлопотать от Государя ещё год продолжения пенсии, что и было исполнено.

Жизнь в Париже начала меня тяготить, я слишком был слаб характером, увлекался жизнью, а потому и порешил снова ехать в Дюссельдорф, где развлечений нет никаких, кроме злой скуки в часы ночные, а со светом опять начиналась трудовая жизнь. Оставить Изабе мне было жалко и совестно. Да кроме этого меня очень полюбил художник Добиньи, хвалил мою работу и даже поменялся со мною этюдом, на котором написал: «Offert a M-r Bogoluboff»*. Этюд этот стоит теперь верных 15 или 20 тысяч франков и составляет украшение моего Саратовского Радищевского музея³⁴. Изабе сделал то же, что меня немало ободряло и пристрастило коллекционировать картины. Так я приобрёл этюды Кнауца, Ахенбахов обоих, Зиема, Невила и других художников, ещё не помышляя о том, что всё это отдам родному городу.



А. П. БОГОЛЮБОВ. Пейзаж. Акварельная копия с пейзажа К. Коро. СРМ.
Публикуется впервые

Старик Коро часто у меня бывал, покуривая свою коротенькую трубку, которую в виде лакомства набивал турецким табаком, у меня водившимся. Это был крайне симпатичный человек. Он был беден, несмотря на свой гигантский талант, тогда ещё не признанный. Ученикам своим он часто давал свои этюды в виде помощи, а те продавали их по 50 и 100 франков, а теперь они стоят тысячи. Благодаря ему я имел постоянный сбыт моих мараний в Пассаже Мадлен у торговца картинами, который платил мне за них по 10, 20 и 30 франков. Писал я их массу, оставляя себе более достойные, а остальные — все на кутёж и жизнь.

Теперь наши художники так не поступают. Вся их работа расценивается на вес золота. Хлам свой они берегут Бог знает для чего, не желая уронить своё достоинство. Всё это

* «Подарено г-ну Боголюбову» (франц.).

ложно, тупо и глупо. Ну что бы я сделал со всем своим багажом этюдов, если бы дорожил ими, не стараясь заменять новыми? 200 таких у меня купила Академия наша, 250 я отдал в свой Музей, а тысячи, слава Богу, гуляют по всему свету.

Коро тоже давал мне совет: садясь за этюд, всегда думать о его картинности, дабы, поставя фигурку, было интересно. А у нас художник сядет перед приём и долбит его кору или выписывает папоротники, вовсе никому не годные, и, скучая, думает, что он изучает природу. Но ведь её можно брать и картинно, производительно, не тратить сил, выписывая грибы на первом плане, когда общее этюда никуда не годно! Коро был великий мучитель своих картин. Часто он её подмалюет и всю соскоблит ножом, даст усохнуть и потом пишет тонко, пользуясь полугустыми прозрачными затирками. Оттого мы и видим в его тонах ту неуловимую тонкость и прелесть, которую никогда не даёт грубое письмо сразу. Воздух он сильно скоблил по сухому, и, вообще, взглянув на его деревья, вы, пожалуй, не скажете, что это за растения, но взгляните в общее пятно его зелени, углубитесь в сравнение её по отношению к воздуху, взгляните на едва написанную фигурку в картине, и вы скажете — да, это мастер! Этот человек чувствует природу так точно, что невольно подчиняет вас сознанию природы в своих произведениях. Коро, Руссо, Тройон, Добиньи, Марилла — суть родоначальники французской пейзажной школы. В редком мастере, их последователе, вы не заметите их благородное влияние на его развитие.

Быть может, меня упрекут, что я не упомянул ещё имени Дюпре, их современника, которого я благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу хорошо знал. Но он часто не был натуралистом, а в особенности получив известность, валял картины от себя и усвоил пошиб, что всегда дурно рекомендует художника. Взгляните на его продолговатые картины в Лувре, и вы скажете, что я прав. Тут есть мастерство, но композиция не натуральна, живопись грязна. Были у него этюды истинно мастерские, но очень редко.

К числу знатных колористов я отношу Зимма. Его первые картины Египта, Константинополя, Сирии очаровательны, сильны и жгучи по краскам. Его Венеции грешат архитектурным рисунком, но воздух, движение фигур гондольеров — всё это полно таланта и жизни. При конце он впал в рыночную торговлю, а потому есть много его картин, далеко не стоящих прежней оценки.

Дюссельдорф

Кто пожил бы в Дюссельдорфе, будучи знакомым с другими городами Германии, тот, конечно, сказал бы: «Что это за странный город?». Но я, после долголетнего скитания во всех государствах и всяких городах, скажу, что Дюссельдорф город, как и все небольшие города, с той только разницей, что тут примешалось к бюргерству и военщине ещё художественное сословие, более интеллигентное по развитию, что и даёт месту живой и иногда буйный колорит.

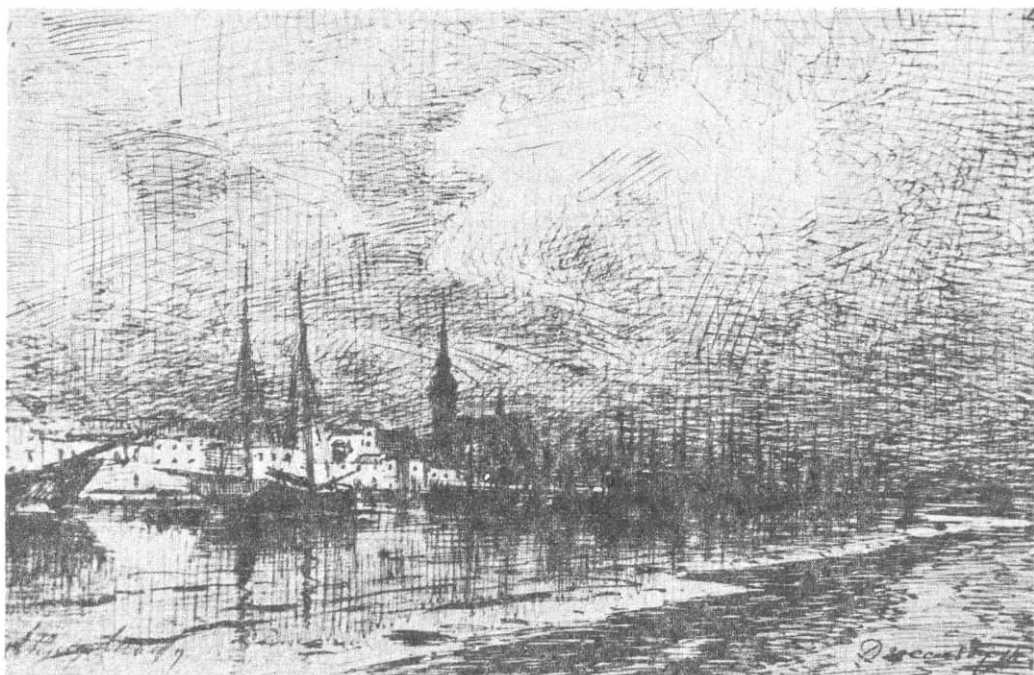
Приехав в Дюссельдорф после Парижа, где я пробыл два года с половиной учеником доброго и гениального моего учителя Эжена Изабе, я поступил опять в ученики профессора Ахенбаха.

При отъезде мой французский маэстро напутствовал меня следующей фразой: «Вспомните меня, не оставяйтесь долго у вашего Ахенбаха в немецкой школе, или вы будете черствы, как три немца». Отчасти Изабе был прав, но за Андреем Ахенбахом есть столько громадных качеств, способных образовать юного художника, что поучиться у него было вовсе не лишним для меня, страдавшего всегда слабым рисунком, в котором отец Андрей велик, как Бог!

1859

Принял он меня гордо, но довольно вежливо. Взаясь учить за 30 талеров в месяц. Учеников у него было только трое: Пост, Гуде и я, остальных он тотчас выпроваживал, коль скоро замечал, что ничего не делают или бесталанны. При таких условиях работать стало необходимо во все пары, что я и делал. К тому же приспела весна, и он послал меня в Шевенинген на этюды, рекомендуя забыть о его картинах и руководствоваться только своим собственным взглядом на природу: «Мною вы никогда не будете, да и Боголюбова не создадите, думая об Ахенбахе».

Возвратясь домой через три месяца, я привёз пропасть тщательных рисунков с природы и столько же этюдов. Более всего отец Андрей одобрил корабли, барки, пароходы, лодки и, узнав мою силу, советовал мне всегда держаться этой отрасли и сказал: «Истинно морских художников очень немного, а мы все только лодочники». Это и правда. Ахенбах чертил и знал превосходно шевенингенскую конструкцию, но как только дело доходило до морского судна, он вечно хромал знанием, почему впоследствии ему, как и Изабе, мне при-



А. П. БОГОЛЮБОВ. Вид Дюссельдорфа. 1870. Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые

ходилось поправлять конструкцию судов, чертить снасти от руки, по муштабелю и указывать на недостаточность страдания судна на волне. Но до этого доверия я дождал только разве через полтора года. Маэстро ругал меня всегда за небрежность письма, чем я сильно заразился во Франции. «Хотите быть мастером, не быв учеником»,— говорил он мне, часто уснащая речь острыми до язвительности словами, но я подавлял моё внутреннее бешенство: «Погоди, мол, отсосу тебя, так и сдачи получишь!».

Вообще натура отца Андрея была не совсем светлая. Он был денежный маклак, что показала его женитьба на известной красавице, но дуре м-ль Лихтшлях, за которой он взял полмиллиона талеров, для достижения чего должен был переменить веру, перекрестив из лютеранина в католичество с собой заодно бессознательного брата Освальда, которому было тогда только семнадцать лет. За это он был в великом почёте у местных попов. Впоследствии он писал даже образа в собор, что ему давало право носить хвост ризы епископа в процессиях по городу, где я его видел своими глазами лысого, без шляпы, блуждающим самодовольно со свечой в руке.

С братом своим он жил весьма плохо, как говорил мне, когда мы сблизились, что всему причиной жена Освальда, фамилия которой как-то проворовалась. Но это вздор. Фамилию я знал лично. То были гостеприимные, но бедные люди. Один Аренс, точно, убежал в Америку по какому-то любовному делу, но вовсе не должником. Поистине же причиной разлада была жена Андрея, завистливая католичка, боявшаяся, чтобы Освальд не помрачил талантов её мужа. Почему сей примерный брат никогда не писал ничего более, как итальянские жанры с пейзажами, дабы не встретиться на той же почве. С Освальдом я скоро спился на «ты», полюбил его как друга и мог оценить его честную душу, которая, несмотря на все злобы старшего брата, никогда не забывала, что он его создал как художника и поддерживал в юности как человека после смерти отца, торговавшего уксусом, что ему вовсе не мешало произвести на свет двух гениальных художников, но острота его товара передалась обоим в речи, в особенности Андрею.

По богатству и таланту Андрей Ахенбах занимал в городе почётнейшее место. Дом его был открыт для всех именитых посетителей. Он любил угостить друзей хорошим вином и едой, что поистине редко в Дюссельдорфе. В Малькостене (клубе) он был старшиною и даже дал деньги художникам, чтобы купить место для нового здания, конечно, за проценты. Его тоненький, но звонкий голос всегда был слышен в обществе при рассказе всякого рода анекдотов. Он писал декорации со своими учениками для клубных театров и де-

лал их превосходно, шутя. Но всё это делалось, чтобы его заметили, и беда тому, кто позволял себе ответить такой же колкостью на его язву. Тут он был неумолим и долго плакал двойною злобой за нарушение почёта.

Имел он также непростительную страсть к величию и унижался перед юнкерством в смысле родовитости. Мало ему быть Андреем Ахенбахом. С этим именем была связана громкая слава, добился её гениальным талантом, но он всё лез в благородные связи, а потому дом его переполнялся молодыми офицерами гвардейского гусарского полка, стоявшего тогда в Дюссельдорфе, что часто вносило элемент, враждебный художникам. В глазах его я был человеком уже потому, что родился дворянином, на основании чего он всегда старательно приставлял к моей фамилии частицу «фон», рекомендуя меня всякой военной сволочи. У него было три дочери, что отчасти оправдывало его как отца, желавшего пристроить их за дворян. Результатом вышло его нынешнее горе, ибо два зятя прокутились дотла, народив ему кучу внучат.

Кроме Андрея и Освальда Ахенбахов в городе жил старик профессор Шадов — директор Академии, сухарь по живописи, идеалист по школе, друг Корнелюса и учитель Каульбаха. Сей великий муж часто страдал от насмешек Андрея Ахенбаха, до тех пор, пока он не купил его дом с ласкудными фресками. Вроде Шадова были ещё художники — мистики Мюллер, Мюкке и прочие. Всё это составляло тогдашнюю Академию. Лессинг — пейзажист, жанрист и историк — тоже проживал здесь. Странно, что я никогда не мог дивиться его гению. Пейзаж представляли, кроме братьев Ахенбахов, К. Лейде, Веббер, Брумессал, Лели, портрет — Зоны, отец и сын, профессор Хильдебрант, он же историк. Но это всё были старики, а из молодых назову Освальда Ахенбаха, Зона-сына, Михелиса, Вотье, Кнауца, Макса Гесса, граёра Фогеля, в обществе которых я жил постоянно. Отец и благодетель или подлец и грабитель наш был картинный торговец Шультен. На его выставке всегда можно было видеть всё новенькое, но платил он молодым талантам так плохо, что разве только для славы, что вещь продана, начинающий свою карьеру отдавал картины ему.

Лучший ресторан в городе был Austen-Salon-von Turnagel*. Тут же рядом была колониальная лавка, на ставнях которой виднелась надпись «Süd frutten»** разве потому, что там, и то в позднюю пору, появлялись апельсины, финики, сухой миндаль и изюм.

Тюрнагель был повар принца Гогенцоллерна, следовательно, имел герб и писался Hof-diferand***. У него-то собиралась вся представительная юнкерская молодёжь, смотревшая на всё прочее с присущею ей заносчивостью. Но мне плевать было на этих господ, почему, осмотревшись немного, я и начал заводить в ресторане свои порядки, ибо еда там была всё-таки очень подлая — жир заменял везде масло, а суп был жидок, без всякого навару. Конечно, первым долгом надо было сойтись с кухаркой, а потом с обер-кельнером, с мальчишкой, но для весу слово «обер» ему было мною даровано.

Толстой кухарке Каролине я задал такой вопрос: «Что стоит фунт мяса на рынке?» — «Три гроша, суповое». — «Ну, так ставьте мне каждый день его на счёт и варите полторы тарелки супу. А масла фунт?» — «Девять грошей». — «Четверть фунта или восьмушку употребляйте для моего стола, да, главное, позабудьте жир и сало, когда обо мне думаете. За внимание же ваше даю вам к тюрнагельскому жалованью полтора талера в месяц».

Аугусту, кельнеру, я тоже назначил полтора талера, и дело пошло как по маслу. Сидя рядом с юнкерами и фендриками разными «штате» и другими «ротами», я получал кухню на масле. Носы моих соседей скоро почувствовали отсутствие его в их кухне, да и суп давал знать о себе как видимостью, так и ароматом, а потому был позван хозяин и выруган свиньёю и вором. Имея под ногами почву, немец-холоп ополчился: «Скупердяи вы этакие! Платите дороже, так и вас буду кормить лучше, а то даёте грош и требуете на десять». Вследствие этого дело было выяснено, и на столе заведения появился новый лист цен боголюбовских на разные кушанья, мною введенные, — щи, биток и даже ботвинья.

Такое преобразование дало мне в застольной общий почёт, к тому же я пил здорово и тем был очень приятен Тюрнагелю.

В Малькостене первое время мне было очень трудно по случаю языка. Его я всегда плохо знал, да и призбал совершенно, служа во флоте. Надо было подучиться. Память была хорошая, и через месяца два, благодаря дерзости, я стал даже произносить речи, возбуждающие общий смех, ибо где слов не хватало, там я ставил французские или итальянские, дополняя мимикой всякую нехватку.

* Восточный салон Тюрнагеля (нем.).

** «Южные фрукты» (нем.).

*** Главный (нем.).

Игра была в клубе скромная, коммерческая, и в статутах никогда не предвиделся «газарт», на основании чего я предложил «лёгкий банчок, или кронштадтский штос», конечно, грошовые. Иногда везло, а иногда я проигрывал талеров 10. На выигрышные деньги я тотчас же покупал вина в буфете и поил проигравшихся, что всех утешало, ибо деньги считались не проигранными, а пропитыми. Но как-то пришлось выкатить бочку пива и пропить на вине талеров 25 разом, отчего общество пришло в дикую весёлость, начались разнанные либеральные спичи, ломались комедии, даже цинические.

Я не игрок по натуре, но люблю игру — она как-то меня пробирает и обновляет. Несмотря на любовь к веселью, я работал всю жизнь, как никто из русских, да и с немцами поспорю, но от времени до времени мне необходима передышка. Вот почему, потрудясь месяца три-четыре, я брал с собою франков 400 или 500 в карман, несколько не нарушающих моё хозяйство, и вдруг исчезал в Гамбург, Висбаден, Эмс или Садек, в сторону рулетки, французского ресторана и всяких грешниц. Для обеспечения я брал на пароходе билет туда и обратно, ибо иногда проигрывался дотла, раза два случалось возвращаться пешком из Висбадена до Костела, что стоит напротив Майнца, где приходилось страдать голодом до самого Дюссельдорфа. Но были дни, когда счастье везло, и тут всё было нипочем. Я платил сейчас же вперёд за номер в отеле, покупал разные портсигары, галстуки, подтяжки, сапоги, так что, ежели продувался в конце, то, по крайней мере, что-либо увозил в себе и на себе.

Раз мне очень повезло, и я почему-то сделался благоразумным. Выиграв девять тысяч франков, я тотчас же удрал в Париж, где экипировался как бульварный щёголь, кутил и пьянствовал с товарищами по школе Изабе и некоторыми русскими и через три недели уехал обратно в Дюссельдорф. Появление моё в Малькостене было почти триумфальное. Начались расспросы, где пропадал, что делал и прочее. «Играл и выиграл, был в Париже, пьянствовал и кутил, а потому и с вами выпью!» Ну и выпили здорово. А на другой день я уже сидел за работой, и только по вечерам недели две все меня спрашивали, как это я так легко безобразничаю. «Да это в моей натуре,— говорю я,— я скрывать ничего не умею, какой есть, такого и любите». Это откровение, впрочем, повредило мне в обществе, и я прослыл за кутилу и развратника.

Но я работал всё-таки здорово. Написал порядочную картину, что висит теперь в Эрмитаже,— «Амстердамская ярмарка», потом написал другую, что в кабинете Её Величества Государыни императрицы,— «Вход рыбаков в Сен Валлери в бурю», «Константинополь», «Шевенинген. Утро», которые, впрочем, продолжал в Дюссельдорфе, и те привёз в Париж и показал их Изабе. «Я вами доволен,— сказал он,— но недоволен, что всё это едко, хотя хорошо нарисовано, но пахнет голландскими мастерами. Но «Сен Валлери» — хорошо, и так продолжайте».

В это время пронёсся слух, что будет сюда* наша августейший президент В. Кн. Мария Николаевна и что она желает повидать наши работы, узнать о наших нуждах.

Новость эту привёз из Рима известный нам по тамошней жизни г. Васильчиков, директор Императорского Эрмитажа впоследствии. Ему Великая Княгиня препоручила обойти предварительно всех нас и спросить, чего мы желаем, и чтоб все приготовились её принять. Надо сказать, что Васильчиков взялся за это дело весьма поздно, дня за два до её приезда. Гуляя со своей невестой, гр. Олсуфьевой, в Сен-Жермене и других окрестностях. Но, как куртизан, конечно, не хотел явиться к президенту, ничего не зная, почему и начал быстрый объезд жилищ нашего брата.

Я был с ним хорошо знаком по Риму, а потому несколько не обиделся, что он явился ко мне в мастерскую, когда меня не было дома, переглядел все мои этюды, рисунки, написал на клочке бумаги: «Я Вами доволен, до свидания».

Но не так посмотрели на это дело мои товарищи. Гордый остзеец фон Бок, когда Васильчиков зашёл к нему в мастерскую, лежал на диване и курил трубку. Васильчиков вошёл в шляпе, шинели и калошах, на дворе было непогодно. «Что вам надо?» — спрашивает Бок. «Я пришёл к вам от одной высочайшей особы посмотреть, что вы делаете». — «Да кто эта особа, да и вы что за господин?» Васильчиков, видя такой приём, возвышает тон: «Да я вам говорю, что пришёл от Великой Княгини, президента». — «Нет, вы этого не сказали, а говорите о какой-то высочайшей особе. Посланного Великой Княгиней я приму, ибо это моё начальство, но скажите, как вас зовут, да снимите калоши, шляпу, шинель, а иначе я с вами и говорить не буду». Васильчиков обижается и уходит, пробормотав: «Невежа».

Едет к Бочарову. Его нет дома, а дверь открывает жена, бедно одетая, с ребёнком на

* В Париж.

руках. Не снимая шинели, калош и шляпы, по-французски гнуся, это был природный достаток как аристократа, он спрашивает г-жу Бочарову, принимая её, как водится, за девуку: «Где Бочаров? Я хочу видеть его работы». Смущённая женщина отвечает: «Но я не знаю вас, зачем вы пришли, от кого?».— «Вам дела нет, показывайте!». Идёт в глубь мастерской, роет, перелистывает и молча уходит.

Обход его вообще был весьма неудачен для него, никого не заставлял он дома, а встретив Худякова, который был не в духе, был им тоже прогнан за то, что говорил с ним невежливо. Я, Лагорио и Чернышёв, как его знакомые по Риму, убеждали Васильчикова обойти снова художников, но он сказал, что они столь мало интересны, что и говорить о них не стоит.

На другой день собрались мы все на площади Пигаль в кафе дю Рот-Морт и держали бурное совещание. Горячее всех вступился за свою обиженную честь Бочаров. Фон Бок ругался сильно, но сдержанно. А остальные сейчас же перешли к матерному слову, под сенью которого порешили — мне и Лагорио идти к послу гр. Киселёву и подать петицию: «Ваше высокопревосходительство, некто, прозывающий себя Васильчиковым, и то не всегда, позволил себе входить в наши мастерские, когда нас не было дома, осматривать все работы, рыться в портфелях, оскорбляя наших жён, принимая их за распутных женщин, говоря, что делает это по приказанию одной августейшей особы, и, наконец, будучи допрашиваем, сознавался, что приходит от имени нашего августейшего президента В. Кн. Марии Николаевны, для которой мы все, конечно, готовы открыть наши мастерские, как нашей покровительнице. Но господин Васильчиков не умел исполнить её поручение, относясь к нам грубо и невежливо. Мы просим ваше высокопревосходительство защитить нас от этого шпиона, не умеющего ценить доверие к нему Её Высочества, которая столь милостиво препоручила ему осведомиться о наших нуждах и работах». Следовало 27 подписей³⁵.

До похода к послу я зашёл к своему хорошему знакомому по Брюсселю, старшему секретарю Гроту, дабы сообщить ему наше дело и спросить совета. Этот милый человек прочёл петицию и говорит: «Оставьте её у меня, я лично переговорю с Васильчиковым и посоветую ему сделать к вам визиты заново и извиниться. А тревожить посла, который у нас человек не мягкий, а строгий, ещё не настало время». Так прошло три дня. Я иду к Гроту, который говорит с негодованием: «Я убеждал Васильчикова, сказав ему, что слово шпион для дворянина очень оскорбительно и что, ежели бумага возьмёт ход, то ему придётся драться с вами за свою честь. Но он так занят своей невестой и надеется, что объяснит свой случай Великой Княгине и дело уладится». — «Нет, никак не уладится, — отвечаю ему, — ибо мы твёрдо решили, ежели посол нас не выслушает и не заставит этого нахала извиниться, то мы напечатает в газетах наше заявление, которое произведёт свой эффект, а ежели это не подействует, то по жребию публично расплескаем ему морду». На другой день с новым экземпляром я, Лагорио и Бочаров пришёл в посольство и подали заявление послу через Грота, прося нам дать ответ.

Прошло три скучных дня. Великая Княгиня приехала, но ответа не было. Я, как хорошо ей известный художник, творение её покойного мужа, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, пошёл к ней в Гранд Отель дю Лувр, но меня она не приняла. Видя тут происки Васильчикова, решаюсь ей написать письмо, где излагаю всё дело в подробности, но ответа нет. Товарищи мои бесятся. Грот ругает Васильчикова скотиной, мерзавцем и трусом и более ничего не говорит, почему решено просьбу нашу к послу передать печати. «Фигаро» с жадностью схватился за этот скандал, и через два-три дня все журналы в Париже огласили наш инцидент, который проник в немецкие, английские и итальянские журналы, в которых ещё через месяц он повторялся с различными комментариями.

На другой день выхода статьи меня призвал к себе посол и сделал сильное внушение, на что я ему ответил, что я бессилен в этом деле как товарищ. Имя моё не могло не быть в среде товарищей. Как знакомый Васильчикова, я его не раз убеждал с нами помириться, но его гордость была так велика и полна презрением, что товарищи мои меня не послушали и сделали всеобщий скандал.

После Грот передавал мне, что посол вслед за мной послал за Васильчиковым, обругал его трусом и посоветовал ему улетучиться, дабы не быть побитым. Что он и сделал, а Великая Княгиня послала за мной, была очень мила, сказав: «Очень сожалею, что это всё у вас вышло и что я выбрала Васильчикова быть моим посредником между художниками. Жаль, что не вспомнила, что вы в Париже, но теперь я завтра еду, до свидания, передайте это товарищам».

С этой поры Васильчиков сделался моим врагом. Много прошло времени, когда мне пришлось с ним снова иметь дело, но тут я ему дал такую нравственную пощёчину при его подчинённых, что он зашатался и взялся за башку, говоря: «Ах, мне дурно, не могу».

О нравственной пощёчине буду говорить после, когда дело пойдёт об основании и открытии моего Саратовского Радищевского музея и о щедрых для него царских пожертвованиях³⁶.

В этот период времени я встретился в Париже снова с Надеждой Павловной Нечаевой у Н. А. Жеребцова, её дяди. Прежде я мало обращал внимания на молоденькую институтку ордена св. Екатерины. Но тут она мне очень приглянулась. Это не была красавица высокая, массивная, черноокая, но, напротив, миниатюрная девица с прекрасными умными глазами, русыми волосами и ртом невыразимой приятности. Чудный овал её лица высился над стройным пропорциональным корпусом. Все движения её были просты, не изысканны, но полны врождённой грации. Существо это меня остановило. Но где было думать о жеманстве, когда в кармане нет ни гроша, а башка полна всякими проектами будущих картин. Но, несмотря ни на что, я был ею поражен и вернулся в Дюссельдорф как будто овраченным нравственно. Жизнь и работа всё-таки шла у меня по-прежнему.

Дело подходило к карнавалу. Художники оставили начатые картины и готовили пьесу. Как ученик Ахенбаха, я тоже пошёл малевать декорации с учителем, но скорее подавал ему горшки с краской и мыл кисти, ибо он заставлял только прокравать пространства подготовленной краской, по которой бойко ходил широкой кистью, так что в час писал дневную декорацию. Надо было красивого дурака в пьесе, чтобы быть посланным герольдом от какого-то принца к старому отцу. Дело шло о спросе руки дочери. Роль состояла в нескольких словах, следовательно, была самая вздорная. Никто её не хотел брать, ибо костюм стоил дорого, а виду было очень мало. Пристали ко мне товарищи — играй да играй. «Да что вы, друзья,— говорю я,— ведь я говорю по-немецки, как испанская корова». — «Да это и хорошо, ведь ты играешь иностранца». Ну и стал я играть герольда. Справил себе костюм по рисунку. Конечно, все золотые шнуры были золочёные верёвочки, кружева рисовал на кисее и тюле самодельщиной. Но издали костюмы были у нас дивные — бархат, серебро, золото, и всё своего производства — сусального. Живые картины ставились дивно. Тут Макс Гесс и Освальд Ахенбах отличались в декорациях с Андреем Ахенбахом. Ими торговал даже клуб Малькостен, ибо платили дорого провинциальные города за эти холсты. А прибыль пропивалась.

Летом в саду давались феерии — ума помрачение и диво смелости по искусству! На пруду ночью при бенгальских огнях (электричества ещё не было) и факелах устроено было торжество Нептуна. Началось дело тем, что на длинных чёрных гибких шестах были устроены манекены фей, окутанных длинным газом, который волшебным в воздухе крутился за летающими женщинами, то снисходил до воды, то вдруг опять облаком радуги клубился над прудиком. Музыка в кустах тихо гармонировала видению. Затем зашевелились кусты и потянулись по пруду. Из-за них, так же на невидимых шестах, вылетали райские птицы. Всё это было рассыпано декоративно по пруду. Затем из-за этой массы выплыли тритоны на золотых дельфинах, гудели в раковины, и, наконец, окружённый наядами, показался Нептун, встал, покачал трезубцем, и в одно мгновение из-за кустов вышли баядерки, нимфы и пошли плясать по воде, плеская и брызжа ногами. Вся картина ярко осветилась разноцветными фальшфейерами. Нимфы и птицы залетали над тритонами и Нептуном. Всё смешалось, красиво плясало, плескаясь, но раздался пушечный выстрел — и, вдруг, всё исчезает в одно мгновение! Да как же это нимфы у вас пляшут в воде? Это вздор, кажется,— скажет читатель. Нет, это очень просто. Под водой от её горизонта на два вершка был наслан помост, выкрашенный чёрной краской. На нём и танцевали художники с голыми ногами, правда, без трико, но эффект был ещё лучше театрального³⁷.

Живя в Дюссельдорфе, я был дружен с художником пейзажистом Михелисом. Это был чудак человек, все свои гроши он употреблял на старье, и его мастерская была настоящий музей. Он был чахоточный, женился, потерял жену и часто грустил. «Куда ты денешь весь этот хлам,— спрашиваю я его,— ведь это вся твоя жизнь, всё твоё богатство!» — «А вот куда. Умру, так это пойдёт в родной город. Там ничего нет художественного, кроме старых башен. Одну из них я приглядел в смысле музея и завещаю, чтоб всё там было установлено». Мысль Михелиса никогда меня не покидала, и ежели я основал Радищевский музей, то ему обязан. Когда я стал уже со средствами, то начал собирать тоже картины и редкости и, наконец, когда у меня не стало ни жены, ни ребёнка, то постоянно думал и додумался до Саратовского Радищевского музея, где в память моего деда, Александра Радищева, теперь стоит храм со всем моим добром и где будет под той же крышей когда-нибудь Боголюбовская школа.

Побывав в Париже и усвоив, сколько возможно было, новую французскую школу мастеров, я стал строго сравнивать её со школой дюссельдорфской и убедился, что искусство немецкое тупо, развратно по колориту и без гармонии красок. Не отниму от некото-

рых мастеров их достоинств. Например, Менцель, это такой же феномен, как Мейссонье во Франции. Братья Ахенбахи — здоровые художники, Кнаус тоже, но всё-таки изысканные натуры у них всегда прислащено «отсебятиной», как говорил К. П. Брюллов. Например, знаменитый живописец Рихтер — слащав и в рисунке часто страдает, а Ленбах что имеет своё, кроме способности бойко писать? Он пишет с вас портрет, а думает сделать фигуру Гольбейна или Тициана. А что касается до школы мыслителей, как Каульбах, Корнелиус, Овербек и прочие, то эти люди с условным классическим рисунком без колорита требуют, чтобы вы жизнь какого-нибудь Геркулеса понимали, как они сами, гордят чёрт знает какую чепуху в своих композициях, так, что когда помотришь на их работы, то просто одуреешь. Ну, подойдите к portalу Берлинского старого музея картин, пробегите всю эту кирпичную живопись — и скажете, что я прав! А Каульбах в своих фресках «Столпотворение», «Бой гуннов» и, наконец, «Реформация» что сказал? Опять ерунду. В последнюю потащил древний и новый мир и, наконец, себя поставил, глядящего на Лютера, который, по его мнению, всё реформировал. А хейлиг мálеры* — разве это не идущие в хвосте Рафаэля, Перуджино, Чимабуэ, что они дали, какую усладу религии и искусству?

Главное бедствие Германии заключается, по-моему, в образовании кунст-феррейнов, то есть художественных поощрительных обществ, которыми покрыта вся страна. Феррейны делают выставки везде, и раз съданная туда картина хоть за грош, но будет продана или поступит в лотерею. С этого опять возьмут процент в копилку общества, а остаток отдадут художнику, который, хоть впроголодь, но живёт своею подлою работой.

Ведутен мálеры** — это прохвосты, живущие во всех местах, где едет турист. На Рейне их массы! Все они родственники кельнеров или швейцаров отелей, которые всучивают их картины англичанам, голландцам, русским и другим дурням, любующимся красотами или древними опошленными замками Рейна. Зимой они едут в города. В Дюссельдорфе этого скотства масса и всё плодится, питается и считается художником.

И всем этим господам разве только заборы да гробы красить, а не мерзить наше почтенное дело! Опять скажу, что я это говорю про массу людей, ибо бесспорно есть там и большие таланты, но их очень немного. Менцель — вот их светило! Был человек в Дюссельдорфе по мысли и приёму художник здоровый — это Ретель, тоже мыслитель, но куда выше всех других. Он в моё время сошёл с ума, но фрески его в ратуше Аахена скажут вам, что он был сидач по этой части, но, жаль, рано умер!

Должен я коснуться и музыки здешней. Верю, что она классическая, и не спорю, ибо ни черта в ней не понимаю. Но всё-таки Дюссельдорф научил меня понимать хорошую её сторону, а главное — её исполнение. В моё время жил здесь Шуман и его супруга Клара³⁸. У них были интимные четверги, и тут-то я с благоговением высиживал по два и по три часа, слушая, как эти чудные люди добросовестно её исполняли. Пошиб их собственный, но присущ стране, где родилась музыка Бетховена или другого такого композитора. После, когда я бывал в Парижской консерватории и слышал «Героик», то тайный голос мне прямо говорил: «Нет, это не то, всё чисто, без задержки сыграно, но души и колориту нет. Да и не будет, а у Шумана он был». Этому положению я был обязан Андрею Ахенбаху. Он меня ввёл к Шуману, и я, ежели не выучился здесь ничему, но перестал всё-таки слушать музыку, как зверь, которого она тоже останавливает. Но хоть и с небольшим сознанием, а были минуты, что я был в упоении. Но после редко их находил. Разве ехавши на пароходе в Синоп, вдруг услышал даму, поющую нашего «Соловья» Ф. Глинки!³⁹ Не всякому всё дано! Один только добрейший В. В. Стасов и художество съел, и музыку выпил, но я его не понимаю ни в том, ни в другом.

В Аахене, Кельне и Дюссельдорфе бывали ежегодно трёхгодичные по очереди концерты, громадные по задаче. К ним готовились целых три недели — хоры, оратории. Музыка всех поглощает в себе. Есть любители, которые с утра до вечера сидят там и не устают. Взял и я билет для себя в третьем ряду залы. Пела Дженни Линд, хотя уже и с порванным голосом. Пела Карлота Патти, играл Иоахим на скрипке. Не будучи выносив по слушанию музыки по три часа сряду, на второй день я не пошёл на концерт, и так как думался поздно, то отдал свой билет горничной дома, где жил. Надо было видеть её радость. Она сейчас вырядилась и села ранее всех на своё место. Но после первого антракта её почтительно вывели. А почему? Дамы высшего полёта, увидев служанку в своих рядах, не потерпели, сказали мужьям, а те распорядителям, и ужасное безобразие было совершено

* Церковные, религиозные живописцы.

** Видописцы.

в угоду чиновничеству. И эта нация считает себя передовой в своих обычаях. А меня опять выругали, говоря, что я нарочно унижаю граждан Дюссельдорфа подобными демонстрациями. Но молодые люди, меня близко знавшие, даже благодарили за этот скандал, который вышел как-то сам собою.

В это время я писал мои эпизоды Крымской войны. Три картины были уже написаны в Париже, но Ахенбах их забраковал, и я принялся снова за эту тяжкую работу с энергией. А как меня ругал подчас отец Андрей, называл азиатом, казаком, свечедом. Но я терпел, ибо сознавал его силу и правоту советов. Часто я с ним спорил о превосходстве французской школы. И он отдавал ей преимущество. Тройон, Мейссонье, Коро, Руссо, Добиньи, Энгр, Декан и прочие ставились им высоко как натуралисты и силачи. Брат же его Освальд обожал Коро, Руссо и Тройона. Для него это были просветители пейзажа!

Бесила меня тоже легендарная сторона направления германской школы — гномы, видения, рыцарство, тонкогрудые феи вроде Туснельды Пилоти — всё это была лазейка для какого-то непостижимого умствования. А в

конце концов это была ужасная каша и безнатурщина, и всё это прикрывалось поэзией, преданием старины. Теперь это послабее, но всё-таки немец без гнома не живёт.

В 1859 году я жил то в Париже, то в Дюссельдорфе, но более в последнем. Причиной тому была любовь к моей будущей жене, и я скоро сделался женихом. Осенью поехал к ней в Веве, в Швейцарию. Конечно, ничего не делал, сидел часами на террасе отеля «Bellevue»*, изучал лунные отражения в озере, а главное — вздыхал и любовался моею Надеждою Павловною. В Висбадене я обвенчался⁴⁰ и приехал на житьё в Дюссельдорф. Милловидность моей жены и образование, конечно, увлекли всех моих добрых знакомых. Госпожа Освальд Ахенбах её полюбила душевно, и даже гордячка госпожа Андрей, несмотря на свою глупость, тоже её ласкала. Но не долго я был счастлив! На балу-маскараде Надежда Павловна простудилась, захворала воспалением лёгких, которое и свело её в могилу через 5 лет.

1860

Грустно было мне расставаться с моею обожаемой женою. Жеребцовы повезли её в Ниццу на зиму, а я, закончив мои картины, повёз их в Петербург — 6 картин царских с громадным количеством этюдов и других мелких картин, пробыв за границей почти 7 лет пенсионером.



П. В. ВЕРЕЩАГИН. Портрет Н. П. Боголюбовой, жены А. П. Боголюбова. Начало 1860-х гг. Масло. СРМ

* «Прекрасная жизнь» (франц.).

Отечество

Снова петербуржец

И вот я опять в России, что-то будет???

Так как багажа было много, то я прихватил с яхты матросика для помощи, ибо скерб мой и посольский ехал на трёх ломовиках, за которыми я и побрёл сперва в министерство, в здание Главного штаба, а потом уже направился с пожитками в Академию художеств.

Вот и храм нашего русского искусства передо мной. Отсюда я вышел учеником, чтобы не быть теперь там прохвостом-художником. Разные, сему подобные мысли меня обуревали. Я отвык даже от русского дворника, что стоял у ворот по 4-й линии, и робко обратился с вопросом: «А что, Ф. Ф. Львов дома? Ведь он здесь живёт?» — «Да, а тебе что надо?» — «Да я пенсионер, приехал из-за границы, надо свалить вещи куда-нибудь». — «Да разве здесь биржа какая, ведь уже 10 часов, погоди до завтра, я не пушу». Тут я вспомнил, что мы в России и что надо быть посмелее, и гаркнул: «Да ты что, растак твою мать, тут рассуждаешь, твоё дело сказать, дома ли конференц-секретарь, и ничего более. Говори!». Мгновенно шапка его уже была в лапах, и он отвечал: «Да вы, вашество, давно бы мне так сказали, я бы и ответил. Пожалуйста, первая дверь налево». Львова дома не было, я побрёл к полицмейстеру. Это был старый, добрый, хотя и пьяный, капитан-лейтенант Набатов, бывший корпусный офицер. Он меня сейчас же принял, вещи счётём свалили в углублении вторых ворот, и, наконец, я получил свободу действий.

Не евши с 2-х часов ничего, я, слава Богу, вспомнил, что тут есть «Золотой якорь», трактир для художников, где часто пьяно проводилось моё вторичное воспитание и где когда-то до положения риз я напился, получив Первую золотую медаль. И туда я опять входил с трепетом. Звуки того же органа гудели в дальней столовой. Дым от табачища стоял пеленой. В буфете за прилавком стоял тот же Евсей, подавая гостям водку. Воняло, конечно, как всегда, луком, редькой, жиром, но всё это было опять так чудно, дивно, и я с трепетом вошёл в столовую, где за столами сидели всякие разночинцы. Гляжу вокруг себя, вижу знакомых мне. Кажется, только что вчера я здесь был, но нет ни одного лица, на котором можно было бы остановиться. И я, поужинав грустно, пошёл по набережной Невы и в гостинице на Малой Морской завалился спать.

Наутро, конечно, первый мой визит был к Львову и вице-президенту кн. Гагарину. Оба они с радостью меня встретили, и сейчас же было решено, что я могу выставить мои все картины, этюды, рисунки, эскизы в залах Академии.

Работы было много, и я с утра до вечера устанавливал свои произведения, и через неделю выставка моя была открыта⁴¹. Стояло 7 царских картин большого размера: «Синопский бой», «Пароход „Владимир“». Взятие турецкого парохода „Перваз-Бахри“, «Погром крепости Исакчи», «Пароход „Колхида“ при Николаевском укреплении», «Бой фрегата «Флора» с двумя турецкими кораблями» — вид дневной и ночной, «Вид Пицунды». Дальше стояли: «Амстердамская ярмарка. Кермес», «Вход рыбаков в Сен Валлерн. Бурный вид», три картины Константинополя, а потом штук 200 этюдов да штук 250 рисунков с натуры.

Совет Академии, состоявший из моих бывших учителей-профессоров, обошёл внимательно труды мои, пошёл в конференц-зал, и оттуда кн. Г. Г. Гагарин вынес мне единогласный приговор на звание профессора!⁴² Все меня поздравляли. Государь император потребовал картины во дворец. Взял, кроме заказа, картину «Кермес», велел поставить в Эрмитаже, наградил меня орденом св. Владимира, заплатив щедро за картины. Но я подумал, что пройдут у меня деньги прахом, а ведь я женат и не богат, околею, так надо обеспечить жену, а потому просил, чтоб мне выдали на руки только 15 тысяч рублей, а за остальную сумму выдавали бы пожизненную пенсию в 1000 рублей, распространяя это на жену. Государь и тут явился для меня милостивым. Да, кроме того, приказал мне писать в картинах военную морскую историю всех славных действий царя Петра I⁴³.

Выставка моя посещалась бойко и стояла целый месяц. Тут меня узнали разом, и я составил ею себе имя, которым честно живу и теперь⁴⁴. Известный тогда русской широкой натурой Василий Александрович Кокорев, имея в Москве галерею, разом купил у меня этюдов всех стран штук 50. Да потом и другая часть тоже бойко покупалась⁴⁵.

1861

Месяца через два я уже снова был петербуржец. Старые товарищи мои, моряки, меня душевно приняли, а милый сослуживец мой по «Камчатке» А. С. Горковенко встретил меня стихами:

Я видел Рим — величия погост!
Венецию в её золотой порфире,—
Но Поцелуев мост
Милее мне, чем Понте деи Соспирел!

Я поселился в Академии. Августейший президент наш В. Кн. Мария Николаевна предложила мне безвозмездно брать учеников Академии — пейзажистов на выучку. Молодёжь стала ко мне ходить⁴⁶. Я им проводил мои европейские взгляды на искусство, рекомендуя писать поболее этюдов с натуры и не набросками, как у нас начинается летняя работа художников, а окончательно и сознательно. Из всех молодых людей я встретил талантливого одного только И. И. Шишкина и потом, через два года, Орловского. Остальное всё было очень посредственно и тупо. Был ещё Дюккер, но тот скоро сделался пенсионером, и я его уже знал позже, в Дюссельдорфе, где он поселился совсем, составя себе почтенное имя.

Не видел я никогда Москвы. Я туда поехал⁴⁷ на свидание с моим родным братом и другом Н. П. Боголюбовым, тогда рязанским помещиком. Радостна была моя встреча с ним после 6 с половиной лет разлуки. Наговорившись досыта, мы пошли бродить по Белокаменной. Не думал я никогда, чтоб этот православный город так на меня сильно подействовал! Щетинистый Кремль с его башнями, Василий Блаженный, соборы скученные, всех возможных стилей и архитектур, Замоскворечье — всё это было так чудно, так оригинально! Здесь нет ничего своего, если хотите, — всё краденное. Но есть одно — это гений усвоить взятое и воспроизвести такие прелести! К сожалению, наша русская архитектура не имела более таких мастеров, какие были. Стали работать в этом духе и направлении, но до сих пор были только счастливые попытки. Россия ждёт, как она дождалась Пушкина и Лермонтова и в живописи Александра Иванова, гениального зодчего, который двинул бы снова эту прелесть и создал бы настоящий русский стиль! Но не петухов и коньков и не полотенчатое кружево на зданиях с пёстрыми красками нам нужно, которыми так восхищается В. В. Стасов.

По делам картинным надо было отправиться к Кузьме Солдатёнкову, московскому меценату. Он первый подошёл ко мне и предложил покровительство. Надо было быть вежливым, да, пожалуй, и искательным, ибо я только что начинал жить своим трудом. На Мясницкой стоял его барский дом, хотя мне показалось странным, как у такого богача в палисаде стоит лавочка, это уже как-то по-купечески! Встретил меня его холоп-художник, проживавший у него на хлебах и побегушках, Раев. Я знал его в Риме за бездарность. Он был опять с бородой, хотя мы её хоронили когда-то в Риме в пьяной процессии на Monte Mario. «Подождите, — говорит, — он сейчас придёт». И вот я в полуприхожей присел со старым знакомым — вспоминали Рим, наконец, всё выговорили, что следует, а Солдатёнкува всё нет. Прошло мину 20. «Да не лучше ли зайти в другое время?» — «Нет, погодите». И, наконец, всего через полчаса, вижу, идёт, вольно болтая руками, с какими-то двумя кафтанниками купеческого богатого пошиба, сам хозяин.

Он даже не кивнул на мой поклон, а до крыльца проводил дельцов и потом строго подошёл ко мне, даже не подав руки, и сказал: «А вы «Амстердам» продали, я читал в газетах, — ну так мне с вами нечего делать, прощайте-с». — «Да позвольте, Кузьма Терентьевич, ведь вы помните условие. Его Величество мне сделали честь поместить мою картину в Эрмитаж, ведь это было оговорено». — «Знать ничего не хочу — вы не сдержали слово...» Тут я прервал его речь, кровь хлынула мне в голову, и я сказал: «Не я же к вам навязывался, а вы подошли ко мне первый. Теперь знайте, что я, во-первых, дворянин и художник, обращения такого с собой не терплю, сожалею, что я замарал свои подошвы вашей обителью. Вы хам, и ничего более». И мы повернулись спинами. В передней бледный Раев говорит мне: «Да как это вы! Ведь он бы с вами сговорился. Зачем погорячились». — «Так и нужно этому прохвосту, чтоб кто-нибудь его вразумил. Прощайте, жалею вас, что вы должны жить под крышей этого скота».

Волга. От Твери до Астрахани

В Москве мы порешили с братом принять приглашение от директора пароходства по Волге «Самолёт» Б. А. Глазенапа, старого флотского знакомого, весной плыть по Волге от Твери до Астрахани для составления путеводителя. Брат взял литературно-описательную часть, а я — иллюстрацию. Выговорили себе при этом право взять с собою своих жён и в половине мая поплыли и даже могли припевать «Вниз по матушке по Волге», ибо путешествие было интересное, а тем более для меня, который и моряком и художником столько прожил за границей, не имея понятия о своём отечестве.

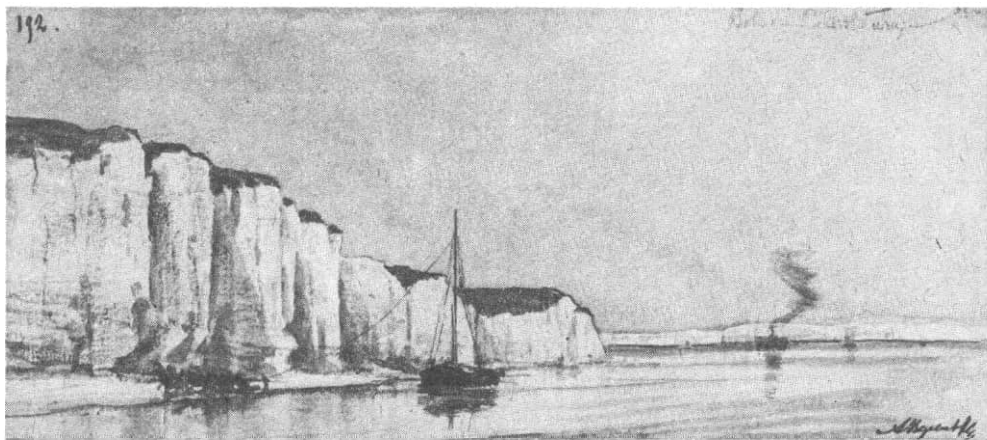
Так как на радостях я болтал всем об этой поездке, то весть дошла до Василия Александровича Кокорева, который пригласил меня к себе на разговоренье в его дом в Эртелевом переулке и тут просил наперво написать ему Нижний Новгород с ярмаркой, Казань и Ярославль, предложив за каждую картину по 3 тысячи рублей. На другой день прислал с артельщиком 3 тысячи задатку на путевые издержки. Ну как не сказать, что это добрый человек! Ну, подумал я, ты не Кузьма-свинья, а широкий человек. Я его никогда не знал, и что ему во мне, кроме разве сознания, что он' поощряет молодого художника. Кокорев был старовер. На разговоренье у него было пропасть чиновного народа. Но что всего было интереснее, что весь двор был накрыт столами, на которых стояло всякое яство для бедняков, и их, как друзей своих, он лично угощал!

Кто хочет знать Волгу 1861 года, тот пусть прочтёт книгу «От Твери до Астрахани» Н. П. Боголюбова⁴⁸ и, право, поучится, ибо составлена она была добросовестно и долго служила лучшим руководством.

Теперь уже нет тех красот на матушке. Бывало, тут плыли по течению, как белые лебеди, расшивы, да мокшаны, да беляны. Шныряли струги да шатики. То, вдруг, встречалась чудовищная коноводка с многими подчалками и завознями. На ней бывало до 100 человек рабочих да до 8 лошадей, чтоб двигать кабестан и тащить чуть ли не целый флот. Кругом были «галдарей» да «сокольники» (нужники), расписанные хватом-маляром по сторонам. Тут был и «Гинарал», и «Девница-душа», и «Ванька с Танькой». На носовых поперечных скрепах расшив и мокшан малевались «глазища» (глаза), чтоб вперед смотрели, а над каждым — где солнце, где луна, чтоб светили им. Бока их, кормы и рубки украшались резьбой характерной. А на высоких мачтах висели вымпелы и на маковке и по вантам блестели жестяные блестяшки. По берегу шли вереницей бурлаки с песнею, то заунывною, то лихою и отчаянною. Тогда и курган Стеньки Разина казался ещё живым, и невольно легенды разбойничьи рисовались при виде этих песчаных обрывов. И Царёв бугор сильно на меня действовал. Да мало ли там дивных воспоминаний удалой русской жизни, заканчивая Каспием, где тоже были шалуны.

Сперва от Твери мы шли на мелких пароходах с пересадкой, а когда пришли в Нижний, то тут плыли на больших пассажирских. В это время самолётский флот паровой был в полной исправности, и кухня была даже хороша, так что останавливались мы где день, где два, а где и по неделе жили. Везде на пристанях встречали товарищей-моряков, которых перетянул к себе Глазенап. Были и командиры из флота. В Нижнем я сделал этюд с ярмарки — от Колокольного базара. Картина эта, как и «Казань», теперь находится у Цесаревича Александра Александровича в Царском Селе, во дворце, где много моих этюдов, купленных впоследствии у Кокорева⁴⁹.

Потом долгий этап был для меня в Казани, где, между прочим, был следующий случай. Было воскресенье, вышел я на этюд рано. Утро стояло чудное. Река Казанка сильно мелела, отчего отражения барок ломались и гнулись, как пряники, следуя контуру дна, а вдали синели стены города с колокольнями и башнями. Солнце заливало всю эту картину чудным тёплым светом, и работалось как-то с удовольствием. Вижу я, что с соседней барки сходит красная рубаха с гармоникой и писарь в форменной одежде. Ко мне они подходят и, стоя сзади, начинают вести следующий разговор. Красная рубаха спрашивает:



А. П. БОГОЛЮБОВ. Столбичи на Волге. 1861. Акварель. СРМ

«Это он что делает?». Подумав, писарь отвечает: «На плант снимает!». — «На плант! Да для чего?» — «Да так себе, видно, надо». — «Да разве за это деньги платят?» — «Видно, что так». И наконец: «Послушай-ка, господин, это ты что такое делаешь? На плант снимаешь?». — «Да,— говорю,— рисую, чтоб после картину сделать». — «Картину,— потом живо,— а что твоя работа стоит таперича?» — «Это сказать трудно, на любителя дадут, пожалуй, рублей 75—100, а за картину 2 и 3 тысячи беру». — «Сто рублей за такое...! Ха-ха-ха, а за картину 3 тысячи. Да что он, так его мать, нешто нас за дураков считает. Пойдём, Федя, ну его к...!» Ну и потекли, подыгрывая Камаринскую. Нет, подумал я, эти ещё до понимания искусства не дожили, хотя другое, то есть музыка, им не чуждо, но она живёт в народе, а когда будет вежде музеи, то и в нас увернут!

Прибыли мы в Саратов. Это мой родной город, тут в Кузнецком уезде родина моего деда А. Н. Радищева. Жил тогда там мой дядя, брат матери, Афанасий Александрович Радищев⁵⁰, старый генерал-лейтенант, когда-то известный в гвардии красавец, губернаторствовавший в Каменец-Подольске, Ковно и Витебске. Теперь я ещё больше саратовец, как Почётный гражданин города⁵¹ за основание там Радищевского музея и Боголюбовской школы художественно-промышленной, но об этом речь после. Повидали мы здесь свою тётку, жену дяди, и, сказав, что заедем, когда поплывём обратно, пустились до Астрахани.

Плывя бесконечными столбичами и проехав Жигулёвские горы, я подумал — ну что такое Рейн, Дунай со своими Железными Воротами и, наконец, Саксонская Швейцария! Какая это мелочь и сколько этакого добра стоит на Волге и никто не кричит о нём. Настанет время, и нас узнают!

А пока перед нами выплывала из громадного разлива Волги, что твоё море, русская Венеция — это Астрахань!

В Астрахани нас встретил наш старый приятель, начальник съёмки Каспийского моря, известный учёный-гидрограф, капитан второго ранга Н. А. Ивашинцов. Он ждал меня, ибо я имел поручение от Гидрографического департамента сделать под его руководством все входы в порты Каспийского моря и нарисовать приметные пункты. Я написал здесь несколько этюдов. Нарисовал ботик Петра Великого и, распростившись с женой и братом, отплыл в Каспий на военном пароходе «Тарки».

На Каспии

Более подлейшего судна я и не видывал. Старый, валкий, слабосильный тихход потащил нас на устье Волги, которая всё становится шире и шире, отходя от Астрахани. В прибрежных камышах и тальнике стоят рыбные ватаги. Это самые ужасные комаринные вертепы. Вечером, когда мы стали на якорь, я съехал на одну из них, и, не смотря на всю лютовость всякой «мушкар», мне довелось видеть чудную картину, которую я никогда не забуду. В это время был вытащен к берегу невод. Скоп рыбы был так велик, что дотаскивать вплотную не бывает возможности, ибо тяжесть прорвёт сеть, а потому вокруг невода стоят люди и держат его крылья повыше воды. Делом этим занимаются преимущественно бабы. Некоторые стоят по горло в воде, а где очень глубоко, то тут подержка идёт с лодок. В середине невода работают рыбаки, они хватают рыбу за хвост и мечут её на берег. Работа кипит, всё кругом плещется и серебрится. Добыча, как непрерывный фонтан, летит по золотистому небу, шлёпаясь на землю. Прибавьте к этому говор, крик, шум, плеск воды и её пыль, в которой всё это тонет, и, право, жаль, что такой прелести не изобразишь! Билас я неоднократно над этой картиной, но всё выходила дрянь. Конечно, поживи я в этом месте недели 2, то натура помогла бы.

Вышли мы на другой день на взморье и остановились у 7-ми футовой банки. Ветер задул с моря свежий, и пришлось выжидать, пока стихнет. Тут же остановились разные баржи, шхуны грузовые. Массы криквы, нырков и других птиц в виде отдыха скучиваются на канатах якорей и сидят совершенно покойно, пока какой-нибудь матрос или мужик не ошарашит их шестом и выловит для усиления похлёбки. Наконец, стихло, и мы побежали по зыби к острову Чечень, что в 100 верстах от Астрахани. Остров этот представляет собой необозримую песчаную отмель. На северной и южной его стороне стоят тоже ватаги рыбные, а зимой тюленьи, и стоит маяк.

Местность эта мне очень понравилась, тем более что в Дербенте и здесь происходили славные действия персидского похода Петра Великого с его быстро построенным флотом, к которому он присоединил массу персидских судов. Почему я и попросил Н. А. Ивашинцова, чтоб меня он тут оставил на 3 дня. Будучи опытен в этих краях, Николай Александрович сам меня свёз к хозяину ватаги и велел беречь и уважать. На другой день, встав рано утром, я присутствовал при возвращении ребят с ловами. Подошли к берегу до 40 лодок, и стали они выгружать красную рыбу — осётры и белуги. Пластуны притащили вёдра,

корзины, бочки и стали пластать рыбу, вынимая прежде икру, потом клей и, наконец, визигу. После чего туша бросалась в море и плыла на волю Божию. «Отчего же вы не солите эту прекрасную рыбу?» — спросил я хозяина. «Эх, барин, да соль-то в 3-е дорожке стоит, чем рыбина, да и куда её девать!» Визигу и клей развешивают гирляндами на кольца, а икру кладут в песчаный погреб.

Интересно мне было знать, что это за народ и как живёт он здесь. И вот рассказ хозяйина. «Вы, батюшка, не сыщик и не шпион, ибо вас рекомендовал г-н Ивашинцов, так вам можно всё сказать. Народ у нас бойкий, резвый, на 120 человек, что здесь живёт, всего 3 паспорта, да я сам четвёртый. Начальства у меня здесь нет, есть, правда, казаков 6 человек на всём острове. Видите, вон на берегу ходит в архалуке да папахе, трубку покуривает да с ребятами в бабки играет. Вот и все его дела. Он у нас на жалованьи, так что ему себе же портить. Я тоже ухо остро держу к моим рабочим, как видели, дверь всегда на запоре ночью, да 3 револьвера при мне. Наезжает раза 2, много 3 в год становой, ну так мы тоже не олухи, как завидим, живо все в море — и тогда какой тут опрос делать и кому? Ну, конечно, «четвёрку», а иногда и двойную 50-тку отдам — и всё хорошо сойдёт. Народ наш, надо сказать, преступный. Да где ему хлеб добыть? В город сунется — в тюрьму засадят да и засудят, а он хоть и согрешил, но ведь иной и покался. Ведь мы и попа зовём иногда, угостим и наградим — без веры не живём и на исповеди ходим здесь же, но не в городе, а татарва или перса муллу вызывает, от нас отстать не хочет. Ну и живём себе. Вот я уже 6-й год держу «Воздвиженскую», а брат мой на той стороне уже 10 лет проживает. Страшало меня как-то один чиновник в Астрахани, ну, говорит, под суд потрафишь. А дело состояло в том, что не дал ему 10 руб., когда бумаги выправлял, а только трёхник».

Хозяин мой был родом костромич. Баба его здоровая, рабочая, принесла ему 4-х ребят! Старший уже был в фельдшерском классе в Астрахани, куда его определил Ивашинцов, за что они его и боготворят. Через 3 дня я оставил Чечень, хозяин наделил меня ведром икры, 3 осетрами и белугой, которые я отдал команде парохода. Денег не хотел взять ни за что, а слегка намекнул: «Ну, водочки бы, это другое дело», — и я ему дал ведро водки из троих парохода, и мы расстались приятелями.

По пути к Баку чертил разные берега. Зашли в Дербент и, наконец, мы подошли к Змеинному острову, притону Стеньки Разина, а затем пристали к бакинской пристани.

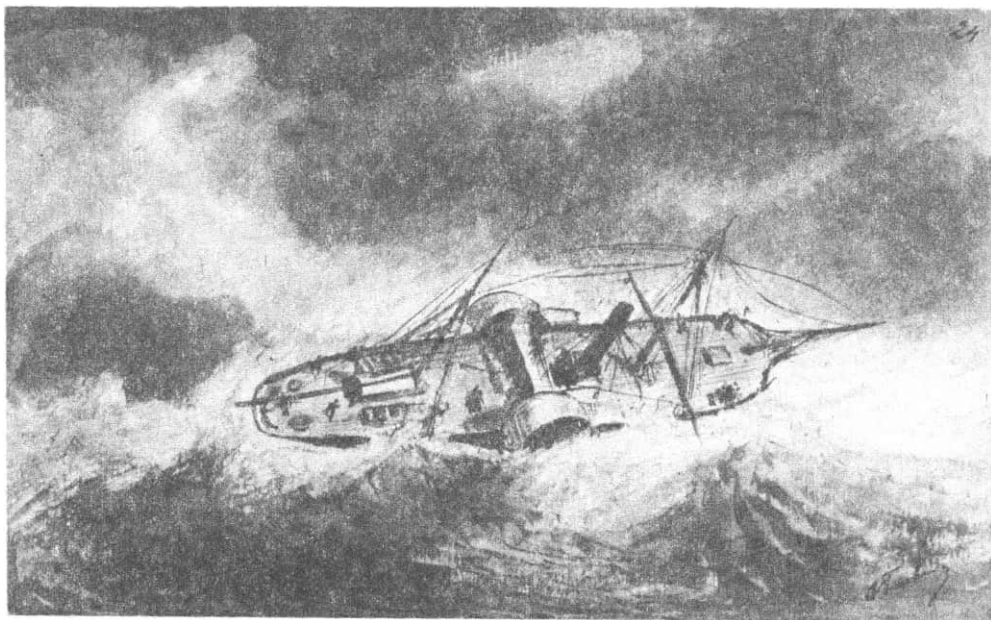
Первый туземец, взобравшийся на «Тарки», был мальчик лет 14-ти по прозвищу «Мордахгышка», так его окрестили матросы. Это был хитрая бестия. Попрошайка, маклак и даже ворюшка, но зададут ему оплеуху, он смеётся, дадут грош, просит другой, ловок он был на всё и служил на побегушках. Говорят, что своей работой кормил мать и 2-х сестёр, а потому и был терпим. Нырлял он, как рыба, когда бросали грош в воду, не хуже смельчаков, которых видел я на острове Мадера или в Неаполе.

Город Баку очень мне понравился. Тут стоит дивная башня древняя на берегу моря и, конечно, легендарная. Говорят, что какая-то красавица царица с нею угораздила в море. Теперь башня шар стоит на суше, ибо уровень воды понизился. Здесь есть красивый базар, хотя и небольшой, мечети, и вообще колорит востока чувствуется вполне. Но что тут всего драгоценнее, это ханский дворец с его изразчатой древнею входною аркой. Плохо его берегут и сильно грабят. Я сам стащил изразец, в чём чистосердечно каюсь. Но ведь он в Радищевском музее, а потому хотя бы и более украсть следовало для такого почтенного дела.

Нефть в то время текла обильно здесь. Поехали мы на Кокоревские заводы и в модельню Будды, где служили индусы перед неугасимым огнём. По-моему, это всё-таки канальи, ибо видя чиновных людей, служба молебн по-своему, упоминали и царское имя, а как другие говорят бывалые, это делают только тогда, когда знают, что получат за это на водку. Тип этих фанатиков замечательный, сухой, высокий, бронзовый. Возвращаясь вечером или ночью домой в Баку, по дороге я видел чудную картину. Было тихо. Пастух согнал своё стадо в кучу и, пробуравив дыры в песке, зажёл природный газ, который 8-ю высокими столбами служил оградой и освещением и охраной баранов.

На 5-й день стояния в Баку Ивашинцов получила донесение, что в 60 милях от Баку и 25 от берега явился вулканический остров. Феномены эти не новы в Каспийском море, и мне довелось его видеть.

Приблизились мы к острову в половине 6-го вечера, тотчас съехали с парохода, запасшись необходимыми инструментами для его осмотра. Вокруг новорождённого плаваала нефть. Сперва островки, а у окраины была сплошная. Погода стояла тихая. Штиль. На поверхности воды макушка острова белелась издали, но когда приблизились, то громадная стая птиц всех величин поднялась и начала крутить в воздухе. Причиною такого обилия был горячий грунт вулканической грязи, который успел затвердеть. Не желая подвергать



А. П. БОГОЛЮБОВ. Пароход «Тарки» при входе в Астробад. 1861. Акварель. СРМ.
Публикуется впервые

людей и себя риску, Ивашинцов записал данные, которые выкладывались по мере надобности, чтоб по ним ходить судам. Температура земли была высокая, кажется, доходила до 60 градусов, окружность извержения была верста 5 сажень, высоты 1/2 сажени. В середине был слышен гул, внутри, когда приложишь ухо. Обмерили его кругом, а также глубину конуса, оказалось, что он был очень крутой и глубина около основания была 45 сажень. Матросы, как народ практичный, сейчас же занялись сбором яиц всех возможных величин, которые благодаря теплоте высиживались птицами, тут были и громадные, и крошечные. А эта тварь Божия, когда увидела грабёж, то сильно гоготала на все лады и спускалась на людей, долбила им башки. Набили её порядком, но вся эта морская птица сильно воняет рыбой и черства, но матросики, едя её, и Бога славят, всё же лучше солонины. Да ещё даровое блюдо. Выйдя из района плавающей нефти, мы её зажгли и с парохода долго любовались этим эффектом горящего моря, которое огненными пятнами окружало остров, над которым кружились стаи птиц.

Отсюда мы направились в Астробадский залив к островам Орлов и Потёмкин. Тут стояла каспийская флотилия под командой капитана 1-го ранга Рудакова, состоявшая из 3-х шхун плохого свойства. Видел я гору острова, горела она при закате солнца розово-огненной пирамидой, хоть от берега было миль на 80. Хребет горы, конечно, не был виден. Такого эффекта я ещё никогда не видел! Но ветер начал крепчать, и «Тарки» валяла страшно. На мою беду, я как-то покачнулся, хотел удержаться рукой за ванты, да и вытянул себе руку, раздробив чашечку плечевой кости. Жара стояла страшная. При этом льду, конечно, нет, да и никакого доктора. По совету боцмана меня раздели и для отвращения воспаления приставили ко мне 2-х матросов, которые только и делали, что поочерёдно выливали на плечо по ведру воды.

Вскочили мы в залив удачно, едва не сели на мель, а то бы попались к туркменам, и тогда не сдобровать — народ этот куда хищный. Пароход встал поперёк волн и едва-едва двигался. Наконец, зашли мы за остров, и тут отлегло.

Капитан-лейтенант Рудаков прислал доктора, тот одобрил лечение, прибинтовал мне руку к туловищу, и я так и ходил всё время, страдая от боли. Местность здесь — сама лихорадина. Острова низкие, все в камыше, и, право, дивисься, что это за станцию выбрали наши заправила, так что Н. А. Ивашинцов, бывавший в ташкентской экспедиции с гр. Петровским, говорил, применяя к Астробадской стоянке, что в одном укреплении в Хиве стоял гарнизон в подлейшей местности, а командир-бурбон писал следующие рапорты по начальству: «Ваше сиятельство, здесь нет ни климату, ни воздуху, а лишь один

пальций зной, люди в большом количестве заболевают, отправляются в «шпиталь», где, на законном основании, умирают». Так дохли и обитатели здешней станции.

Возвратились мы обратно в Астрахань, обогнув восточный берег Каспия. Хоть и неловко было, что левая рука была у меня забинтована, но я всё-таки правой работал.

Впервые в Аблязове

В Астрахани своего брата я не нашёл и поехал прямо в Саратов, в Радищевское имение. Здесь застал мою жену хворую. Дядя, хотя ему тогда было лет 65, был ещё куда молодец (он умер 86). Поехал я осматривать старый барский Радищевский дом. Около него стоит каменная церковь Екатерининской архитектуры. В церкви я зачертил превосходный резной иконостас времени Луи XV. Когда-то вход был туда через галерею из барского дома, а на хорах до сих пор видна ещё раззолоченная барская ложа. Тут-то и родился А. Н. Радищев⁵² и тут проживала его семья. Рассказывали мне мать и дядя, что вот какая легенда была в нашей семье.

Александр Николаевич, осуждённый на смерть и помилованный, был сослан за своё сочинение «Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву» в Сибирь, в Илим. Он посидел в одну ночь, да и пытки Шешковского помогли этому. В Сибирь был отправлен по этапу. Было уже к вечеру, мать и дети первой жены его (а моя мать — Фёкла, сестра Анна и дядя Афанасий родились в Сибири от второй) сели ужинать. Старый лакей вносит блюдо, вдруг его роняет и кричит: «Ах, барин наш!». Все вскочили и, точно, признали барина в серой солдатской шинели, с седою совсем головою, накрест на груди по поясу опоясанного красным шарфом, вязанным женою. Видение исчезло. Бабушка тотчас же обратилась к старшему сыну Николаю и сказала ему: «Поезжай сейчас в Казань, там ты встретишь отца». И точно, сын и отец встретились.

Бывал я после ещё два в Аблязове. Это громадное село в 7 тысяч душ принадлежало Радищеву⁵³. Теперь мне и брату досталось 700 десятин земли, которые мы по условию с покойной тёткой отдали в земство, чтоб в барском доме была школа имени Радищева. Но это не тот дом, о котором я говорил выше, тот неистово разбирался крестьянами на печи. Был он прежде собственностью одного из Радищевых, но всё это было прожито, и семейная святыня принадлежит теперь какому-то кулаку. Очень мы жалели с братом, что не могли его купить. Старая тётка тоже не подумала об этом.

Погостив у дяди и съездив к врачу в Кузнецк, а потом навестив другого в Нижнем, я узнал у последнего, что у меня раздроблена была чашка плечевой кости. Но что это, слава Богу, уже в сращении. Да и впоследствии я никогда не страдал никакой болью.

Четверги в Академии

Из Москвы, пожив немного у дяди жены Н. А. Жеребцова, я вернулся в Петербург в Академию художеств и здесь познакомился со всеми художниками, ибо прежде не было времени.

1862

Настал 1862-й год. В истекший я написал картины большого размера для В. А. Кокорева, «Синоп» для московского купца А. И. Хлудова, две картины — виды Неаполя. Время шло приятно и весело. На Бирже, в Училище рисования от Общества поощрения художников, благодаря инициативе конференц-секретаря Академии Ф. Ф. Львова, устраивались вечера по четвергам. Это было продолжение тех четверговых товарищеских собраний, основанных ещё до отъезда моего за границу. Тут я нашёл всех прежних сподвижников веселья и удали с приращением многих новых хороших парней. Душою общества и заправилкой был здесь наш старый друг Е. И. Мюссар, с которым я плавал ещё на Мадеру с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. Это был до сих пор добрый и честный друг всех художников, юмор и весёлость его не покидали никогда, и много он делал добра, стоя близко к августейшему президенту нашему В. Кн. Марии Николаевне.

На сходах четверговых ужинали без крепких напитков, рисовали, говорили, были хорошие рассказчики вроде Рюля, которого, бывало, не узнаешь, пьян ли он или шутит. Устраивались балаганные представления, дурачились и хохотали вдоволь. Душою общества были Д. В. Григорович, И. А. Монигетти, архитектор. Я тоже очень балаганил, как и художник Каррик. Через год четверги перешли уже в Академию, и тут они достигли своего апогея и рухнули, но об этом скажу после.

Лето я провёл опять в море по поручению Гидрографического департамента, плавая на промерной шхуне «Компас», и опять изготовил виды для атласа входов в порты и шхеры. И так Балтийское море я объехал вокруг, а Финский залив вдоль и поперёк.

Болезнь жены моей не позволила проводить следующую зиму в Петербурге, а потому я отправился с ней в Италию и поселился в Пизе, где в это время жил герой Гарибальди и где ему вынули из ноги пулю, фотография о которой распродавалась в миллион экземпляров. Но что было всего глупее и подлее — это страсть англичанок-барышень к автографам. Отбою не было им у квартиры Гарибальди, а друзья его, мерзавцы-итальяшки, делали из этого прекрасный гешефт, отбирая по 20 ф. за подпись фамилии, которую производили сами, ибо сам герой никому их не давал.

Такой скуки, как в Пизе, едва ли где можно найти. Город совсем мёртвый. Наклонную башню я скоро осмотрел, был даже в темнице Уголино и проскучал всю зиму, которая, как нарочно, была дождливая.



А. П. БОГОЛЮБОВ. Карикатура. 1860-е гг. Тушь, кисть. СРМ. Публикуется впервые

По России в свите Наследника

1863

Поехал, наконец, во Флоренцию, а оттуда добрался до Венеции, где поработал, как говорится, всласть, так что к началу 1863 года снова вернулся в Петербург, где благодаря моему хорошему знакомству по флоту с министром государственных имуществ А. А. Зеленым был рекомендован им графу С. Г. Строганову — попечителю Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича, в свиту которого и был приглашён для путешествия по России, которое длилось целых 6 месяцев. Быть может, мне тут помогло и художество, ибо Государыня императрица Мария Александровна раз велела мне принести к себе мои рисунки по Волге и заказала вид Нижнего Новгорода, который и подарила В. Кн. Сергею Александровичу. Не знаю, кому тут отдать преимущество, но знаю и сознаю, что с этого времени начинаются мои близкие отношения с многими членами августейшей семьи, которыми я жил и живу до сего дня.

Кто хочет близко ознакомиться с путешествием Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича в 1863 году по Волге, Дону, Крыму и России вообще, тот может прочесть книгу, писанную ежедневно с природы профессорами И. К. Бабстом и К. П. Победоносцевым, изданную в немногих экземплярах, составляющих теперь большую редкость. По экземпляру найдут всё-таки в Публичной С.-П. библиотеке и в библиотеке Саратовского музея. Кроме двух вышеупомянутых лиц — Бабста и Победоносцева, свиту Его Высочества составляли: попечитель его граф Сергей Григорьевич Строганов, флигель-адъютант Отто Борисович Рихтер, доктор Михаил Иванович Шестов, секретарь Фёдор Адольфович Оом, профессор Алексей Петрович Боголюбов, граф Николай Сергеевич Строганов и граф Алексей Борисович Перовский.

Распростившись с моею милою женою и сдав её на попечение моего брата и его супруги, возвратившихся в рязанское своё имение, я скоро собрался в путешествие. Но в момент отъезда, который был назначен ровно в 2 часа, на пристани Шлиссельбургского пароходства около старого Воскресенского моста, я вдруг был удивлён появлением ко мне старого моего друга и товарища по флоту двойного Георгиевского кавалера Христофора Петровича Эрдели. Точно он упал ко мне, как снег на голову, и как человек без всякого дела и большой шутник от природы, видя мою торопливость, замешательство, ошалелость, воскрикнул: «Да что ты, Алёшка, переменялся, что ли? Ты со мной не шути! Не посмотри, что ты профессор и тоже, как Айвазовского, выпущу в отставку, дав тебе такую же оплеуху, а не то так и все три, что он съел!».— «Да извини, Христофор, дружище, ехать надо.

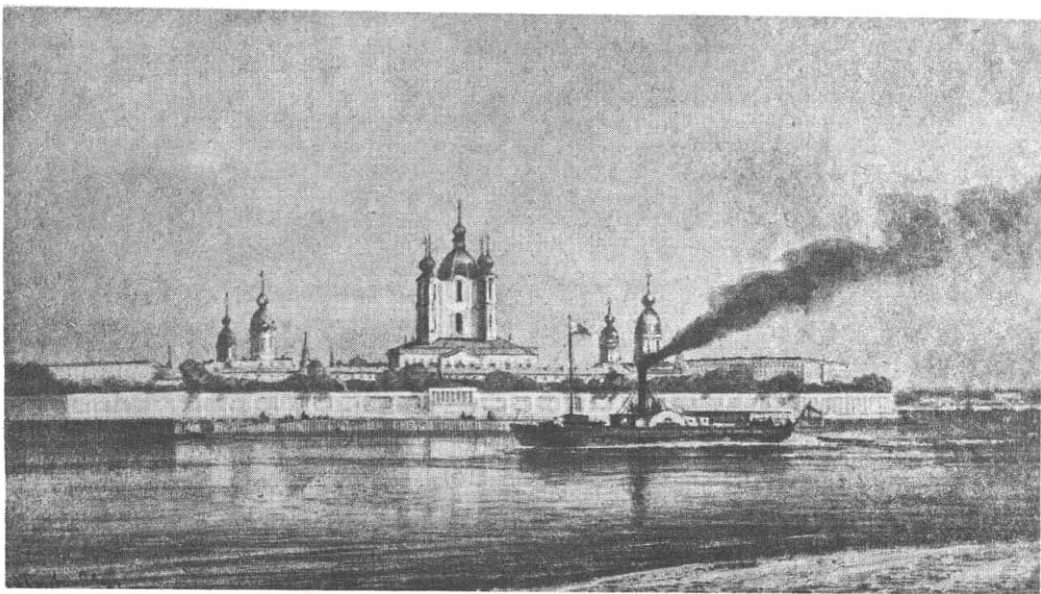
Цесаревич ведь ждать не будет!» — «Ну-ну, ежели так, давай и я поташу что-нибудь». И точно, взвалил себе на спину складную кровать и потащил в карету-рыдван, где и уселся провожать меня до пристани.

Тут я узнал от него, что он был членом таможи в Феодосии, где, как и всегда, мола всякий вздор, потешая приятелей самыми остроумными анекдотами, и что всего замечательнее, он никогда в них не повторялся и таким образом был всегда душою общества в городском клубе. Айвазовский, раз как-то слушая его рассказы, сказал: «Да вы врётё, знаю я вашу храбрость, знаю, как давали вам ордена св. Георгия». Это за живое задело Эрдели. Что он был точно храбр, так все знали. Будучи ещё гардемаринном, получил крест при занятии кавказских берегов и потом первый взойшёл на крепостную стену в Хиве, хотя и не был ранен. Меж нами всегда был хабрецом, хотя и балагурил. И вот он просит очень тихо Айвазовского взять слово назад. Тот, чувствуя свою городскую силу и мощь гражданскую, не хочет, говоря: «Да я шутил, как и вы». «Но тут задета моя честь и ордена, — говорит Христофор. — Не хотите?» — «Не хочу». — «Ещё, в третий раз, прошу, возьмите сказанное назад». Опять: «Не хочу». Ну и дал ему 3 оплеухи. Все всполошились: как можно было заушать такую персону! О дуэли, конечно, и речи не было, а сделали так, что Эрдели с ума сошёл и что его следует удалить. Ну и похерили Христофора ни за что, ни про что.

Я всё-таки, слава Богу, не опоздал, но и не прибыл рано, ибо через 10 минут прибыл Цесаревич и все его окружающие, кроме Бабста и Победоносцева, которых мы встретили в Рыбинске, ибо оба были москвичи. Вскоре мы отвалили от пристани и поплыли вверх по Неве к Шлиссельбургу. Тут я впервые был представлен Его Высочеству графом Строгановым и познакомился с гг. Рихтером, Оомом и Шестовым. Граф Перовский как-то дико на меня смотрел, так что дело обошлось без представления.

Не скажу, чтобы я чувствовал себя сейчас же в моей роли самоуверенно, а потому, отойдя на бак парохода, предался разным размышлениям, неволью меня волновавшим, ибо в это время мы проходили Смольный монастырь, где жила когда-то моя добрая незабвенная мать, где протекло моё отрочество. Далее виднелась Большая Охта налево, а за ней Малая с церковью св. Марии Магдалины, где на кладбище погребены были мои родители, где после погребена была моя жена, мой сын и где хочу и я лечь около них на вечный покой⁵⁴.

Вот прошли мы Русский Манчестер⁵⁵, трубы дымные стали уже исчезать вдали, подошли к трём соснам Петровским, которые я сейчас же зачертил в альбом, а потом добежали и до Шлиссельбурга, где стояло множество барок всякого пошиба и где мы бросили якорь.



А. П. БОГОЛЮБОВ. Отъезд Цесаревича Николая Александровича из Петербурга в путешествие по России 11 июня 1863 г. на пароходе «Фонтанка». 1863—1864. Акаварель

В город на обед я не пошёл, сам не знаю почему. Мне было что-то грустно, да и есть не хотелось вовсе. Цесаревич осматривал здесь ситцевую фабрику Батенева и ещё какую-то и вскоре возвратился назад, вечер был проведён на лодке, катались по озеру. Гребцы пели песни, не то чтоб хорошо, но даже и не сносно, но всё-таки, видимо, старались потешить дорогого гостя.

Наутро я впервые заговорил с Его Высочеством, причём счёл долгом спросить его, что он от меня желает и в чём состоит моя обязанность. «Делайте, что хотите, Алексей Петрович,— сказал он ласково.— Вы настолько опытный художник, что мне нельзя вас учить. Одно буду вас просить, хочу писать часто письма к Государыне императрице, и мне бы очень хотелось, чтоб вы делали виньетки тех местностей по вашему выбору, которые найдёте интересными. И, далее, опять скажу — я буду всем доволен». — «Я имею в виду,— сказал я,— составить вам альбом всего, что будет вами замечено, а потому позвольте вам иногда сделать вопрос, нравится ли это вам или нет, ибо желаю так же написать вам масляными красками несколько этюдов наших городов, а альбомные рисунки буду делать всеми способами — акварелью, пером, углём, тушью и пр. пр.». И после этого я уже не стеснялся и делал всё, что мог, к тому же у меня был хороший запас этюдов моего путешествия по Волге, а потому я заполнял свободное время карикатурами на всех и на вся, где более всего страдала наша свита.

Упомянув о лицах, сопутствовавших Его Высочество при отправлении из Петербурга, я не сказал, что до Рыбинска по озёрам, речкам и каналам назначен был сопровождающий от министерства путей сообщения генерал-майор Лебедев. Человек это был вполне сведущий по своей части (канальской и речной), а потому давал свободно объяснения всему, что встречалось по пути.

Пароход, на котором мы плыли, был исправен, пожалуй, но принадлежал к тихоходам, а потому, когда мы проходили Свирские пороги, то едва подвигался вперёд. Проходя их, мы на ночь бросили якорь у какого-то селения, и вот нас вдруг облепили рыбацкие лодки с подношениями всякого рода рыбы, так что была заварена уха на славу, для всей команды и пассажиров. Придворный повар Семёнов угостил таким пирогом с сигом, который до сих пор у меня в памяти. Ещё в Шлиссельбурге, катаясь по озеру вечером с Цесаревичем, лодка наша буквально была покрыта мошкаркой жирной и тучной, служащей в это время славным кормом для рыбы, а потому сиги, лещи и судаки страшно пожирали падающую на воду тварь.

Вступив в Онежское озеро, нас сильно потрепало, но всё-таки дошли мы благополучно до Петрозаводска. Осмотр города не очень был хитёр. Завод чугунный, когда-то славный, отливал теперь заслонки для печей, а на дворе виднелось множество чугунных пушек и ядер уже никуда негодных, ибо нарезное оружие упразднило эту старую дрянь. Всё тут как будто доживало свои последние дни и не дало преобразований.

Интереснее всех была прогулка на Соломенный остров, где когда-то работал великий преобразователь царь Пётр. Остались здесь церковь да несколько срубов, говорящих о нём. Но живёт здесь и устное предание в стариках и юродивых о могучем человеке. Подвели к Цесаревичу слепого благообразного старца, который, присев на скамью, начал речь о славных богатырях земли русской, о том, что измелъчали люди, но что были витязи и воеводы, бившие шведов под знаменем великокняжеским Александра Невского, и что царь Пётр добил их до изнеможения, полонил земли и создал северное громадное царство. Язык этого красноречивый был точно художественный, речь плавная, с возрастающим напевом, что очень нравилось Великому Князю, ибо он сам прекрасно писал и говорил иногда древнеклассическою русскою речью. После на пути как-то К. П. Победоносцев достал одно из его писем к В. Кн. Александру Александровичу, писанное им с этим пошибом, и надо видеть всех нас, с каким вниманием мы слушали его слово и как оно было красиво и фигурально по-русски писано. Жаль, что такие перлы, свидетельствующие о прекрасном знании и любви русского языка, останутся навсегда, пожалуй, неизвестными, как семейные документы. Но, право, следовало бы их собрать и предать печати, чтоб знал наш народ, что так рано погибший Цесаревич готовился его любить и изучать глубоко древний и современный его язык.

Спустя несколько дней подали всем тройки, и Великий Князь отправился поглядеть на могучий Кивач.

Ехали мы сперва живописными местностями и с наслаждением глядели на бесчисленные острова, покрывающие Конч-озеро, которое с крутизны расстиралось бесконечною далью к горизонту. Потом доехали до речки Вокши и тут бечевником на 3-х лодках доплыли к знаменитому водопаду, воспетому Державиным. Чем ближе к нему подходили, тем бурливее становились воды реки, дно которой каменисто, а потому везде были водоворо-



А. П. БОГОЛЮБОВ. Могила преподобного Кирилла Белозёрского в Кирилло-Белозёрском монастыре. 1863. Смешанная техника

ломались, как прутья, и далеко выбрасывались изуродованные и раздробленные. Правильный сплав производится справа по отлогому помосту в реку, что и составляет торговый край. А тут подоспел закат солнца. Картина сделалась ещё дивнее! До половины Кивач был огненно розовый, а низ его синел и лиловел неизмеримо бездною. Конечно, как и всё замечательное, я сейчас же зачерчивал, а Кивач хотел даже воспроизвести масляной краской, но всё было грязно, мерзко, безжизненно перед этою мощною натурою.

Все фотографии, рисунки, картины, которые я видел в жизни с Ниагары и других водопадов, конечно, дадут слабое понятие о них, но чтобы иметь полное и получить истинное наслаждение от чудес природы, надо их видеть спокойным глазом, отдаваясь совершенно чувству созерцания, а изобразить точно не найдётся ни одного художника!

Добрались мы в экипажах и возках до Кирилло-Белозёрской пустыни, или монастыря. Тут я впервые увидел русскую северную старину. Оглядев храмы, я пошёл на чердак, где мне показали копыя, секиры и кольчуги иноков и других ратных людей. Пропать свитков и писем наполняли какую-то кадку. Лежали и две ржавые пушки, и было несколько пещей. Сжалось моё сердце при виде такого плохого уважения к древностям, и я ничего не нашёл придумать, как дать 5 рублей монаху за секиру с рукоятью, обвитою сыромятным ремнём. И тем обогатил впоследствии академическую коллекцию русских древностей, передав её хранителю г-ну Прохорову, за что от кн. Г. Г. Гагарина получил «Спасибо». Но теперь сожалею, почему грех мой не достался Радищевскому музею.

Наконец, каналы окончились, и мы вступили в Шексню.

Всякий своё хвалит, а не порицает — говорит пословица, а потому появились сейчас же на столе Цесаревича шексинские стерляди. Туземцы говорили, что она первая в России. А почему? Потому, что образованная, пробежала всю Волгу и забежала в Шексню, всему обучилась. И точно, учёная стерлядь кушалась с удовольствием, ибо была новинка, а к концу путешествия — такое было пресыщение.

В Рыбинске поместили нас в разные дома, ибо дом городского головы не мог вместить всех. Заправилкой угощения и всяких осмотров был тут именитый гражданин, само собою разумеется, и почётный хлебный торговец, Михаил Николаевич Журавлёв. У него остановились гг. Бабст и Победоносцев, и мы тут впервые познакомились.

ты. Вдруг с крутой скалы перед нами с высоты бросился олень, пригнув свои рога к спине, и быстро поплыл в другую сторону. Наконец, крутизна берегов и быстрота воды заставили остановить бечевник, и мы сели в экипажи, в которых и доехали до водопада. Тут был устроен обед, но было, правда, не до еды, а до природы, которая всех нас просто подавила и умила.

«Алмазна сыплется гора» — сказал поэт, но всё это слабо. Слово не может передать то, что глаза видят и созерцает ум, глядя на такую чудную природу в её могуществе. Прежде я видел Иматру, видел падение Рейна, но всё это мелочь. Иматра и порог Рейна — ничтожество перед Кивачом, валящимся колоссальными массами среди скал в пропасть, где видна только одна клочущая пыль вод, прорезываемых радугой. Шум, гул потрясающий, а когда пустили путейцы брёвна громадной величины, они

На другой день поехали осматривать канатный завод Журавлёва, его верфь парходную и судовую. Вообще по Волге от Твери до Астрахани имя этого зерновика было многозначаще. Он был человек, конечно, без всякого образования, но русский делец, который светлым умом часто ведёт у нас закон и образованных господ. Угощали крепко! После обеда подвели какого-то казачка, он пел и отплясывал такого трепака, что ноги его мешались в глазах, как спицы колеса при бойкой езде. Был тоже рассказчик, но куда плоше петрозаводского. На другой день зашли в склад канатов, верёвок и парусины Журавлёва. Чёрт дёрнул меня накануне советовать ему устроить в их городе картинную выставку — мысль о передвижении искусства по России ещё и тогда гнездилась в моей голове. Но видя, что он ничего тут не понимает, И. К. Бабст сказал мне на ухо: «Не мчите бисер...», я и замолчал. Но тут он, вероятно, хотел при Цесаревиче блеснуть своим покровительством искусству, а потому, обратясь ко мне, сказал: «А вот, господин профессор, через 2 месяца всё будет здесь чисто; весь товар разойдётся, так и место готово для ваших картин». Я одурел! Поглядел на всех окружающих, вижу лица все улыбающиеся, а потому и сказал, чтоб возбудить общий смех: «А свет-то вы как, пошехонцы, мешками натаскаете?». Все расхохотались, и внимание перешло на блоки и тапи судовые всех величин.

Распростившись с Рыбинском, поплыли мы в Ярославль, а на пути останавливались в Бабаевском монастыре, или, как говорят в простонародье, на Бабайках. Здесь на спокойствии проживал известный архимандрит, когда-то щёголь, фокусник и красавец Брянченинов, и надо отдать ему справедливость, что он и здесь от старого фигуранта своего не отстал. Служил он также манерно, с поднятием в небеса очей своих и аффектацией в голосе. Всё его окружающее монашество было чисто одето, причёсано и даже нафабрено. Служки и послушники — все были красавцы. Орех к ореху! Чудно подобранные. После служения перешли в его покои, вида самого скромного, но везде была видна чистота и опрятность тонкого светского человека. Стол отличался тоже тонкостью и изяществом, да и обхождение его было всё-таки достойное и вполне свойственное его сану, уму и воспитанию. Я не осуждаю его, но зная прошедшее в Сергиевской (под Петербургом) пустыни с светскими барынями, невольно заметил, что он всё-таки тот же. Так как я пишу это для себя, а ежели когда и будет моя рукопись читаться кем-нибудь, то мы уже давно сгниём в земле и с меня ничего не возьмёшь, а кому угодно, то пусть меня и обругают за ересь. Я этого не боюсь, ибо пишу незлобно, а так, слоном весёлого человека, любящего анекдоты.

И вот какой я слышал когда-то на Волге, тоже от весельчака, рассказ. Ездил преосвященный в отпуск месяца на 3 в Симбирск, кажется. Там в Боге живущая помещица занималась дрессировкою попугая и выучила одного серого, весьма способного петь «Херувимскую». Когда приехал Брянченинов, то после хорошего завтрака все подошли к умной птице. Хозяйка тоненьким голоском начала священную песнь, и точно, попка сейчас же ей вторил, а потом самостоятельно пел далее. Удивление было общее! И попугай добродушно просили принять в дар. Но он затруднялся, как доставить его на место. По почте птицу посылать неудобно, а потому решено было, хоть долго, но верно и с хорошим уходом, чтоб доставили на расшиве в хлебном караване, шедшем в Рыбинск мимо Бабайк. Месяца через три вернулся сам Брянченинов в обитель. Его встретили все власти местные и богомольные. После молебна пошли откусать, где увидели попку, который весело барахтался в клетке; подошли к нему. Объяснив прежде гостям способности птицы, архиерей затянул вроде помещицы пискаиво «Херувимскую». Попка только щёлкала да свистел. Пение возобновлялось 3 раза, попка всё молчит да пыжится. Наконец, рискнул хозяин и в 4-й раз, как вдруг бестия птица крикливо закричала: «Тяни, тяни, так твою мать!». Все ужаснулись. Что такое? Общее недоумение. А дело просто было. В 3 месяца пути птица ничего другого не слышала, как только известный пундительный крик хозяина, стоявшего на корме расшивы, своим бурлакам, ну и обмолвилась. Пожалуй, и кстати, ибо неслед неразумную тварь Божью учить серьёзным песнопениям.

Проездом были в Углич. Там хотя и жива русская древность, но плохо она поддерживалась. Говорят, что теперь ею занялись, но только как? Ведь архитекторы наши очень негусто смыслят в археологии, чему пример приведу в городе Костроме. Кострому я знал хорошо, бывал в ней прежде и захватил с собою в вояж прежние свои рисунки Ипатьевского монастыря и древних келий, где проживал царь Михаил Фёдорович. Утром я снова там побывал и вижу, что всё изменилось. Кельи уже не существуют, стены оштукатурены, расписаны шахматно. Крыша новая, с гребешком, а к середине привалено крыльцо, так что 5 человек могут свободно ходить рядом. Спросил я у ключаря: «Кто это тут обезобразил обитель?». А тот с усмешкой отвечает: «Да генерал Рихтер-архитектор! Вот и канцелярия его!». В канцелярию я не пошёл, но обежал строение. Все основные полы были выровнены теперь и заменены блестящим паркетом, а позади дворца был устроен балкон с навесом,

как сказывал монах: «Монархам чтоб чай пить». Балкон, точно, хотя и не существовавший, давал вид на окрестности. Теперь тут стоит громадная фабрика известных любителей художеств и собирателей братьев Третьяковых, а потому тянулись мачты расшив, мокшан, и всё это терялось в утреннем тумане. И точно, чайку тут выпить было бы любезно, но всё-таки это опрохвостило старину до мерзости.

За чаем у Цесаревича я передал мои заметки, показал рисунки и сказал: «Этого уже никогда более не увидите, а завтра вам г-н Рихтер представит свою новую реставрацию вроде Московского Романовского домика, за которую его благодарить, кажется, не приходится».

Поехали с утра в Ипатьевский монастырь. День был чудный. Ваошли, конечно, прежде всего в собор, замечательный своим резным иконостасом XVI века. Тут архимандрит обратился к гр. С. Г. Строганову, говоря, что бедна обитель и что следовало бы позолотить иконостас, но по его громадности дело стоит будет дорого, а средств нет. «Да молитесь Бога, что их никогда не было на это святотатство. Знайте, что эта гармония старого золота, окрашенная веками, составляет его драгоценность и прелесть». Что подумал чернец, не знаю, но, вероятно, счёл графа за безбожника и еретика.

А на дворе уже стоял стол длиннейший, покрытый зелёным сукном, на котором виднелись всякие планы, и тут же за ним стоял архитектор Рихтер. К осмотру чертежей приступили все с каким-то сомнением, и после некоторого времени гр. Строганов спросил: «А где же старые фасады, покажите их нам». Стронтель заметался и сказал робко: «Да их не имеется, ибо пришлось все стены оштукатурить заново. Да и окна сровнять и вместо слюдяных сделать зеркальными. И эту лестницу пристроить тоже». Конечно, этими словами был вылит ушат холодной воды на водчего. При этом он дико на меня посмотрел, и я догадался, что, верно, ключарь сболтнул ему о моём вчерашнем визите. Явились в покоях израццатые печи в старом стиле, но, слава Богу, как-то уцелела здесь от хищничества одна дровня, которую я признал и которая, конечно, была своим колоритом и формой все новые. Стояли банкетки кругом или лавки, ловко покрытые алым бархатом с галуном. Стены, слава Богу, были крашенные московскими модными красками, но не оклеены обоями. Задвижки блестяли ярко, гостиндорской свежестью. Нигде ни железнойковки старой, ни одного древнего замка. Всё это было и, вероятно, пошло в Москву к торговцу Подключникову. На галерее, о которой я уже говорил, точно, был сервирован чай с просфорами. Но к нему как-то не притронулись и вернулись мы все домой, как иудей, распявшие Христа, бня себя в грудь за бессовестную работу архитектора, который загадил уже не одно древнерусское историческое здание.

Зашли к игуменье, в свете кн. Волконской, оглядели работы монашенок, шитьё разное. Очень много усердия видно, но, к сожалению, рисунки такие допотопные, подбор цветов без всякого вкуса, так что поневоле скажешь, дайте нам поболее художественно-промышленных школ, которые сообщат кустарю хорошую форму и рисунок, и мы будем работать, право, не хуже европейцев.

После завтрака меня вызвал лакей к какому-то господину, желающему со мной говорить. Я попросил его к себе в комнату. Это был сам Рихтер. Лицом он был бледен и начал речь так: «Вы оказали мне медвежью услугу, г-н Боголюбов, не поговорив прежде со мною и не узнав мои взгляды на реставрацию теремов. Я сообразовался более с требованиями и величием настоящего дома Романовых, чем с его прошедшим. То, что было, вы сами знаете, далеко не имело вида, где бы можно было принять высочайших особ, а потому я был вынужден быть придерживателем старому, удовлетворяя настоящему». Говорил он ещё много всё на ту же тему, так что мне стало скучно, и, видя моё безмолвие, он даже принял это за робость и возвысил тон, закончив почти громовым упреком в предательстве своего брата. «Теперь позвольте мне вам высказать своё воззрение на дело и почему я не счёл нужным предварительно с вами советоваться и, как говорится, надевать для вас перчатки. Я призван Его Высочеством и его попечителями работать и говорить всегда и про всё сущую правду. Мой долг был показать Великому Князю, что было прежде, без всяких комментариев вашего труда, дабы юный Цесаревич знал, как у нас непочтительно и самовольно обращаются с древностями. По моему мнению, надо было только поддержать её, а не перестраивать. Перебрать балки, полы, ибо они сгнили, и даже опять постелить тот же пол. Здание прежде созидалось, как вы сами знаете, постепенно, а потому кельи имели уступы, это-то и составляло его историю и характер. А вы с вашим взглядом на комфортабельные приёмы высочайших особ всем пожертвовали. Более я ничего не могу сказать. Я вас не знал, вы меня тоже. Ругайте, сколько хотите, мою живопись и труд, дайте же и мне ценить по-моему ваш».

Итак, я нажил себе крупного врага. А мне что до этого! И не такую ругань я получал за свои убеждения.

Пошёл я также в Богоявленский монастырь для предварительного осмотра и был поражён безобразием и поруганием над стариной. Храм этот сгорел, а потому всё рушилось и гнило, а что уцелело после пожара, то было свалено в угол и возвышалось горой. Тут я провёл часа 3 времени, раскапывая все эти богатства. Громадные люстры XVII века, паникадила, образа, обгорелые фонари, древние деревянные скульптуры и пр. и пр. — всё это было покрыто слоем густой пыли. Я отобрал образчики всего, велел отвернуть от дверей полупудовый железный замок от храма и всё это перетащил в дом Цесаревича и сделал выставку.

Надо было видеть внимание и любовь Великого Князя к этой старине. Конечно, он мог бы взять себе весь этот драгоценный хлам, но взял только страусовое яйцо от паникадила да замок вполне художественный с тяжёлым ключом, а остальное на другое утро всё уже было мною разложено в храме для осмотра. Опять с каким вниманием Цесаревич оглядывал стены храма и почерневшую старую живопись, так просто отрадно было смотреть. Его очень удивил рассказ губернатора, что вековые кирпичи, из которых была выстроена окружная гаерея, пошли на постройку частных домов. При входе в усыпальницы родовитых наших князей, в подвале (Хованских и других) мерзость и запущение его тоже волновали. И тут в нём зародилась мысль всеобщего возрождения этого храма, что он и сделал, написав свои впечатления державному отцу, так что через 6 месяцев Святейший Синод приказал исполнить мысль Цесаревича, дабы храм составлял алтарь (то есть святая святых) и новое здание церкви к нему прильнуло. Мало жил дорогой наш Цесаревич, но эта святыня всегда будет говорить, что она обязана ему своим возрождением.

Ездил в село Иваново смотреть мануфактуры и вернулся опять в Кострому, где на пароходной пристани произошёл следующий анекдот, или истинное происшествие. Пароход шумя пускал лишний пар. Всё было готово к отъезду, как вдруг на пристани слышен крик женщины: «Хочу видеть красное солнышко, сынка царского, пустите, пустите!». Баба была сильная и пробилась к сходне. Это была пожилая горожанка, чисто и даже роскошно одетая, с головою, укрытою платком. Доложили О. Б. Рихтеру. Тот к ней подошёл и говорит: «Да ведь мы сейчас уходим, не время делать подношения и говорить лично с Его Высочеством». Но она не внемлет, кричит: «Христа ради, допустите, батюшка». Смелая дошла до Великого Князя. Рихтер объяснил, в чём дело, и её пустили на пароход. Смело подошла к нему женщина, сперва перекрестила его, потом поцеловала и говорит: «Ведь ты женишься скоро, Цесаревич ненаглядный, так вот тебе корбочка, открой её и пусти их в дом твой, и будет он полной чашей, и заживёшь ты счастьем Божиим с твоею избранною. Возьми эти хлеб-соль также да утиральничек». Хотела она поклониться в ноги, Великий Князь её удержал. Поцеловала его ещё раз и, осеня крестом, со слезами на глазах она удалилась, махая платком вслед отошедшему пароходу. Но что было в этой корбочке? Четыре жирных чёрных таракана с провизией сахара и извести на целый год. Таковое поверье русское — тварь эта есть признак домового счастья. Но полотенце расшитое было, точно, верх совершенства работы в этом роде как подражание древнему шитью по полотну.

Кроме события с тараканами при отъезде из Костромы произошёл эпизод со старым моим товарищем по флоту, известным впоследствии генералом Евгением Васильевичем Богдановичем, которого я знал ещё мичманом в Ревеле, адъютантом графа Алексея Сергеевича Строганова в Одессе, встречал в Неаполе и, наконец, встретил на Волге в чине генерал-губернатора. Богданович был назначен от министра внутренних дел в распоряжение Цесаревича и, вероятно, напросился на эту должность, думая таким образом прилепиться к свите. Но граф С. Г. Строганов почему-то очень круто его встретил и на его предложение сказал: «В распоряжении Его Высочества состоят все губернаторы, а потому в вас никакой надобности не имею. Прощайте!». Так несолоно хлебавши пришлось Евгению Васильевичу возвратиться домой.

Кстати, скажу, что это было всегда предеятельный малый. Где он только не произносил речи и всегда неглупо и патристически уснащённые. Встретил я его в Париже впоследствии; жил он здесь с таким треском, что чертям тошно было, работая по устройству Сибирской дороги. Журналы и рекламы били в набат о его государственных трудах. Но дело пошло прахом. Сибиряк сильно поплатился за это бахвадьство. Потом Париж видел его посланцем Каткова. Тут опять речи и франко-русская дружба, подогретая на Наваринском пламени. Но за эту штуку и Катков и Богданович попали в опалу: первый скоро умер, второй опять всплыл. Тут он является ктитором Исаакиевского собора, печатает духовные брошюры к народу и тоже ломает себе шею. Но никогда совсем, ибо про событие в Борках опять печатает — «Тихое слово». А на празднике в Георгиевском монастыре опять Богда-

нович говорит и опять негдуно. В доме у себя этот человек широко гостеприимен. Старых друзей помнит: ежели что может сделать доброе, то сделает, а где может занять деньги, займёт, и так ловко, что спросить об отдаче совестно. Не сказать слово о Богдановиче я не мог, ибо это был всё-таки деятель — ловкий, бойкий, хотя часто и попадавший в промахи, но они его не очень беспокоили, ибо много дураков новых ему шло навстречу с любовью и даже верою в его могучее слово. Последняя его брошюра на 25-летие свадьбы царя и царицы вполне умно и хорошо написана. Он ловко тут сопоставляет царскую семью общей обязанности людей жить так честно и добро, как они прожили 25 лет счастливого супружества. Итак, Богданович не погиб, он был снова взят на службу и, вероятно, мирно и умно окончит дни свои в Совете министерства внутренних дел.

Нижний Новгород встретил нас ярмаркой и тоже угощал на славу.

Наплыв всякого рода подношений Цесаревичу начался с Рыбинска, но в Нижнем Новгороде достиг размеров колоссальных. Так как в числе этого было много вещей так называемых художественных, хотя по истине их совсем не встречалось, на меня была возложена хитрая и скучная обязанность сортировать подносимое, брать его или давать целковый на водку или трешку и отдавать назад вещь. Тут опять нашёл я много маленьких врагов. А мой приятель секретарь Ф. А. Оом просто был раздираем просителями обоего рода. Ну что хотите, чтобы Цесаревич сделал, например, с двумя чижиками в клетке? А нельзя не принять, жертвуют от чистого сердца. И наш Фёдор Адольфович сатанел. Какой-то подполковник отставной привёл сына и принёс его картину «Коза ест капусту в огороде». Но что это была за коза и что за капуста, так, право, смех! И говорит: «Малый у меня, Федя, способный, чтоб Цесаревич определил его в Академию на свой счёт». «Хорошо, — говорю, — постараюсь». Ходит он ко мне по 3 раза в день и нудит ужасно. Конечно, я дело волочил до отъезда, и тогда сказал только, что в Академию ему рано, надо поучиться рисовать прежде. Надо было видеть, как он вскипел, но я, слава Богу, скрылся. А в Казани получил такое ругательное письмо, что долго мы его перечитывали и хототаи до упаду.

Генерал-губернатор Огарёв человек был ловкий и, конечно, рекомендовал своих протеже — снять фотографию с Его Высочества и всех его окружающих. Дело было капитальным. Вот он и просит гр. Строганова дать сеанс в фотографии какой-то француженки м-м Тибо. Граф пообещал и велел мне распорядиться сеансом. Поехал я на ярмарку повидать работу госпожи Тибо, увидел, что плоха она, а потому пошёл посмотреть других фотографов и набрёл на бедное и скромное производство г-на Настюкова. Забрал его снимки и вечером говорю графу, что неслед снимать хлеб у детей, что м-м Тибо сыта и цветуща, а что г. Настюков беден, но работает сам. Граф доложил Цесаревичу, который с удовольствием взялся сказать Огарёву о его намерении сниматься у русского человека, а потому на другой день мы отправились на ярмарку.

По осмотру некоторых её подробностей, прибыли к Настюкову. С хлебом и солью встретили хозяева Цесаревича. Всё это было бедненько, но чисто и радушно. Как на счастье, снимки удалась прекрасно, и групповые и отдельными портретами. И когда дано было право фотографу распространять их в народе, то фортуна Настюкова была сделана. После он стал делать виды по Волге и уже не Николаю Александровичу, а Цесаревичу Александру Александровичу поднёс свои труды. Глубоко чтя память покойного брата, Цесаревич Александр Александрович, ныне благополучно царствующий император, поощрил фотографа и по моему ходатайству дал ему свой вензель на вывеску. Торжество было великое для поднявшегося бедняка. Но тут сказала русская благодарность. В Исаакиевском соборе с архиереем и хором певчих Настюков отслужил благодарственный молебен, пригласив меня, как виновника этого торжества. Конечно, я это передал Их Высочеству, что немало порадовало его. После Настюков был уже важным фотографом в Москве, имел императорский орёл на вывеске, но запил, стал спекулировать и продал свою фирму. Теперь под его именем работает жид, а он влачит свои дни, бросив семью, в кабаках и трактирах.

Не стану описывать всем известные подробности ярмарки, скажу, что раз в утреннюю пору, когда жугом экипажей все ехали туда на чайный и колокольный склады, предводительствующий осмотром Д. С. Шипов повёз нас улицей, где кряду было 3 бардака, из окон которых помятые красавицы, полунагие и растрёпанные, стали махать, изъявляя радость, даже подолгами рубашек, что очень сконфузило Шипова, а в нас возбудило гомерический смех. А полцимейстер по прозвищу г-н Хапа (хапуга и по службе) хотел даже принять карательные меры против девиц, но гр. Строганов серьёзно сказал ему: «Оставьте их, всякий изъявляет свой восторг тем, что у него под рукою». Конечно, осмотрев Кремлёвский собор, его памятные гробницы, посетив театр ярмарочный, страдая от полутораар-

шинных стерлядей и осетров и всякого обильного яства, не пренебрегая даже сибирскими пельменями, отплыли, повывавши всё, даже разгульное Канавино, где, как нарочно, почти каждый день бывали пожары.

Должен сказать, не покидая Нижнего, что при осмотре гробницы кн. Пожарского Его Высочество пожалел вслух о его бедной столь мало художественной обстановке, на что сейчас же откликнулись ярмарочные купцы. Цесаревич со своей стороны сделал тоже вклад тем, что, когда мне довелось сопутствовать его августейшего брата Александра Александровича, то монумент был уже в полной красе благодаря уму и таланту покойного архитектора Дала, сына «Казака Луганского».

Проехали Казань незаметно, хотя и в ней остановились поклониться чудотворному образу. Но здесь мы все, будучи помещены вместе, увидели ясно, что холопы наши уже больно рассупонились в дороге. Их чествовали яствами и вином не хуже нас. Сапоги и платье они уже не только нам, но и себе не чистили, ибо им веезде прислуживали, как и нам, нанятые официанты. В общих столовых они шумно обедали, выпивали иногда до потери сознания, играли в карты, конечно, в азартные игры, пели романсы. Раз Иван Кондратьевич Бабст напал на эту картину семейного счастья и по доброте души не отказал выпить с ними рюмку вина, и вот вся ватага его подхватила и стала качать в потолок как славного барина.

Приехали в Симбирск, город дворянский. Нас поместили в доме Н. Д. Селиверстова, тогда полковника, так несчастно окончившего свои дни в Париже уже генерал-лейтенантом в отставке. Дом его был барский. Видна была даже любовь к искусству у этого барина, но всё-таки от всего воняло скупостью хозяина. Н. Д. Селиверстов попросил меня написать ему картину нашего въезда на главную улицу, что я и сделал так, что после страшного пожара, постигшего Симбирск, картина моя, по словам Селиверстова, стала историческою, изображая прежний город до пожара.

Были всякого рода приёмы дворянства, купечества, татар и пр. и пр. На скачках татар произошёл горестный случай. Два мальчика-скакуна влепились друг в друга на бойких лошадях и, конечно, выпали из седла. Один бедняга был без памяти, а другой охал с кровавою слюною во рту. Бывший тут доктор наш М. И. Шестов уложил больных на носилки и отправил в госпиталь, но на другой день доносил Цесаревичу, что оба мальчика едва ли вытянут. На балу много танцевали, а радушное слово Цесаревича всем его окружающим очаровало дворян и публику так, что на другой день, когда мы уезжали, то вперёд нас отплыл пароход с симбирскими пассажирами, дабы нас встретить в Самаре. Но вот что произошло в пути. Одна девица или дама, не упомню как, зажгла себе платье и в испуге стала бегать по палубе, догадливый кочегар повалил её на палубу и укрыл бараньим тулупом, дабы погасить огонь, но он опалил всю кожу дамы, так что по приезде в Самару мы пошли на её панихиду за Цесаревичем, которого случай этот очень опечалил.

Итак, Симбирск был каким-то несчастным городом, три жертвы веселья погибли на наших глазах.

Проходя Жигулёвские горы, Цесаревич истинно любовался этим разнообразным и грандиозным пейзажем. В разговоре со мной я ему высказал, что вся Саксонская Швейцария, пресловутый Рейн от Бонна до Майнца — всё это жалко перед нашей родной волжской природою, где десятками вёрст тянутся Жигули, Столбичи, и никто не охает, а тихо любит, если есть сознание величия и красоты местностей.

В Самаре встретила нас тропическая жара, такую я только запомнил, когда был африканский ветер. Солнце в тяжёлой, пыльной атмосфере стояло багровым пятном, а ветер поднимал невыносимую пыль так, что после поездок приходилось мыться очень серьёзно, дабы из арабов сделаться снова белокожими.

На 3-й день было представление Цесаревичу всех служащих в городе. И вот видим, стоит рослый чиновник с бородою до пупа, как говорит бессмертный Гоголь, «лопатою». Косо посмотрел на него граф С. Г. Строганов и, когда представление окончилось, спросил его, что он на службе или так себе. «Как же, я директор гимназии здешней». — «Ну так плохой пример даёте своим питомцам вашей фигурой, ибо служащие должны быть без бороды, а вы имеете монументальную». На прощанье при проводах «лопата» уже исчезла, и директор мне показался жалким, печальным и, конечно, на службу во французские сапёры не был бы принят. Эпизод этот заставил меня посмотреться в зеркало, и хотя борода моя не лопатой и не клином, но бородашка всё-таки. Я пошёл к графу Сергею Григорьевичу и говорю ему: «Вы заметили директору о его неприличии по случаю бороды. Скажите мне откровенно, не желаете ли, чтоб я сбрил свою, ибо состою в свите Цесаревича». Расхохотался мой граф. «Да вы разве на службе состоите тоже в гимназии. Академия даёт вам право на полную натуру, а потому и будьте тем, чем вы были. Меня вы не поняли, есть

службы вольные и службы коронные, где дисциплина нужна даже в одежде и лице». Тут я вспомнил николаевское время, когда бакенбарды брились снизу по линии уха до рта, от чего люди мне всегда казались с пластырями на щеках.

Ездили в степь, катались на верблюжьей почте, бойко бегут эти звери, и в первый раз отдавали кумыс в Анарьевском заведении.

При такой же знойной погоде отбыли мы в Саратов. На Волге к вечеру как будто дышалось полегче, но ночи были душные, знойные.

Как странна судьба людей и как они не ведают, что будет после с их помышлениями и деятельностью. По роду я саратовец, ибо эта губерния дала России Радищева, он был отцом моей матери, и наше имяние в Кузнецком уезде, откуда приехала меня навестить жена моего дяди Афанасия Александровича Радищева одна, ибо старик был болен. Не думал я тогда, что после сделаюсь Почётным гражданином этого города и что свяжу навеки Радищевское имя со своим, устроив здесь музей и школу рисования. Тогда я был молод, только женился, и, конечно, не умри у меня жена и сын, я никогда не был бы вправе отдать всё моё имущество Саратову в угоду своего самолюбия и человеческой гордости оставить по себе память, возвышая втоптанное в грязь имя моего деда. А с другой стороны, я всегда думал, что каждый гражданин в моих условиях обязан всё своё имущество отдавать своей Родине, дабы возвысить образовательное дело юношества. Пусть за то поминают меня мои троюродные племянники (других у меня нет) и ругают из матери в мать. Но сотни бедных поволжцев получают хлеб, выучившись в стенах Радищевского музея и его художественно-промышленной школы.

В это время губернатором был здесь князь Щербатов⁵⁶, а полицмейстером М. А. Попов. Последнего мне отрекомендовал мой брат, ибо он по жене был из г. Скопина. Все мы жили у князя в доме и немало страдал от жары, ибо покои наши были невысоки, хотя гостеприимство было отменное. Был тут биллиард. Вот мы и дулись в эту забаву. А так как было очень жарко, то ходили в рубашках и даже без порток. Как вдруг в таком виде, когда К. П. Победоносцев лежал на биллиарде, давая какой-то клапшток, входит Цесаревич и граф Строганов. Но наше начальство было так мило, что приказало в таком виде продолжать забаву, причём послали сравнения и было замечено, что Ф. А. Оом уж очень сухощав, а И. К. Бабст и доктор Шестов уж больно жирны. Проживал здесь тогда в чине почтмейстера г-н Вукотич, старый моряк, у которого фруктовый сад был просто на диво. Таких персиков я просто не едал, ну точь-в-точь царскосельские из царских оранжерей. Наваляли мне этого добра корзину так, что я отдал её в буфет к нашему столу Цесаревича.

Конечно, и здесь были обеды, балы, но не произошло ничего особенного, и мы поплыли к Царицыну, а потом Столбичами направились на Астрахань. К вечеру пароход бросил якорь, и Цесаревич ездил охотиться, пошёл он с проводником татаринком и О. Б. Рихтером, других любителей не оказалось. Отто Борисович устал и просил Его Высочество вернуться. Тот сказал: «Ступайте домой, я вернусь за вами». Но проходит полчаса, час, наконец, полтора — Цесаревича нет. Все мы всполошились, а ночь уже шла, и ночь жёлтая, южная. Граф Строганов очень беспокоился. Наконец, посланные матросы его разыскали. Он сбился с пути и ушёл далеко влево. Надо было видеть старого графа, как вдруг его лицо просияло. Из сумрачного он стал весёлым и, когда Великий Князь взшёл на палубу, тихо сказал ему: «А вы обо мне не думали, когда стало темнеть?». И оба расхохотались. Такова была любовь воспитателя к своему питомцу. Разум и сердце руководило всегда Строгановым, а потому Цесаревич, любя его, уважал и ценил высоко.

Под Астраханью посещали мы мимоходом жировые ватаги (жиротопни). Вид их ночью очарователен — это иллюминация дикая, широкая, с густым чёрным дымом, из которого языками блещет красное пламя. Я написал этюд Цесаревичу, и он был им весьма доволен.

Астрахань скоро показалась длинною узкою полоскою на громадном плёсе, вся как бы в щетине от массы торчавших там мачт расшив, мокшан и других судов. Подходя ближе, разглядели мы возвышенность. Это были церкви городского кремля. Нас встретил губернатор Дагой, и мы зажили в его доме. Губернатор и его супруга были люди весьма приличные, даже распевали очень недурно дуэты. Барыня была ловка и красива, что всем очень нравилось. На другой день поехали в собор к обедне, а потом пошли в Адмиралтейство, где в сарае весьма небрежно хранится ял, или 8-ми весельная шляпка, Великого Преобравателя*. Паруса мыши давно уже съели, да и ботик не содержится почтенно.

После завтрака поехали за город на соколиную охоту. Ею распоряжался бывший мой

* Имеется в виду Пётр I.

товарищ по флоту, теперь полковник по министерству внутренних дел Костенко. Парень пройдоха, тот самый, который весной по каким-то протокам перетащил лодку с Волги на Дон по реке Маныч и заявил, что необходимо устроить канал. Слава Богу, его с проектом выгнали, но наградили за враньё чином. Сей-то надувало и надувал, как после мы открыли из рассказов добродушного казака, и Цесаревича на охоте, ибо когда нам раздали соколов и подъехали мы к степи, то заметили массу аистов, которые мирно сидели на своих местах, а по мере приближения вдруг взлетели, тогда пускали сокола, сняв с него забрало, и в голубом небе начиналась курьёзная война. Цапля парировала удары сокола грудью, опрокидываясь в воздухе на спину, и лапами отстраняла злодея, который снова взвизывался над ней и опять, как стрела, падал на свою жертву. Таких боёв было много потому, что цапли взлетали беспрерывно, а, между прочим, вот как это было устроено. Вырыли ямы, посадили на верёвку цаплю. А в яму сел калмык, которого вровень с полем засыпали бурьяном, и по мере надобности он резал верёвки и пугал птицу.

Не без фокусов осматривали мы и ловлю осетров. На другой день на речном пароходе поплыли к устьям Волги, на одну из ватаг рыбин купца Сапожникова. С галереи ватаги, устроенной на сваях, глядели на эту забаву. Лодок 20 отплыли и стали якобы закидывать сети, подплывали снова обратно и на плоту, где их выхаживали на шпильях рыбаки, а когда подходила машина, то громадные рыбины были в них, их вытаскивали и тут же колотушками в башки приводили в спокойствие. Скоро осетров было уже великое множество, лов почти равнялся лову озера Генисаретского. Сейчас же их начали пластать, вынули визигу, клей и икру, которую тотчас же взбили, промыли и подали к завтраку. Икра, точно, была богатейшая, так что её просто мы хлебали ложками, а лов тоже был устроен по примеру полковника Костенко, только рыб взяли за жабры и ставили на якоря, а потом и вылавливали. Конечно, спасибо за усердие, лов был блистателен и поучителен, но всё-таки надули.

На другой день ездили осматривать гидравлические работы по исправлению протоков Волги полковником Ланиным. Это тоже было надувательство или просто воровство казны, не столь невинное, как первые два, и, по словам известного нашего гидрографа Н. А. Ивашинова, жившего лет десять в Астрахани и Каспий, то дело не подвинулось ни на шаг, ибо, что сделают, то так плохо, что на другой год в полную воду Волга опять всё сносила.

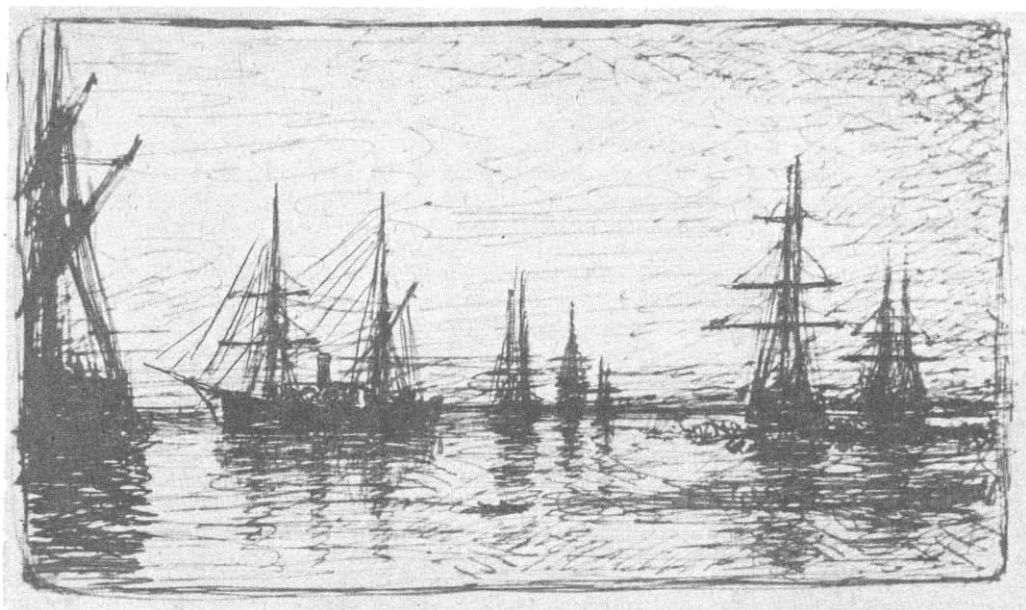
На следующий день ездили за город к князю Тюменю, где у него выстроен хурул (храм буддийский). Тут же показывали стул железный, на котором сожгли князя. А теперь осталась его вдова и сынок. Когда вошли в храм с колоннадою, вроде Казанского петербургского собора, началось служение. На полу в центре церкви сидели и стояли музыканты с раковинами, дудками всяких величин и, наконец, виднелись 4 громадные трубы, которые держали на плечах по 4 человека. Завизжала первая дудка, к ней пристали раковины, потом ещё другие, третьи и, наконец, загудели трубы «укурь-буре»! Всё это шло крещендо до степени страшного оглушения и стало смолкать. Волна этих звуков подымалась и опускалась раза три. Наконец, вошли ламы, что-то бормотали, слышны были слова про нашего Императора и Цесаревича, после чего подали кругленькие конфетки в чашке и служение кончилось. Вышли мы как дураки на воздух от этого грохота, хорошо, что подали сейчас же завтрак подкрепить силы.

Смотрели также скачку калмыцкую, лов лошадей и дивились удали, как они ловят лошадей, накидывая ей на лету аркан на шею. Смотрели и кибитки калмыцкие и, что всего курьёзнее, познали, как легко и приятно молится этот народ. Он попросту ложится спать, а на верхушку кибитки втыкает вертушку шестикрылую, на которой написано 12 молитв, и смотря сколько раз ветер повернёт её крылья, то столько раз он прочёл их. Другой способ ещё проще, но драгоценнее. Около храма стоит громадный цилиндр, весь исписанный тоже священными изречениями. За 5 копеек ламы (священники) дозволяют его повернуть на шестерне хоть 100 раз. И опять вертящий — помолился! Калмычки тоже лихие наездницы, как и казачки, и они гонялись друг перед другом, получая из рук Цесаревича разные подарки, что их очень радовало.

Ездили на виноградники и смотрели на то место, где бьёт нефть и идёт газ нефтяной. Но это не Филадельфия, пусть его пропадает!

На другой день мы перебрались на пароход, где обедали, а вечером пустились в обратный путь. Отъезд был просто феерический. Все расшивы расцвелились мириадами фонарей. По берегу горели бочки с жиром, и ракеты пестрили тёмную лазурь неба.

Прибыв в Царицын, Цесаревич пошёл, как всегда, в церковь, а потом зашёл в городское думское здание, где хранится трех (шапка) и палка Петра Великого, столь многократно гулявшая по спинам неисполнителей его наказов. Оно, конечно, не по времени, но, право, следовало бы и теперь приложить к наказанию сонмы воровских дел, к сожалению, практикующихся на Руси. По железной дороге доехали до Калача, где у пристани мутного



А. П. БОГОЛЮБОВ. Марина. Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые

Дона стоял уже пароход, на котором нас встретил заслуженный и почтенный воин, атаман казачьих войск, генерал Граббе.

Прибыв в Елизаветинскую станицу, я вычертил славную сцену — это ловля рыбы ночью порою при факелах и лучинах.

Я не говорю ни о Ростове-на-Дону, ни о Нахичевани, армянском царстве. Как и везде, был здесь обед, где довелось встретить Нестора Кукольника и, конечно, пьяного, ибо иначе он не был бы в своём виде.

Распровавшись с добрыми знакомыми казаками и почтенным атаманом, мы вошли в Азовское море и доплыли до Таганрога. Поместились в доме госпожи Алфераки, вполне роскошном и благоустроенном, напоминающем своею обстановкой Париж. Госпожа Алфераки жила здесь со своими детьми. Её примечательностью считалась роскошная галерея картин, где были и Тройон, и Руссо, и Марилла, Гюден, Верне и пр. и пр. мастера 1830-х годов Франции. Везде ковры и мрамор. Золото не купеческое, но полное вкуса и стиля комнат. Рояли Этара и Пленеля. Тропические растения, журналы, книги настольные и библиотека. Всё это служило подспорьем внимательной хозяйке для комфорта её царственного гостя. Дом императора Александра I, где, по словам поэта, он «царствовал в дороге и умер в Таганроге», жалко содержится и ничего из себя не представляет замечательного, а потому, посмотрев порт, хлебно-отпускную торговлю, сады фруктовые, мы отплыли в Керчь, где нас ждал уже морской пароход.

Город Керчь, конечно, интересен по своей истории и раскопкам, по Митридатову пику, который высится над горой, но вообще грязен, беден и тосклив. Был там музей, видны его остатки после посещения англичан, которые вывезли из него всю начинку, ограбив здание в видах науки. Были на раскопках, где добыты были два-три (и то, я думаю, подложные) лакрмария, статуэтка без головы и какой-то кусок бронзы. Наконец, мы счастливо приехали в Ливадию — царскую резиденцию, где ждали Цесаревича царь и царица.

Ливадия была тогда не то, что теперь. Да и город Ялта значительно переменял свой характер. Государь и Государыня въехали в только что отстроенное архитектором И. А. Монигетти поместье, а потому многое ещё было не доделано и дороги шоссеные не закончены. Надо отдать справедливость, что татаро-турецкий стиль был очень талантливо приложен художником ко всем зданиям. Небольшая церковь византийского пошиба заново была привалена к главному зданию дворца, где вся утварь церковная исполнялась по чертежам профессора архитектуры Гримма, а стены расписал в стиле афонской, старогреческой живописи мастер этого дела, мой товарищ Александр Бейдеман. Время это я считаю самым счастливым по возрождению русской живописи после развратного периода Ни-

колаевской эпохи, где Брюллов, Басин, Бруни, Егоров, Шебуев, Нефф и прочие мерзили стены наших храмов католическими образами. Но по инициативе кн. Г. Г. Гагарина, много лично потрудившегося над изучением греческой, византийской старой живописи, этот вполне характерный и присущий православию пошиб украсил немало храмов и тем дал образцы, как их следует расписывать. Кн. Гагарин создал Бейдемана. Город Париж украсился тоже живописью его в посольской церкви на улице Дарю. А в Баден-Бадене престарелый князь снизу доверху закончил православный храм своею умелою кистью и тем поставил себе славный памятник. Бейдеман умер рано. По себе он оставил альбом эскизов, композиций и этюдов акварелью, который был подарен библиотеке Академии художеств императрицей Марией Александровной, но которым, к сожалению, мало пользуются нынешние богомазы. После Бейдемана явился у нас крупный талант по этой отрасли в лице художника В. М. Васнецова, что работает в Киеве с загибающим чужими руками, то есть васнецовскими, славу и жар профессором Праховым, нахально его эксплуатирующим, как человека бедного и крайне скромного. Но сколько других церквей загажено безвозвратно, начиная с московского храма Спаса!

Жизнь в Ливадии была очень приятна. Дивная природа, все удобства к передвижению, так что мы скоро выехали на экскурсию по берегу, посещая Гурзуф, Массандру, Алупку, Алушту и другие прелестные местечки. Так как в Ливадии кавалерские флигеля ещё не были отстроены, то нас, свиту Цесаревича, поместили в имении Ореанда В. Кн. Константина Николаевича, но обедать и завтракать мы ездили в живописную Ливадию.

Конечно, дворец ореандский был в сто крат красивее и стильнее царского. Архитектор Штакеншнейдер дал ему вид роскошной итальянской виллы. Вид на море открывался со всех террас и балконов, и я его могу сравнить только с роскошью постановки Монте Карло. Всё здесь затейливо — каскады, гроты, а обилие воды даёт чудную растительность.

Алупка — каприз англомана кн. Воронцова, имение ещё роскошнее вышесказанных, но почему-то это здание мне напоминало скорее аббатство, чем загородный барский дом. Впрочем, на вкусы правил нет.

Но самая симпатичная и роскошная местность по пейзажу и положению, хотя и не обширная, по-моему, Гурзуф. Здесь пришлось мне серьёзно поработать, и, глядя на величавый Аю-Даг при лунном свете, я невольно вспоминал об острове Капри с его чудными фаворитами.

Я знаю три корниша в Европе по моим работам: от Ниццы до Генуи, от Мессины до Катаньи и от Байдарских ворот до Алушты. И должен сказать, что крымский берег по своему величию куда выше тех, хотя пространство его в 100 вёрст.

Дивен Бахчисарай ночью! Высокие тополя бросают длинные тени на его громадный двор. Тут же, через стену, помещается древнее кладбище с белыми мавзолеями, кипарисами и тополями. В правой стороне дворца нашли мы знаменитое крыльцо с галереями, где сочился бедный фонтан, столь пышно воспетый гениальным Пушкиным. Так что невольно делается досадно, что видел в натуре далеко не то, что создавало воображение, читая чудную поэзию. Дворец ничего особенного не представляет. Это тупо, аляповато и бессовестно реставрированное здание, где настоящий стиль почти утрачен. Но в общем вы всё-таки находите под обаянием Востока, его неги и прелестей.

Ездили в Введенский монастырь, что высечен в скалах, на который, когда смотришь с долины, думаешь, что это ласточкино гнездо.

Были тоже и в Исофетовой долине и в Чуфут-Кале у караймов, слушали их молитву, отдавая справедливость, с какою стойкостью этот маленький отбросок народности до сих пор верен своим традициям. Через Севастополь, Георгиевский монастырь потянули обратно, в Ливадию. Скуден и безотраден путь от Севастополя до Байдарских ворот. Но тут вдруг глазам представляется неожиданно такая прелесть, что впечатления этого я никогда не забуду. Томительно тащась в гору, вы, наконец, на вершине крутого берега, с которого окидывается жадным взором необъятный горизонт тёмно-синего Чёрного моря, которое упирается в чудную растительность крутого побережья, полного долин, скал и белых маза-нок, разбросанных на необъятном пространстве. Слева гора Ай-Петри тонет в рощах пинусов, блестя розоватою вершиною, а за ней берег на 100 вёрст, тоже теряющийся в густой фиолетовой мгле. Да, я видел картины Генуи, вдов сицилианских, но крымский — это совершенно своеобразный вид, не подлежащий сравнению с прочими. Теперь у Байдарских ворот внизу уже разбит роскошный, хотя молодой сад известного доброго человека, купца Александра Григорьевича Кузнецова. Забили фонтаны, вывезенные из Парижа, и явился роскошный в итальянском стиле дворец, полный художественными произведениями, окружённый виноградниками. А на шоссе стоит прекрасный храм в русском стиле,

созданный тем же владельцем и вполне им обеспеченный. И иногда в тихую погоду на синем море стоит его громадная яхта «Форос», носящая название его имени — последнее слово комфорта и морской науки. На ней-то он катит в Босфор и почти ежегодно посещает все главные порты Средиземного моря, останавливаясь на житьё в Каннах.

Житьё в Ореанде было весёлое. Цесаревич хорошо плавал и вообще был по сложению гибок и ловок. Раз пошли мы купаться, тут прибежал огромный пёс из Ореанды и по своей натуре непременно считал долгом спасти плавающего — нырял под пловца и на своей спине его поддерживал, направляясь к берегу. Скотина эта была неумолима, визжала радостно и прыгала, когда кто выходил на берег и, конечно, лапами от радости царапала тело, оставляя рубцы. После веселья чуть не случилось горе. Подъём в Ореанду тут очень крут и идёт по краю обрыва. Лёгкая коляска, где сидел Великий Князь, всё-таки была широка для узкой тропы, так что вдруг колесо выдавило землю на окраине и экипаж повис над пропастью. Но, слава Богу, всё окончилось смехом, и мы об этом случае порешили не говорить.

Мы постоянно проводили время в дружеских беседах, называя себя «дядиньками». Прозвище это нам во время пути давали постоянно девочки, подносившие цветы и разные нехитрые подарки. С нами в Ореанде жил контр-адмирал Свиты Его Величества* Сколков, безрукий, потерявший её под Альмою. Ему так понравилось наше общее отношение друг к другу, что и он был зачислен в число «дядинек». Раз как-то все сидели у меня в комнате, куда пришёл Цесаревич и граф С. Г. Строганов. Разговор был общий и даже серьёзный, как вдруг, чёрт знает с чего, стоявший под моею постелью бочонок местного вина с шумом выкатился на середину комнаты! Все обратили невольно своё внимание на нечаянное событие, и громкий хохот огласил комнату. Напрасно я уверял, что бочонок не мой, но общественный, присуждено было, что я горький пьяница и что напиваясь по вечерам по-фельдфебельски втихомолку! Происшествие это не осталось только в Ореанде, но перешло и в Ливадийский дворец. Так что после обеда Государь император с улыбкой обратился ко мне, сказав в мою защиту: «А я всё-таки не верю. Бочка, верно, была с красками».

В Ореанде жил тогда генерал-адъютант царя адмирал Богдан Александрович Глазенап с женою. Когда-то я состоял при нём младшим офицером в 1848 году на пароходе «Камчатка». Это был милейший человек, добрый и, как говорится, бывалый. Много рассказывал он интересного про кн. Меншикова, про его управление Морским министерством, вспоминая свою молодость Николаевских времён.

Раз, говорил он, видит император Николай из своего кабинета, что какая-то баба упала на мостках невских и что никто её не подымает. Надев шинель, царь спустился с набережной и направился к лежащей. Два городских, увидев его, побежали вслед, один опередил и сился лабу поставит на ноги, а та орала во всю глотку. Когда подошёл Государь к ней, то баба его узнала и молила, чтоб её не терзали, ибо у ней сломана нога. Подошёл народ. Государь выбрал 6 дюжих ребят, велел выломать из мостков 3 доски и бережно сам посадил больную на импровизированные носилки, и процессия двинулась ко дворцу, где лабу положили на постель, призвали доктора и подали первую помощь.

Другой раз, когда он был дежурным флигель-адъютантом, его призвал Государь и, отдавая письмо, сказал — отдай его по назначению и сейчас привези ответ. Письмо было к В. Кн. Михаилу Павловичу. Поехав во дворец, Глазенап узнал, что Его Высочество на смотре в Литовских казармах. Едет туда. Говорят — уехал к военному министру кн. Чернышёву — поехал к министру — говорят — позавтракал и уехал в Егерский полк — скачет в Егерский — здесь говорят — куда уехал, не знаем, а кажется, поехал на Царскосельский вокзал — едет туда — говорят — не видели здесь, а проежал мимо, верно, к себе домой — поехал во дворец, ему говорят — был здесь, но уехал к Великой Княгине Лейхтенбергской Марии Николаевне — едет туда и видит на Морской, что Великий Князь едет обратно. Гонит за ним, но тот уже подъехал к Зимнему дворцу и взшёл в сени. Догнав, он опротягивает бежит в покои Государя и видит, что оба царственных брата подают друг другу руки. Глазенап низко поклонился и подал письмо Михаилу Павловичу. Тот сомнительно смотрит на Государя, а царь говорит — читай, читай. Пробежав рукопись, Великий Князь смотрит на эпюлеты Глазенапа и говорит: «Да отчего они у тебя не форменные, где ты их купил?» — «У купца Крохоткина в Гостином дворе». — «Ну так знай, что флигель-адъютанту Государя более всех надо держаться форменным образом. Ступай на гауптвахту на 24 часа». Глазенап опять низко поклонился и хотел уходить. «А где ты был всё это

* Александр II.

время, — спросил Государь, — ведь письмо я отдал в 9 часов утра?» Для оправдания Глазенап рассказал весь свой маршрут и всю гоньбу. «И всё не евши?» — «Не евши, Государь!» — «Ну так ты уже и без того наказан. Ваше Высочество, отмените его арест». Через приближённых Михаила Павловича Глазенап узнал, что было в письме. А ничего более: «Брат, твоё дело распекать молодёжь, когда она одета не по форме, взгляни на эпюлеты моего адъютанта и дай ему лёгкую головнойку». Тогда Глазенап только вспомнил, что Государь, нахмурия брови, глядел на его плечи, когда он в 8 часов утра явился на дежурство.

Влияние Крыма на Наследника было великое, и здесь я увидел, что ему прирождена была любовь к прекрасному и что он просвещённо смотрел на богатую природу. Сидя рядом со мной, когда я писал этюд Аю-Дага, он сказал: «Да, я не удивляюсь, что вы, господа художники, способны просидеть часы за работою. Вот я ничего не делаю и не могу оторваться от этих красот».

Другой раз я его видел на берегу около груды камней, где бушевало Чёрное море, разбивая радужную пену своих волн. Как это хорошо и как сильнее чувствуешь волну, когда она сокрушается в этих глыбах. С корабля другое впечатление, но здесь сколько разнообразия и прелести. Я не пишу хвалебные речи по обязанности, что ел хлеб Великого Князя, а говорю то, что убедило меня видеть в Цесаревиче натуру нервную, тонкую, послушную перед красотами мира Божьего. Сожалею всегда, что он так рано угас, не проявив своей души и образованной любви к художеству, покровительствуя родному искусству. Но, слава Богу, заместитель его, наш царь-батюшка Александр Александрович, как бы унаследовал его развитие и делает столько для русского художества, что такого у нас ещё не было высокого покровителя. А что он сделал и как смотрит на художество, скажу тогда, когда наступит пора моего счастливого сближения с ним, которое, конечно, устроил мне Цесаревич Николай Александрович, призвав меня в свою свиту.

Но в один прекрасный день вдруг всё исполошилось. Забегали лакеи, казаки. Толстый камергер Княжевич едва нёс своё круглое брюхо, и даже сам граф Александр Владимирович Адлерберг, всегда невозмутимый, и тот пошёл по направлению к царским службам. А суть была вот в чём. При кухне служил мужик, каких было немало. Дело своё вёл исправно, как вдруг пришёл в Ливадию солдатик и, завидя его, был столь умён, что в разговор не вступил, а пошёл да и сказал жандармскому вахмистру, что-де тут живёт беглый и даже ссыльно-каторжный человек, что был с ним вместе забрит — это точно, он за то ручается, но, ежели он прощён, то просит не преследовать ни его, ни товарища. Конечно, сейчас же было сделано дознание, и оказалось, что он был взят на службу по чужому паспорту.

Случай этот, конечно, был очень неприятен. Говорили о нём шёпотом, и строгости вдруг удесяттерились. Нечего сказать, плохо вообще берегли нашего царя его окружающие. Генерал-адъютант Рылеев, откармливавший породу мосек, хотя и выдавал себя за преданнейшего и бдительнейшего царского охранителя, был совсем безличный колпак. Ведь недаром же говорили, что когда взорвали караул в Зимнем дворце нигилисты⁵⁷, жившие там работниками, начались осмотры и строгости, то на чердаке Зимнего дворца нашли отелившуюся корову. А сколько народу жило вовсе непричастного, так счёт забыли.

Но вот уже октябрь на дворе, надо было Цесаревичу ехать обратно. Начались сборы и распределения, как и с кем кому отправляться. Для облегчения поезда придумали так. Я с К. П. Победоносцевым поехали за день вперёд по указанному маршруту. Был нам куплен для этого тарантас, на облучке которого поместился в качестве слуги поварской помощник Хвастылов. Нагрузив себя всеми благами Крыма, распостившись с Ливадией, поехали мы через Симферополь, Екатеринослав, Харьков, Тулу в Москву. Конечно, по дороге везде были приёмы, балы, обеды, молебны и всякие рауты, но особенно выдающегося ничего не случилось, разве только что тарантас, где сидел И. К. Бабст с грузным доктором Шестовым, переехал в сумерки несчастного мальчика, что не мало всех опечалило в Екатеринославе. Но вот, наконец, и Подольск и Москва! Слава Тебе, Господи, и великое благодарение за благополучный вояж — промолвили мы оба с Константином Петровичем. Для него Москва была колыбелью, а я здесь должен был встретиться с моёю женою после столь долгой разлуки. С этих пор я сделался ещё ближе с К. П. Победоносцевым, ибо долгий путь невольно выказывает натуру человека со всем его добром и недостатками. Я никогда не был скрытным, но напротив, ежели в кого верил, то сейчас же был откровенен, являясь со всеми своими хорошими и дурными привычками.

На пути бывало часто холодно, особенно были жутки утренники, а потому, когда останавливались где-либо на станции, то я сейчас требовал «горячего». Щей, чаю, кофе — но подай! Но какие же согревающие можно найти у нас в России на постоялом дворе! Всё это

меня бесило, а спокойный Константин Петрович только хохотал над моими требованиями. А когда снова катили на тройке, то тихо говорил: «Да неужели вы не можете обуздать себя и взять в толк, что здесь не Франция, не Германия, а бедная некомфортная Русь». И он был прав. Когда я вернулся в Москву, то очень во всё вдумался и получил совсем другой взгляд на Центральную Россию.

Цесаревич, по прибытии в Москву, остановился в Большом Кремлёвском дворце, а я жил у Н. А. Жеребцова, дяди моей жены, где её и встретил радостно. На другой день был приём. Великий Князь говорил со всеми гражданами города и военными представителями. Тут я невольно первый раз после скандальной парижской истории с Васильчиковым встретил его с гофмаршалским жезлом. Видя меня в этой обстановке, он не мог быть невежливым, а потому мы сухо раскланялись, и я тут убедился, что это человек — свинья, ибо, по истине, что я ему сделал? Ровно ничего дурного. Но, по его понятиям, я должен был оставить своих товарищей и перейти на его сторону, что вовсе не бывало в моей натуре, ибо будь хоть он разаристократ, но грубость и презрение к нам никто бы ему не простил. Кислота его физиономии не осталась незамеченною нашей компанией, а потому за вечерним чаем я рассказал моё с ним столкновение Цесаревичу и всем его окружающим и, к удовольствию моему, не нашёл ни одного лица, которое бы взялось его оправдывать. А пылкий Николай Сергеевич Строганов, тот даже счёл нужным, Бог его знает почему, сказать Васильчикову, что хорошо он бежал от русских художников в Париже. Что, конечно, ещё ухудшило наши отношения.

Троице-Сергиева лавра

На другой день утром назначено было ехать к Троице-Сергию. На вокзал я приехал с моею женою, которую и представил Цесаревичу. Он был с нею крайне ласков, да и милость её подкупала хоть кого хотите. Она не была красавица, но столько было тонкого, обворожительного в её глазах и говоре без малейшего кокетства, что редко, кто знал её, не отдавал ей полную справедливость за её ум, милость и кротость. Граф С. Г. Строганов, когда сел со мною в вагон, сейчас же сказал мне с его добродушною усмешкою: «А знаете, Алексей Петрович, как хотите, я вас очень люблю, но вы всё-таки хуже вашей милой жены, с которою я сказал два слова, но прошу вас позволить мне её узнать ещё поближе, чтоб проверить мною сказанное». И точно, в Петербурге Сергей Григорьевич неоднократно бывал у меня и всегда с удовольствием беседовал с Надеждою Павловною.

Звон колоколов, монахи чёрные и в облачении встретили Цесаревича. Стояли обедню, поклонились мошам угодника Сергия и пошли завтракать к архиерею. После чего осматривали сокровища Ризницы. Здесь, глядя на панагию, кажется патриарха Никона, сделанную из агатного камня, глазам моим представился курьёз. По очертанию пятен ясно видно изображение распятия и фигуры, стоящей подле. Я далеко не кошун и над святыней не ругаюсь, отдаю полную оценку достоинству панагии как принятому духовному атрибуту для того, кто её носил с верою. Но дознаться, что это за курьёз, мне непременно хотелось, ибо когда-то в Риме я видел подобную вещь у брикаброка, который объяснил мне, что в агате в особенности часто бывают пятна, удобные для отделки в смысле религии, почему их распиливают, подрисовывают тонко контуры каких-нибудь святых или исторических лиц, сплачивают снова, полируют с обеих сторон и вставляют в глухую оправу, которая уничтожает всякое дознание, что это не дело природы и что этим занимались ещё древние римляне, ибо в женских ожерельях часто встречаются такие курьёзы. Вот почему панагию я поднёс к свету и, тщательно разглядев, отдавая её отцу хранителю, покачав головою, сказал: «Нет, это вздор, это поддельная вещь». Строго посмотрел на меня монах. Ему хотелось сказать что-то, но надо было служить более значительным, чем я, лицам, и он перешёл далее к объяснениям.

После Ризницы пошли в живописную образную мастерскую, где очень художественно производятся всякие образа, небольшие на досках. Здесь душа русского человека могла порадоваться хоть за то, что чувствовалось всякое отсутствие итальянского пошиба, столь замерзшего наши церкви. Жаль только, что отсутствие настоящих старогреческих (афонских) оригиналов сюда не проникло, но всё делается более в старомосковском стиле красками сильными, не имеющими гармонии, с весьма отчётливым старым орнаментом вокруг и на золотых фонах. Отдаривали всех. На мою долю попал образок Преподобного Сергия. Вот он уже у меня 30 лет. Время подействовало усмиряюще — благодатно, и я всегда с особым удовольствием гляжу на него и думаю, а ну кабы какой-нибудь оберпрокурор проникнулся желанием поставить образное дело как следует, сходил бы в Академию художеств, поглядев бы на издание кн. Г. Г. Гагарина, да на альбом Бейдемана, да наказал бы писать образа по этим образцам, и как бы любящие византийскую живопись

православные люди были ему обязаны и славляли бы его в гусях и органах. Но нет, долго ещё России не дожить до такого обер-прокурора! Хотя и говорил я это хорошему человеку К. П. Победоносцеву, но он находил у себя более жгучие вопросы, а на мой не отвечал. После осмотра пошли пить чай, и отец-хранитель тоже тут очутился. Смотрит он на меня как-то глубоко пылливо, и, когда я приблизился к Н. С. Строганову и стал у окна, чернец подошёл ко мне. Помявшись немного, говорит: «А позвольте, господин профессор, спросить у вас уяснения, как это вы панагию нашу, которую все любят и дивятся, обозвали фальшью?». Причём он взглянул на меня ещё пыливее. Слава Богу, что мне пришла мысль сыграть в сомнение. Не вступая в разъяснения процесса подделки агата, сказал ему: «Извините, батюшка, я художник, плохо верующий, дух сомнения во всём во мне постоянно бродит, а потому я и позволил себе выразиться, что это не игра природы, а подделка, но теперь я глубоко убеждаюсь, что ошибся, и слово своё беру назад». «То-то! — сказал с самодовольствием монах. — А то было вы охаяли нашу святыню».

Когда поехали назад, болтливый Строганов стал всем рассказывать, что я чуть не накнулся на дуэль с отцом-хранителем. Все стали расспрашивать, как это было, а потому я заявил, что, точно, выразил сомнение, смотря на панагию, но что монаху принёс извинения в моём невежестве, за что даже получил — «То-то!». Надо было рассказать всё, на основании чего я сомневался и сомневаюсь и что здесь я говорю открыто: реликвию уважаю, но агат искусственный. Конечно, со мною все согласились, и дело кончилось хохотом.

В Москве я распрощался с Цесаревичем, графом Строгановым и всею нашею дружескою свитой. Я, Победоносцев и Бабст остались в белокаменной, а остальные уехали на чугунке в Петербург.

Не ходит горе в одиночку

Возвратясь из вояжа по России, я жил в Академии художеств, где пользовался квартирою как профессор. В это время конференц-секретарь был у нас мой старый приятель Фёдор Фёдорович Львов, человек развитой, ловкий, сам он был недурной акварелист, хотя службу свою начал в гвардейских конных пионерах. Ещё до моего отъезда за границу мы устраивали художественные четверговые сходки, которые за моё 7-ми летнее отсутствие превратились в «пятницы». Организатором этого дела был Ф. Ф. Львов. Он был секретарём школы Общества поощрения художеств, помещавшейся в залах биржевых флигелей, которые на этот день отдавались Обществу художников. Тут выдвигались всякие фокусы, импровизации, лёгкие представления. Всякий вносил, что мог, дабы забавлять публику. Дмитрий Васильевич Григорович, Ипполит Антонович Монигетти, художник Каррик, профессор Сверчков, телеграфист-путеец подполковник Рюль, Штекеншнейдер, барон Миша Клодт, я и много других весельчаков вроде кн. Максудова, А. П. Бегрова и прочих потешали публику. Но главною душою общества всегда был друг покойного герцога Максимилиана Лейхтенбергского Евгений Иванович Мюссер, который до конца жизни своей всегда дружил с художниками и любил их общество.

1864

Живое веселье не мешало мне всё-таки заниматься делом, и я днём усердно работал над альбомом путешествия Наследника Цесаревича, который в марте представил Его Величеству в размере 250 рисунков всех тех местностей, которые мы посещали. Эту капитальную мою работу почти никто не видел, ибо она никогда не была выставлена, а так как я долго живу за границею, то многие русские люди думают, что я никогда не касался России в моих работах⁵⁸. Кроме рисунков я отдал Его Величеству 25 масляных этюдов.

Но я ведь был женат, надо было работать и добывать средства к жизни, а потому я брался за работу, положим, художественную, но не вполне. Как флотский офицер, я знал хорошо компас, а потому, согласно данным мне румбам, делал виды и очерки берегов, входов в узкости шхер, рейдовые входы и выходы. Поручение это мне давалось от Гидрографического департамента Морского министерства, почему я плавал на промерной шхуне Финского залива «Бакал», которую командовал мой товарищ капитан-лейтенант Роман Иванович Баженов, впоследствии директор того же департамента. Работа эта мне была знакома, ибо я прежде её исполнял в Каспийском море под начальством капитана I ранга Ивашинцова, нашего известного гидрографа и тоже моего старого приятеля. Работа, пожалуй, и нехитрая, но тут нужна крайняя точность в обводе линий видимых гор, леса или камней. Осенью я её заканчивал в селе подмосковном Олтуфьево, у дяди моей жены Николая Арсентьевича Жеребцова, и тут впервые понял прелесть русской деревни. На зиму я опять поехал в Петербург, в ту же Академию, куда переехали пятничные собрания, здесь дело шло уже широко, делались в Античной галерее такие художественные балы,

театры и маскарады, что современники их до сих пор ставят, как образец вымысла, вкуса и интереса. Давались еженедельно ужины, хотя скромные, но весьма весёлые. Нас посещали артисты всех родов, актёры и частные любители.

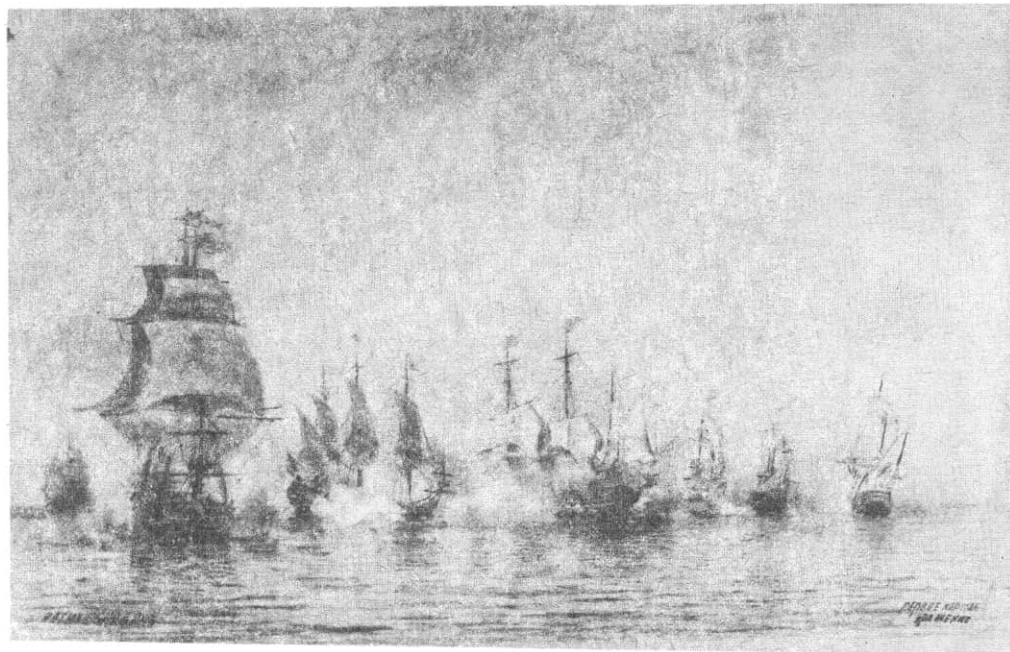
Ещё в ноябре месяце 1864 года в Академии у нас пошли разные подлости на пятницах. Образовалась шайка чёрных личностей, ненавидевших конференц-секретаря Львова и добрейшего вице-президента кн. Г. Г. Гагарина. А потому в ноябрьскую академическую выставку, где хранителем музея и кассиром был архитектор профессор Клагес при помощнике классном надзирателе Черкасове, был сделан следующий подвох. Великая Княгиня Мария Николаевна, наш президент, приказала ежедневно посылать ей рапорты о числе входящих посетителей на выставку, а потому ежедневно Клагес делал свои рапорты, где обозначал тоже число собранных денег за входные билеты. Ф. Ф. Львов, желая наградить прислугу Академии, велел Клагесу удерживать некоторую сумму для поощрения служащих, а Клагес и Черкасов этим воспользовались и написали письмо гр. Адлербергу, министру Двора, что-де конференц-секретарь их обязывает делать воровство и плутни. Через 2 дня они пришли и сказали мне об этом. Я бросился к Львову и Гагарину, но уже было поздно. Адлерберг велит назначить комиссию, чтоб разобрать дело и вместе начать ревизию академическим делам вообще. В комиссию попали из Академии профессора Резанов и Гримм. Первый архионовал и подлец, а другой — покладистый немец, дрожащий за свою шкуру, которые при г-не Ребезове, сыщике от министерства Двора, дело поставили так, что Львов должен был, хотя без всяких обвинений, оставить Академию. В это время уже была предпринята капитальная её перестройка, полы якобы пришли в крайнюю ветхость. На место Львова, конечно, метил и попал Ребезов, а князь Гагарин уехал от этих дряг в годовую отставку, и его место занял директор департамента уделов граф Стенбок, и тут-то началось капитальное воровство.

1865

В это время Цесаревич Николай Александрович жил за границею, сперва в Голландии в Шевенингене, а потом переехал в Ниццу, где здоровье его сильно ухудшалось. То же самое постигло и мою милую и дорогую жену. В сентябре месяце мне Бог дал сына Николая⁵⁹, что ещё более ослабило её натуру, и в ночь с 16-го на 17-е марта 1865 года она отошла в вечность! А в апреле месяце скончался в Ницце мой благодетель и высокий покровитель, Цесаревич Николай Александрович⁶⁰. Всё это вместе взятое сильно отразилось на моём зрении и мозге. Я плакал, как дурак, и окончательно расстроил свои нервы.

В мае месяце на фрегате «Александр Невский» прибыли в Кронштадт бранные останки милейшего Цесаревича. Государь император на пароходе «Стрельна» отбыл с Английской набережной в Кронштадт. Пароходом командовал мой друг и приятель гвардейского экипажа капитан 2-го ранга Леонтий Леонтьевич Эйлер. Не думая ни мало, я взошёл на пароход и смешался в свите Государя. Тут же ехали Великие Князья Владимир Александрович, Наследник Цесаревич и Алексей Александрович с своим воспитателем контр-адмиралом Посьетом. Когда пароход уже выходил из устья Невы, ко мне нахально подошёл генерал Грейг (бывший впоследствии министром финансов) и говорит: «Как вы смели сюда прийти, кто вам дозволил?». Я на него посмотрел, хотя с первого разу опешил, но вдруг оперился и говорю: «Моя преданность покойному Цесаревичу, его дружба ко мне дают мне на это право, а теперь что прикажете делать для вашего удовлетворения — выскочить за борт разве?». — «Ваше место на конвоире пароходе «Нева», а не здесь, ежели бы вы меня спросили, я бы вам указал!» Я, конечно, замолчал и отошёл на бак. Сцену эту заметил мой приятель Константин Николаевич Посьет, знавший меня с корпусной скамьи. Он тихо меня расспросил, в чём дело, отошёл, и вдруг и слышу беготню и топот около меня. Тот же самый Грейг говорит: «Г-н профессор, вас Государь зовёт!». Я снял шляпу и пошёл на ют парохода, где стоял император. Он протянул мне руку, которую я поспешил поцеловать. И самым душевным голосом сказал мне: «Спасибо тебе, Боголюбов, что ты пришёл поклониться праху Цесаревича, который тебя очень любил, спасибо». Конечно, после такого приёма Государем я вдруг сделался из ничтожества уже персоной. Все ласково со мной говорили, начиная с Великих Князей и других царедворцев.

Панихида на фрегате была самая трогательная и величественная. Жаль было глядеть на царя и его августейших детей, рыдавших над гробом Цесаревича. Вернулся я на пароходе обратно с Государем, был, конечно, на Высочайшем завтраке и, выходя с парохода, наткнулся на калифа на час Грейга: «Ну, а вы всё-таки недисциплинированный человек, г-н профессор, хорошо, что дело так окончилось, а то ведь плохо было бы мне и капитану, ежели бы Государь нашёл, что ваше присутствие тут было неуместно». — «Поверьте, господин Грейг, я знал, что делаю, мои отношения к покойному Цесаревичу были самые чи-



А. П. БОГОЛЮБОВ. Первое морское сражение. 1865—1866. Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые

стые и сердечные, что подтвердил при вас же сам Государь, а потому вины за собой я никакой не признаю».

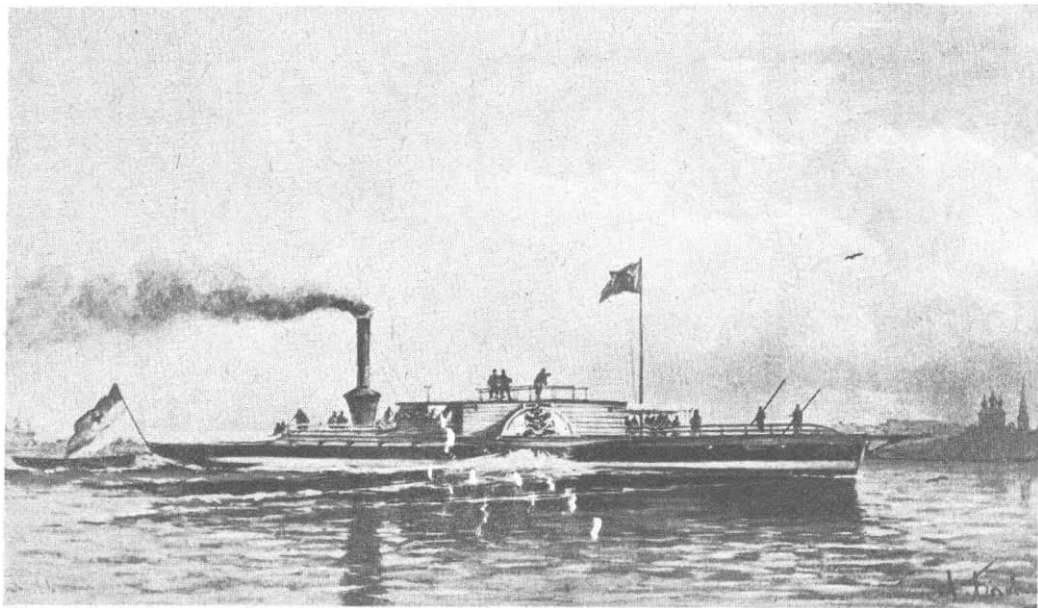
Проводив Цесаревича в вечную жизнь и чувствуя себя вполне расстроенным, я препоручил моего дорогого сынка заботе моего брата и его жены, а сам отправился за границу, ибо зрение моё было далеко не в порядке. Всё передо мною дрожало, смешиваясь в радужные лучи, и, как мне уяснил доктор Юнге, лучше всего мне ехать в Берлин к профессору Греффе, что я и сделал. Греффе был сам болен чахоткою, а потому резиденция его была на берегу Капштадтского озера на высотах Гейдена в Швейцарии. Главное лечение здесь состояло в покое и зелени, окружающей больных, в которой обязательно мы проводили день. При конце моего лечения сделалась на теле какая-то сыпь, почему я отправился в лечебницу Капштадта, а оттуда переехал в Дюссельдорф, где при скромной жизни и труде здоровье моё восстановилось так, что я бойко и с удовольствием написал в зиму картины по заказу Государя: «Гренгамское сражение», «Высадка войск Петра Великого в Аграханском заливе (Каспий)», «Крушение транспортных судов» в том же заливе, «Взятие шведских судов в устье Невы «Астрильд» и «Гедан» под начальством Петра I» и «Петропавловский бой» (1853—1854 годов) в 2-х видах. Камчатские этюды для местности мне сделал ученик мой Боганц, который плавал на одном из наших судов по моей проекции.

1866

Весною я возвратился в Россию, представил мои картины Государю и получил приглашение путешествовать по Волге от графа Перовского, попечителя Цесаревича, В. Кн. Владимира Александровича, а также В. Кн. Алексея Александровича, при котором состоял попечителем Посыет. Сопутствующими Великим Князьям, Цесаревичу были: Победоносцев, Бабст, Боголюбов, Ивашинцов, как знаток Волги и Каспия, доктор Гириш, гр. Перовский-сын, адъютант-поручик Павел Александрович Козлов и кн. Мещерский.

Путешествие наше было очень короткое. Через Москву мы проследовали в Нижний на ярмарку, но так как время было холерное, то гр. Перовский поспешил отъездом в Казань. В Оке была заброшена как-то сеть, и был вытащен осётр с серьгою, прицепленной покойным Цесаревичем. Конечно, его с почтением бросили обратно в воду. Рыба как бы одурела на первых порах, слонялась на поверхности воды, но, вдруг, всплеснула хвостом и — была такова. Самой интересною личностью во время нашего путешествия был флотский капитан

1-го ранга, впоследствии контр-адмирал Ивашинцов. Он делал съёмку Каспийского моря в течение десятка лет, и Волга со всеми её тонкостями, равно как и Каспий, были представлены им в самом живом и интересном рассказе. Ивашинцов владел природным красноречием, его речь была связана, точна и сжата. Серьёзные дела он умел мешать с рассказами про чиновничество, купечество и путейских инженеров, необразованности и невежеству которых в деле он, как учёный офицер, дивился, а также клеймил их за взяточничество и всякое насильственное торжище с судовладельцами. Бывало, толкнёшь рассказчика в бок, когда он уж слишком разгуляется, но он с обычною своею честностью тут же отвечает: «Да ведь надо же, чтоб когда-нибудь их Высочества знали правду, лгать я не могу — назначьте полное следствие, и вы увидите, что я обличаю только половину того, что может быть, в сущности, открыто».



А. П. БОГОЛЮБОВ. Пароход «Сильфида» во время путешествия Цесаревича Александра Александровича по Волге в 1866 г. 1866. Акварель

В гостях у короля Дании

Из Казани через Нижний мы вернулись в Москву. В это время осенью был приезд в Россию датской принцессы Дагмары, нашей будущей императрицы Марии Фёдоровны. Такой погоды в октябре месяце никто не запомнит. Две недели мёртвых штилей царили в Кронштадте и Петербурге, а потому торжество было вполне великолепное. Благодаря моему дорогому приятелю и другу, бывшему секретарю Наследника Цесаревича Николая Александровича Ф. А. Оому, занявшему ту же должность при Цесаревиче, я ей был представлен. Здесь впервые мне пришлось с ней говорить о искусстве и её любви к искусству и древности. Принцесса Дагмара унаследовала любовь к этому от своей матушки королевы датской, которая, как я узнал впоследствии, сама писала очень усердно картины, почему и принцесса Дагмара занималась искусством со своею августейшею родительницею.

1867

В России становилось холодно и темно, а потому, имея работы, я снова вернулся в Дюссельдорф. В 1867 году открывалась Парижская всемирная выставка. Я получил приглашение от Государя Наследника ему сопутствовать, но, к сожалению, захворал снова на кожную болезнь и должен был лечиться в Капштадте. С выставки сюда приехал наш Государь император посетить в Штутгарте свою сестру королеву Ольгу Николаевну. Случайно приехав из Капштадта в Штутгарт повидать моего приятеля контр-адмирала фон Бока, состоявшего при В. Кн. Владимире Александровиче, я на улице встретил Государя,

ехавшего в коляске с королевой. Царь меня узнал и милостиво сделал мне знак рукою, который я принял за «Здравствуй, Боголюбов!». На другой день я пошёл во дворец. Его Величество принял меня весьма милостиво, представил королеве, спросил о здоровье и, узнав, что я еду в Данию к Государю Наследнику Цесаревичу, пригласил к завтраку и отпустил с миром.

Приехав в Копенгаген, я отправился в загородный дворец Их Величеств Беренсдорф. Представился Цесаревичу, который через три дня сказал мне, что король и королева меня приглашают у них гостить. Окружающие Цесаревича были мне все знакомы и приятли. Тут были генерал-адъютант А. Н. Стюрлер, адъютанты Великого Князя В. А. Барятинский, П. А. Козлов, Д. С. Гирш, секретарь Ф. А. Оом, гофмаршал В. В. Зиновьев, фрейлина и гофмейстерина княжны Куракины. Его Величество приказал мне делать для развлечения карикатуры на всех и всё так, что почти ежедневно мой листок циркулировал в Беренсдорфе. Король скоро заметил во мне талант здорово пить, к тому же я очень понравился гофмаршалу его двора гр. Левенскиблюду*, который тоже был не дурак выпить, что аттестовал его пуңцово-наливной нос. У короля, надо отдать справедливость, был прекрасный погреб, особенно имелся там запас наполеоновских вин, ибо каждое датское судно, отправлявшееся в дальнее плавание, обязательно покупало при начале плавания бочку хереса, мирсалы или мадеры, обтаскивало её в 3-х годичном плавании по морям и океанам и сдавало в погреба. В наше время подавалась десертная мадера 1814 года. Как дорогой нектар, разливал Мунд-Шенк по рюмкам гостей, после чего добродушный король говорил ему: «А бутылку поставь». Время в этой резиденции проводилось весьма приятно. Ездили осматривать дворцы и музеи Копенгагена и его окрестностей, знаменитую фарфоровую фабрику и рыбную ловлю. В Клампенбергском парке есть громадное озеро. На нём катались в ботиках или гребли на шлюпках.

Я смело могу сказать, что здесь впервые я заметил в нашем Государе** любовь к искусству и старине. До этого времени я знал только, что он учился рисовать у академика Тихобразова, который скорее был весёлый собеседник, чем толковый профессор, могущий породить в своих учениках ежель не любовь к труду, то, по крайней мере, к искусству. Думаю также, что на Цесаревича имела влияние его юная супруга, которая очень усердно рисовала акварелью, имея достаточную подготовку в рисунке для дамы её высокого положения. С этой поры я начал быть её наставником в искусстве и, конечно, никогда не позволял себе быть учителем на жалованьи, что дало мне право быть гораздо свободнее с нею в моих беседах об искусстве. Отучить её от копотной и аккуратной чистоты в работе я не сумел, ибо это было присуще её натуре, но с удовольствием и без лести скажу, что она овладела колоритом и вкусом к краскам, марьяж которых понимала очень хорошо. Цесаревич же стал сперва покупать античное серебро, стекло, фарфор и незаметно перешёл к мебели, гобеленам и картинам. Впоследствии я мало позволял себе ему указывать на то, что казалось для меня хорошим, но наблюдал только, на чём останавливался его выбор, и к радости увидел, что он и в этой отрасли так же своеобразен и самостоятелен, как во многих его серьёзных государственных делах.

Из Беренсдорфа королевская фамилия переехала в другой загородный замок, но ближе к морю. А нашу свиту поместили в прибрежном Клампенберге. В это же время В. Кн. Ольга Константиновна вышла замуж за греческого короля, который приехал туда же с своею свитою. Их поместили вместе с нами в отеле, и тут-то началась настоящая весёлая жизнь. Во главе грехосов стоял маститый воин за свободу Греции Ходжи-Петроси***. Он никогда не покидал свой костюм. С трубкой и в куртке, расшитой золотом, важно раскачивался, ходя по саду. Народ смотрел на него, как на какое-то чудо. Да, и точно, несмотря на свои 78 лет, он был молод, как юноша, шутаив и весел, жаль только, что плохо говорил на языках, исключая своего и итальянского. Был тут ещё адъютант короля артиллерии капитан Кольконронне****. Это был сын тоже бойца за народную свободу, но только уже не такой славный, как его родитель, а просто был хлыщ и мазурик. Доктор Метокса (прозванный нами «Мне тоска») был тих и грустен, по вечерам уже был пьян и сонлив. Всегда и везде был дико шумен П. А. Козлов. Мы с ним очень сошлись, но он приударил за дочерью трактирного хозяина и чуть не наделал глупостей, втравив меня в одну таинственную прогулку. Беседы наши были всегда живы и полны дружества. Иногда приезжал к нам Цесаревич, мы шли все купаться в море и ныряли, как дельфины.

* Имя может быть не точно.

** Будущем царе Александре III.

*** Имя может быть не точно.

**** Имя может быть не точно.

Как я уже сказал выше, все, кто только были при дворе, изображались мною в карикатурах. Но вот на что я раз наткнулся, и ежели бы не вмешался Его Высочество, то дело было бы вполне неприятное. У наследного принца был адъютант, артиллерии капитан Фон-Пратте*. Человек чопорный, вылизанный и напомаженный. Главной заботой этого господина был тщательный уход за его головной накладкой, пробор которой был поистине артистически выполнен. Но мне пришла фантазия изобразить этот недостаток адъютанта, и я сделал накладку, приподнятую над его головой, что возбудило общий хохот, ибо все знали слабость этого господина к своей персоне. На другой день я получаю от него письмо, где он меня просит прийти в отдалённый угол парка для переговоров. Видя, что тут дело принять может серьёзный оборот, я взяла с собою в карман револьвер, а дабы иметь посредника, просил кн. Барятинского, или, как мы его называли, «Боку», быть поблизости от места объяснения. Когда мы встретились, то вежливо раскланялись, не подавая друг другу руки. «Вы позволили себе меня предать насмешке, я считаю это обидою, и требую от вас удовлетворения». — «Я готов сделать всё, что вам угодно, а потому желаю знать, в чём состоят ваши требования». — «Вы знаете, что я человек военный». — «Да и вас прошу знать, что я тоже человек морской, по званию флотский офицер». — «Мы будем драться». — «Извольте, но только не здесь, ибо я считаю себя гостем Его Величества и состою в свите Цесаревича. Дайте мне время раскланяться с ними, и тогда я к вашим услугам. Но вы должны знать, почему я вас изображал, поверьте, не для своего удовольствия, а по желанию Их Высочества. Вы сами хотели над другими личностями моего альбома, а теперь обижаетесь. Положим, что мне бы следовало спросить вас, желаете ли вы быть представленным в карикатуре, но я этого не сделал, ибо думал, что вы так же равнодушно смотрите на эту забаву, как и прочие. Но ежели вы считаете себя обиженным, то я, как сказал вам прежде, буду с вами драться, только не в Дании, а хоть на шведском берегу». Мы раскланялись и разошлись. Столкновение моё я рассказал Цесаревичу, тот захохотал добродушно и говорит: «Какой вздор! Неужели он так глуп!». Вечером ко мне подошёл наследный принц и сказал: «Завтра вы завтракаете не за гофмаршалским столом, но у меня». Я его поблагодарил. Взойдя к Его Высочеству, я увидел там и адъютанта. Более никого не было из приглашённых. Мы вежливо раскланялись и сели за стол. Налили бокалы шампанского. «За ваше здоровье, г-н капитан и г-н профессор, чокнитесь». Мы чокнулись. «Ну, теперь уже обиды между вами нет, а тем более, что карикатура уже разорвана и более не существует». Тем инцидент и закончился.

Собрались в Россию. Мы поехали сперва в Висбаден, где лечилась принцесса Валенская, а её супруг играл в рулетку и покуривал с кокотками. Наш Цесаревич бывал у него, но никогда не гулял с ним ни по городу, ни по саду. Конечно, все мы тут проигрались, но что было всего курьёзнее, что холопство наше тоже ударилось в игру и тоже дотла продулось. Из Висбадена отбыли в Россию, но так как Государыня Цесаревна была беременна, то должны были прожить в скучнейшем городе Диршау целую неделю, после чего вернулись уже в Петербург.

Праздники Цесаревича

1868

В 1868 году я провожу часть лета у моего брата в г. Горки Могилёвской губернии, где он был директором училища земледелия, и возвращаюсь в Петербург по вызову Его Высочества. Живу в «Александрии» в адъютантском павильоне с кн. Барятинским и Козловым. «Бока», или Барятинский, страстно любил удить и ловить рыбу. Перед нами большой пруд с лодками, наполненный всякой рыбой, а главное щуками, на которых напрягаются все усилия, чтоб их ловить. Иногда забрасывают невод и тащат к берегу такую массу, что невод трещит, и, конечно, всё это обратно, кроме щук, пускается на волю. Государыня Цесаревна иногда работает со мною с натуры. Ездим на волчью охоту и на зайцев с гончими, причём я всегда нахожусь в отсталых, ибо сижу на лошади плохо и держусь, как кот на льду. Но вот заявлен скорый приезд сюда короля и королевы Дании. Готовятся празднества и увеселения. Мне и Козлову препоручается устраивать празднества.

Коттедж «Александрия» не имеет зал, но состоит из небольших комнат. А чтобы дать широкий бал, я придумал к самому парадному крыльцу привалить громадный зал, который выстроили на стропилах, обтянули марселями, фоками и гротами, старыми парусами, которые привезли из Кронштадта. Всё это внутри убрали флагами. По стенам поставили массу тропических растений и цветов, настлали паркет, повесили люстру с мириадами

* Имя может быть не точно.

свеч. В глубине устроили сцену, а в боковых палатках стояли буфеты и столы для ужина. Дело было в августе, ночи становились свежие, а потому по углам в котлах за зеленью горел постоянно спирт, дававший температуру до 15—20 градусов. Без хвастовства скажу, что я провёл целых 10 дней в тяжкой работе с утра до вечера, не ходил даже к столу Цесаревича, а ел тут же под деревьями. В один прекрасный день пришёл на работу ко мне, в то время, как я наскоро закусывал, кн. Романовский, герцог Евгений Максимилианович Лейхтенбергский. Видя, что ем чрезвычайно скромно, говорит камер-лакею: «Принеси шампанского». Принесли и налили, и выпили бутылку. Принесли другую, но я наотрез отказался, сказав, что когда занят делом, то не пью. Он начал меня уговаривать. Тут ко мне подошёл какой-то десятский, я его оставил и побежал к делу. Герцог рассердился и рассказал о моём невежестве В. Кн. Марии Николаевне, которая была всегда ко мне расположена, но тут рассердилась не на шутку и не приглашала меня долгое время к себе и даже не кланялась. Козлов тоже что-то плохо ответил герцогу, когда тот хотел ему давать советы насчёт устраиваемых им военных сцен на пруде с джигитовкой казаков, и на него тоже была опала Её Высочества.

С горячкой Козловым мы, конечно, ругались постоянно, но так как дело общее, то и не обижались и действовали дружно. Кроме павильона и спектакля надо было ещё подумать о балете и народной сцене в виде хоровода, который должен был спуститься в моментально выросшую деревянную с косогора коттеджа к озеру. Надо отдать справедливость, что работать при условиях, которыми обставлял нас Двор, очень легко и приятно. Театральная дирекция по моим рисункам исполнила избы деревни, нарубили деревьев высоких, прислали в костюмах сотню парней и девушек. В их числе были танцовщицы народной русской пляски, которые на платформе озера исполняли её в то время, как на воде начали двигаться кусты зелени, залетали нимфы по воздуху и на плоту показалась богиня праздника, окружённая гирляндой красивых женщин, над которыми летали, касаясь воды, феи всякого рода. Установили мы с Козловым программу праздника. Их Высочества её утвердили, и вот что происходило в этот день в «Александрии».

К 8 часам вечера начали съезжаться приглашённые, и в 9 все собрались в павильоне глядеть живые картины, по окончании которых Козлов устроил факельдуг, и все отправились к пруду, где были устроены платформы со стульями. По звонку левый берег пруда осветился, и там начали петь песни солдаты, а когда это смолкло, то началась отчаянная джигитовка казаков. Оркестр музыки заиграл марш, всё смолкло и обратилось к коттеджу, который почти был невидим. Опять по моему звонку сотни лежавших во тьме матросов дружно, в один момент, поднимая декорации домов, заборов и деревьев, которые вдруг осветились фальшфейерами всех цветов, а с горы, опять с песнею, по извилистому пути спускался хоровод с пляской и бубнами. Процессия отошла к пруду, где на площадке исполнялись характерные танцы, а на пруде, как я уже сказал выше, плыли кусты, летали нимфы и за царицей бала вдруг вылетел колоссальный букет ракет, чем и окончился праздник на воздухе. Тем же порядком все вошла на гору к коттеджу, где в зале театра бал разошёлся. Всё приведено в порядок, и по сигналу Козлова бал открылся польским, и пошли танцы самые оживлённые. В полночь сервировали ужин, а потом котильон длился до 4-х часов утра.

Кроме этого бала в «Александрии» часто бывали ещё маленькие собрания артистического свойства, где принимали участие Их Высочества Цесаревич и Цесаревна, участвуя в живых картинах, фоны которых я быстро малевал с моими учениками. Между прочим, мне пришла идея осуществить живую картину басню Крылова «Пустынник и медведь». Красавец полковник гатчинских кирасир граф Нирод надел капушинский костюм и лёг под куст на устроенное зелёное ложе, а около него я поставил матроса, одетого в шкуру медведя. Дал ему в лапы камень и говорю: «Теперь стой прямо, а когда я позвоню, нагнись над монахом так, как будто хочешь у него убить муху на лбу». — «Есть, слушаюсь, ваше благородие». Но вот подходит к картине публика, она моментально освещается зелёным огнём, эффект прекрасный, я звоню, а мой матросик-медведь вместо того, чтобы нагнуться и остановиться, начинает постоянно качаться над графом Ниродом. Общий хохот оглашает сад, и я толкаю медведя, чтоб он скорее исчез. Он бежит, а тут откуда ни возьмись собаки Цесаревича на него бросаются, и чуть не разодрали в клочки моего зверя.

На осень Их Высочества переехали в Царское Село. Комнаты адъютантов и свиты помещались в левом крыле дворца в верхнем этаже и составляли анфиладу. Тут жили: адъютанты гр. Шереметев Сергей Дмитриевич, кн. Барятинский, Козлов, я, впоследствии Шереметев Владимир, гр. Александр Васильевич Олсуфьев и ещё позже казак Мартынов. Эксцентричный и вечно шумный Козлов обитал в фойе анфилады и устроил у себя стрельбу из всякого рода пистолетов, комнатных револьверов и дуэльных. В это время ан-

филада растворялась, и начиналась стрельба в цель. А иногда вешался колокольчик в дверях и надо было его заставить звонить, чтобы выиграть пари. Я всегда стрелял порядочно, но тут набил руку здорово и почти всегда обыгрывал Павлика Козлова, что его приводило в страшный азарт. Другая забава была музыкальная. На другой стороне коридора была квартира доктора Густава Ивановича Гирша. Этот страстный меломан пилил пренежже на скрипке, а гр. Олсуфьев изоюрялся пронзительно на флейте, что вообще делало наше житьё весьма шумным и оживлённым. Каждый вечер мы ходили к Их Высочествам, где играли в карты, а Его Высочество составлял партию в ералаш. Иногда приглашались для чтения актрисы французской труппы. Около 6 декабря Двор переезжал в Петербург, и там вечера у Их Высочества в Анничковом дворце были как и в Царском. Гр. Воронцов-Дашков, адмирал Краббе, гр. Перовский (сын), Шереметевы, я, Барятинский, Козлов, Гириш и Оом. Из дам бывали фрейлины Её Высочества Опочиннина, гофмейстерина Куракина и её дочь фрейлина Цесаревны и Александра Васильевна Жуковская — фрейлина Государыни императрицы.

До переезда в Петербург в Царском Селе состоялась помолвка герцога Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского с фрейлиною Опочинниною. Будучи со мной в хороших отношениях, она меня спросила: «Почему вы меня поздравляете, а жениха моего игнорируете?» — «А это потому, что герцог на меня обиделся и пожаловался даже своей августейшей матушке В. Кн. Марии Николаевне, что очень жаль, ибо она всегда ко мне была добра и внимательна, так как же мне идти к нему?» Через 2 дня я был приглашён к Великой Княгине. Поздравил герцога, и всё пошло по-старому. Вообще скажу, что Опочиннина была чудный человек, умный, добрый и душевный. Она не была хороша, но в высшей степени миловидна и мила, но жаль, что угасла так рано, ибо влияние её на герцога было волшебное.

Аничков дворец

Надо сказать, что в кабинете Его Высочества в Анничковом дворце, где мы обыкновенно проводили вечера, всегда стояла на столе пастила всех возможных видов, а в корытце и мус. Его Высочество был до неё большой охотник. В Царском и Петергофе она появлялась тоже. Детское кушанье, сладкое, вроде фруктового киселя, тоже появлялось часто за ужином. Вечера начинались рано, в половине 9-го, и оканчивались до полуночи. Морской министр адмирал Краббе был великий охотник до всякого рода сальных рассказов и знатный коллекционер всякой порнографии и похабщины. Он привозил иногда по частям своё нестоющее собрание напоказ, но, к чести Его Высочества, скажу, что хотя он был молод, но смотрел всё вскользь, разве только для того, чтобы сделать приятное Краббе, Николаю Карловичу. Помню, однажды ночевали в Гатчинском дворце, чтобы раньше выехать на охоту. Смотритель Гатчины генерал Боговут предложил Великим Князьям осмотреть известное хранилище порнографического искусства, устроенное ещё во время Петра III и пополняемое императором Николаем I и Александром II. Там есть вещи, точно, высокого искусства, как например, статуи нимф Клодиона, подаренные Александру II Наполеоном III. Есть также прекрасные рисунки Буше, Ватто и других мастеров. Между ними висели рисунки придворного художника Зичи «Четыре возраста». «Как вы это находите, Алексей Петрович?» — спросил меня Цесаревич. «По-моему, Ваше Высочество, это просто мерзко. Это не Каульбах и не Брюллов Карл Павлович, там есть рисунок и искусство, а здесь я вижу только грязный торг этого венгерского проходимца, ибо какой он Зичи, он уродился на земле графов Зичи и, приехав сюда, так назвался. Начни я такую торговлю, как он этими порнографиями, так меня сейчас же заграбастали бы, а он ими нахально ведёт торжище по 5-ти рублей за фотографию в магазине Беггрова, такого же, как и он сам». — «Да, — ответил Цесаревич, — всё это вовсе не в моём вкусе». Кто-то из свиты рассказал мой взгляд на искусство г-на Зичи самому художнику, и с тех пор, конечно, этот господин меня ненавидел. Но я не мог иначе отнестись к его вовсе не почтенному труду, ибо говорил с будущим царём России, честное направление в искусстве которого я уже давно заметил и всегда этому душевно радовался. Я буду несправедлив, если скажу, что Зичи — человек без таланта. Он прежде всего очень ловкий, хитрый и умный парень, рисунок его вовсе не строг, но у него есть способность охватывать удивительно верно разные сцены, парады, выходы, охоты и пр., пр. Он мило пишет амуров на веерах, владеет бойко сепиею и акварелью и вообще принадлежит к талантам общественно принятым. Но если он берётся за картину, то видно, что он желает вас убедить сюжетом, куда вводит мистицизм в изуродованную историю самого поганого свойства. Скажу о нём, когда придёт пора говорить о Венской всемирной и Парижской выставках, где он окончательно провалился, хотя о нём трубили и бил в набат критик Теофиль Готье.

Что касается до моих занятий с Государыней Цесаревной, то они шли постоянно

и весьма аккуратно в течение зимнего сезона. А ежели оказан успех с той и другой стороны, то, я думаю, это произошло от строго принятой мною программы никак не утруждать мою августейшую ученицу рутинной работой обучения по школьной программе — рисования с гипсов рук, ног и голов. Прежде всего я видел перед собой особу, которой не нужна серьёзная наука, как нашему брату, а только развлечение и правильное понятие об искусстве, а потому каждый раз в 10 с половиной часов, когда начинались занятия, то у меня было подготовлено всё, чем занималась бы Цесаревна, и на вопрос мой: «Чем вам будет угодно сегодня работать, Ваше Величество?» — она прямо назначала по своему выбору акварель, сепию или масляную живопись. Конечно, работы её заключались в копировании чьих-либо оригиналов и иногда — с натуры натюрморты. С замечательным терпением в течение года и 2-х месяцев была ею сделана копия с Мейссонье «Курильщик», оригинал которого находится в академическом музее в собрании гр. Кушелева⁶¹. Работа эта была совершенно по натуре нашей будущей царицы. Обладая превосходным зрением, она без лупы выполняла все тонкости письма знаменитого мастера, а ежели, бывало, работа не удаётся, то, осмотрев раза 3 и 4 неудачный труд, она решалась работать далее с полным хладнокровием и с убеждением, что достигнет желаемого. Кроме меня были приглашены господа Горностаев и Григорович. Первый читал легко и приятно изящное искусство, а второй — всевозможные стили живописи и орнаменты. Лекциями этими интересовался и Цесаревич. Чаще всего с нею работала фрейлина княжна Куракина и иногда фрейлина А. В. Жуковская. Работа продолжалась обыкновенно до 12 часов. В это время Его Высочество возвращался от императора из Зимнего дворца, где присутствовал при докладах министров, и все шли завтракать.

Как-то за несколько дней до дня рождения Цесаревича Её Величество, по обыкновению делая ему разумные подарки, приказала мне рано утром до начала урока принести от антикваров или откуда хочу разную старину для выбора. Имея в виду удовлетворение её желания, я давно облюбовал в реформатской церкви, в ризнице, 2 старые голландские люстры петровской эпохи. Предварительно переговора с пастором, я просил его уступить их Цесаревне для известного назначения. Пастор кобенился, но, наконец, согласился, чтобы взамен были присланы новые, а потому к 8 часам утра все мои древности были принесены в Аничков дворец и разложены в Музейном зале. Его Высочество по обыкновению выехал со двора, я явился к 10 часам, и в 10 с половиной всё вынесли обратно, причём Цесаревна была очень рада приобретению люстр. Но в этот день Государь отложил приём министров. Его Высочество поехал домой и в воротах встретил вереницу носильщиков. Войдя в рабочую комнату, он обратился к Великой Княгине с вопросом: «Что это за вещи выносили из дворца?». Цесаревна улыбулась и промолчала. Другой вопрос был обращён ко мне. Я тоже молчал и мялся. «Так значит, я правды не узнаю ни от кого? Так-то, Алексей Петрович, вы мне её всегда обещали говорить». — «Ваше Высочество, ежели Государыня Цесаревна мне разрешит сказать, то вы всё сейчас узнаете. Я имею от неё приказание молчать». — «Знаю, но тут вы всё-таки должны ответить на мой вопрос». — «Да! Это были мои вещи, а для чего и для кого, так узнаете завтра», — сказала улыбаясь Цесаревна. Это ничтожное событие глубоко запало мне в душу, и я ещё более убедился в непоколебимой прямоте характера Его Высочества.

Другой, ещё характернее, случай уже совершенно убедил в высокой честности нашего будущего Государя. Цесаревич и Цесаревна отправлялись в путешествие по России. Люди, предназначенные в свиту, уже были обозначены, но я ничего не знал о моей участи. После занятий с Её Высочеством, когда я пришёл в кабинет Цесаревича, он подозвал меня к письменному столу и говорит: «Алексей Петрович, у вас есть враги, я получил на ваш счёт три анонимных письма. Одно приличное — это, вероятно, городское, другое академическое — грязное и последнее так пошло, что и говорить не стоит. Тот, кто пишет и имени не подписывает, конечно, человек подлый, я же презираю доносы. Примите ваши меры, я это хотел сказать вам до нашего отъезда по России, куда вас прошу со мною ехать».

На одном из вечеров Цесаревича получено было известие о крушении у берегов Дании фрегата «Александр Невский», на котором плавал В. Кн. Алексей Александрович. Фрегат раскатало вдребезги, но Его Высочество благополучно спасся от гибели. Событие это по приказанию Государя императора я написал в двух картинах, составляющих собственность генерал-адмирала⁶². Это 1) «Выход Великого Князя из катера в бурунах», а 2) «Благодарственный молебен вечером после крушения на берегу». Для этого я отправился в Данию, где написал этюды местности и бурунов, а фрегат уже видел по частям, выброшенный на берег. На обратном пути я заехал в Копенгаген, был принят королём и королевой, завтракал у них, получил письма и некоторые посылки, с которыми и вернулся в Петербург.



А. П. БОГОЛЮБОВ. Гибель фрегата «Александр Невский». 1868. Масло. ЦВММ

В это время я жил в Академии в качестве члена Совета⁶³. В подвале под моей квартирой жили служители. Мне надо было ехать к 10 часам в Аничков дворец на урок. Приходит ко мне вахтёр и говорит: «Алексей Петрович, под вами умерла жена сторожа. Взято у неё было двое детей на воспитание от покойной сестры. Бедствие великое, не дадите ли что на похороны, а главное, куда девок девать, одной 9 лет, другой — 7. Будьте милостливы, постарайтесь». Я дал 10 рублей вахтёру и говорю: «Ступай с Богом, что могу, то сделаю». Мысль об этих бедных сиротах меня не оставляла целое утро, и когда я зашёл к Цесаревне, то занятие началось молча, и царила какая-то тишь. Фрейлина Жуковская говорит: «Отчего вы такой скучный, Алексей Петрович?».— «Да не с чего быть весёлым,— отвечаю я.— Я был свидетелем сегодня такой драмы, что и до сих пор всё ещё не могу успокоиться».— «А что это за событие?» — спросила Цесаревна. «Очень обыкновенное, Ваше Высочество».— И тут я рассказал, что знал про несчастных детей.

В обычный час зашёл в мастерскую Цесаревич. Он был весел и шутил, как вдруг Великая Княгиня говорит ему: «А Алексей Петрович сегодня очень грустен. Дай мне слово, что ты исполнишь, что я тебя попрошу».— «Да что это такое?» — «Ничего, это доброе дело, которое от тебя зависит».— «Ну, хорошо, я согласен, но в чём дело?» Тут я рассказал ещё раз подвальную драму, и когда окончил, то Великая Княгиня сказала мне: «Так ступайте к Ф. А. Оому и скажите ему, что я беру пенсионеркой одну девочку. А ты,— обращайтесь к Цесаревичу,— берёшь другую, неправда ли?».

После завтрака я пошёл к гофмаршалу Зиновьеву, сказал об этом решении Его Высочества, дабы принять пенсионеркой в приют одну девочку, а о другой пошёл говорить другу моему Оому. Тут дело было труднее. Надо было знать характер Фёдора Адольфовича. Это был всегда по службе педант высокой честиности, и когда я ему объявил приказание Цесаревны, то он гневно сказал мне: «Ты всегда делаешь гадости, пользуешься своим положением. Конечно, я должен исполнять приказания Её Высочества, но ты должен знать, что 120 бедных детей ждут этой милости, как манны с неба, а ты ещё двух вселил. Нет, Алексей Петрович, это, право, нехорошо, да и нечестно». Конечно, я начал оправдываться, что это дело чисто случайно получило такой благодатный исход, но он и слушать не хотел оправданий. На следующий день занятий я ещё раз чистосердечно благодарил Её Высочество за оказанную милость двум несчастным сиротам. Она была, видимо, довольна этим, причём сказала, улыбаясь: «А, знаете, Ф. А. Оом очень вами недоволен». Но Оом никогда

мне более не упоминал об этом происшествии, и, конечно, мы с ним остались до гроба истинными друзьями. Заносу эти по существу ничтожные события в мою рукопись для того, чтобы знали добро, которое делалось с первых годов супружества Их Высочеств. Случаев таких было множество, почему убеждения мои росли и крепились в смысле того, что во главе нашего царства-государства стоят люди характера доброго, душевного и ума.

Памяти Бейдемана

1869

Не могу не занести ещё событие, которое сильно запало в мою душу, хотя совершенно с другой, частной стороны. Я уже говорил в моих записках об именитом человеке, купце и почтенном гражданине Василии Федулыче Громе и о его чисто русской доброте. У меня по Академии был товарищ адъюнкт-профессор А. Е. Бейдеман. Человек труда и весьма почтенного. Он был женат. Имея большую семью, работал ревностно, проживая в своём доме против Смоленского поля, на постройку которого я выпросил у В. Ф. Громова дать ему в кредит кирпича и леса тысяч на 10 рублей. Бейдеман платил долг аккуратно и остался должен около 3 тысяч рублей, как вдруг громадные гипсовые руки «Моисея», слепок с Микельанджело, свалились ему на голову в то самое время, как он отворял двери, над которыми они висели. Страдал он страшно, но был в памяти. Призвал меня к себе, просил не оставить жену и детей, и скоро умер. Дело было на Маслянице, мы его похоронили и увидели, что дела покойного далеко не цветущи. Был чистый понедельник, я сидел за работой в мастерской, как вошёл ко мне В. Ф. Громов. День был сырой, старик прозяб. «Дай чаю, — сказал он мне, — чёрт знает, как себя ведёшь в эти дни — жрёшь, пьянствуешь и ничего порядочного не делаешь». Подали чай, старик навеселе и говорит мне: «А я пришёл к тебе, чтоб дать случай сделать подость или доброе дело. — С этими словами он полез в бумажник и вынул три векселя срочных по тысяче рублей и подал их мне. — Вот тебе подарок, делай с ними, что хочешь, хочешь — ограбь вдову и детей, а хочешь — так прости им этот долг. Делаю это потому, что ты приятель покойного, только, пожалуйста, устрани меня от всяких благодарностей, которые я обегаю, потому к тебе и обращаюсь». Не солгу, но меня прошибла слеза, и я поцеловал руку этого почтенного старца, которую взял почти насильно.

Желая как-нибудь помочь семье Бейдемана, я с приятелем моим И. А. Монигетти устроили выставку⁶⁴ в Академии его картин и замечательных религиозных композиций, прибавив к ним и своих несколько этюдов с натуры. Ученик его Василий Васильевич Верещагин тоже помог своими трудами, и мы открыли бесплатную выставку с правом дать за вход по усмотрению каждого. Идея эта удалась вполне. На первый же день пришёл и Василий Федулыч и положил на стол 300 рублей, граф Строганов, граф Перовский дали по 100 рублей и многие другие, как Васильев, гр. Стенбок и члены императорской фамилии, щедро помогли осиротелой семье художника. В конце концов сбор дошёл до 3 тысяч, что вполне обеспечило на некоторое время семью Бейдемана. А дел, подобных бейдемановскому, за В. Ф. Громовым был легион, и поистине, его правая рука не знала, что делает левая.

Как я сказал выше, академические «пятницы» рушились, а потребность в художественном центре составляла необходимость, почему я, Grimm и Реймерс составили Устав и пошли к президенту В. Кн. Марии Николаевне просить её содействия на открытие нового художественного центра. Устав был одобрен и утверждён и в Троицком переулке в д. Кононова было нанято обширное помещение, и мне пришлось быть в новом клубе членом комитета, как учредителю, и старшиной. Шли забавы недурно, пока не полезла всякая шваль, состав комитета изменился, и я увидел, что не подобает мне быть в столь разнородной публике, причём художественный характер почти утратился, заполняясь разгульным чиновничеством, офицерством и актёрами. Существовал этот кабак всё-таки порядочно долго, но, наконец, пришёл совсем в упадок и закрылся к общей радости полиции, которой частенько приходилось разбирать там всякие мордобития и скандалы.

Вновь по России

В июле 1869 года Государь Наследник Цесаревич и Цесаревна вместе с В. Кн. Алексеем Александровичем отправились в путешествие по России.

Приехав в Москву, конечно, поклоняюсь иконе Иверской Божьей Матери, поместилась в Кремлёвском Большом дворце. На другой день поехала осматривать вновь строящийся собор Христа Спасителя. До поездки, за утренним кофе, я сказал Его Высочеству, что знаю про роспись стен и купола собора, то есть что архитектор Тон брал со всех художни-

ков крупные взятки и что купол, как ему доложат, расписан проф. Марковым, который тут только подрядчик, но его начал Макаров, снова расписывал Сорокин и, наконец, совсем заново написал Крамской, а из 100 тысяч — 25 дали Тону, тысяч 10 — Макарову, почти ничего Сорокину и 25 тысяч — Крамскому, который, имея 6 помощников товарищей, поделил с ними поровну, так что настоящая стоимость его 4,5 тысяч. Когда кн. Долгоруков объяснил Его Высочеству работы и дошёл до купола и назвал Маркова, то Цесаревич сказал: «Я знаю, что его расписал Крамской, пожалуй, по эскизу Маркова. Весь ход работы мне уяснил проф. Боголюбов». Собор ещё был далеко не окончен, но всё-таки очень заинтересовал Цесаревича.

За обеденным столом князь В. А. Долгоруков подошёл ко мне и очень вежливо, что составляло отличительную черту этого царедворца и доброго человека, говорит мне: «Как это вы, г-н профессор, позволили себе говорить Его Высочеству такие вещи по работам храма, да ведь это ложится плотную тенью на строителя Тона, меня и Каменского». — «Извините, ваше сиятельство, но я призван к Его Высочеству говорить ему как будущему императору всю истину. Что я сказал, то всем нам, художникам, известно, и надо, наконец, чтоб господа строители покончили эксплуатировать нашего брата». Добрый князь, пожал мне руку, и, надо отдать ему справедливость, до конца своей жизни был со мною всегда любезен и внимателен, а потому, когда он умер скоропостижно у нас в Париже, то я от души пожалел этого добрейшего боярина, в полном смысле этого слова.

Личность моего товарища профессора Сорокина заинтересовала Цесаревича, он приказал ему явиться к себе, долго расспрашивал о его происхождении, причём Евграф Семёнович бойко сказал, что был перевозчиком на Волге, но всегда имел страсть к искусству. Самоучкой написал картину, как царь Пётр Великий посылает за границу художника Матвеева. Император Николай, когда ему губернатор представил её при его проезде через Кострому, приказал послать его пенсионером в Академию искусств. И он был пенсионером в Риме и расписал Парижскую церковь с профессором Бронниковым и младшим братом. Великий Князь просил его написать иконостас в Аничковской дворцовой церкви и закончил любезным приглашением к обеденному столу. С этого вояжа я начал замечать, что Великий Князь чрезвычайно милостливо относился к нашему брату-художнику, что я надеюсь очертить в моих последующих заметках.

Нижний Новгород. Время было начально-ярмарочное, когда Великий Князь Цесаревич прибыл на этот громаднейший всеобщий базар. Губернией заправлял генерал-адъютант Огарёв. Первый осмотр был посвящён собору, где покоится прах славного гражданина Минина. Убогость и безвкусице могилы поразило Его Высочество, так что здесь на месте им решено её возобновить и сделать художественною. К делу был призван талантливый наш художник Даль. Первая лепта, положенная Цесаревичем, бойко поддержалась ярмарочным купечеством, и теперь все, кто посещают эту русскую святыню, могут любоваться её прекрасным и грандиозным помещением.

Все знают красоту Нижнего Новгорода, кто только глядел на огромнейшую панораму с балкона Дворцового дома. Вид на Оку и Волгу поразила Государыню Цесаревну, и она постоянно им любовалась. С этой точки я написал большую картину для Государя, которая составляет собственность Наследника Цесаревича Николая Александровича.

С приездом Их Высочеств сейчас же начались разного рода приношения, которыми секретарю Ф. А. Оому и мне приходилось быть приёмщиком и оценщиком всех художественных предметов. Задача для Оома была нелёгкая, тем более что разнообразие жертв и усердия доходило до смешного. Образа, полотенца, пряжа, вышивания, лапти и пр. и пр. — всё должно было быть принято и оплачено. Но что ему было делать с клеткой, где мальчик поднёс двух воробьёв? Мои жертвователи нанесли картины, рисунки, конечно, самые плохие, безобразные. А на вопрос одному парню, что он желает за свой труд, он ответил: «Хочу, чтоб Цесаревич отправил в Академию». С первого утра меня начали осаждать фотографии городские и ярмарочные. Пошли к Настюкову. Хозяин и хозяйка встретили их хлебом-солью на деревянной тарелочке. Аппараты заработали бойко, всё было подготовлено так, что кроме группы были ещё сняты отдельные портреты Их Высочеств. На следующий день я осмотрел оттиски, они были весьма удачны, а через 3 дня Великий Князь их принял, заказав для себя десятки листов. Разобрали и мы все достаточно. За подписью гофмаршала Зиновьева Настюкову дозволялась публичная продажа. Это составило его fortuna, он начал делать альбомы видов Волги и древних русских городов, которые поднёс Цесаревичу и получил право на его вензель и титул поставщика Его Императорского Высочества.

Ежедневно Их Высочества осматривали частями ярмарку. По приезде камергера Княжевича был посещён склад Крымских вин, где экспертировали фальшивый коньяк-шам-

пань, как будто превосходнее настоящего французского. Г-н Княжевич был также придворный чин по натуре, представлял из себя тучную массу, но с живым умом и полным знанием приличий света. Осматривали чайный базар, причём пили чай жёлтый ароматический, чёрный, зелёный и даже кирпичный. Слушали звон колокольного базара, где какой-то парень вызванивал на 14 колоколах очень гармонично, но когда посмотрим на него, то подумаешь: да это какой-то дергач-плясун самый неистовый. Их Высочества присутствовали также на освящении ярмарочной новой часовни, куда собралась громадная самая пёстрая толпа, что при жгучем солнце, голубом небе давало превосходную картину. Оттуда поехали пробовать сибирские пельмени. Были на восточном базаре, где татары и персы угощали кишмишем, изюмом, халвой и другими восточными лакомствами. Ярмарочный дом, стеклянные ряды осмотрели проездом.

На другой день вечером в дворцовом саду были собраны крестьянки нижегородских соседних деревень, а также горожанки в их красивых народных костюмах, в покрытых жемчугом кокошниках и ожерельях. Государыня Цесаревна весь вечер любезно с ними разговаривала, любовалась парчою и кружевами красивых русских баб, которые тут же начали щёлкать орехи и кушать пастилу и всякие сласти, им выставленные в изобилии. К вечеру в саду играла музыка, пели цыгане и певец Молчанов со своею труппою исполнил известный романс, где «чиновник», заболев с перепоею, был лечим «добродетельною Парашею», которая «наполнила его мятою да обложила ватую». А в конце вышли два плясуна, такие ловкие, что когда начали семенить ногами, то так быстро, что ног не было видно, а корпуса их как бы стояли сами по себе на воздухе.

Казань, Симбирск не представляли ничего особенного. В Саратове жильё Их Высочеств было в доме губернатора⁶⁵. В Дворянском зале⁶⁶ был дан бал, где представлялись Её Высочеству городские дамы. В их числе была моя тётка, Камилла Ивановна Радищева. Тогда я даже не помышлял, что буду впоследствии Почётным гражданином этого города и что они мне помогут устроить там музей имени моего деда Александра Николаевича Радищева, известного литератора и ссыльного времён Екатерины II, и при музее школу технического рисования — отделение Центральной школы барона Штиглица в Петербурге. До всего этого я додумался позднее, когда меня прошибла болезнь, а следовательно — нет худа без добра.

Из Саратова заехали в Царицын, где необходимо было зайти в думский зал, чтобы посмотреть на могучую палку и трезух Великого Преобразователя. После чего, через Калач, переправились на Тихий Дон. В Новочеркасске Их Высочества и свита помещались в доме атамана Донского войска генерал-адъютанта Черткова. Приём был сделан великолепный. Здесь довелось встретить много старых знакомых почтенных казаков, с которыми мы делились в первую поездку при атамане гр. Граббе. Но многое тут изменилось. Как была велика любовь к герою 1812 года, так мало любили своего теперешнего начальника. Закал обоих этих начальников был совершенно разный: Граббе был прост, имел боевую репутацию, тогда как Чертков был аристократ гордый и плохо доступный. На другой день приезда был казачий Круг, где были вынесены все регалии и атаманский пернач. Потом было казачье учение и джигитовка. Не знаю почему, но я всегда любовался удалью донцов и их строем. Цесаревна была на лошади, имея, как головной убор, круглую казачью шапочку, и когда эскадроны проходили церемониальным маршем перед своим августейшим атаманом, восторг был общий. Вечером в саду атамана была роскошная иллюминация, а в последующий день был раут. Как и в Нижнем, 2 фотографа приставали ко мне, чтоб Их Высочества у них снялись. Старик художник Фрикке, когда-то очень порядочный, принёс такую картину, что «унеси ты моё горе», и мне было очень трудно его удалить, равно как и художника Ознобишина, учителя гимназии, который просил об исходатайствовании ему пенсии у Её Высочества. За что? Казачки натащили немало подарков. Главное произведение — затейливое кружево, очень красивое, разноцветное, которое Государыня Цесаревна покупала массою и потом, как говорил Оом, отослала в Данию. Всем хозяйством и приёмами тут заведовал адъютант генерала Черткова казак Мартынов. Красивый здоровый парень, похожий очень на вербного херувима, которого атаман впоследствии с удовольствием уступил Цесаревичу, ибо он оказывался в хозяйстве для него очень неудобно удливающей красивой атаманше. Впрочем, этот господин сделал свою карьеру очень ловко, был шталмейстером и управляющим главною конюшнею царскою, покупал дорогих лошадей для Двора, конечно, не забывая себя и, наконец, опочил на лаврах сенатором с таким содержанием, которое дают только людям не заслуженным, но чтобы отделаться от беспоконных.

После Новочеркаска Их Высочества посетили Грушевские угольные копи, где дела в то время были не отрадно-веселы. Угля добывалось мало, и он был дороже заграничного

антрацита. Но всё-таки в Донецком бассейне находятся такие залежи горючего материала, что деятели работали с уверенностью, что скоро наступит время, когда наш уголь будет изгонять привозной.

Спускаясь по Дону, пароход часто касался мели, тогда сотни людей из ближайших станиц вброд подходили под его стены и дружным напором плеч протаскивали через отмель, крича весело — «Ура!». Казачки, по пояс в воде, держа на руках детей, махали платками, а посреди всей этой массы народа сидел на лошади, отдавая честь, станичный атаман, которому гофмаршал давал радужную бумажку с наказом угостить всех как следует. На стоянке в Елисаветинской станице ездили на ночную тоню и ловлю рыбы. Тут же у казаков была жиротопня, багровый огонь которой чудно освещал окраской пейзаж, дробясь в тихой воде Дона.

Придя в Таганрог, Их Высочества посетили дом-усыпальницу императора Александра I. Та же простота стен напомнила скромную жизнь и кончину Государя. Кроме этого были осмотрены работы в порту по углублению гавани, а затем пароход отбыл в Керчь. Здесь Их Высочества были на раскопках курганов, в которых, к сожалению, редкого ничего не оказалось. Посетили небольшую городскую коллекцию древностей и затем осмотрели керченские укрепления и узкий проход на рейде. Здесь их встретил морской пароход о-ва Пароходства и Торговли, на котором был директором И. М. Чихачёв, впоследствии морской министр. Переход до Ялты был самый благоприятный.

Ялта. Я уже не в первый раз здесь живу и поэтому и не так восторженно смотрю на богатый пейзаж нашего южного побережья. Ялтинский дворец в это время только что отстроился, старое здание было разрушено, а кругом пошли павильоны и службы. Один из таких павильонов в татарском вкусе был отделан для Цесаревича, мы же все жили врассыпную. Погода стояла жаркая, зной заставлял сидеть дома до 4-х часов, и только тогда возможно было выходить погулять, чтоб подышать воздухом. В домик Цесаревича мы ходили вечером и около 11 часов расходились по домам. В один день после гуляния Её Высочество подошла к столу, где стояла корзина с всякого рода фруктами, заметила, что многие из них обгрызаны. Начала наблюдать, и что ж оказалось — это крысы преловко взбирались по водосточным трубам на балконы, проскальзывали в комнаты и угощались благодушно царскими фруктами. Конечно, поделали сетки на окнах, да они были необходимы, ибо однажды камер-лакей увидел большую змею, которая, свистя, бежала через дорогу и направлялась к царскому дому. За ней погнались, но она ловко вильнула в водосточную трубу и исчезла. Впрочем, эти гады не опасны. Но есть пора, что очень жалят людей, скот и собак.

Здесь я снова встретил камергера Княжевича. Это был весьма толстый, но при том деятельный и поворотливый господин. Его специальность была устройство искусственного замораживания, но как нарочно машина портилась часто, и недостаток в еде часто его конфузил. Он был помещик Крыма и потому занялся виноделием, которое в то время в Ливадии было в зачатке.

Приехал сюда Иван Константинович Айвазовский с массой маленьких картиночек, которые имел привычку называть по восточному обычаю «бешкеш», то есть подарок. Конечно, все принимали это проявление любезности с удовольствием, но когда секретарь Оом понёс бешкеш Царевичу в виде плохо сделанного его домика, то Его Высочество, посмотрев, сказал: «Ежели бы это было хорошо, так я бы у него с удовольствием купил, но так как это крайне плохо, то подарков вообще не принимаю». Это очень огорчило художника, и, конечно, вся вина пала на меня, хотя я здесь был столько же виноват, как Иисус перед жидами. С тех пор между нами поддерживался какой-то холод, который впоследствии перешёл в грубость со стороны Айвазовского, о чём я, быть может, скажу после.

Хотя мы с ним преследовали одно направление, но он мне никогда не мешал, ибо я был всегда «натуралист», а он «идеалист». Я вечно писал этюды, без них письмо картин для меня было немислимо. Он же печатно заявлял, что это вздор и что писать надо впечатлением, посмотрев на природу. Я писал картины месяцами, ежели не годами, а для него довольно было иногда трёх-четырёх часов, чтоб заполнить полотно и тут же продать за 1000 и более рублей. Но непростительнее всего было то, что эти фокусы выделывались в присутствии учеников Академии, которые, конечно, растялись подобными успехами мастера. Надо быть пошляком, чтоб сказать, что Айвазовский не талантлив. Нет, он щедро одарён природой и темпераментом весьма сильным. А потому были у него картины, хотя и скоро писанные, — прекрасные и увлекательные. Но углубляясь в их технику и краски, вы ясно видите, что это манерность. Везде всё одно и то же без всякого разнообразия. Колористом я его иногда признаю в серых его картинах. Но когда пойдут закаты жгучие, ночи, розовые Венеции, Америки, Африки, то тут он совсем ничтожен. Писать Бога Саваофа

в мироздании, гибель Лефорта, разрезав море с воздухом ножом, писать происшествия Крымской войны с созвездием Креста, Бога во славе в сонме ангелов, Колумба, никогда не видев Америки (после он был в Нью-Йорке), на каких-то астраханских фрешкотках и пр. и пр. — это в публике нашей да литературе подкупной посредством «бешкеша» называется «гениальностью». А когда эти картины появились в Париже, его назвали «reinture sprigite»* и, конечно, здорово обругали. Есть люди, которые говорили, что первоначально я на него был похож в живописи. Нет! После долгого размышления я пришёл к убеждению, что мы похожи, разве когда сопоставляешь две истины: что он армянин, а я дворянин, тут только окончания точно сходны. Но что было совершенно не почтенно в Айвазовском, это подлая зависть, что я имел случай сблизиться со всеми членами императорской фамилии и Государями.

Увлекаясь прекрасными видами, Государыня Цесаревна начала работать с натурь. Выбор её сюжетов меня всегда удивлял. Она сознавала очень хорошо, что с большим кругозором ей не справиться, а потому всегда делала уголки с ярко освещённую частью этюда в середине и тёмных по краям тонов. Всё это явно говорит о её врождённом вкусе и добром смысле.

В Ливадию, как водится, съезжались гости из окрестных дач. Из Алупки часто приезжала кн. Воронцова, из Ореанды — Глазенап с супругой, губернатор и разное местное дворянство, татарва почётная и муллы. Царская фамилия часто ездила в окрестные прогулки.

Но пришла пора Его Высочеству оставлять Ливадию, а потому, распрощавшись, мы поместились на военный пароход «Тигр», весьма плохую царскую яхту, и отбыли в Севастополь. Здесь его встретили моряки с полным восторгом и были очарованы ласковым отношением к ним Их Высочества, были меж ними и герои славной Севастопольской обороны. Между прочим, был мой товарищ по корпусу контр-адмирал Корнев, Георгиевский кавалер, проживший в бастионной берлоге всю осаду. Он хотя и заикался, но толково и наглядно объяснил Его Высочеству всё движение неприятеля и наше. Бастионы ещё были целы, хотя сильно разрыты искателями ядер и пуль, но тем не менее Цесаревич осмотрел всё с полной подробностью, пользуясь при этом картами и планами боя. На другой день осматривали вновь строящийся храм на могиле адмиралов. Сперва отстояли панихиду, а потом архитектор Авдеев объяснил сделанные работы. Тут было несколько художников, расписывавших храм, с которыми Его Высочество беседовал весьма милостливо, всех их я ему представил поимённо, а когда дошло дело до моего товарища Кабанова, то я заметил невольную улыбку на лице Великого Князя. От Кабанова, по обыкновению, несло водкой, как от кабака, да при том он, будучи сед, вымазал себя каким-то чёрным фиксативом и, конечно, был похож на чёрта. Посещали церковь братскую и кладбище на другой стороне рейда, ездили в Херсонес, где тоже был только фундамент будущего роскошного храма. Осмотрели гавань, доки старые и славные городские развалины.

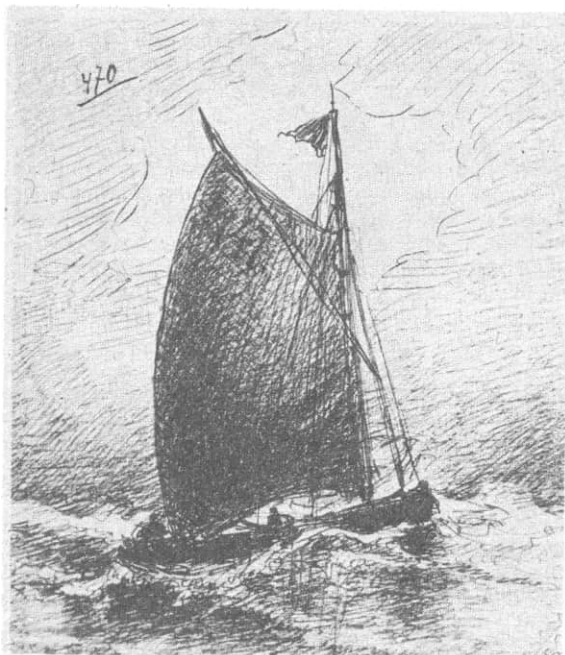
Из Севастополя к ночи отправились в Одессу. Время было тихое, я ещё не спал, как около полуночи сделался на пароходе пожар. Загорелась трубная обшивка на верхней палубе. Но, к счастью, команда работала ретиво, и пожар был потушен, так что Его Высочество только наутро узнал о случившемся. Командиром этой лайбы был кап. Шварц, любимец адмирала Глазенапа, который его сделал даже флигель-адъютантом, как говорят, в угоду его супруге, весьма красивой и ловкой даме.

В Одессе нас встречал, конечно, всякий генералитет и одесский градской голова Николай Александрович Новосельский, великий прожектёр и аферист, вечно всё хорошо начинавший и везде прогоравший. О его деятельности в Париже по Обществу Пароходства и Торговли я уже говорил, а потому вся его жизнь шла в вечных скачках с препятствиями. Я не буду описывать красоты города Одессы, они известны многим россиянам, ибо самые высокие плуты, банкиры и казнокрады — все были продуктом этого нового культурного города с жидами, греками, итальянцами, турками, армянами и пр. и пр. Побывав в музее, приняв бал, Их Высочества отправились в Москву и Петербург.

* Потусторонняя живопись (франц.).

1870

В мае 1870 года я поехал снова за границу. Побудила меня к тому болезнь почек. Я прибыл сперва в Париж, а потом в Виши. В Париже тогда был послом гр. Штакельберг, человек не православный, но крайне добрый и внимательный. Я бывал у него частенько, и раз за завтраком вместе с советником посольства Окуневым (после — посол в Швеции) они взяли с меня слово, что украшу свою работою Парижский храм, потому там и находятся два моих больших образа в нишах церкви — «Хождение по водам Христа» и «Проповедь его же с лодки». Обе эти вещи я посвятил памяти Бейдемана, оставившего семью в нужде. В это время был ктитором церкви почтенный и милейший москвич Почётный гражданин Митрофан Сергеевич Мазурин, делавший для храма много пожертвований,



А. П. БОГОЛЮБОВ. Парусное судно. Карандаш.
СРМ. Публикуется впервые

а потому я ему сказал: «Давайте сделаем доброе дело вместе. Я дарю церкви свою работу, а вы дайте хоть 1000 рублей вдове Бейдемана, муж которой так знатно писал образа в церкви по вашему указанию и поощрению». — «Да с радостью, только не надуйте». И на другой день отдал священнику Прилежаеву деньги для передачи вдове.

Надо сказать, что Мазурин был весьма добрый и умный человек, любил искусство, но, к сожалению, был исторически толст и погиб от удара.

Приехав в Виши, я встретил там Григория Александровича, гр. Строганова, и Её Высочество В. Кн. Марию Николаевну. «А где же вы живёте», — спросили они. «В Отеле Виши». Когда я вернулся туда, то мне хозяин сказал: «А Великая Княгиня Marie de Russe* прислала сказать, чтоб вы у неё и завтракали, и обедали постоянно». Тут же жил Владимир Скорятин, бывший гофмаршал Цесаревича, я ему передал Великокняжеское приказание, на что он покачал головой и сказал: «Да ведь вы лечитесь приехали, а не объедаться!». И был прав, ибо приятель мой Г. А. Строганов заставил меня очень злоупотреблять с едой, и питьём против гигиены. Скорятин привёз с со-

бой парня лет 18-ти, шустрого «казачка». Как это бывало у помещиков, видя, что парень дурень, он его отдал на выучку к фотографу. Через 3 недели фотограф приходит к нему и говорит: «Отдайте мне вашего Мишку, я ему положу с едой и жильём жалование 120 фр. в месяц, а потом и 200 дам, это гений, как он умеет составлять химические препараты, и всё это по соображению». Скорятин окончил курс, оставил Мишку на окончание сезона, и когда Мишка вернулся в Россию, то сделался фотографом в Симбирске и получил орда.

В. Кн. Мария Николаевна была очень гостеприимна, после завтрака садилась за работу, расписывала ширмы на китайский манер, а где надо было тянуть скучные линии, то предоставляла их мне. Часто я ходил с ней по брикабромкам, которых она обогащала, хотя, по правде, у них всё было фальшивое. Но у неё была непреодолимая страсть приобретать.

Окончив самым жалким образом своё лечение, я поехал в Париж, где нанял мастерскую на бульваре Клиши. В это время я получил письмо от гр. Перовского, где он меня приглашал приехать в Эмс, дабы путешествовать по Европе с В. Кн. Владимиром Александровичем. При нём состоял ещё мой товарищ контр-адмирал Георгий Тимофеевич фон Бок, а адъютант был гр. В. Шувалов и статс-секретарь А. П. Половцов.

* Русская Мария.

Мы вскоре пустились в путь, получив на путешествие благословение Цесаревича Александра Александровича, который лечился в Эмсе. Были в Голландии, где, приехав в Гаагу, Великий Князь пожелал отведать королевских сельдей, которым был в то время улов. Как не старался наш посол, но не раздобыл ни одной порядочной сельди и, наконец, сказал: «Ваше Высочество, сельди здесь не едят порядочные люди, а только простой народ. То, что вы кушаете в России, заготовлено особо и заранее всё скуплено. Этот обычай ведётся со времён царя Петра I, который установил эту торговлю и право России». Остались без сельди, но зато насыщались музеями всех городов, начиная с Амстердама и Гааги. Надо отдать справедливость Великому Князю, что он внимательно всё осматривал и с любовью, чем обязан своей родительнице, которая с раннего возраста развила эту любовь в своих детях.

Вандом, Гарлем, Утрехт, Роттердам и прочие города и городки — всё было посещаемо с научной целью. На кермесе в Утрехте мы смешались с толпой, которая сильно была выпивши и разгульно плясала с бабами, тоже пьяными, и только благодаря моему совету, как человеку бывалому, что с голландцами на кермесах не шутят, мы вышли не с помятыми боками. Из Голландии поехали в Бельгию морем и прибыли в Антверпен. Здесь нас встретили посланные от короля адъютанты, генералы, и начался снова осмотр всех достопримечательностей. Удивлялся Его Высочество и коммерции в церквах бельгийцев. Все достопримечательные картины или образа у них завешаны, и если заплатите лепту, вам их покажут, а иначе ждите дней высокаторжественных и праздничных, когда вас бесплатно допустят любоваться искусством. В Брюгге, Генте, где изобилует живопись Мемлинга, благодаря царской особе нам показали все редкости и дорогие рукописные Евангелия и молитвенники, вечно хранящиеся под спудом. Я пропустил, говоря о Голландии, что благодаря Великому Князю нам показали и все редкости тамошней синагоги, которая обладает несметными сокровищами серебряного и золотого искусства XIII, XIV и XV веков, которое перешло сюда из Испании, когда предусмотрительные жида, убоясь нашествия 1-й Республики, отправили морем сюда на хранение свои богатства. Раз приобретённое к скопищу Амстердамскому состоит до сих пор в процессе. Дело не может окончиться, ибо Испания теперь бедна, а голландские евреи требуют миллионы за хранение.

Брюссель с его галереями, музеями и церквами всем знаком, так что описывать его прелести считаю излишним. В то время здесь жила Галле, его студию посетил Великий Князь. В студии не было ничего замечательного, кроме некоторых неоконченных портретов. Были обеды у короля и королевы, последнюю я знал, когда она жила в Дюссельдорфе. Всем нам надавали орденов, и довольные и сытые мы поехали в Дюссельдорф.

Надо сказать, что раз в публичном саду, вечером, на музыке публика узнала Великого Князя. Тотчас же стали снова около очень миловидные и весёлые дамы, причём сейчас же все выслали свои карточки всем его окружавшим. Серьёзный и добрейший граф Борис Алексеевич Перовский на другой день получил массу приглашений, равно как Великий Князь и его свита, посетить различных дам весёлого поведения. Но в этот день мы уже кадили в Дюссельдорф.

Знакомый город, где я провёл много скучных и разгульных дней. Знакомить Великого Князя с его искусством было очень легко. Начали с Андрея и Освальда Ахенбахов и дошли до Дюккера и Хебгардта. Оба эти художника считались русскими, но они давно сделались профессорами Германии, а потому я их уже перестал считать нашими. Но, несмотря на это, Великий Князь был с ними очень приветлив, как президент нашей Академии, так что оба беглеца чуть не плакали от радости. О Дюссельдорфе я писал уже прежде, а потому молчу и закончу эту поездку тем, что до нас дошла весть о войне Пруссии с Францией, почему Его Высочество и зааггорассудил вернуться в Россию. Прощаясь со мною, когда я ему объявил, что еду в Париж, он мне сказал: «Ну, Алексей Петрович, вам как маринисту-художнику надо идти на французские корабли, смотреть, как они будут бить немцев». Но не сбылось его желание, французский флот и носа не показал в водах неметчины и так же погиб нравственно, как и армия, преданная и опозоренная своим императором.

В атмосфере войны

Прибыв в Париж, где, конечно, всё было в лихорадочном настроении, я скоро поехал с генералом Дмитрием Александровичем Татищевым на этюды в Сен-Мало. Туда тоже проникло воинственное настроение, вечером толпы мальчишек бегали по улицам с разноцветными фонарями и знамёнами, подпевая под скорый шаг — «A Berlin, a Berlin, alons bapionnes le Prussien!»*. Газеты зачитывались до хлопьев. Солдатики наплывали со всех сто-

* На Берлин, на Берлин, вадум пруссак! (франц.).

рон. Беглецы — молодые люди шёпотом говорили, узнавая, как бы отлынить от набора. Всё это как-то нервно на нас действовало, и мы порешили с генералом ехать обратно в Париж и ждать событий, но они шли быстро. Чужая, что скоро всё может разыграться дурно, после Седанского погрома, я выехал в Вель, Нормандию, в сообществе художников Харламова, Гуна и Лавеццари, а Д. А. Татищев просидел там всё осадное время.

Здесь, в этой деревушке, дабы не показаться предателями, по приглашению местного аптекаря, ярого республиканца, мы участвовали в процессии несения и сожжения на площади против нашего отеля «дерева революции», кругом которого бабы, девки и мужчины, почти все пьяные, плясали до поздней ночи. И здесь опять, как в Сен-Мало, шныряли молодые люди, желающие избежать службы. К моему товарищу К. Ф. Гуну раз подошёл молодой парень (с девочкой в пролётке) и сладко говорит ему: «Мы только что женились, мне страх как не хочется идти в солдаты, я прошу вас, не хотите ли вы за 500 франков мне дать ваш паспорт, чтобы я из Дьеппа поехал в Англию. Документы я вам сейчас же возвращу». Гун вскочил, как петух: «Ах, ты, каналья этакая, прочь! Вот я сейчас пойду в полицию и скажу, что ты у меня просишь». В тот же вечер в дилижансе чета уехала в Сен-Валери. И таких мерзавцев была масса.

Но вот пришла весть, что Париж окружён, мы сейчас же снялись с якоря и отправились в Дьепп. Там на улице нас остановили три жандарма: «Кто вы такие? Пруссаки?».— «Нет, русские».— «Дайте паспорта». И повели в кутузку. Идя по дороге, я говорю: «Далее мы не пойдём, ведите нас к нашему консулу». Справились жандармы, где наше консульство, мы взяли коляски, ибо это было на окраине города, и, в сопровождении архангелов, едем туда, а народ кричит: «Les Prussiens, les Prussiens!»*. Когда консул рассмотрел наши паспорта, то сейчас же сказал жандармам: «Теперь я вам приказываю следить, чтоб этих подданных русского Государя никто не смел тронуть». И точно, несмотря на толпу, жандармы нас бережно провели к экипажам, говоря направо и налево, что это друзья. Так что иногда в толпе слышалось «Vive la Russien, a balle Prussiens!»**. При таком настроении мы сели в омнибус и направились берегом в Остенде, где почувствовали полное спокойствие и на другой день уже были в Брюсселе.

Через некоторое время мы наняли мастерскую и сели за работу. Попалась нам 12-летняя цыганочка Моцца, которую мы начали писать во всех поворотах. Лучшая её головка удалась К. Ф. Гуну, и была тотчас же приобретена Наследником Александром Александровичем, когда, приехав в Россию, я ему её представил. Великий Князь очень любил эту чёрноволосяую встрепанную девочку с огненными глазами и поместил её в свой музей Аничкова дворца. Здесь я был занят окончанием альбома, который составлял, путешествуя с В. Кн. Владимиром Александровичем, и написал с этюда морскую картину, которая висит в Киевском дворце. Жизнь здесь тянулась скучно. Музеи, церкви и мастерские — всё было осмотрено, не исключая первого брюссельского гражданина «Манекен Писс», с которым возятся и носятся до сей поры брюссельские правители ратуши, одевая его по праздникам в кафтан с галунами. Таково предание и таковы городские порядки.

Слышал я, что у нас в Риге при князе Италийском, графе Суворове Римникском⁶⁷, когда он был генерал-губернатором, с балкона ратуши между другими феодальными правилами для обывателей читалось, чтоб хозяева не смели кормить свою прислугу лососиной более 2-х раз в неделю, когда цена ей в городе была так дорога, что дай Бог богатому бюргеру есть её раз в 2 недели. Впрочем, посиди он подольше на этом посту, так, вероятно, балты призвали бы княжить к себе Бисмарка, на что выказывали всякое пополезновение. Как пример разгулявшейся балтской спеси я приведу моего товарища по Морскому корпусу Людвиг фон дер Раке, который был очень сконфужен, когда, будучи в Риге на купанье в предместье Болдери, я его приветствовал по-русски. Сей именитый барон совсем отказался от нашего языка, бросив всякое знакомство с русскими. Таких субъектов было много, и все они боготворили потомка русского героя Суворова за его халатность.

В это время при брюссельской церкви проживал священник, имевший манию графини Блудовой — хоть козу, да перевести в православие! И вот какая-то барыня поддавалась под его проповеди и пообещала принять нашу религию, да и раздумала. Бедный поп деяние своё расславил и, когда увидел, что барыня попятилась, то стал заговариваться и сумасшествовать. А когда я уговаривал плюнуть на эту бестию, то он отвечал: «Как плюнуть, а обер-прокурор-то!».

* «Пруссаки, пруссаки!» (франц.).

** «Да здравствует русский, вздуть пруссаков!» (франц.).

1871

Наступил февраль месяц 1871 года. В Брюсселе стояла стужа, платья тёплого у меня не было, а я всё-таки решил ехать в Россию. По приезду стал снова преподавателем — руководителем при Государыне Цесаревне. В это время в Аничковом дворце ставилось много живых картин и игрались спектакли. В этих забавах я принял живое участие. Театр был устроен Монигетти в Белом зале. Стены драпировались чудными гобеленами, купленными у Скорятни, так что стиль амбир залы был неузнаваем. Ставились картины живые весьма роскошно. Цесаревич принимал во всём живое участие, и тут я ещё более познал в нём любовь к изящному. Я имел хороший этюд грота св. Розалии в Палермо. Сделал эскизы, декорации прекрасно написал мой товарищ Бочаров, пригласил к участию самых красивых девиц высшего круга. Тут была г-жа Ланская, впоследствии г-жа Шипова-Скобелева, потом княгиня Белосельская, кн. Барятинская, урождённая гр. Стенбок, князь Владимир Антонович Барятинский, князь Голицын, камергер Цесаревича, граф Нирод и пр. и пр. Всё это было одето в роскошные итальянские костюмы. Тут были англичане с красной книжкой Бедкера и народ. Гробница св. Розалии была написана тоже с натуры, и на церковном аналое стояли канделябры, лежала книга Евангелие и стоял крест. Для завершения иллюзии при поднятии занавеса с аккомпанементом органа раздалось пение г-жи Латошацкой «Аве Мария» Гуно. И когда занавес упал, то восторг был всеобщий. В числе зрителей была Государыня императрица Мария Александровна, которая 3 раза просила повторить картину и по окончании вечера подозвала меня к себе, благодарила и ласково заметила: «А крест и книгу лучше бы было не вводить в обстановку». Далее шла картина «Ангел», взятая из поэмы Лермонтова «По небу полуночи...». Здесь позировала А. В. Жуковская. Поза была весьма трудная, ибо приходилось быть подвешенной на воздухе на железных скобах, протянутых через облачную декорацию. При этом опять был слышен романс и стройный его аккомпанемент, произведший общее одобрение. Далее шла сцена из Кальдерона, когда женщина в отчаянии, с распущенными волосами бросается в море. Тут музыки не было, но всю прелесть сосредоточила на себе г-жа Ланская, обладавшая всеми качествами, чтобы выполнить эту картину. Поза опять была трудная, ибо опять приходилось быть подвешенной. Волны моря я осыпал слюдой, от чего получился лунный блеск на воде, что советую употреблять декораторам как могучее средство.

Кроме того, в Аничковом дворце частенько давались вечера с танцами. Публики было немного, но зато все веселились, не толкаясь, и просторно садились за роскошные ужины, за чудо сервированные столы. Для чего верно служила богатая дворцовая сервантная.

Продолжая бывать у Её Высочества для занятий, в одно утро, следя внимательно за её работой (она копировала Мейссонье), я вдруг почувствовал, что меня как бы пошатнуло. Я побледнел, Великая Княгиня обратила на меня внимание и тотчас же приказала подать лёду и воды. Намочив салфетку, я положил её на голову и думал, что чнусь, и хотел продолжать работу, но дурман мой не проходил. Пришёл Цесаревич, пригласил завтракать, но я отказался и едва добрался до друга моего, доктора Густава Ивановича Гирша, который осмотрел меня, посадил в карету и отвёз домой, где признал мозговой удар⁶⁸. На другой день приехал ко мне С. П. Боткин, и оба они решили, что есть разрыв, что дело нешуточное и нужен полный покой. Но не по натуре моей было это новое положение.

В это время я был призван в члены Совета Академии художеств вместе с Гуном и Ге. Все мы дружно желали пользы учреждению и хотели работать. Но пришлось умерить свой пыл и предаться уходу докторов. В течение двух с половиной месяцев, ежедневно из Аничкова дворца являлся ко мне ездовой узнать о здоровье. Тоже часто бывали и из Зимнего от Её Величества Государыни императрицы. Такое внимание утешало меня в моей болезни, я стал медленно приходить в себя, так что в мае месяце мог выехать за границу в Карлсбад, Теплицу и Рим⁶⁹. Воздух, диета и воды меня немного поправили, но тяжесть и дурман головы не покидали, но я уже мог говорить без уродливых ужимок и самочувствие правой стороны почти вернулось.

Рим мне был знаком. В нём я провёл 2 года моего пенсионерства, а потому и не предавался осмотру его достопримечательностей, но отыскал моего академического товарища, профессора Фёдора Андреевича Бронникова. Вспомнили с ним нашу былую молодецкую жизнь и всех наших товарищей. Друга моего я нашёл болезненным — он страдал расширением аорты, потому работал мало в своей мастерской, в которой я начал понемногу работать, но силы мои были очень слабы, так что решил подождать работы с натуры.

У кого есть мастерская, кто из художников живёт хоть немного оседло, сейчас заведутся знакомые и любители. Что это за люди, разобрать их почти всегда трудно, когда они начнут говорить с вами про ваши картины и талант. В искренность слов этих ценителей и любителей я никогда не верил. Но скорее меня наводил на раздумье отзыв совсем простого человека-простолюдина, чем восхищённая речь образованного сословия, от которого часто приходилось слышать: «О, вы вечно будете жить в ваших творениях, они не умрут, и потомство всегда будет вас знать и помнить!». То же говорят литераторам, актёрам, поэтам и, наконец, фотографам и фокусникам, для которых во Франции пристала очень хорошая кличка «Иллюзионист».

Но часто, не предаваясь обольщениям, у меня назревало желание уяснить себе, ну кто более способен из нас, художник или писатель, действовать образовательно на людей, и я всё-таки пришёл к убеждению, что слово живое всегда значительнее всякой картины или всякого художественного изображения действует и западает в душу человека. По-моему, картина или рисунок — всё это только одна сторона природы, один фазис творчества. Скульптура уже более даёт понятие всестороннего в искусстве. Вы её обходите отовсюду, она должна напомнить вам то, что преследовал мастер в своей задаче, и иллюзия часто бывает полная. Тогда как картина, правда, увлечёт вас, заставит задуматься, вглядываться, даст вам даже должное настроение себя понять и причинит наслаждение. Но это кратковременно, и какой бы сюжет её не был, всё-таки вы можете ещё что-либо досказывать и желать. Возьмите же поэзию или литературное первоклассное произведение. Оно доставляет совсем другое чувство. Вы следите постоянно с полным интересом за характерами людей, их страстями, пороками, доблестью. Часто часами вы находитесь под впечатлением прочитанного. Мораль вас врачует, доводит до сознания своих недостатков или причиняет тихую радость. Творчество поэта так же увлекательно. Я не говорю о Пушкине, Лермонтове, Жуковском, это столпы нашей литературы. Но Кольцов и даже Фет, хотя писавший эскизно, не договаривая, — сколько возвышенного чувства в них и сколько наслаждения вникать в душу! Гоголь, Грибоедов, Тургенев, Достоевский, Гончаров и прочие — сколько они образовали и развили людей, давая мягкость закислым чувствам и согрелая любовь к своей Родине звучным и стройным, как хорошая музыка, слогом. А наши картины, способны ли они дать всё, что я сказал? Нет! Да и смотреть их труднее всякому человеку и делать оценку, не будучи достаточно развитым и подготовленным. А как подойдёте вы к германским мыслителям-художникам, каковы Корнелиус, Каульбах-отец, Миллиоти, Ретель и другие, то тут уж ровно ничего не поймёшь, так они далеки от живой и доступной природы; чтобы быть понятыми созерцателями. И поневоле вспомнишь гоголевского капитана Копейкина, который, подходя к дому великого человека, дивился швейцару, заслонившему вход, думая, как бы не запакостить собственными прикосновениями ручку парадной двери, которая должна была быть открытой настежь для доброго дела генералами и богачами. Так всякая бесхитростно, но верно написанная картина должна быть доступна человеку, и ежели он ещё образован и знающ, то, конечно, получит полное удовлетворение.

В Риме я нашёл старых знакомых. Старик Корроди — акварелист всё так же добросовестно и скучно исполнял свои акварели, снимая камерой-лючидой контуры местности. Два сына его, которых я знал детьми, теперь стали художниками-пейзажистами. Посетив их мастерскую, я увидел бойко покрашенные холсты окрестностей Рима и Неаполя. Это не были художники, а спекуляторы, бессовестно хватавшие форестьеров*, всучивая им свои произведения. Вся студия кругом была убрана ими, и так как место было дорого, то они ухитрились вращать картины на стенах, что было занятно. Младший писал по чести, но старший гнул дуги непаренные и закатывал такие голубые небеса и жёлтые закаты солнца, что, право, не хуже И. К. Айвазовского, у которого они порядочно понаворовали его способ писания.

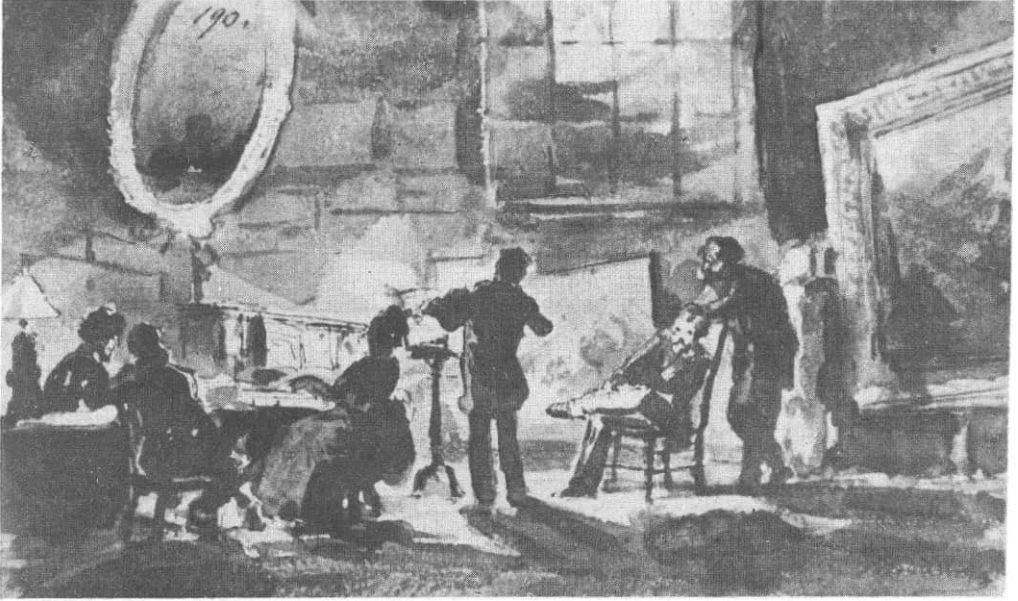
Проживал здесь мастер испанец Фортунни, а с ним целая плеяда подражателей его оригинальной живописи. Но все эти воришки были жалкие по уму и технике, когда приходилось сравнивать их с великим мастером. Фортунни, точно, был гений своей страны и века, враг рекламы. Он никогда не выставлял своих картин на выставках, но вся Европа его знала и высоко чтла. С ним я был знаком в Париже через Мейссонье, а потому встреча наша была вполне дружеская.

Проживал здесь Михаил Петрович Боткин, великий собиратель древностей, с другом

* Путешественников (франц.).

своим Серёгой Постниковым. Последний был очень добрый малый, крайне услужлив, но туп по таланту или бездарен.

Часто ездили с Бронниковым в окрестности, во Фроскати и Олевано вспомнить старину. Что за прелесть эта Римская Кампанья и её окрестности! Как-то дышится свободно в этих деревнях и городишках. Или это потому, что здесь был молод и работал с увлечением. Я никогда не был акварелистом, хотя и учился у Корроди, но здесь Бронников обязательно пристал ко мне — давай работать акварелью. И вот мы с ним мазали бумагу, драли



А. П. БОГОЛЮБОВ. Музыкальный вечер у К. А. Савицкого в Париже. 1874—1875. Акварель. СРМ

её и, наконец, всё-таки кой-как наладились. И с тех пор я не считаю себя мастером, но работаю водными красками и даже продаю свою работу, что верно говорит, что она не совсем дрянь. Конечно, этот эксперт работы — прескверный, но, Боже, каким нужно быть талантливым, чтоб вас считали мастером⁷⁰. Акварель забитая, ровная — это лакость и тупоумие, хотя японцы и любители очень часто обольщаются такою техникою. Акварелист, который хочет силою краски подойти к масляной живописи, проваливается совершенно. Так же как и долбитель пунктиром. Я признаю акварель только, где вам кажется, что художник играл кистью, наливая краску пластами, которые иногда входят один в другой, сохраняя тончайший рисунок. Колорит тут всегда бывает условный, не бьёт силой, но убеждает вас и умиляет вкусом и лёгкостью. Так работают бог акварели Жакмар и его последователи. Оценку эту я пишу со слов знаменитого Мейссонье, который так же высоко ставил Фортуни как акварелиста. У нас в России я ставлю выше всех ученика моего А. К. Бегрова, а по части перспективных рисунков — М. Я. Виллие, который всё-таки принадлежал к труженикам акварели, но не свободным художникам. Прославленного по лёгкости в работе и производительности. А. Бенуа⁷¹ я не уважаю, потому что воздух он боится писать по сухой бумаге, а делает его только по мокрой, отчего он обычно похож на вату. Да и гонится он акварелью забить масляную живопись и рисует очень плохо.

К осени я вернулся в Академию художеств, где было моё жильё. Стал ходить в Совет Академии, но заняться искусством не было возможности. Так тяжело и скучно дожил я до 1874 года. Несмотря на то, что мастерская моя была только устроена, я всё-таки решил по возможности продать всю мою обстановку. Уступил Академии художеств за 1000 рублей пенсии в год 250 этюдов и около 500 рисунков, продал гобелены, стекло старинное и прочее. Оставил себе только серебро да бюро русской работы Екатеринбургской эпохи, которое отослал в Париж с намерением там жить для поправления здоровья.

В течение этих годов, 1872 и 1873, я бывал у Её Высочества Цесаревны, но силы мои не позволяли быть ей полезным, как это было прежде. В Академии художеств конференц-секретарь Исеев стал оказываться тем подлейдом, которым явился на 22-й год своего управления Академией, то есть вором и ссыльнокаторжным⁷². Придумал он составлять новый устав Академии и набрал комиссию, пригласил туда профессора Иордана, Резанова, меня, Гуна, Гримма, Ге и академика Крамского⁷³. С первых 3-х сеансов мы увидели, куда он гнёт и что он себе выгораживает за положение. Его сторонники Резанов и Иордан, конечно, поддерживали его идею. На 3-й сеанс он нас оставил и просил под председательством Иордана оканчивать начатое дело. Конечно, всё время мы только ругались, подтверждая, что это подлость, но кое-что составили помимо Исеева, отдали президенту В. Кн. Владимиру Александровичу⁷⁴, который нас поблагодарил, а Исеев, конечно, спрятал его под спуд, выказав себя с Иорданом и Резановым полными негодьями. После этой проделки я, Гун и Ге ушли из Совета Академии.

В конце сентября я уже снова был во Франции и так как погода стояла прекрасная, то и отправился заканчивать лето в художественную деревушку Барбизон, находящуюся на окраине леса Фонтенбло. Кто бывал там, так до сих пор может видеть следы работ с натуры лучших художников французской школы 1830-х годов в простых двух деревенских кабаках-трактирах, где они ютились. Тут же проживал знаменитый сподвижник той же школы Милле со своим семейством, не сознавая, что после его смерти он возвысится в ценах своих картин до баснословной цифры 750 тысяч франков за картину «Анжелюс», которую он продал торговцу Дюран-Рюэлю за 5 тысяч франков и был очень тем доволен. Знаменитые Руссо, Добиньи, Диаз, Дюпре, Коро, Марилла — все тут ютились годами, оставляя по себе память хозяевам гостиницы за их хлеб и соль, а иногда и просто платя за всё работой. В этих кабаках умные и практичные хозяева отделали приёмные комнаты от потолка до пола деревянными панно, на которых почти все художники пишут. Так и я намарал туда «Петербургское взморье», которое многие захожие торговали, но хозяин хочет за эту мерзость 2 тысячи франков, а потому она долго будет его собственностью.

В ноябре я вернулся в Париж и тут в течение зимы весьма медленно окончил мои два образа — фрески в Парижской церкви, о которых говорил выше. Это мои самые большие картины по величине, жаль, что освещены они плохо, ибо тень арок бросает на них полосатый свет.

Писать их приходилось с большой сноровкой. Ежели бы можно было их снять, что очень легко, и вынести на ровный свет, то верх воздуха оказался бы почти белым, так надо было рассчитывать на падающую тень⁷⁵. Я сказал, что их снять легко и вот почему. Делаю эту заметку для того, что, быть может, кто-нибудь из моих собратий сообразит, когда будет писать картины на стене и применит мой способ, или лучше — знаменитого Евгения Делакруа. Фрески, то есть живопись на стенах аль фреско или аль темпера, здесь можно отвергнуть вовсе как невыстаивающие по краскам и подвергающиеся трещинам, почему принято их заменять картинами на полотнах. Масляную краску накладывают на гладко подготовленную стену из состава белила (простых) и мелко толчёной смолы. Когда стена окрепнет, то самую картину намазывают сзади тем же составом и приклеивают на стену. Толщина той массы должна быть в большой палец. Положим, что стена треснула. Картина не лопнула, но отпузырилась. Тогда берут раскалённый прут, проводят им по верху картины, по массе, которая мгновенно тает, и картину свёртывают на палку. Стену снова поправляют и опять наклеивают. Но трещины на стене бывают так мелки и слабы, что холст и не отскакивает. Фрески в Сен Сюльпис стоят уже 60 лет, а мои образа 20 лет и более, что убеждает меня в доброкачественности этого изобретения. Тогда как ступайте в храм Спаса в Москве и посмотрите, каково будущее тамошней фресковой живописи. Она уже начала трескаться и, конечно, так как масса состоит из штуки, висящего на проволоках, рухнет со временем молящимся на головы.

Способ этот я сообщил в Совет Академии, где заседал знаменитый строитель архитектор Тон.

Я, конечно, был тогда только что испечённый профессор и потому был робок и безответно выслушал его ответ, поддерживаемый Резановым: «Э, батюшка, нам французятины не надо! Мы сами знаем, что делаем!». А масса эта, как я сказал выше, удобоплавила, да потом, так как смолиста, состоит дурным проводником сырости.

На этот год я всё-таки не мог отделаться от академической службы, ибо Великий Князь и Совет избрали меня комиссаром на Венскую выставку⁷⁶. Несмотря на мои недуги, я взял на себя эту обязанность, пригласил, как помощника, к себе Павла Александровича Брюллова, весьма образованного художника, с отцом которого я был дружен и которого уважал как умного архитектора и строителя. Для приёма помещения я отправился в Вену. Там в Пратере, где всё только отстраивалось (было в феврале), царил полная безурядица. Показали мне место будущей русской выставки, махали туда и сюда руками, как Собакевич, показывающий Чичикову свои обширные владения, говоря, что и за лесом тоже всё моё. А мне говорили — и это будет вашим. На основании моего доклада в Питере набирали выставку и послали гораздо больше, чем можно было поместить картин.

Когда в апреле я приехал для их развески, что было тут! Как меня ругали с комиссаром Бельским, камергером, так и писать совестно! К тому же холера валила народ кругом, рабочие бегали с выставки. Ставя статуи на места, ломали мраморы и роняли со стен картины. Стены были совсем сырые, так что через неделю сзади картин поросла зелёная плесень и потребовалось их изолировать на отпорных подкладках и обтягивать позади свинцовым листом или смолёным толем. Помощник мой, милый Павел Александрович Брюллов, как нарочно, выписал себе в Вену свою невесту, урождённую г-жу Кавелину, дочь известного профессора Павла Дмитриевича, а потому любовь и работа как-то не гармонировали. Время шло. Назначено открытие, когда на выставке всё было нагромождено в полном беспорядке.

Ко дню открытия съехались все члены жюри от различных государств. Первое наше собрание было весьма курьёзно. Сели, но не знали, на каком языке вести речь. Вице-президент выставки был известный Мейссонье с герцогом Австрийским как президентом, но последний только её открыл. Мейссонье кроме французского языка не знал ничего, стал держать речь, но никто не обратил на него внимания, и он скоро сел, не досказав и половины, что хотел выразить. После него заговорил художник-пруссак Стефанс. Французы сидели, в свою очередь, отвернувшись. Встал итальянец и говорил по-своему. За ним — испанец трещал, как кастаньеты, и, наконец, грек — гнусаво по-своему. После такого вавилонского смешения языков мы разошлись.

Подойдя к Мейссонье, я ему представил моего помощника Брюллова. Он был, видимо, взволнован и, обратясь ко мне и к художникам Бонна, Кабаннелю, Жан Поль Лорансу с глубоким «Уф», сказал: «Что мы будем делать?». Долго толковали, обсуждали положение, что война с Францией обострила так всех против, что требовать дружества нельзя. Видя безвыходное положение, я предложил Мейссонье следующее: «Возьмите себе секретарём моего Брюллова, он утрёт нос всем господам разноязычным, ибо говорит и пишет по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-гречески, по-шведски, по-польски и по-русски. Кто будет вам назло отвечать по-своему, получит ответ на его диалекте. Далее — я учился у Андрея Ахенбаха и всех немецких членов жюри знаю и приятель с ними. Все они имеют Крест Почётного Легиона — Кнаус, Стефанс и Освальд Ахенбах. Но надо время, чтобы вам сойтись, а потому я вас сведу с ними, а за ними пойдут и все на уступки и примут официально язык французский, ибо по-немецки никто не знает, кроме Австрийцев и немцев».

И вот 5 дней сряду я садился на скамейку, справа сидел Мейссонье, а слева сел первым Кнаус. «Хороший день сегодня, г-н Кнаус!» — «Да, тепло и не серо». — «А как вы себя чувствуете, г-н Мейссонье?» — «Недурно». — «Но вы, г-н Кнаус, ведь, кавалер Легиона, во Франции жили и учились?» — «О, да!» — «Ну, так позвольте вам представить г-на Мейссонье». — «Да, как же, я его знавал!» — «Ну, так теперь возобновите знакомство!» Я вставал, и разговор принимал самый дружеский характер.

Так проделывал я с Брюлловым наше, так сказать, сводничество, и, наконец, все уже почтительно кланялись Мейссонье, и прения начались по-французски. А когда кто из жюри не мог говорить, то Брюллов очень быстро и точно передавал речь на общепринятом наречии. После 10 заседаний уже устраивали обед, на котором говорились речи самого либерального пошиба и уже доказывалось, что для понимания искусства все языки превосходны, когда они так умело переводятся, как это делает г-н Брюллов. После все мы снялись в одной группе, расположенной вокруг торжествующего Мейссонье. После, когда я жил в Париже, до конца жизни гордый и недоступный Мейссонье никогда не забывал моей услуги и всегда был со мною крайне мил.

Но что за гадость этот Пратер, где поставили выставку! Подъезда к нему не было, ибо

вадувшийся Дунай просочил почву и вся выставка по временам стояла, как Венеция, в лужах. На самой выставке немцы не допустили никакого ресторана и кабака. Всё было разбросано за оградой. Рестораны были самые подлые, хотя и дешёвые. А в лучших кормили тоже отвратительно. Холера валила народ очень сильно, ибо он шлялся в грязи почти полтора месяца до спада вод Дуная. Стояли грозы и удушье, словом, вовсе не было удовольствия жить в этих условиях. Венцы не способны дать приезжему средства веселиться и хорошо есть, пить. Всё здесь чрезвычайно узко, скупо. А что больше всего тяготило нас, это кадым, который берёт портые дома, если вы вернётесь после 10 часов вечера и его беспокоит.

В Вене послом был Новиков. Он и супруга его были весьма внимательны ко мне, а когда приехала королева Вюртембергская Ольга Николаевна, то сейчас попросила меня представить ей всех французов-художников. Мейссонье и все они были в восторге от её приёма и от обращения г-жи Новиковой. Обеды и вечера давались в посольстве нашем, и французы всегда были на первом плане.

Вскоре приехал Государь император и Наследник с Цесаревной. Подходя к павильону русского художества, на выставке я встретил Его Величество, который, представив меня императору австрийскому, сказал: «Это прежде моряк, а теперь художник. Здравствуй, брат». И сам лично объяснил ему все картины. Хотя далеко не блестяще было наше помещение, но царь остался доволен, и всё сошло благополучно. После этого я ещё 2 раза сопровождал Цесаревича и Цесаревну по выставке и, когда вечером являлся к Его Высочеству, слышал его короткий отчёт о виденном: «А всё-таки французская школа самая сильная. Везде бунт красок, в особенности у итальянцев, а придёшь к французам, глаз отдыхает и становится занятно».

Проводив Высочайших посетителей, Брюллов сыграл свою свадьбу. Она была очень проста, но крайне задумчива, ибо молодые были чудные, кроткие по уму и душевным качествам. Отбыли мы, наконец, свою повинность в жюри, распределили награды медалями, которые никогда не получили, ибо у Австрии не было на то денег, золото и серебро дорого, а медные тоже не дали, потому что не выдавали и из благородных металлов. Дали мне Звезду Франца-Иосифа, а Брюллову — Кавалерский Крест. Первая по статуту даёт право на баронство, но надо заплатить 1000 гульденов за грамоту, а потому я счёл лучше просто быть Боголюбовым.

Конечно, много было недовольных мною. Семирадский сказал, что я из мести поместил его на потолок, другой — что поставил рядом картину с белыми планами архитектуры и пр. и пр. Исеев, конечно, вопил хуже всех, говоря, что я не сумел себя вести, что только яхшался с французами и пр. и пр. Но, наконец, я просил выслать мне заместителя. Прислали г. Штрэнцера, библиотекаря Академии, весьма порядочного человека, которому я и сдал выставку. На прощание был обед у императора Франца-Иосифа, потом у президента выставки, и, конечно, мы давали отвалный, где все художники сильно перепились и расстались самым дружным образом, далеко не так, как встретились.

Отсюда я поехал в Франценсбад отдохнуть и полечиться. Побывал в Зальцбурге и вернулся снова в Россию. Покончив все дела и ликвидировав последнее моё имущество, я чувствовал себя ещё хуже, а потому распростился с Их Высочествами, и совершенно больной поехал в Венецию, где меня постиг повторный удар, хотя не столь сильный. Приехав во Флоренцию и скрепясь духом, отправился в Рим, где решился прозимовать.

По пути я встретился с г. Сабельщиковым, старшим хранителем Императорской публичной библиотеки, который мне рассказал, что в числе служащих втёрся к ним какой-то (не помню фамилию) профессор-немец, весьма учёный. Много лет он там проживал, но казался Сабельщикову под конец подозрительным. Сделали ревизию книг, где немец рылся, и видит, что множества редких изданий не хватает. Устроил строгий надзор. Сабельщиков решил следить за ним при выходе из библиотеки — и видит, что бок шубы его оттопырен, он пощупал его и говорит: «Это у вас что такое?» — «Ничего». — «Как ничего, это книга, покажите». — «Как вы смеете меня обыскивать?» — «Ну, ежели не покажете, то я прикажу сторожам вас задержать». Немец расшумелся, хотел ломиться в дверь, его остановили, насильно сняли шубу и увидели очень дорогой том книги. Тогда сейчас же Сабельщиков поехал в полицию, взял пристава, и обыскали квартиру, в которой оказалось 2 воза книг, а что им сплавлено было за границу, так Бог знает. И что же, доложили министру, стали судить, но судить его неловко, он известный человек, и окончили тем, что выслали за границу. Ну не возмутительно ли это — деремониться с капитальными ворами!

В Риме я поместился на Виа Болонья и первое время чувствовал себя очень плохо. Но каково было моё удивление, когда ко мне вошёл господин вовсе незнакомый, рекомендуясь

адъютантом короля Датского, который получил известие от своих августейших детей Цесаревича и Цесаревны, что я скорбно проживаю в Риме. Такое внимание Их Высочеств крайне меня тронуло, я не выдержал и нервно заплакал. Придя в себя, я просил адъютанта поблагодарить Его Величество за внимание, почему и не замедлил, как только собрался с силами, лично побывать у короля, который принял меня так же ласково, как принимал, когда я гостил у него в Беренсдорфе во время пребывания моих благодетелей.

1874

Боголюбовские вторники

Вступив в 1874 год⁷⁷, я нашёл в Париже целую плеяду наших молодых и весьма даровитых художников. Пенсионерами Академии были господа Репин, Поленов. А. К. Беггров был прислан ко мне учиться Морским министерством. Были ещё господа Савицкий, Леман, Харламов-пенсионер, Шиндлер, Дмитриев, назвавший себя Оренбургским только для того, чтобы его отличали от Кавказского.

После прибыл Васнецов, пенсионер Ковалевский и из Рима — Антокольский, художники-архитекторы Лавецари, Громме, Князев (любитель), художники Добровольский, Егоров, Ропет. Проживал также, участь у Жерома, В. В. Верещагин. Со мной он тогда ещё был знаком⁷⁸. И вскоре появился талантливый И. П. Похитонов.

Центром сборища всей этой публики были генерал Дмитрий Александрович Татищев и я. К Татищеву ходили обыкновенно завтракать по воскресеньям, а у меня бывали «вторники».

Имея состояние, Татищев был вполне гостеприимен и радушен со всеми своими друзьями. Ещё с молодости в школе Н. Е. Сверчкова, прожившего чуть ли не всю жизнь в Царском Селе, он малевал лошадей, тройки, зимние охоты, собак гончих и пр. и пр. Картины его, конечно, проходились приятелями, но всё-таки проникали в Салон, и надо было видеть нашего добряка-гусара, как он был доволен и как судил и рядил о всех товарищах, старых и молодых. После завтрака раскрывали столы и до 7 часов вечера играли в вист, а кто — малевал или готовил разные уродства. Их было 3 брата: Александр старший, пензенский губернатор и ещё член Государственного совета, Леонид, он умер скоро после войны, и Дмитрий Александрович. Семью эту я знал давно. Знал их отца, известного игрока своего времени, который оставил им приличное состояние.

Когда я оставил Петербург, то наш августейший президент В. Кн. Мария Николаевна предложила мне быть попечителем русских пенсионеров в Париже и за границей. Я благодарил её за великую честь, говоря, что хвор, но она приказала г. Исееву сделать это назначение, с чем я и уехал. Всем пенсионерам г. Исеев писал обращаться ко мне за всякою помощью. Но ни разу не обмолвился словом попечитель, почему я и до сей поры себя им не считал, но дружил с ними потому, что любил молодёжь, родную по моему призванию. Раз получил предписание художника, гравёра Пожалостина. Я его исполнил и по приезде в Россию потребовал от Исеева, чтоб он мне показал моё назначение попечителем. На что получил ответ: «Что за недоверие? Да, вы обязаны нести службу ревизии и помощи пенсионерам как член Совета Академии». Впоследствии я узнал, что когда Великая Княгиня приказала, то он уничтожил это назначение, о чём я ни мало не тужил, ибо, делая добро всем, кому мог, составил себе исключительное положение по высокой ко мне милости императора Александра Александровича.

Мои вечера отличались от татищевских сродотою и весёlostью⁷⁹. Заходили ко мне художники французы Бонна, Жан Поль Лоранс, Жером и прочие. Частенько у меня были музыка и пение. Душою этого был художник Доливо-Добровольский — милый тенор. Он мне приводил своих знакомых. Ревел басом Шукало, провинциальный певец, и прочие доморожденные артисты и артистки. На этих вечерах бывал часто И. С. Тургенев, А. К. Толстой («Князь Серебряный»), П. В. Анненков — друзья Тургенева, актёры Ф. А. Бурдин, В. В. Самойлов. Всё это было без программы и условий. Превосходно иногда танцевали, ибо были девицы очень милovidные — три сестры Ге⁸⁰. Такие сборища держались у меня года четыре.

Раз мои приятели выгнали меня на 24 часа из моего жилища и впустили на другой день в 9 часов вечера. Сюрприз состоял в костюмированном вечере и хороводе. Тут мне было поднесено блюдо с хлебом и солью работы моих юных товарищей с надписью «Нашему хорошему Алексею Петровичу Боголюбову от его почитателей художников». Блюдо это я передал в мой Радищевский музей со всеми моими редкостями. После шли живые картины с прекрасно написанными декорациями господами Поленовым, Шиндлером и Репиным. В хороводе ходила коза-плясун (Савицкий), а А. К. Беггров водил медведя (Шиндлера),



Н. Д. ДМИТРИЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ. Встреча нового, 1875 года русскими художниками у А. П. Боголюбова. 1875. Смешанная техника. СРМ

который превосходно исполнял роль господина Топтыгина. Замечательны были также портреты И. Е. Репина с прорезными головами, куда вставлялись живые лица. Д. А. Татищев изображал Петра Великого, да так хорошо, что все мы орали от удовольствия⁸¹. Впоследствии я отдал эти прорези В. Кн. Николаю Александровичу⁸², но не знаю, забавляют ли его этим прекрасным искусством его воспитатели.

В живых картинах участвовали красавицы госпожи Ге — «Тамара и демон» и г-жа Маковская, что тоже наполняло мою мастерскую продолжительным восторженным криком.

На этих вечерах читались впервые переведённые на французский язык стихотворения М. Ю. Лермонтова и были вполне одобрены Тургеневым и Анненковым. Иван Сергеевич тоже иногда неподражаемо читал что-нибудь своё новенькое. Надо ему отдать справедливость, что он умел возбудить к себе всеобщее обожание.

В это время Тургенев обладал цветущим здоровьем, был всем любезен и замечательно способен устраивать всякого рода весёлые игры.

1875

Благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу русские художники имели постоянно вход в дом и на вечера знаменитой м-м Полины Виардо, где случалось слушать превосходную музыку, самых лучших артистов, знаменитых певцов и певиц⁸³.

Ещё молодым офицером я слушал м-м Виардо в Итальянской опере в Петербурге и с тех пор, не будучи вовсе музыкальным, всегда носил неизгладимое впечатление от её голоса, который при превосходной игре очаровывал всех, кто только её знал. Я впервые просто приходил в телячий восторг от Полины Гарсна. И для меня после неё никогда не было такой певицы гениальной, музыкальной и драматической актрисы, как она. Позднее я уже был с ней коротко знаком через И. С. Тургенева, и думаю, что мне не раз придётся говорить об этой изрядной женщине. Как теперь помню, что это был за праздник — идти в оперу слушать «Севильского цирюльника» и видеть её в роли Розны! А в «Пророке»⁸⁴ как она была величественна! Да, словом, везде гений был с нею, давая всем полное очарование! М-м Виардо не была хороша собой, но была стройна и даже художава. У неё до старости были чудные чёрные волосы, умные бархатные чёрные глаза и матовый цвет лица, какой видно у природных испанских цыганов. Рот её был большой и безобразный. Но только что она начинала петь, о недостатках лица и речи не было. Она буквально вдохновлялась, являясь такою красавицею могучею, такой актрисой, что театр дрожал от рукоплесканий и браво. Цветы сыпались на сцену, и в этом восторженном всеобщем шуме царица сцены скрывалась за падающим занавесом.

Я видел тоже и Фани Эйслер. Конечно, не так, как англичанин, осматривающий у неё могилу герцога Рейхштадского, но на сцене. Она была очаровательно грациозна. Случалось видеть и Рашель не раз в жизни с её греческой скульптурной грацией и чарующей речью. Но Полина Виардо для меня всегда была выше всех в сценическом наслаждении. Конечно, той прелести звука уже не было при её настоящем пении, но манера говорить романсы, а в особенности испанские песни, была у неё в это время очаровательна. Узнав ближе Ивана Сергеевича и видя его слушающим пение обожаемой им женщины, которой он посвятил всю свою жизнь, я смотрел на них обоих с чувством глубокого уважения и вопреки всем толкам и пересудам наших россиян, ругавших её цыганкой, похитившей нашего Тургенева, скажу, что он был счастлив по-своему, и бахвал тот человек, который подвергал дерзкому суждению таких двух гениальных личностей, каковы были он и она.

На вечерах у Виардо я познакомился с музыкантами Сен-Сансом, Сарасатом (скрипачом), с Золя, Полем Бурже, Ренаном и прочими. Все шли под эту кровлю высокого художества, считая честью быть у гениальной певицы и музыкантки.

Бывали тут и литературные утра, организованные И. С. Тургеневым для усиления средств русской, учащейся в Париже, молодёжи, которую он поддерживал, не зная отказа, причём, иногда был бессовестно эксплуатируем.

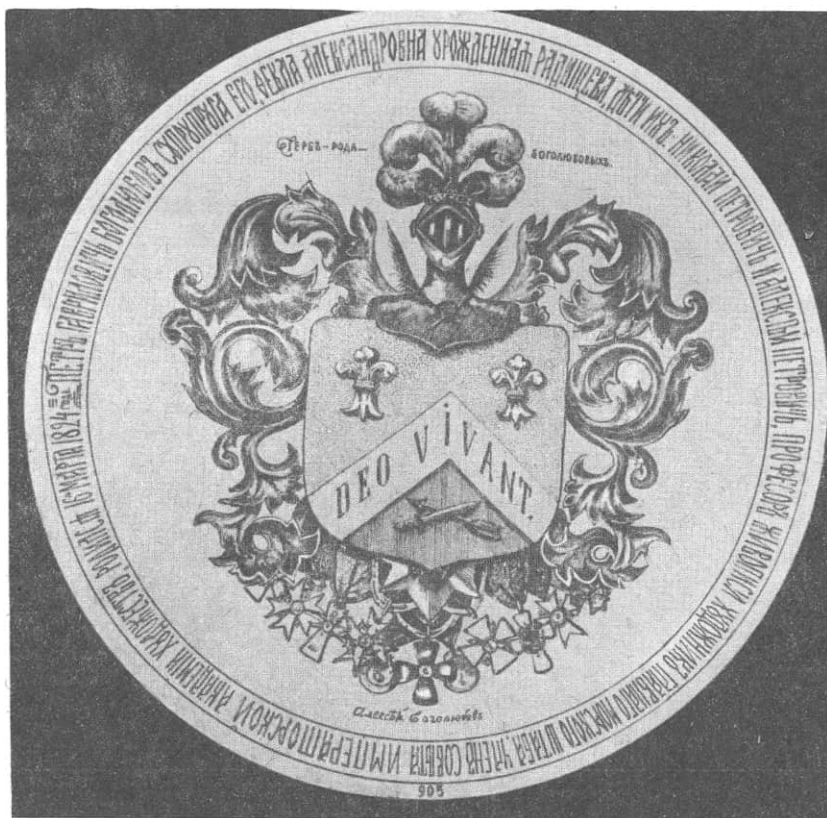
На моих вечерах родилась первая мысль устройства керамической мастерской в доме фабриканта Жилло, где работал Егоров. Тут нам помог С. С. Поляков. Он предложил 2 тысячи франков, на которые мы обзавелись и хорошо устроились. Лучшими художниками оказались И. Е. Релин, В. Д. Поленов, а потом Виллие и Похитонов⁸⁵. Здесь я стал работать и на лаве, и послал впоследствии первую мою работу Цесаревичу Александру Александровичу, который поместил мою работу в свой Аничковский музей и с тех пор стал интересоваться этим производством очень серьёзно, ибо лава весьма близка к нашим старинным изразцам⁸⁶.

Но недолго существовала наша керамическая мастерская. Ретивая и талантливая молодёжь уехала на родину, и вскоре мы её закрыли. И остался в ней один бездарный Егоров, писавший образа для Севастопольского храма на могиле адмиралов. Другие образа, наружные, писаны с оригинала профессора Неффа, но не Егоровым, а другими художниками с фабрики Жилло и украшают снаружи церковь на братском Севастопольском кладбище и служат тоже доказательством прочности этого материала, заменяющего драгоценную мозаику.

Однажды Его Высочество, говоря со мною о мозаичском отделении при Академии художеств, весьма подробно интересовался его возникновением и производством работ. Конечно, я высказал ему своё честное мнение об этом учреждении, на которое по воле императора Николая I много было затрачено денег и которое стало бойкой доходной статьёй вора Исеева. Выстроено было новое здание, мастером приглашён был мозаичист из Рима Бонафиди, который привёз с собой брата и ещё несколько итальянцев. Тогда ректором был Ф. А. Бруни, женатый на дочери трактирщика в Риме. Кумовство и свойство скоро установились. Бонафиди женился на его дочери, и смальты, которые заготавливались тысячами сортов на Стекольном императорском заводе, бесконтрольно им производились. А когда дело доходило до смальт, то тут была лучшая спекуляция. Художники вербовались из неудачников-учеников, конечно, ума тут не надо иметь, а разве только аккуратность в подборе цветов с эскиза, а потому дело шло медленно, но хорошо.

Надо отдать честь русским мозаичникам. Кто видел их работу в Исаакиевском соборе — конечно, она не уступит мозаикам св. Петра в Риме. Но то, что вкладывали в эти образы, это другая статья. Да, не знаю, ежели бы нашёлся любитель составить обзор работы мозаичного производства, то благодаря Исееву цифры были бы совсем дутые против настоящей стоимости. Это был вор клеймённый, окончивший Сибирью.

Выслушав мой отчёт, Наследник Цесаревич тогда же внимательно расспросил меня о производстве работ на лаве. Уже 40 лет, ежели не 50, в Париже это производство получило полное гражданство. Некто Жилло добыл пласты лавы в Оверни. Стал эмалировать пилёные квадраты в 3 метра длиной и 2 шириной и на них огнеупорною краскою воспроизводить образа и всякие поделки. Фурштоки на реке Сене под мостами служили доказательством её прочности. Тут бывает лёд и всякая разнородная температура, но она стояла как будто сегодня исполненная.



А. П. БОГОЛЮБОВ. Герб рода Боголюбовых. 1875. Блюдо. Роспись по фарфору. СРМ

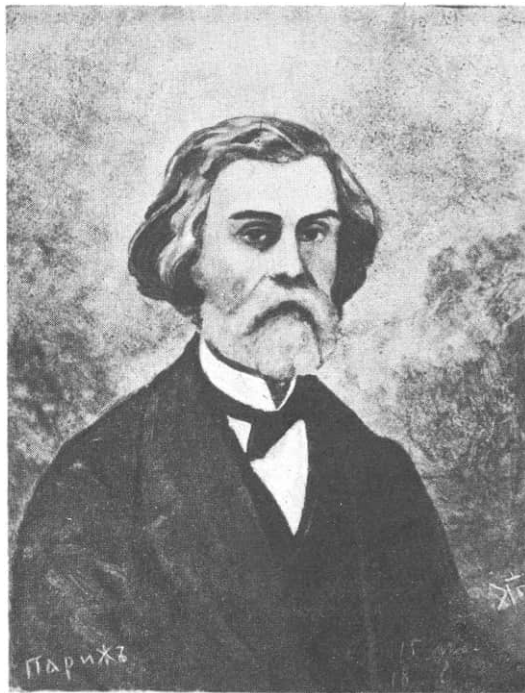
Подписи на углах улиц во французских городах делаются на лаве и заменили эмаль, которая колется. Громадные панно пишутся для украшения стен, в особенности, где есть сырость. Большие куски притачиваются так аккуратно, что пазы едва видны. Дел на этих пластах может быть не только копистам, но и свободным художникам своих композиций. И когда вы сравните ценность мозаики с квадратным метром расписной лавы, то это будет 2000 рублей к 200 франкам. Цифра эта до такой степени внушительна, что Великий Князь заинтересовался лавным производством и сказал мне: «Скажите об этом брату Владимиру, а я, со своей стороны, тоже поговорю с ним». Конечно, Великий Князь — президент меня выслушал и сказал: «Хорошо. Подайте записку в Академию, и, ежели это так, то надо будет устроить что-либо при Мозаическом заведении». Докладная записка была представлена. Вор Исеев тоже как бы внимательно меня слушал. Но, конечно, никакого движения не дал, ибо это производство прямо било его по карману.

Прошло несколько времени, я уехал за границу, и до меня доходили отголоски Исеева, который, смеясь, рассказывал своим холопам, что-де Бо-

голюбов надоедал президенту своими проектами, благодаря тому, что Цесаревич его слушал, на что Великий Князь Владимир Александрович сказал: «Да, Боголюбов прожестёр без всякого фонда». Но царь наш всё-таки до конца жизни интересовался лавою.

Он приказал мне подготовить художника для этой работы. Художник Исидор Посс работал и жил на фабрике и копировал образ Александра Невского с образа Бронникова по заказу Государя. Ф. А. Бронников нарисовал по его же заказу оригинал для Копенгагенской церкви, который и стоит наруже. Посс писал для Думы в Москве большой образ в память избавления царской семьи при Борках. Писал для частных лиц образа. Последний заказ покойного Государя был образ «Воскрешения Христа», заказанный по просьбе Её Величества королевы греческой для Афинского кладбища, где хоронят матросов с наших станционеров. Этою работою Государь в особенности интересовался. 2 раза она была переделана, и на 3-й царь приказал при фарфоровом заводе устроить особую мастерскую с обжигательной печью. За дело взялся знаток, директор императорского завода г. Гурьев. Но смерть бывшего нашего покровителя пресекла это начинание. Пожил бы он, и я уверен, что вся наружная живопись наших церквей была бы лавная, ибо он наметил талантливого иконописца нашего Васнецова быть исполнителем как наружной, так и внутренней живописи строящегося храма на месте, где погиб его августейший родитель⁸⁷.

Я говорил выше о гостеприимстве и доброте души Дмитрия Александровича Татищева, у которого мы, художники, частенько собирались. Сколько мог, он помогал беднякам, доставлял им работы, а чаще так кормил и поил. Но здоровье его вдруг ухудшилось. Он давно страдал сердцем, по натуре хотя был богатырь, но скоро его свалило, и он стал заметно таять. Герой Скобелев был его воспитанником, а потому мать его г-жа Скобелева терпеливо сидела у кровати больного, ухаживала за ним. Он был дружен с генералами Броневским и Павлом Ланским. Это были его товарищи по полку, к ним причислял и меня, и в последние свои минуты просил нас заняться участью его сына, прижитого с какой-то циркачкой, которого он держал при себе, при гувернантке-швейцарке, одевал как куклу, любил и с гордостью говорил: «Я из него сделаю гусара». По совету г-жи Скобелевой он решился написать прошение Государю, прося усыновить ребёнка. Я, Броневский и Ланский его сочиняли. Я переписывал, и мы все трое подписали как свидетели.



Г. Г. ГАГАРИН. Портрет А. П. Боголюбова.
1876. Живопись на лаве. СРМ.
Публикуется впервые

Видя, что дни Татищева сочтены, мы порешили скорее выписать из России его брата Александра Александровича, пензенского губернатора, рассчитывая сообщить ему о положении умирающего, который, видно, не веря в своего родимого брата, неоднократно предлагал мне, Ланскому и Броневскому выдать векселя с тем, чтобы мы их передали сыну, но чувство бронзового векселя претило как-то, и мы отложили это дело до приезда старшего его брата, которого считали его другом.

Когда приехал он, больной уже был плох. Он, призвав Броневского, сказал ему: «Что же, действуйте». Вот мы уединились с ним, передали ему прощение и говорили о том, что Дмитрий Александрович желает обеспечить своего сына, который по закону не может пользоваться наследством, а потому, уважая вас, подождите и всё передали на вашу совесть. Приняв бумаги и выслушав речь, он не обмолвился ни словом.

На другой день больному стало ещё хуже. Броневский и Ланский намекали Александру Александровичу, что-де время торопит дело. Но он опять отклонил его, а в ночь друга нашего не стало. Мы решили узнать намерение брата, и вот был ответ: «Чтоб в род Татищевых попал выблюдок — никогда!». И, вынув из кармана бумагу, разорвал её и бросил в камин. «А что касается до векселя, то хороши бы вы были, взяв бронзовые векселя! Ха-ха-ха!» Конечно, после этого мы более в судьбу ребёнка не вступались. Он отыскал мать, сдал его ей на руки и сказал, что будет давать на содержание и его будущее обеспечит. Как я слышал, оба брата, Леонид и Александр, положили 15 т. р. на его имя до совершеннолетия, а матери выдавалась пенсия, но не равномерно, ибо раз она потребовала меня к мировому как свидетеля, показав бумагу, выданную Татищевым ей при жизни за подписью Ланского, меня и Броневского на сумму 2400 фр. в год. Я взял повестку судьи и отослал А. А. Татищеву в Петербург, с просьбой оградить меня от всяких хлопот. А ежели это повторится, то подам просьбу лично Государю и выясню всё, что знаю. С тех пор я его уже не встречал, но прочитал в газетах, что он умер членом Государственного совета и был погребён несколькими архиереями с подобающею помпой и что произносились горячие речи о нём как друге народа и отличном хозяине-губернаторе. Ну и вечная ему память. А какова будет встреча на том свете двух братьев, не знаю. Точно так же как не знаю, что случилось с его ребёнком. Грустно было быть свидетелем такого тупоумия и безбожного отношения брата к невинному ребёнку из жадности к деньгам, ибо своих детей у него не было.

Приехал в 1874 году в Лондон Цесаревич с Цесаревной. Остановились в Букингемском дворце. В это время проживал у меня большой мой старый поклонник и приятель, ставший министром Государственных имуществ, Александр Алексеевич Зеленой. Знакомы мы были с ним с корпусной скамьи. Я был товарищем его родного брата Порфирия Зеленого, почему мы и отправились вместе поклониться Его Высочеству. Но жизнь наших августейших особ была так полна и разнообразна, что видеть их было почти невозможно, почему мы и отправились скоро домой, ожидая их приезда в Париж.

В это время родной брат мой Николай Петрович Боголюбов заканчивал свою службу директора Горькогорейского земледельческого училища, а потому я заранее нанял для него квартиру в одном со мною доме и, так как жизнь в отеле очень была неудобна, Александру Алексеевичу Зеленому предложил поселиться у меня. Я уже сказал, что мы были с ним по воспитанию моряки, оказавшиеся совсем на противоположных карьерах, что не мешало нам, Боголюбовым, быть друзьями всей многочисленной фамилии Зеленых, которые были нашими учителями в Морском корпусе, и к чести их надо сказать, что все Зеленые были преумные люди высокой честности.

Торопецкий уезд награждал флот псковитянами высокого качества. Александр и Семён Ильичи были люди весьма учёные. Первый был педагог-писатель, а второй замечательный астроном. Кузены их, Александр и Порфирий Зеленые, тоже были умницы. Первый, мой настоящий сожитель, был прежде товарищем министра Михаила Николаевича Муравьёва, после которого и занял его место по Государственным имуществам. А Порфирий был педагог, окончивший службу по Удельному ведомству. Был здоровья слабого и умер чахоткою в Ялте. С ним мы были товарищами по Корпусу, шли в одном классе до выпуска и до смерти его были истинными друзьями. Александра Алексеевича постиг удар, и он удалился от министерства и влачил свои дни то за границей, то в Ялте, где и умер от паралича горла. Жизнь его была очень разнообразна. Он плавал кругом света на транспорте «Иртыш». Сибирью возвратился домой, перешёл в Межевое ведомство. А когда открылась Севастопольская осада, то командовал полком всё время осады и был контужен, после чего, как я сказал, был товарищем министра Государственных имуществ и министром около 10 лет. Грустно мне было видеть, как разрушался этот добрый и честный человек.

На беду, сестра его вышла замуж за чиновника-педагога Соловьёва, за того самого ни-

гиллиста и стерву, который стрелял в императора Александра II. На министерской карьере Зеленой был, можно сказать, другом Государя, который любил его и верил в его высокую честность, ибо Александр Алексеевич, не робея, говорил Государю самые высокие истины. Да и не мудрено, ибо это был воспитанник школы графа М. Н. Муравьева. Но случилась великая мерзость с членом его семьи. Конечно, царь изменил к нему свои отношения, и по приезде в Ялту, когда изнуренный, болезненный Александр Алексеевич пришёл встретить Его Величество на пристань, Государь бросил на него строгий взгляд и прошёл мимо, не оказав никакого внимания.

Глубоко опечаленный старик стал, видимо, окахнуть и скоро скончался от удущья. Такова была развязка этого доброго и умного человека. По-моему, Александр Алексеевич не был человеком государственным, но высокая его честность оказала всё-таки услуги Отечеству.

В октябре прибыли сюда Цесаревич и Цесаревна. Они поместились в доме посольства. С первого дня их приезда я был неотлучно при них. Я уже выше сказывал, что здесь проживали наши талантливые художники пенсионеры, а потому почти все их мастерские были посещаемы Их Высочествами и редкому из них они не сделали заказа, приобретая, что было готового из начатого⁸⁸.

Люксембург, Лувр, Клоньи были ими тщательно осмотрены, как и «Морг», где собирают случайных мертвецов.

В это время в отеле «Бристоль» проживала принцесса Валенская, сестра Цесаревны, а потому приходилось сопровождать их в магазины, Лувр и Бон Марше. Конечно, для Его Высочества визиты эти были скучны, и, оставив дам, мы пошли посмотреть картинные галереи-магазины, где, конечно, выставляется всякий хлам, что ни есть подешевле. Возвратясь к Их Высочествам, мы увидели целый ворох мантилий, бурнусов, которые Цесаревна покупала для своих знакомых. Идя в эту экскурсию, Цесаревич приказал мне держать себя равно, так, чтобы не заметили его особу, что я и выдерживал. Но принцессу Валенскую узнала какая-то англичанка, и вдруг весть разнеслась, как молния, что здесь Наследник русского престола с женой и её сестрой. Давка стала серьёзная, так что я пошёл к управляющему работами, прося открыть нам свободный путь.

Будучи хорошо знаком с А. П. Базилевским, я предложил Цесаревичу осмотреть его собрание редкостей, что и было сделано. Истинно серьёзный подбор предметов от начала христианства кончая XV веком поразил Великого Князя, и так как он чувствовал себя как бы в России, то, не стесняясь, слушал рассказы хозяина, покуривая папиросы и кушая чай.

Визит этот длился час с четвертью, уже стало темнеть. Хозяин велел осветить галерею, что произвело полный эффект. С этой минуты я увидел, что Великий Князь не любитель потому, что богат и может приобретать редкости, но что он ценитель и хочет учиться на том, что видит.

Оставался в Париже этот раз Цесаревич недолго. Очень интересовался он бронзами Барбедьена⁸⁹, где накупил достаточно всякого рода вещей, которые украшают его кабинет в Аничковом дворце.

После отъезда Великого Князя некоторые художники наши подавали свои картины в Салон, и одна из них была куплена. Весть дошла до Академии, и конференц-секретарь прислал циркуляр: пенсионерам запрещается выставлять свои произведения за границей, а высылать их предварительно в Академию. Такое зверское уродство всех нас поразило и убедило, что нами правит бывший аудитор гвардейского корпуса, бывший вице-губернатор Костромской, выгнанный за воровство при постройке конюшен и клеймённый вор академический.

1876

Наконец, к великой моей радости, в Париж приехал мой родной брат и мы с ним зажили, как в былые годы юности, но мы были уже не те здоровяки, а оба стали сильно хилеть. Я расхворался прежде его, а он скоро заметил, что ему необходима тяжкая операция, по случаю ушиба бедровой кости, которая стала пухнуть. Но лёг он под нож не сразу, а всё-таки бродил и как человек, не могущий жить без дела, задумал писать книгу «История корабля», для материалов которой усердно работал ежедневно в Публичной библиотеке и в Луврском морском музее.

Клод Бернар

Ожидая приезда брата в Париж, я поехал в Трувилль к своим хорошим знакомым гг. Рафаловичам, где прожил очень приятно и где в тиши и спокойствии узнал знаменитого учёного Клода Бернара. Вилла Рафаловичей получила название Шале Тьерри, ибо этот

великий муж Франции тоже тут жила, отдыхая от своих государственных трудов. Да, истине, место это было полно очарований. Оно высилось над шумным Трувилем, полным буйной и модной жизни, откуда в прекрасные дни был виден далёкий горизонт Ла-Манша, на котором каждый день в догорающих лучах тонуло солнце и восходила луна, золотя чудной прелестью тихое море, по которому иногда раздавались глухие звуки музыки местного казино.

Я познакомился с этим гениальным учёным после моего возвращения из вояжа в Турцию. Я уже писал о том, как я был загипнотизирован глазами человека, имевшего во мне нужду и только утром явившегося ко мне с просьбой о сыне. Но бурная ночь, которую я провёл вследствие его жгучих глаз, была мною рассказана профессору Ивану Мартыновичу Якубовичу, изучавшему нервную систему разных кошек и собак у Клода Бернара. Как курьёз, он рассказал мою историю своему патрону, и тот, найдя её очень интересною, пожелал меня видеть. Внимательно расспросив о всём происшедшем, записал показания в книжечку и сказал: «Вы субъект мягкий, впечатлительный и очень скоро поддаётесь животному магнетизму».

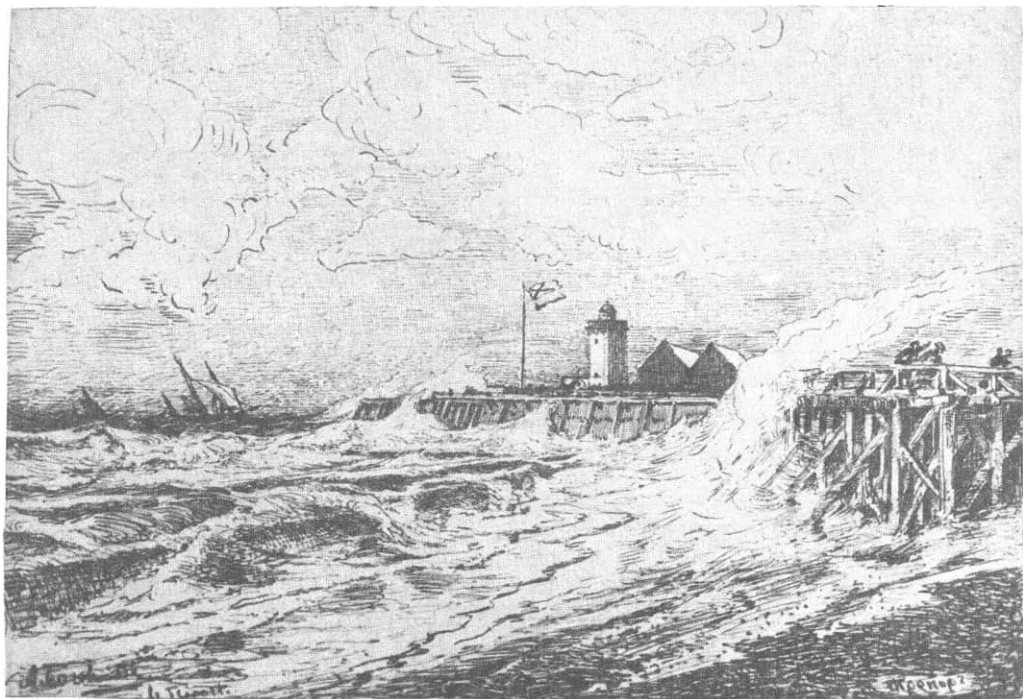
Жизнь у Рафаловичей была очень разумная и привольная, только завтраки и обеды были обязательны, но остальное время было отдано в удовольствие каждого. Почти каждое утро я садился около милейшего старца и проводил с ним в беседе незаметно самые счастливые часы моей жизни.

Надо сказать, что о себе я не был никогда высокого самомнения, что и говорю откровенно, чтобы читатель знал, что я за человек. Я всегда с уважением смотрю на всех умных людей, каковы бы они ни были — генералы, князья, мужики, работники и даже лакеи. И тем паче уважал людей не мною открытых, но признанных Европою. Они не были пропускемы мною без мышления и обсуждения. Учёности глубокой за собой я никогда не признавал и не напущал на себя её глупым образом. В молодости обладал дивной памятью, и, бывало, что послушаю, то это уж моё и не скоро его забуду. Слоспособность эта жила во мне до 50 лет, пока не хватил меня первый удар. А потому, ежели я знал что, так скорее от того, что слушал умных людей и их мышление, нежели сам себя образовывал чтением, на что у меня не хватало времени, ибо искусство я посвящал почти всё целиком. Эту отрасль я старался в себе развить, работал и читал кое-что необходимое, чтобы не быть невеждою. Но в глубокомыслии, вроде художников Ге, Крамского и других, я не пускался и теориями художественными и судьбами искусства считал удручать себя совершенно лишним. Обращение с красками и механизмом живописи никогда не почерпывал из книг, а только из практики, сравнивая с результатами годов и действовавших на меня чужих картин.

Итак, я сказал, что умных людей я как бы боялся, а потому, вступая в разговор с Клодом Бернаром, то же чувство меня охватывало. Но через полчаса разговора с ним, не видя в нём никакой напыщенности, я уже был совсем бравым человеком, так прот и нехитр в своих словах этот великий муж. Тут я ему напомнил о моём визите к нему с Якубовичем. «Да, да, помню, помню. Это очень оригинально, что с вами случилось. У других это пройдёт незаметно, но вы всё-таки обратили на себя внимание. Вера в чудесное часто осмеивается людьми. Возьмите все эти рассказы про видения во дворцах и про дам бланш*. Они кажутся вымышленными, но я их не отвергаю, ежели они продукт охватённого страхом человеческого организма, а иногда и просто явления животного магнетизма».

Говорили о прогрессе в религии. «Вы остаётесь теми, какими были. У вас, как у католиков, есть святые. Да отчего им и не быть, ежели они отличались от мирян строгостью жизненною, так уважайте их. К тому же они были проповедники, столпы религии. В полную святость, настоящую, людей трудно верить. Она приходит после, когда наш ум созревает, но ведь это всё-таки дело недурное — служить примером смирения для других. Уважать священное предание следует, но обновлённое новизной. Тогда оно уже не остаётся ответвлением, каким было принято народом. Вы, русские, крепки верою, это делает вам честь, вы не боитесь, что вера ваша будет завтра политикою. А раз только она взяла это направление, так посмотрите, куда мы ушли. Мы уже ни во что не верим, да и смеём уже посягать на свободу людей, как бы бросая им в глаза угрозу — как ты смеешь верить. Тогда как это достояние вполне свободное всякого гражданина. Вы говорите — за царя и за веру, а мы что можем сказать для нашего сплочения? Ничего! И всё, что сказано, хоть бы и громко, но всё это не имеет нравственного смысла, как ваше воззвание, которое сплочено преданием. Ведь патриарх был у вас прежде что-то вроде папы. Он стоял

* Привидение, призраки (франц.).



А. П. БОГОЛЮБОВ. Трепор. 1880-е гг. Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые

между царём и народом». — «Да, это было до Петра I, который уничтожил патриаршество. Он видел, что народ его невежествен и что религия, будучи в руках интригана, мешает правительственному строю, поэтому и передал её в руки коллеги Священного Синода». — «А царь, разве он не патриарх у вас?» — «Нет. Царь есть главный хранитель православия и поборник его, но папской власти он никакой не имеет. Всё решается Синодом, и он только утверждает». — «А-а-а, мы думали, все цари у вас и папы!»

Мнение это, впрочем, общее у французов. Когда пишу эти записки, я бы мог сказать моему слушателю, что были случаи, где император Павел брался за службу обедни, а потому и юный король Прусский и Германский император тоже шутил религиею и служил обедню на военном корабле. Но это было сказано теперь, ибо событие последнее пришло мне в голову, как и первое, далеко после беседы с Клодом Бернаром.

Надо сказать, что много способствовали и развязывали во мне свободу разговора добрая и благообразная наружность учёного, и его тихий приветливый голос, и простота выражений. Конечно, по своему уму он прямо видел, с кем имел дело, что и составляет, по моему, высшее образование человека — распознать человека и дать ему возможность беседы — на что он способен.

Темы разговора со мной Клода Бернара были очень разнообразны. Он расспрашивал меня о семейном быту в России и радовался, что у нас есть ещё семейная жизнь и что дети любят и уважают своих родителей. Проводил параллель между французским крестьянином и нашим, говорил о русской бабе и здешней. Потом переходил иногда к науке и представлял гением Ломоносова и Екатерину II как умную женщину, дружившую с Вольтером. Относился к Пирогову как к блестящей русской учёности и говорил о достоинствах министра просвещения Уварова. Очень интересовался моими рассказами о покойном герцоге Максимилиане Лейхтенбергском, когда я ему его обрисовал как человека, выпустившего меня на карьеру художника из морского офицера. Он лично знал покойного и его доктора Грубе (после знаменитого харьковского профессора), сожалея его, как рано погибшего, называя жертвою страстной природы, и, между прочим, сказал: «Хотите знать особенность этого человека? Он был мистик, но скрытый, ибо был очень умён. Раз я слышу от него, что он завтра увидится с весьма неприятным ему лицом. «Ну, что ж, — говорю, — не принимайте его». — «Это — невозможно, я его должен встретить, и сам не знаю где, но я его встре-

чу». — «Так просидите дома целый день, — говорю я, — смеясь». — «И этого сделать не могу, потому что должен быть у принцессы Матильды». И вот герцог садится в карету и едет с визитом. По дороге его экипаж сталкивается с другим. Он отделяется благополучно, хотя карета его падает на тротуар и придавливает какого-то господина. Герцог не ушибся, но раздробленным стеклом ему поранило щёку около рта. Он вылезает из противоположной двери кареты, и первым его впечатлением был господин, которого он избежал, нога его попала под карету и была сломана. Долг чести заставил его освободить своего врага из-под экипажа и на руках отнести в ближайшую аптеку, по требованию доктора присутствовать при перевязке и проводить раненого на квартиру. На другой день герцог приехал ко мне и рассказал, что с ним случилось. Вид его был радостный. Английский пластырь залеплял щёку. «Ну и что ж, — говорю ему, — тем дело и кончилось!» — «Нет, вся развязка в том, что раненый был подлец в рассуждении меня. Тут он сознал свой грех, протянул мне руку, сказав: «Я не стою вашего прощения. Не будь этого случая, я навсегда остался бы вашим врагом, но благородством вашим вы меня обезоружили. Простите меня». — «Я не устоял и простил его». — «И прекрасно сделали, а предчувствие ваше я не перетолковываю в чудо, а просто дело в том, что это ещё неразгаданный человеческий инстинкт, которому подвержены многие нервные натуры».

«Так вы, не называя это чудесным, — говорю я, — всё-таки не отвергаете, что в жизни нашей бывают случаи, которые кажутся чудесными, будучи только проводниками нашей нервной системы?» — «Да». — «Ну, а как вы мне уясните следующий случай, который передала мне моя мать, женщина умная и верующая? Дед мой, Александр Раднщев, был учёный-литератор и видный деятель времён Екатерины». Тут я ему рассказал, кто был Александр Николаевич. Его воспитание (заграничное воспитание), его литературную деятельность, служебную переписку с Дидро и, наконец, ссылку в Сибирь за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

Клод Бернар призадумался и, наконец, сказал: «Хотя отдалённое, но и тут нервное сочувствие оправдывается».

В другой раз я рассказал ему мой эпизод с генералом, бароном Гейсмаром, который помещён в моих записках, как он предсказал свою смерть. Этот эпизод отнёс он скорее к случайности, чем к нервному проявлению.

Клод Бернар был любитель природы. Часто перед закатом солнца мы смотрели с высоты на теряющийся во мгле горизонт, испещрённый стаями рыбацких лодок, на кипящую людскую толпу на пляже. Всё это его оживляло, и он добродушно говорил: «Как чудно всё вокруг нас, как тихо и покойно и как бы было хорошо, чтобы всегда царило это отрадное чувство». С этими душевными пожеланиями он скоро умер, оставя память во всех людях, его знавших, то глубокое уважение, которое отдало ему потомство, как замечательному мыслителю и добрейшему сердечному учителю.

Война на Дунае

Настали опять после радости для меня тревожные дни. Надо было обратиться к оператору, и мы с братом порешили пригласить доктора Доннелонга, как человека крайне гуманного и опытного.

Надо сказать, что дорого стоило в Париже ложиться под нож, но этот хирург нас не ободрал и до самого начала выздоровления брата был чрезвычайно внимательным. Приходилось выскоблить часть бедра, которая уже подвергалась разложению. Медленно шло дело выздоровления, и только через 3 года брат мой оправился и никогда не жаловался до глубокой старости на свой недуг.

Но по натуре Николай Петрович не мог оставаться без деятельности, а потому как только стал выходить, то сейчас засел за серьёзный труд, продолжение книги «История корабля»⁹⁰, чем занимался чуть ли не 5 лет. И, к чести своей, написал книгу, которая не существует нигде в такой полноте, ибо он начал ещё от колыбели древнего мореплавания во всех странах мира и дошёл до настоящего судостроения, изобразил и наше русское судостроение, и историю его от Олега до исчезновения с Волги каботаных судов, расшив, шатиков, мокшан и пр. и пр. Труд свой он посвятил Наследнику Александру Александровичу. Теперь книга эта сделалась редкостью и, конечно, всегда останется интересною по своему содержанию.

1877

Но шло медленно выздоровление Николая Петровича, и я, несмотря на нашу истинно братскую любовь, ясно видел, что житьё во Франции ему не по натуре, да и не по душе. А потому, погостив у меня 2 года, он решил поехать на житьё в Москву, где были у нас добрые знакомые и небольшая родня. Несмотря на наше знакомство в Париже с семейст-

вами С. С. Полякова, г.г. Франкештейнов, Броневских, гр. Муравьёвых и других обитателей, привычка к Родине проявлялась у него постоянно.

Но вот наступила роковая година для нашего отечества. В воздухе носилась будущая война за освобождение братушек⁹¹. Многим дело казалось правым и христианским, но были люди, которые с грустью смотрели на эти крестовые походы. Дипломатия была в чёрных очках и не видела будущих невагод, павших на наше отечество. Немцы перехитрили нас, а за ними и все остальные державы нас предали и оставили. Мы разорились в пух. Выиграли почти ничего, но до сих пор ещё в смысле золотого рубля мы ничтожны.

Конечно, не мне вступать в разбор происшедшего. Настанет время, когда ясно историк изложит наши ошибки. Я приехал в Петербург, когда война была уже объявлена, и повстречался с моим старым товарищем гвардейского экипажа капитаном 1 ранга Эйлером. Пошёл на Дворцовую площадь смотреть, как славный батальон гвардии под командой полковника Озерова парадировал перед Государем отход на Дунай. В городе было большое движение. Все шептались. Кто уверенно, а кто и с боязнью. Конечно, офицерство ликовало, это их элемент, их будущее, следовательно, энтузиазму было много.

На третий день моего приезда я был у Наследника в Царском Селе. В Александровском дворце под управлением Государыни Цесаревны работал Красный Крест. Будучи знаком со всеми, я зашёл в библиотеку, где образовалась швейная из разных придворных дам. Владея рисунком выкройки, я скроил 42 халата. Всем заведовала фрейлина Цесаревны гр. Апраксина (после кн. Оболенская) и секретарь Её Высочества Ф. А. Оом. По соизволению Цесаревича я прожил в Царском около двух недель, посещая усердно аристократическую швейную, кроя и полосуюя холст для всяких потребностей. Великий Князь спросил меня: «Ну, а вы, Алексей Петрович, на войну поедете?» — «Ежели прикажут», — ответил я. И на другой день он объявил мне, что Государь император приказывает мне писать уже совершившиеся события на Дунае — батарейный взрыв турецкого монитора, дела лейтенантов Дурасова и Шестакова и высадку наших войск в Добрудже.

Получив от министра Двора открытый лист на проезд на театр войны, я поехал в Москву. Закупил нужные пожитки для походного художника и прибыл в Кишинёв под тропическим проливным дождём⁹². Железнодорожная станция уже была во власти какого-то капитана. Поезда сменялись поездами, обозами пьяных солдат и артиллерии, так что прошло часа полтора, когда была возможность поговорить с капитаном, который на вопрос мой, могу ли я ехать далее с открытым листом, объявил: «Нет, вы должны взять здесь военный билет 1-го класса на Браилов, а хотите — так и на Бухарест». — «А где его берут?» — «Это в штабной канцелярии». — «А как туда попасть?» — «Это как хотите. Пожалуй, я вам дам провожатого». И дал какого-то солдатика Ермольева.

В это время дождь приостановился, но грязища кругом стояла непролазная. Послал я Ермольева в город привести возницу. Через полчаса он привёл какую-то телегу, и мы поехали. Добрались до штаба и доехали до крыльца. На спине Ермольева, по случаю лужи по колено, я зашёл в воинское присутствие, где за столом сидело человек 7 писарей, конечно, пьяных наполовину и с папиросами в зубах. На запрос мой о выдаче проездной карты приличный писарь сказал: «Да г. полковник с гостями в карты играют, побывайте завтра утром». — «Ну, так поди и отдай полковнику мой открытый лист и скажи, что я не жду. А ежели не даст, так скажи сейчас же, что буду телеграфировать главнокомандующему В. Кн. Николаю Николаевичу». В момент писарь начал застёгиваться, прихорашиваться и выбежал на двор. Через минут 10 вошёл в белом кителе краснорожий господин с усами до груди, осмотрел меня и говорит: «Да вы живописец?» — «Да, — говорю, — я не военный, штатский из Академии и от Цесаревича». — «Так что ж вы будете там делать?» — «Что приказано, прочтите хорошенько бумагу». Тут он её пробежал и вдруг добродушно улыбнулся и говорит: «Ну, это другое дело. А ты, что же, скотина, — обратился к писарю, — ничего этого не доложил, прохвост такой. Я бы скорее выдал». И точно, сам выписал моё имя на розовом билете, и через минутку я опять ковылкал по грязи на станцию.

Уже смеркалось. Спрашиваю станционного коменданта (как их тогда звали), когда идёт поезд. «Завтра в 5 часов утра». — «Так где же мне ночевать?» — «Да нигде места не найдёте. У меня тоже нет. Хотите, лягте на этот стол, на эту половину, ибо другую я отдаю штаб-доктору. Вот всё, что могу вам предложить, а пока положите на ваше место пожитки, в оправдание будущего, и пойдёте ко мне в каморку пить чай и покурить». Я поблагодарил его от души и вошёл в каморку, где стол готовили 5 офицеров и штаб-доктор Ширяев, с которым я сейчас же познакомился.

Комендант, капитан, оказался премилым человеком, весёлым и пьющим. Почти все пили пунш, но так как о коньяке и помину не было, то заливали чай очищенной водкой, заправляя лимоном.

Проспал я на столе благополучно, будучи очень уставшим, и, поблагодарив добродушного коменданта, поехал в Яссы, дав слово на обратном пути отдарить его рисуночками на память за гостеприимство.

Яссы были полны военным людом. Около станции стоял лагерем какой-то полк, тут же помещался барак для больных и раненых под опекою князя Друцкого-Любецкого, моего знакомого. Несмотря на то, что война только началась, больных было уже много. Тиф был в полном разгаре. Около больных ходили фельдшерицы и сёстры Красного Креста. «Славный это народ, — сказал мне князь, — работают с самоотвержением, безусловно, есть и каналы-нигилистки между ними. Недавно выгнал одну за то, что когда умирающий солдат просил позвать попа, то она начала его убеждать, что и без Бога дорога гладка в вечность и что всё это вздор и болтовня». Надо отдать справедливость кн. Друцкому-Любецкому, что он до конца ревностно нес свою обязанность и что барак его самый бойкий, как передаточный, содержался в строгом порядке и чистоте.

Порадовала меня особенность в Яссах — все извозчики были русские скопцы. Живут очень зажиточно и составляют свою корпорацию во всей Румынии, ибо в Браилове, Добрудже и даже Бухаресте их везде встречаешь.

Вечером я отправился дальше и на другой день достиг Браилова, главного пункта моих работ. По дороге повидал впервые удаль и фатализм нашего русского солдата. Везде на станциях, не то что в вагонах и на платформах, кишели их группы. Из окон раздавался хохот и хоровая песня, а на платформах с бубнами и тарелками отплясывали трепака, свистя и завывая всякими гиканьями.

Приехав в Браилов и ввалив на скопца-извозчика свой скарб, я его спрашиваю: «Какая здесь лучшая гостиница?» — «Да все хороши, ваше превосходительство». — «А где живут моряки?» — «А это в Европейской. Там весело и артистки есть». — «Значит, кабак?» — «Зачем кабак, генералы останавливаются». — «Ну, вези к генералам».

Европейская гостиница была полна, как огурец, но услужливый грек-хозяин, или скорее жид, попросил обождать до 3-х часов, ибо выбывает инженер-полковник. Я остался в зале, расспросил, кто здесь флотские офицеры. «Да их человек 10 живёт, а вот идёт мичман Фёдоров». Я с ним расклялся и сейчас же вступил в тесную дружбу, ибо он занимался живописью и страшно обрадовался, узнав, кто я такой. С той минуты он сделался со мною неразлучен, и я ему много обязан за все его услуги. И в тот же день перезнакомился со всеми моими юными товарищами по флоту. Комнату мне дали приличную, довольно чистую, а к услугам явился сейчас вестовой матрос.

В 7 часов сервирован был обед, за которым, точно, играли венгерские артистки, сильно нарумяненные и отчаянно декольтированные. По окончании концерта они все разбрелись по номерам, а в том же зале составился «банк», переходивший в штос и ландскнехт. Народу собралось много, курили и пили, и хохотали до глубокой ночи. Но так как я чувствовал усталость, то и отправился спать. Уж я разделся, как кто-то постучался ко мне в дверь. Я зажёл свечу и отворил дверь. Вижу, передо мной стоит высокий господин. «Вам что надо?» — «Извините, ваше сиятельство. Я доктор при отеле, спать вам одним скучно, так не прикажете ли, я приведу вам прекрасную девицу». — «Я женат, и девок мне не нужно, благодарю за предложение». — «Да что же, что женаты. Царь Пётр Великий сказал, коли между мужем и женой три горы да три речки, так всё простительно». — «Ну, ну, убирайтесь к чёрту». И я захлопнул ему дверь на самую рожу.

Наутро мичман художник Фёдоров поехал со мною к флотскому начальнику капитану 1-го ранга Беклешову, который, узнав, кто я такой, сказал Фёдорову: «Так будьте при профессоре и всё, что необходимо, — катера, пароходы, чтоб были к его услугам». Поблагодарив за внимание, я пошёл с ним на Дунай. Весь берег был заставлен взятыми в плен турецкими катерками и лодками. Курился военный пароход, который командовал гвардейского экипажа лейтенант Петров, бывший с Дурасовым на миноносце для взрыва турецкого монитора. Он предложил мне, когда угодно, ходить с ним по Дунаю, по разным станциям, где он забирал больных и раненых, чем я и пользовался впоследствии.

В этот день я никакии речных экскурсий не предпринимал, но поехал с Фёдоровым очерчивать берега и батарею нагорную для картины взрыва другого турецкого монитора. По дороге сюда я купил иллюстрацию, где был рисунок Браиловского моста через Дунай художника Н. Каразина. Но напрасно мы искали пункт, откуда он был снят. И точно, таких контуров не существовало. После, когда в России я встретился с художником, то на вопрос мой: «Откуда вы брали вид на Браиловский мост?» — он с усмешкой мне ответил: «Да вот ещё чего захотели, я там и не был и, конечно, навалял всё из головы. На 10 целковых, которые Гоппе платит за рисунок, разве можно работать». Надо отдать справедли-

вость, что все работы г. Каразина таковы, хотя он талантливый иллюстратор, но натура для него не существовала во всех его рисунках и картинах.

Вечером я пошёл в Публичный сад. Народу была масса, горела вонючая иллюминация около вокзала, а в аллеях наше офицерство бойко разгуливало с дамами всякого пошиба. В кафе вокзала играла музыка, и танцевали очень оживлённо. Пыль стояла столбом от вертящейся публики, а на столиках пили сорбеты, вино и пили дувльченцы (варенье со стаканом воды). В глубине зала направо в комнате шла игра, конечно, в азарт и пилось пиво и местное вино. Тут же в зале была эстрада, на которой в антракты танцевали, пели левицы, вроде Европейской гостиницы. Такая жизнь повторялась изо дня в день, пока я там прожил. Жизнь здесь кипела ключом. Лица сменялись ежедневно проходящим войском. А когда проходила конница, то гаму бывало ещё более.

На третий день моего приезда мне дан был паровой катер, на котором наши храбрецы ходили подрывать турок, и мы пошли в приток Дуная, где виднелись мачты затонувших броненосцев. Зачертив местность, я подготовил эту масляными красками и закончил день тем, что отпилил флаштоки обоих мониторов и взял с мачт куски проволочных снастей на память. 3 дня сряду я занимался этой работой. Тут у берега стояли в камышах рыбаки. То были все красавцы, не утратившие ничего из своей народности. Благодаря им, я по колено в грязи прошёл по камышам, где на берегу лежала громадная дымовая труба одного из броненосцев. Каков же должен был быть взрыв, ежели такая тяжесть перелетела через весь приток и в шагах ста рухнула на землю⁹³.

Потом я ездил около недели на место высадки наших войск в Добрудже корпуса генерала Циммермана, что совершалось на баржах и 7-ми пароходах, их тащивших со множеством всякого рода мелких гребных судов, набитых войском. Со всего этого надо было делать этюды. Многих пароходов уже не было, они прошли вверх по Дунаю, а потому пришлось за ними гоняться то в Галац, то выше⁹⁴.

Видал я на своём веку пальбу морскую и земную, но порохового подводного взрыва мины не видывал. Благодаря Беклешову и коменданту браилового порта мне отпустили пуда 2 пороху. Всё это засмолили в ящике, привязали к буйку, провели приток электричества и в один прекрасный вечер угостили меня этим зрелищем. После чего я уже свободно мог писать ночной взрыв по Государевому заказу⁹⁵.

Пришлось мне несколько раз ездить вверх по Дунаю на пароходе с лейтенантом Петровым. Трудная была это обязанность. Каждый раз привозили до 100 больных и раненых русских солдат и турок. Конечно, с ними не очень церемонились, а потому случалось, что во время пути умирало человека по два и по три. Санитаров было мало, жара стояла страшная, так что офицеры и матросы утоляли жажду этих несчастных. Но время было военное, а потому и смотрелось на всё хладнокровно и делалось, что можно. Каждый раз по прибытии парохода его дезинфицировали, жгли серу, прокуривали дымом и мыли карболкой стены.

Проходили мы и минные заграждения на Дунае, скрепя сердце, ибо чёрт его знает, быстрое течение могло их снести на место, где рассчитывали проход для судов. Но Бог милостив. Работая в камышах и часто встречаясь с рыбаками-красавцами, я покупал у них рыбу, которую отдавал матросам парохода или парового катера. Её много в Дунае, но вкус тинистый, отвратительный. Стерлядь не янтарная, что на Волге или на Дону, а бурая. Раки хотя огромные, но совсем пустые. Впрочем, её в Браилове летом почти не едят, ибо боятся лихорадок.

Прожив здесь больше месяца, я закончил мои работы с природы. И хотел ехать в Систово, чтоб пробраться в ставку Наследника Цесаревича. Но вдруг меняхватила лихорадка после того, что я промок на проливе. Флотский доктор дал мне громадный приём хины. Сделалась у меня слабость и дурман, и я порешил вернуться домой, ибо дело лейтенанта Скрыдлова и Верещагина⁹⁶ писать было невозможно потому, что под Руцукон Дунай ещё не был нами занят и стояли турецкие два монитора.

За неделю до моего отъезда пришёл поезд, на котором везли раненого Скрыдлова, которого я посетил и подробно разузнал, как он делал свой молодецкий набег на турку, за который и поплатился раной в ногу и украсил свою грудь орденом св. Георгия. Но вид его был вполне бодрый, и мы расстались, сказав друг другу до свидания.

Распростившись со своими флотскими знакомыми, я отправился в обратный путь. Мичман Фёдоров так усердно со мною работал, что решился предаться живописи сейчас же по окончании войны. Что он и сделал, поступив в Академию. Но поздняя подготовка и рисунок строгий ему были трудны. Писал он несколько картиночек, делал рисунки, но всё это было слабо, и что с ним стало после, мне неизвестно.

Приехав в Москву, я нашёл моего брата хуже, чем оставил. У него опять шли отбрызги косточек от оперированного бедра, причинявшие адскую боль. Спасибо хирургу Стукавенко, который довёл его через год до полного выздоровления.

Ещё стояла погода хорошая, а поэтому я поехал в Нижний, чтоб написать этюды из дворцовых комнат для картины, которую давно мне заказал Наследник Цесаревич. Этюд тот был около половины аршина. Сидеть было очень удобно на балконе, а потому я его считаю самым сильным своим произведением. Его купила у меня Юлия Адольбертовна Воейкова. С этого этюда я сделал ещё 2 повторения. Картина⁹⁷ была выставлена в Париже на выставке, и я получил за неё офицерского Почётного Легиона и *Palema de l'Academi**.

Общество русских художников в Париже

На осень я снова отправился к себе в Париж. Стояла и тут чудесная осень, а потому я всласть поработал этюды в Овере на реке Уазе, где когда-то жил знаменитый Добиньи.

До сих пор в Париже были только частные сходки художников и в мастерской художника Дмитриева-Оренбургского. Но радостная весть, что Плевна пала, что война шла к концу, нас ободрила, и мы порешили в день её взятия основать в Париже «Общество взаимного вспомоществования русских художников»⁹⁸. Сейчас же собрали картины, рисунки для лотереи и успешно разыграли, благодаря нашему члену П. В. Жуковскому, который ловко всучивал на тысячи франков билеты своим американским друзьям. А за ним гр. Юлий Иванович Стенбок, гр. Муравьёв-Амурский, генерал Козенфильд, Кумани. По совести выделили из всего 5 тысяч франков и отправили их через графа Адлерберга Государю императору, прося принять для раненых нашу лепту от нового Общества русских художников в Париже.

Получив благодарственный ответ, мы получили и гражданство. Написали Устав, над которым немало потрудились И. С. Тургенев, как секретарь, и барон Гораций Гинцбург, как кассир. Князь Орлов принял президентство Общества. Все художники и много русских сделали членами плевненского достопамятного дня. Тут материально много помог нам барон Гораций Осипович Гинцбург. У него был сын, художник, который, к несчастью, умер. И он отдал нам его мастерскую как даровое помещение и положил первый денежный фонд для составления капитала Общества.

Иван Сергеевич Тургенев увековечил себя тем, что был секретарём нашего парижского Общества русских художников, где он состоял и основателем и, конечно, являлся самой крупной единицей на всех наших вечерних собраниях, которые он любезно посещал с полным простодушием своей богатой природы. Бывало, станет он читать что-либо из своих сочинений — всё замрёт кругом, и мы жадно ловим каждый его жест руки и не налюбujemy на выразительность его глаз и лица.

Подчас велись и рассказы, почти всегда шуточные, полные русского юмора. Но редко говорилось о художестве в смысле его критики. Однако раз, в силу того, что я сообщил несколько моих наблюдений над А. А. Ивановым, схваченных в Риме и Париже, которые подтверждали те же самые описания чудака-художника, напечатанные у Ивана Сергеевича в его рассказе⁹⁹, Тургенев невольно перешёл к оценке его картины «Явление Спасителя народу». И тут так же, как и в печати, утверждал, что Иванов только был труженик, пожалуй, мыслитель-идеалист, но самобытным никогда не был и нового ничего не проявил, что, пожалуй, следует идти его путём труда и честности художественной, но всё-таки надо «создавать себя», а не быть подражателем. Последнее, пожалуй, справедливо, но общее положение Ивана Сергеевича об Иванове совершенно ложно. Иванов был классический деятель, полный глубокомыслия, несмотря на свои фокусы и причуды. Тургенев хотел от него блеска красок, движения фигур, но это не была задача, какую взял для исполнения художник, который, точно, не блистал колоритом, но обладал в высшей степени подражанием натуре и владел самым строгим рисунком, разве присущим Энгру.

Взгляните на его пейзажи, на уголок воды, радужно дробящейся кругами около нагих фигур, взгляните на оливы, даль картины, и, право, только слепой скажет, что это не натурально и не глубоко прочувствовано. Есть люди, которые бросали в лицо Иванову упрёк, что, 23 года работая картину, можно было съездить в Палестину, но не в римскую долину Фраскати. И это вздор! Художник воспроизводит природу, какую он чувствует и в которой живёт. И картина его, будучи умна и писана с природы, со строго выполненным историческим сюжетом, уже есть произведение великого творчества! Тициан, Рафаэль, Поль Веронез и прочие великие мастера не стеснялись несколько писать священную историю в сво-

* Награда Парижского института искусств (франц.).

их венецианских и римских палаццо или флорентийских и других пейзажах. А Иванов за то же подвергался упрёку, когда всякая его фигура, начиная от Христа и кончая угольным, синим от дрожи и холода рабом, дышит правильностью форм и одиночного выражения, что и составляет неоспоримое целое! Не продолжать дело, начатое художником Ивановым, надо русским художникам, как это говорит Иван Сергеевич, но изучать его во всех отраслях с полною добросовестностью и быть им. Вот что должно стать бесспорно истиною для молодого поколения, забывая краски, яркость которых пройдёт со временем, как это мы видим в древних мастерах, перед которыми всё-таки преклоняемся и которые будут жить вечно вместе с картиною Иванова!

Никто меня не может осудить, что я не был рьяный поклонник и обожатель покойного Ивана Сергеевича! Все знали, что я пользовался его вниманием до конца дней, а потому, ежели позволяю себе сказать о нём своё мнение относительно только художественной его оценки картин, то высказываю вследствие моего многолетнего наблюдения, никак не отнимая от него, что в его описаниях природы есть та высокая наблюдательность и красота, которую, дай Бог, видеть каждому художнику и при том умении выразить её на холсте, как это он делал своим могучим пером.

Всем известно, что натура Ивана Сергеевича была сильно впечатлительная и даже с подчинением тому человеку, в которого он уверует (Белинский, Пушкин, Анненков, граф Толстой, Виардо и пр. и пр.). Таким был около него много лет Лун Виардо, умный и глубокий изучатель двух школ, по преимуществу — старонидерландской и голландской. Благодаря своему знанию, Виардо собрал у себя почти задаром весьма почтенную коллекцию, посещая постоянно Отель Друо, куда часто хаживал с женою и Иваном Сергеевичем. В это время Тургенев был любителем только древних картин, и я у него видел картины Ван Гойена, Тербурга, Мейериса, Теньера и других. Но вскоре он их разлюбил, и они незаметно сменились Руссо, Добиньи, Харламовым, Коро и другими мастерами школы 30-х годов. Тут Иван Сергеевич подчинился моде. Не раз случалось бывать мне с ним и Виардо в парижских салонах. И здесь-то я убедился, что Тургенев никогда не смотрел своими глазами, но всегда приглядывался к мнению Виардо и публики. Помню ещё, когда торгош картинный Зедельмейер, державший на откуп за 150 тысяч франков в год венгерского художника Мункачи, при диорамическом свете, окружив публику тьмой и бросив яркий свет сверху на картину «Христос перед Пилатом», собрал к себе в залы лучшую парижскую публику, куда и я попал благодаря м-е Виардо. Как тогда все шёпотом говорили: «Да это чудо! Это колоссальное произведение!». То же слышал я и от Ивана Сергеевича. Конечно, картина была нова, блестяща по краскам, представляла как нельзя лучше. Но когда случилось её видеть в другом свету и когда пришлось перейти от блеска к разбору композиции, а главное, рисунка, то мало от неё осталось хорошего.

Христос здесь — озлобленный каторжник, смело смотрящий на Пилата, и, ежели бы ему развязали руки, то так бы и вцепился он в жирное туловище римского правителя. Правда, позади видна разъярённая толпа, она шевелится, фарисей характерны по лицам, но не по костюму, который театрален. А постройка перспективы здания даже крива и безграмотна. Ну, и вспомнил я тут тусклую, пожалуй, без блеска, картину Иванова, вспомнил лик Спасителя, Иоанна, и мне стало грустно, что Иван Сергеевич так малосознательно делал свои заключения о гениальном вполне, русском художнике А. А. Иванове! А что сказано таким авторитетом, как он, то, пожалуй, и будет принято за непреложную истину.

В воспоминаниях об А. Иванове в самом начале, где три форестьера едут в Альбано, Иван Сергеевич говорит, что после Клода Лоррена нам никто, ни пером, ни кистью, не мог передать римской природы. Тут он опять забыл своего спутника, которого совершенно неосновательно обзывает «идеалистом», тогда как в труде своём Иванов был всегда полнейшим реалистом. Слово идеал есть, по-моему, далеко не приличное слово, навязанное тому, кто верно воспроизводит всё с природы, без отступлений, что подтверждают все этюды с натуры Александра Андреевича Иванова в галерее П. М. Третьякова, целиком помещённые в картине «Явление Христа». Клод Лоррен был идеалист, это несомненно, и поэт в живописи, как его называют некоторые, но не я, ибо, по-моему, поэзии нет ни в искусстве, ни в литературе. Это слово дико условное, а её составляют высший реализм, прекрасно сплочённый тонким вкусом и наукою, но строго взятый с природы, с жизни, с помощью зрения и ума человека, ибо всё, что есть бред воображения, то, по-моему, нелепо и неясно для ума твёрдого. Клод Лоррен давал всегда произведения скопированные, составные, гулу иногда дуги непаренные насчёт перспективны, пихал в свои фоны пять, шесть планов. Там были и моря с кораблями, острова, ближе — рощи с двориками, каскады, опять вода и берег, заполненный длинными, по тогдашнему времени грациозными барынями и полунагими мужчинами высшего тона, удающими рыбу или просто беседующими. Всё это в об-

щем было стройно, гармонично, блеск солнца и туманные дали были, точно, обворожительны. Но правды Божьей, природы ивановской тут искать нельзя. Хотя в эпоху когда Иван Сергеевич Тургенев писал свои воспоминания, то во Франции уже жили Руссо, Коро, Добиньи, Тройон, Марилла, Декан и Мейссонье, а в Дюссельдорфе братья Ахенбахи, которые тоже писали Италию со всеми её неискажёнными прелестями, но о которых Иван Сергеевич не помышлял, руководясь традициями своего первоначального воспитания. А потому строгим и глубоким критиком и знатоком искусства Тургенев, по моему, никогда не был.

Иван Сергеевич жил в Буживале на своей даче «Les Frenes». Тут же находилась дача его родичей, детей и жены покойного Николая Ивановича Тургенева, известного литературного деятеля-декабриста. Это не были его близкие родственники, а почти однофамильцы.

Как мне говорила м-м Тургенева, Иван Сергеевич был у них лет 45 тому назад первый раз в Швейцарии, студентом. И с тех пор отношения их были никогда не близкими, но всегда самыми дружескими. Судьба свела их ближе в Буживале. Семья Тургеневых, надо сказать, была весьма патриотичная, замкнутая,

но крайне почтенная. По смерти Николая Ивановича, они ещё более замкнулись. Дети оперились, мать свято охраняла их своими заботами от всякой неприятности и уж чересчур, как говорили их знакомые. Сам Иван Сергеевич не иначе выражался про них: «Это мои прекрасные, но скучнейшие кузены». У кузенов и кузин имение всё принимало более и более громадные размеры. Они скупили более 125 клочков земли около своего шато, что составило, поди, 100 десятин земли с лесом и садом и виноградниками. Последний крайне их занимал, хотя был самого плохого свойства, как и все окружные Парижу. Но примерно так, что своё серебро всегда лучше чужого, в октябре, при сборе, на который всегда приглашались друзья и близкие знакомые, из учтивости все хвалили вино и фрукты. Бывал тут и Иван Сергеевич в райском расположении духа. Когда половина подогретых рабочих пошла на место преступления с ножами, ножницами — обрезалками и корзинами, то перед распределением труда они говорили, как взяться всем разом. Вдруг послышался тоненький, но резкий и сильный голос: «Постойте, постойте, господа и госпожи! — кричал Иван Сергеевич. Замолчали. — Прежде всего я вам скажу моё размышление. Вдумайтесь в него, оно, кажется, справедливо. Ведь виноградник наших дорогих хозяев всё-таки отвратительный, а вы его хвалите. Ну как тут не сказать, что Господь Бог вполне несправедлив в этом случае, когда такая дрянь нравится! А чудные плантации Бордо и Шампани теперь от этого бича страдают!». Громкий хохот с гиканьем огласил поле, все весело разбежались по грядам, а вечером за обедом только и дела было, что разговор вертелся на тему добродушного размышления Ивана Сергеевича, на что он отвечал со свойственным ему юмором, забавлявшим весёлую компанию до конца сходки.

Иван Сергеевич, когда бывал в духе, а в особенности за столом, любил рассказывать нецензурные былины. Окружённый молодёжью в нашем парижском клубе художников в 18 rue Tilsitt, он бывал тоже очень весел, и сколько могу упомянуть, не раз от него случилось слышать облюбленный им рассказ про бабу, укорявшую при своих товарищах прогара-



А. П. БОГОЛЮБОВ. И. С. Тургенев на охоте. 1879. Акварель. ГРМ. С фотографии, находящейся в СРМ

забудыгу мужа, только что пробудившегося с похмелья. Дело шло о том, что хата и семья страдала от разгула отца, пропивавшего частенько не только что сапоги, но даже портки. В таком виде стоит мужик, запустив пятерню в свою волосину, а бабы все галдят вокруг него. Наконец, терпение мужика лопнуло, и на все укоры и ругань жены он только ответил: «Ну да, позавчера был пьян и сегодня опохмелился, а не кажинный же день пью, что ты врѣшь, дура — х... посудина этакая!». Последнее выражение он считал высокою живописью с натуры русского человека и прибавлял: «Непереводимо, сильно и верно!».

В другой раз случилось мне с ним обедать за Сеной в известном ресторане Латинского квартала «Пуаро». Тут были художники-пенсионеры Поленов, Репин, Татищев, Вырубов и ещё два-три знакомых. Иван Сергеевич тогда был совсем здоров (хотя иногда страдал подагрой). Стол был пррстой, но сытный, вино не высших цен, но доброе. Когда подали кофе, коньяк, ликёры, то разговор шёл на тему поверий и предрассудков, самых тупоумных. В силу чего Иван Сергеевич рассказал следующее. Какой-то досужий человек спросил однажды Ивана Сергеевича: «Ну, как вы себе представляете чёрта?».— «Да я, по правде, об этом никогда не думал,— ответил он, добродушно улыбаясь,— но желал бы слышать ваше мнение».— «Ну так вообразите себе господина с одной нождрёй и без спины — ну и вот он и есть чёрт».— «Глупо, но занятно»,— сказал Тургенев. И очень часто задавал эту задачу, когда бывал в весёлой компании, своим слушателям.

Раз как-то Иван Сергеевич слышал рассказ от гр. Григория Александровича Строганова о том, как исправник в мундире и треуголке в каком-то городке России сопровождал его даже в баню. И в то самое время, когда солдат-банщик дошёл с мыльной мочалкой до омовения причинного места, страж, бдительно следя в щёлку двери, не утерпел, вдруг раскрыл её и громко сказал «Осторожно!» и опять пребывал в прежней дисциплинарной бдительности. «Это, ежели и не с натуры взято, то очень занятно составлено»,— сказал Тургенев. А я говорю ему: «Но ваш рассказ об «отчитывании» попом Яковом дворянского Семёна я никогда не забуду и удивляюсь, как вы его не напишете золотым вашим пером».— «Этого рода поэмы я вам предоставляю,— сказал Иван Сергеевич,— ежели хотите». Что я и сделал, но только, конечно, неумело и худо не так колоритно, как передавал нам сам автор в таверне «Пуаро».

С думой о Радищевском музее

Предложение Саратову

Скучно мне было жить одному в Париже, и я всё-таки порывался возвратиться в Россию и просил брата моего в Москве купить пустопорожную землю, отстроить мне дом с мастерскою и гаереею, а в нижнем этаже устроить своё жильё¹⁰⁰. Работа закипела. Архитектор Даль сделал мне план дома, так что на другой год я уже мог заняться его отделкой. Отправя весь мой художественный скарб, картины и мебель, я даже намеревался зимовать. Но к октябрю почувствовал, что эта затея не по моему здоровью, и уехал опять в Париж, где увидел, что я сижу почти в голых стенах, стал снова заводить обстановку, конечно, стараясь покупать художественную мебель медленно, ибо цены на всякую антику сильно вздорожали.

Проездом в Петербурге я был у моего приятеля Константина Петровича Победоносцева, который ко мне в течение жизни не изменился, а потому помогал мне во многом своим положением и добрыми советами. Рассказал я ему, что выстроил дом в Москве, но вижу, что это вздорная затея и что совет мудрый С. П. Боткина никогда не зимовать в России справедлив. Я стал думать о его продаже и об устройстве в Саратове художественно-промышленного музея со школою. Мысль эта давно у меня зародилась, да, кроме того, мне всегда хотелось увековечить имя моего знаменитого деда, многострадального Александра Николаевича Радищева, саратовского дворянина и уроженца. «Дело хорошее,— сказал мне Константин Петрович,— но подумайте и помните всегда русскую пословицу — семь раз отмерь, один раз отрежь. А что касается меня, то я вам готов помогать. Вы поговорите об этом с Государем Наследником, что он вам скажет, ибо в царствование императора Николая Радищев всё ещё считался революционером, хотя и был прощён с возвращением ему всех прежних чинов и прав. Но не знаю, как на это посмотрит нынешнее правительство. Думать о всём можно, но действовать следует благоразумно, чтоб не испортить хотя и благое дело. Не будь у вас Радищевского вопроса, конечно, его бы решили сейчас же. Но зачем вы не хотите дать ему своё имя, ведь вы человек известный».— «Об этом я и не думаю, ибо считаю себя разве достойным дать моей школе Боголюбовское имя. Но рядом стать под одной крышей с моим дедом — вот вся моя амбиция».

Итак, я решился действовать. Попросил Константина Петровича Победоносцева написать предварительно саратовскому губернатору Галкину-Врасскому о моём намерении

и прозондировать, как саратовские думцы примут моё предложение¹⁰¹. Конечно, Дума долго думала и не дала мне никакого положительного ответа ровно год. Так что я лично не смел сообщить мои мысли Цесаревичу Александру Александровичу и стал уже помышлять о другом городе, соседнем с Саратовом, а именно о городе Пензе, где Радищев был тоже землевладельцем.

Парижская Всемирная

1878

Но вот было объявлено открытие в Париже Всемирной выставки, и русский народ, служебный и гуляки, стали наполнять дивную столицу Франции. Уже давно кипела работа на Марсовом поле. Улица иностранных домов всех стилей выросла, как грибы из земли. Наши русские мужики сварганили что-то вроде швейцарского шале из брёвен, навесили на него узорчатую резьбу вроде полотенца. На гребешок здания, конечно, вlepили конька, почему-то с павлиньими перьями заместо хвоста и окрестили постройку «Русским теремом». Иностранцы и французы, конечно, поверили на слово, и в газетах Стасов расхвалил архитектора Ропета как гениального знатока русского стиля.

Товару навезли всякого — кожи, кумачей, сапогов. Железо и чугун были прекрасно представлены, как и разные породы наших деревьев, для которых балаган на свой счёт построил барон Соломон Гинцбург и, конечно, получил за это Легиона. Приехало и художество русское с представителем или комиссаром Валерием Якоби, ставленником и другом конференц-секретаря Исеева, а впоследствии его иудую-предателем. Президент наш В. Кн. Владимир Александрович вспомнил обо мне и просил принять звание члена жюри, что я и исполнил к великому неудовольствию Якоби и Исеева, которые с первого дня начали со мной вести войну. Так как в Париже было довольно много русских художников, то мы испросили у Академии право выставить наши картины¹⁰² без её предварительного осмотра. Но г-н Якоби стал браковать наши картины, говоря, что он уполномочен в выборе вещей. Зная, что этот человек нахально врал, я написал ему письмо, где просил письменно подтвердить его полномочия. На это он не поддался и сделался уступчивым. Началась разборка картин. Тут, конечно, он был хозяином дела, а потому те художники, которых поместил плохо, заявили ему, что картины берут назад, ежели он не освободит нам место, которым мы сами распорядимся. Опять надо было уступать, что его ещё больше взбесило. М. М. Антокольский привёз на выставку свои прекрасные мраморы. Якоби и с ним сцепился. Но твёрдое требование скульптора тоже закончилось тем, что он сказал, что ставит свои вещи сам или везёт обратно. Опять — нос, опять — злоба и уступка.

Наконец, собрались мы на первое заседание жюри. Все крупные личности Франции и Германии были мне знакомы по Венской выставке, и потому я очутился в кругу старых приятелей. Долг вежливости заставил меня отрекомендовать им всем моего коллегу, который с первого же дня повёл себя крайне авторитетно и невежественно, что их очень удивило. Представительство скульптуры я на себя не взял, и когда начали её обходить и почтенный президент группы старик Кавалье взошёл к нам в зал, окружённый членами скульптурного жюри, то г-н Якоби с развязностью почти военного человека сказал президенту: «Я требую, чтоб господа Антокольский и Чижов были одинаково награждены за свои труды». Наступила минута молчания. Тогда я в свою очередь говорю Кавалье: «Не считая себя компетентным по скульптуре, но равноправным с моим коллегой, прошу вас самих с вашими помощниками наградить русских скульпторов по вашему усмотрению, но никак не по моему указанию». Кавалье подал мне руку и повернул спину к Якоби.

Осматривая картины всех наций, взор наш невольно остановился на огромной картине г-на Зичи, венгерского художника, проживающего лет 40 в России и имеющего звание придворного живописца, облагодетельствованного русским царём, которого вот как он изобразил. Картина носила название «Гений зла». На чернильно-красном небе в виде зарева или пожара летел чёрт, волооча какую-то женщину, Бог знает, куда и зачем. А на земле изображалось шествие немецкой военной силы, которая несла императора Вильгельма по разорванным знамёнам Франции, забрызганным грязью. Справа шло шествие клерикалов с разъярённою толпою гарибальдийцев. Позади — трон с Папой, который тащили изнемогающие кардиналы, и святой отец почти валился с золотых кресел, подвывая к небу ключи св. Петра. А слева по трупам турок с панславистским крестом шагал наш царь, император Александр II, благодетель художника.

Будь это всё хорошо нарисовано, колоритно, то можно было бы сделать уступку для художественных качеств картины, но так как г-н Зичи был всегда ловким и талантливым акварелистом, но никогда не рисовальщиком, то картина его не имела никаких художественных заслуг. Трактовалась по сюжету, который все единогласно признали оскорбительным для чести наций, им изображённых. И тотчас же последовало общее решение скорей

убрать её с выставки. Не скрою, что голос мой тут был один из громких, ибо я считал себя вполне обязанным моему царю за его доброту ко мне. Да кроме того русский подданный не мог молчать при виде такого безобразия. А дело было вот как. Граф Адлерберг, видя непомерное жалование Зичи, получаемое им за рисунки охот и других царских обиходов, предложил сделать некоторую уступку. Зичи воспротивился, и его от службы уволили. Перебрался он в Париж. Сделал свою выставку в клубе «Мирлитон» и, конечно, совершенно провалился, несмотря на сильную поддержку художественного критика Теофиля Готье, почему и вздумал выместить свою злобу такою пошлостью.

Кстати, скажу здесь, что после смерти Александра II он снова явился в Россию, опять занял прежнее место при Дворе, на котором и поныне благополучно пребывает, рисуя всякую дребедень в виде виньеток, весьма вкусно и талантливо. Но как живописец он всегда был крайне плох, хотя и пристёгивал к своим картинам политическую лошадь для помощи. Удаётся же таким проходимцам легко грабить добрых людей! Молва всегда была о нём такова: что это во кресте еврей из Венгрии, из местечка Зичи и что тут нет никакого родства между графами того же имени.

Поведение Якоби со мною в заседаниях жюри, конечно, было самое коварное и отвратительное. До собрания мы условливались, за кого подавать голоса, и сообщали это членам, нашим приятелям, записочками. Но каково же было моё удивление, когда Жан Поль Лоранс, мой приятель, подходит ко мне и показывает записку Якоби, совсем не сходную с моей. Тут я увидел, что это полный мерзавец, и был рад, что, наконец, наши заседания пришли к концу. Но когда настал день объявления медалей и наград и когда Якоби прочёл, что Антокольскому дана Первая золотая медаль и крест Почётного Легиона, то он пришёл в неопишемую ярость.

Обрисовав достаточно ясно моего коллегу Якоби, надо всё-таки охарактеризовать его как художника и сказать несколько слов о его наружности. Нельзя сказать, чтоб он был вовсе бесталанный, но всё, что он делал с юных лет, поддерживал газетною рекламою и своим собственным нахальством, говоря о себе почти что как о гении. Когда он был ещё пенсионером, то, встретив его в Казани, где он писал свою программу на Первую золотую медаль, изображая арестантов на пути в Сибирь, я ему целиком написал воздух с его пейзажа и прошёл его. Потом он поехал пенсионером Академии за границу, там писал «Смерть Робеспьера». Это было взято для изображения революционных идей, в которых он себя держал.

Вернувшись в Россию, он хотел чуть не убить конференц-секретаря Исеева, но так как узрел, что тот хотя и подлая, но всё-таки сила, сошёлся с ним, стал монархистом. Неоднократно Исеев его командировал за границу с хорошим содержанием и дал ему место профессора в Академии. Но тут он написал две картины опять обличительного свойства. Первую «Ледяной дом» и потом «Шуты царицы Анны Иоанновны», где представил всю нашу знать вполне неблагоприятно. Написал ещё по протекции Исеева за 16 тысяч рублей «Екатерина II посещает Академию», но тоже плохо, ибо рисовать он совсем не умел и все свои фигуры снимал камерою-лючидою. Колорит его был скорее развратным и пёстрым.

Далее я скажу, как он предал Исеева, а сам вылетел из Академии. Он всегда носил эспаньолку. Отбрасывал редкие волосы назад и открывал шею чуть ли не до пупа. Носил бархатную курточку и часы с брелоками. Граф И. И. Воронцов-Дашков его чудно охарактеризовал словами «Бордельный фронт!» и всё-таки был очень к нему добр, когда его отставили из Совета Академии за исеевское обличение.

Во время выставки директором отдела искусств был мой приятель, известный скульптор г. Гюйом (Gulliom). Когда началась покупка картин художников всех наций для музеев и лотереи, то он спросил меня, кого я ему укажу для покупки. Я ответил, что хотел бы, чтобы купили картину моего товарища Бронникова, отказался от продажи моих картин, прося поощрения других, ибо мои все проданы в России. Но для спокойствия моего просил посоветоваться с Якоби как комиссаром выставки. Якоби предложил картину своего друга Орловского и закатил баснословную цену, почему её не купили. Но он сообщил художнику, что это я подстрекал, так что мне пришлось получить дерзкое письмо моего ученика, которое я прочёл целиком В. Кн. Владимиру Александровичу по приезде моём в Петербург и выслушал от него: «Это дрянь, бросьте его к чёрту».

После двух-трёх дружественных обедов мы все разъехались. Я прибыл в Петербург, незамедлительно явился к Наследнику Цесаревичу, которому объяснил все проiski Исеева и Якоби, а также явился к августейшему президенту и министру Двора графу Адлербергу. В этот приезд я привёз Его Величеству две моих картины военно-морской истории «Гренгамское сражение со шведами» и «Первое морское сражение адмирала Сенявина»¹⁰³ тоже со шведами. Картины эти, к сожалению, никто не видел. Как и многие из военной истории сражения, они мною писались для Зимнего дворца (в числе 22-х.)

Говоря о Всемирной выставке, я забыл сказать нечто о приезде в Париж шаха персидского, которого имел счастье сопровождать при осмотре нашего отдела. Более всего меня удивили его эполеты, из крупнейших брильянтов пуговицы, шитые воротничка, обшлагов и зада мундира-сюртука. Всё блистало радугой цветов. Походка у него была уверенная, а борода красная. Сопровождал его посол его Назар-Ага, знакомый России, у которого была прекрасная молодая жена, усланная им из Парижа из-за боязни — а ну как парижан захочет позабавиться с женщиной, своей верноподданной. Причины отказа быть не может. Но, слава Богу, дело обошлось на стороне. В конце концов сей монарх сыграл вот какую шутку. Взял в магазине ценных подарков и разослал их жёнам президента, министра иностранных дел и другим сановникам, и когда уехал, то хозяева предъявили всем крупные счета. Само собой разумеется, что одаренные поспешили всё возвратить обратно, что получили от милого шаха.

Встречи

После войны пришлось мне писать подвиг флигель-адъютанта Н. М. Баранова «Бой парохода «Веста» с турецким монитором»¹⁰⁴. Ежели в эту кампанию народился герой, то он обязан всецело Его Высочеству Цесаревичу, по мысли которого и по желанию Баранов сделался командиром в Черноморском флоте 2-х коммерческих судов — пароходов, вооружённых и приспособленных наскоро. Много было толков об его действиях, но последний всё-таки неоспорим. Он привёл в Севастополь «Приз»¹⁰⁵. А про «Весту» говорили, что бомба турецкая в него никогда не попадала и что взрыв произошёл и перебил экипаж от своей собственной гранаты. Зависть, конечно, подливала масла в это дело, так что в конце Баранов оставил флот и явился всё-таки умным и знающим своё дело губернатором сперва в Архангельске, а потом и в Нижнем Новгороде, где его очень любило купечество и ценно за его ум и энергию. Мы с ним были давно знакомы. Помню, как он явился к Цесаревичу со своим новым ружьём, которое получило, опять благодаря Великому Князю, гражданство во флоте. От него я получил в Париже все подробные сведения для написания 2 картин из последней Турецкой войны, находящихся с остальными в Дворцовой галерее картин этой эпохи.

Проездом через Москву я познакомился с князем Голицыным, попечителем Голицынской громадной больницы, что стоит на реке Москве, и написал ему картину¹⁰⁶. Картина эта приобретена была императором Александром III для нашего Эрмитажа, когда он купил весь Голицынский музей.

Случай свёл меня в Петербурге с министром внутренних дел Лорис-Меликовым. Он даже приехал ко мне с визитом в Европейскую гостиницу и долго расспрашивал, как нам живётся в Париже.

Был и также хорошо знаком с семейством градоначальника Петербурга генерал-адъютантом Ф. Ф. Треповым¹⁰⁷, но сошёлся ближе во Франценсбаде, где под берёзками, составляющими особенность этой местности, велись преинтересные разговоры. Как жаль, что такие бывалые люди не ведут своих записок, ибо его время служения как в Варшаве, так и в Петербурге дало бы славный очерк времени царствования Александра II и той смутной поры брожения умов и поступательной вольницы, которая привела к кровавой катастрофе нашего доброго царя. Из рассказов Ф. Ф. Трепова видно, как народился у нас нигилизм, который, будь он уничтожен крутою мерою в начале, не имел бы тех пагубных последствий и расшатанности, при которой суждено было вступить нашему незабвенному императору Александру III.

По смерти Наследника Цесаревича Николая Александровича его бывший воспитатель и опекун граф Сергей Григорьевич Строганов постоянно приезжал в Париж и, так как он меня избрал в свиту покойного Великого Князя, был ко мне вполне расположен до своей кончины.

Это был умный и образованный человек своего века. Как истый аристократ, он, пожалуй, был горд и казался суровым и недоступным. Но к людям науки и к какой бы то ни было серьёзной деятельности он был всегда отзывчив, и гордости к этому люду в нём не было, но, напротив, полное внимание и благорасположение оказывал всем, кто имел с ним дело. А потому он аккуратно посещал мою студию, интересовался моими работами.

Несмотря на его преклонные годы, он следил за прогрессом нового художества, хотя воспитан был в традициях древних мастеров, к которым имел высокий культ. В Петербурге дом его был наполнен редкостями и дорогими старыми картинами, на которые он любовался в часы досуга. Были у него и странности. В Риме ему удалось купить головку старого мастера времён Рафаэля, а может быть, и Чимабуэ и даже Джотто, ибо волосы были тонко писаны по золоту, что составляло особенность этих мастеров. Почему-то он окрестил

её произведением Леонардо да Винчи. Вещь, несомненно, была не из плохих, но горе было тому, кто осмелился показать вид сомнения в избранном им мастере. Зашёл я к нему в Петербурге, он мне показал свою редкость, назвав её прямо Леонардом. Не будучи знатоком, я сказал: «Да, это прекрасная вещь, волосы писаны по золоту, как у Луврской мадонны!». «Ну, а этот ротозей Васильчиков (бывший директор Эрмитажа) говорил, что это не Винчи. Хорош знаток древних мастеров!» Жаль мне было узнать, что он вскоре умер, уснул как праведник в ночь на Светлый Христов день. К чести графа надо сказать, что он своим воспитанием имел громадное влияние на развитие своего питомца Цесаревича, которого судьба так рано свела в могилу.

Наследник в Париже

1879

На другой год заболела императрица Александра Фёдоровна и должна была ехать лечиться на юг Франции. Её сопровождали В. Кн. Владимир Александрович и Цесаревич с Цесаревной, и все они прибыли в Париж. Царица жила в посольстве, а Великий Князь остановился в Отеле Бристоль на Вандомской площади. Как и в первый их приезд, я опять постоянно находился при них и посещал с ними наших и иностранных художников. Я с 9 часов утра уже торчал в посольском доме, ожидая приказаний. Программа прогулок всегда намечалась заранее на следующие сутки, проходила через рецензию кн. Орлова, который, следя за политическими визитами, очень часто менял мои соображения, сутью которых были, конечно, всякие художественные осмотры. Одной из странностей нашего будущего Государя было, что он терпеть не мог ездить на орловских рысаках по городу и подчинялся этому только при официальных визитах или выезжая с Цесаревной в поля Елисейские и Булонский лес. Но когда я сопутствовал, то приказывал брать извозчика, по ходу первого попавшегося. У ворот всегда стояла толпа народа, и среди них было несколько репортёров, которые бросались в кареты, чтобы следить за нами. Но, когда мы выходили незаметно пешком, то на бульваре они теряли нас из виду, и сев в первый фiakр, Его Высочество ехал по установленной программе, за исполнение которой мне приходилось отвечать очень серьёзно. А почему именно так — вот образчик.

В Париже отстраивалась Новая Опера, а потому ровно в четыре часа президент Мак-Магон и весь официальный Париж ждал Его Высочество с кн. Орловым на ступенях нового здания. Выехали мы в два часа из дома. Надо было побывать в двух картинных магазинах, потом у Арнольда и Триппа и, наконец, у бронзовщика Барбедьена. У Арнольда Его Высочество был недолго, купил головку работы Кутюра и поехал к Дюран-Рюэлю. Тут было много интересных вещей как школы 1830-х годов, так и возрождающихся тогда импрессионистов. Последних Его Высочество разом назвал «безобразниками», но всё-таки очень тщательно вникал в пёструю пейзажную живопись мазками радужных цветов, спрашивал торговца: «Да кому нужны эти картины?» — «Любители есть. Американцы в особенности. Да, кроме того, новизна — она всегда поражает зрителя и покупателя». — «Только не меня», — сказал с улыбкой Цесаревич.

Увидев тут же «Испанскую танцовщицу» отца импрессионистов Мане, он долго в неё вглядывался и опять обратился к Дюран-Рюэлю, сказав ему: «Ну и это меня несколько не удивляет, хотя я слышал, что этот господин сейчас здесь в моде». Больше всего интересовали Его Высочество эскизы и акварели Бугро — «Богоматерь», Мейссонье — «Драгун 1806 года». Но, обходя залы, он вдруг остановился перед картиною «Лошадиная бойня» Бонвеня. В ней яркое солнце сильно освещало двор, где стояла кляча, рисуясь на белой стене. На мостовой валялся труп уже убитой лошади, и потоки крови текли по грязным желобам помоста. Первый план был в тени. Долго Великий Князь глядел на эту картину. Вдруг спросил, что она стоит, и сказал: «Я её беру». Бонвень, точно, один из серьёзных мастеров 1830—1840 годов. Живопись его сильна, плотна и солнечна. Рисунок всегда был строг и безукоризнен. В нём было что-то голландское, что и составляло прелесть его дарования.

Вникнув в выбор Великого Князя этой картины, я был поражён его самостоятельностью и оригинальностью. После мой приятель, известный художник Жан Поль Лоранс, узнав об этом выборе Бонвеня, сказал мне с достоинством: «А, знаете, кто покупает такие сюжеты, тот серьёзно понимает искусство». Кроме «Бойни» Его Высочество купил небольшой пейзаж Тройона с фигуркой и «Попугая» де-Йонга. Оттуда мы поехали к Барбедьену. Громадный выбор всех размеров бронз, видимо, заинтересовал Цесаревича. Он несколько раз поднимался во второй этаж магазина и снова спускался вниз. Скульптура Дюбуа его интересовала. Бронзы Фолгера и Шаню тоже очень нравились. Но, видно, сегодня он думал о лампах, а потому и остановился на двух позолоченных амфорных бронзах, которые

и приобрёл. Для Государыни императрицы купил византийский эмалевый крест и, наметив много мелких бронз для покупки, приказал всё это мне записать и хотел было уходить, как вдруг опять поднялся во второй этаж и снова подошёл к бронзам Поля Дюбуа и начал расспрашивать их значение. Отсюда он опять перешёл к мелким статуэткам, выбрал двух верблюдов. Взглянув на часы, я должен был напомнить Великому Князю, что до четырех часов остаётся пять минут, что пора отправляться в оперу. Но Его Высочество опять стал выбирать разные статуэтки. Гляжу на часы и вижу, что уже четыре часа, и заявляю, что Мак-Магон его ждёт. «А ну его! Мы успеем», — сказал Цесаревич. Наставить, конечно, не было возможности, почему я решился подойти сзади к самому Барбедену, дёрнув его за полу сюртука. Тот поспешно оглянулся. Цесаревич заметил это движение, оглянулся на меня и, улыбаясь, добродушно сказал: «Ну, пойдёмте, пойдёмте».

Сели в фиакр. Я приказал кучеру гнать коня во все лопатки. Но вдруг Его Высочество говорит мне: «А знаете, Алексей Петрович, вы не приказывайте ехать извозчику к большому подъезду оперы. Это как-то некрасиво. Скажите, чтоб выпустил нас где-нибудь сбоку, и мы дойдём пешком». Я приказал извозчику ехать к левому боковому подъезду. Народ кишел на бульварах перед оперой, так что мы подъехали незаметно. Я просил Его Высочество обождать секунду и, взойдя в дверь, говорю стоящим там двум сторожам: «Отворите двери, Его Высочество Цесаревич входит сейчас». — «Цесаревич русский? — недоверчиво говорит стоящий тут. — Да его ждут там». В то же время отворяю дверцы кареты. Смелый и уверенный вид Великого Князя вразумил сразу всё лакейство. Он взшёл в сени и громко сказал: «Проводите меня на главный подъезд». Гарнье, видимо, ошалел, растопырил руки и, пятясь, повёл Его Высочество под тёмные своды, а меня оба холопа взяли за полы пальто и говорят: «Ну, а вы оставайтесь здесь заложником, пока мы не узнаем, точно ли это Цесаревич, а не Корсар, вам подобный». Так как меня отпустили минут через десять с приличными поклонами, то я, расплатясь с извозчиком, пошёл тем же ходом в главный подъезд. Меня провели беспрекословно, видя, что я их не надул и что вёз настоящего Цесаревича. Подойдя к парадной лестнице, вижу, что публика с президентом поднялась уже во вторую галерею и скрылась в фойе. Тут я наткнулся на Гарнье, который провожал Цесаревича. Он меня узнал и говорит: «Да что это за мысль была у Вашего Великого Князя входить в тыл всем его ожидавшим. Я было хотел его остановить и доложить кому надо, всё не веря, что это Цесаревич. Но, на счастье, князь Орлов его завидел и вывел всех из недоумения. Ведь Мак-Магон его ждал на входной лестнице, а он, вдруг, очутился позади всех». — «Успокойтесь, ничего тут нет странного. Великий Князь не подъехал прямо к большому подъезду потому, что колесо его парадного экипажа сломалось. Мы сели на плохого извозчика, и потому неловко было на нём прибыть перед массой публики. Да нас бы и не пропустили, пожалуй». — «А, ежели так, то это умно, что вы его привезли на боковой подъезд».

Вымышленный рассказ этот вечером уже был напечатан в «Фигаро», а наутро дело появилось во всех газетах, которые говорили даже о счастливом спасении Его Высочества.

Из оперы Великий Князь вернулся с кн. Орловым, и когда я его встретил в посольстве, хохотал от души, вспоминая замешательство президента и всей встретившей его публики.

Так как мы уже были сплочены и составляли Общество, то сделали в своём помещении дома барона Гинцбурга выставку. Собрали всё, что у нас было самого лучшего, нанесли старых бархатов и материй и украсили с блестящим вкусом наше помещение. Цесаревич с Цесаревной долго у нас пробыли, весьма были со всеми любезны. Великий Князь купил почти всё, что было не продано. В этот достопримечательный для нас день он принял Почётное покровительство Общества, и впоследствии, до сего дня, была нам назначена субсидия, которая позволяла нам нанять приличное помещение, ибо средства наши для существования были очень слабы. 25 рублей в год член платил за свой билет, а на это жить трудно и давать ещё субсидии нашей братии.

Я был три года учеником знаменитого художника Евгения Изабе. Ему уже было за 80 лет, а потому я просил Его Высочество посмотреть заслуженного художника, что он сделал с удовольствием. Надо было видеть непритворную радость этого талантливого мастера, когда к нему вошёл Цесаревич. Старик не верил своим глазам, а когда я ему сказал, кто такой его посетил, то он начал так: «Отец мой имел счастье писать портреты вашей августейшей семьи. В своё время он был в России и вынес оттуда самые дорогие воспоминания. Я счастлив, что ученик мой м-е Алексис (он меня всегда так звал, говоря, что это проще) доставил мне случай вас лицезреть на закате дней моих». В ответ на его приветствие Великий Князь сказал: «В моём коттедже «Александрия» перед моими глазами всегда стоят работы вашего отца, да кроме того, я и вас знаю давно. В кабинете моём находятся

две прекрасные картины вашей работы, на которые я постоянно люблюсь». Старик проводил Великого Князя до кареты и был до глубины души растроган. После, когда я зашёл к нему, благодарил от души, сказав: «Ну, вы мне ценно отплатили за мою науку», и поцеловал меня.

На этот раз, как и в первый приезд, Цесаревич снова посетил наших некоторых художников, а также мастерские Бонвена, Жана Поля Лоранса, Бургро, Каролус-Дюрана, Жерома, де Невиля, которому заказал картину — военная сцена на чердаке осаждённого города в последнюю Германско-французскую войну, Добиньи — «Вид истока реки Сены». Первая картина постоянно висела в его столовой в Гатчинском дворце, а другая в Аничковом дворце. Он был также у баталиста Детайля. Но коллекция редкостей нашего соотечественника А. П. Базилевского не была им позабыта. И он снова посетил её и тщательно осмотрел. На возвратном пути он сказал мне: «А что, Базилевский, правда, что продаёт свои сокровища?» — «Да, — ответил я, — он, кажется, имеет намерение». — «Мне говорил об этом А. А. Половцов, вы его увидите, так поговорите с ним об этом и дайте мне отчёт, не теперь, но со временем». Тут опять я сказал себе, что Великий Князь не простой любитель, но знаток, думающий о благе своего Отечества и о научном развитии художественно-промышленного дела. Но не сейчас совершилось это жизненно важное событие. А. П. Базилевский начал колебаться, и пришлось выждать более благоприятных обстоятельств.

При посещении художников Франции я испросил письменно у Мейссонье, когда он может принять Их Высочества. Он назначил сейчас же, что на другой день будет ждать дорогого гостя. Любезность этого высокого, но весьма гордого мастера была изумительна. До конца дней он был империалист, а потому сейчас проявил свои убеждения, говоря об императоре Александре I, русских военных костюмах этой эпохи, причём вытащил эскизы картины своей, где император Александр I был изображён на своём знаменитом белом коне «Бьют», служившем ему все кампании 1811, 1812 и 1813 годов. Объяснял свои приёмы постройки картины, которые никому не показывал. Это делалось так. Для изображения развёрнутого фронта кавалерийского полка он был так добросовестен, что дабы узнать точное место ног лошадей в перспективе, рисовал их отдельно, вырезал и накладывал одну на другую. Нередко для движения лошадей он лепил из воска сам группы лошадей и всадников, с чего и писал.

Явились на сцену все его этюды баталлий Наполеона I и III и прочие и, наконец, этюды последней Франко-немецкой войны. В конце концов мы пробыли у Мейссонье более полутора часов. Великий мастер без шляпы проводил Их Высочества до самой кареты на улице, что составило эпоху в его жизни, ибо никто никогда не пользовался от Мейссонье такою почестью. После, при свидании, он частенько мне говорил: «А какие милые люди ваши будущие царь и царица, да она до крайности миловидна и симпатична».

Радищевский вопрос

1880

Наскучив бездействием саратовцев, я решил просто написать в Саратовскую Думу ультиматум¹⁰⁸, где сказал, что отдаю городу всё моё художественное имущество, стоящее по крайней мере 75 тысяч рублей, требуя от города постройки музея с помещением для школы прикладных искусств по моему плану, а ежели не хотят, то пойду искать счастья в другой угол России, более отзывчивый. Ультиматум возымел действие, и после жарких споров и жгучих речей за и против господа-думцы решили принять предложение в принципе с тем, чтобы прислать депутацию в Москву для осмотра моих сокровищ и что стоят ли они их затрат. Приехали в дом мой в Москве по Казанской улице господа Недошивин — городской голова и Епифанов, люди просвещённые, осмотрели галерею картин, редкости, серебро старое и прочее. И так как это было весьма элегантно установлено, то и выразили мне, что дар мой стоит всякого усердия с их стороны и что они сделают свой честный рапорт.

Я поблагодарил их и стал уже вполне серьёзно заботиться об осуществлении моей мысли. Сообщил саратовцам, что музей один есть тело без души и что нужна будет школа, которую я готов обеспечить капиталом в 25 тысяч рублей, а остальное прошу их взять на себя. И это в принципе было обещано, хотя впоследствии вовсе не осуществлялось и я был должен отдать почти всё моё состояние, чтобы основать Боголюбовскую школу.

В 1880 году я снова поехал в Петербург, где лично представил императору Александру Николаевичу мои картины последней войны. Прибыв в Зимний дворец в 2 часа по приказанию гр. Адлерберга, я расположил свои 3 картины¹⁰⁹ в Белом зале и ожидал прибытия Его Величества. Но Государь после завтрака куда-то отъезжал, вернулся и снова уехал кататься с В. Ки. Марией Александровной. Прибыл в 3 с половиной часа. Заботливый ка-

мердинер Государыни императрицы, увидев меня, сжался и пошёл доложить обо мне камердинеру Его Величества, как поступить Боголюбову, ждать ли ещё или уехать. Но вскоре император вернулся, ему доложили обо мне, и он сейчас же с Великой Княжной взошёл в зал. Ласково подошёл ко мне. «Извини меня, Боголюбов, что я тебя заставил ждать. Это редко со мной бывает. Ну показывай свои труды». Поглядел внимательно, сказал: «Ну, спасибо. Очень тобой доволен и знаю, что ты жил в Браилове и работал с натурой». К сожалению, это были последние лестные слова, слышанные мною от моего благодетеля. Через 2 дня по Петербургу разнеслась утром весть, что Государыня императрица Мария Александровна скончалась.

В Москву съезжалось много народа на открытие памятника А. С. Пушкину, исполненному академиком Опекушиным. Не скажу, чтоб работа эта напоминала поэта. Зачем он его поставил понурившись, как будто его отправили в ссылку. Положим, что и это бывало с нашим поэтом, но я бы сделал его всё-таки более жизненным и вдохновенным. Впрочем, вообще памятник недурен, и когда он был окружён народом на эстрадах вокруг и сняли завесу с него, то восторг был всеобщий и не деланный, а натуральный.

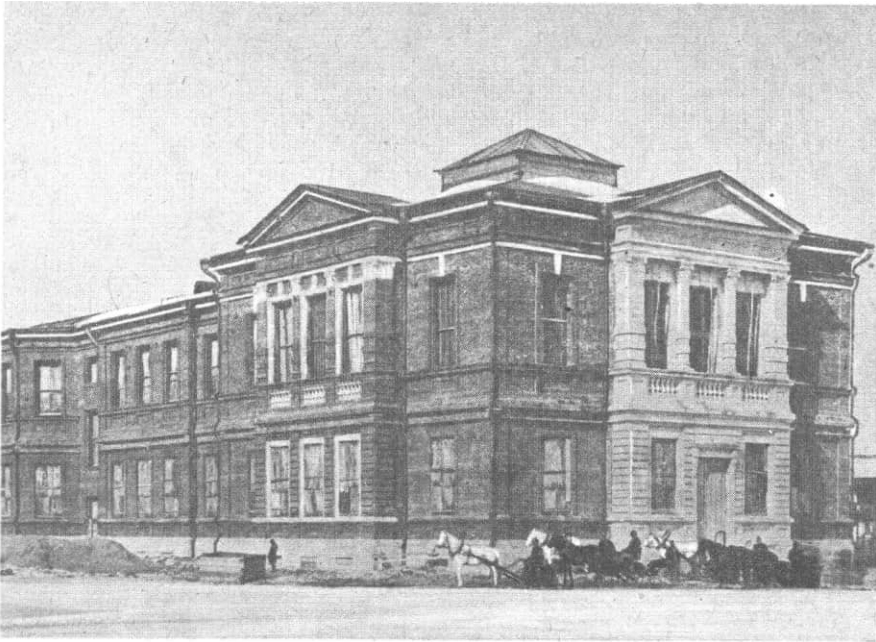
Дня три после случилось мне проходить мимо памятника и видеть, как народ глядел и разговаривал по-своему о поэте. И вот я слышу — сибирку вопрошает серенький мужичок: «А что такое ефто?» — «Это Пушкин — стихотворец!» — «Да, Пушка! Сочинитель». — «Ну, да!» — «Читать умеешь? Вишь сказано: ко мне не зарастёт народная тропа». Тот: «Да какая же тут тропа, тут бульвар кругом». — «Ну, дурак ты, сто́нт с тобой разговаривать». И ушла.

Конечно, давался обед парадный, на котором были Тургенев, Григорович, Анненков, Тютчев, Катков и многие московские литераторы и именитые гости. А для весёлости был и талантливый Иван Фёдорович Горбунов. За обедом вышел скандал. Катков вздумал учинить мировую с Тургеневым, но тот публично отверг его предложение, что набросило тень на окончание обеда, и только благодаря Горбунову и его рассказам все снова предались весёлости и смеху.

На другой день все собрались в саду «Эрмитаж» Лентовского, ставили тоже бюст Пушкина, и горела чадная иллюминация. Была здесь наша знаменитость (Бог знает почему) г-жа Савина. Она очень была любезна с Тургеневым и Григоровичем и напомнила мне живо Сусанну и двух старцев. Кстати, спрашиваю я у кого угодно, кто знает эту барыню, что есть хорошего в её игре и плаксивой дикции. Конечно, приходится сказать, на безлюдьи Фома — дворянин, на безрыбье и рак — рыба, в степи и жук — мясо, а на безптичьи и жопа — соловей! Иван Сергеевич пригласил её погостить к нему в его Тульское имение¹¹⁰, но ей нужно было что-то другое — Крым, Кавказ или Гималайские горы.

Я уже давно был знаком с московским генерал-губернатором кн. Василием Андреевичем Долгоруковым, часто его встречал при дворе Наследника Цесаревича. Он всегда был ко мне внимательным и, приезжая в Париж, заходил в мою мастерскую. Большим сближением с ним я был обязан Юлии Адольбертовне Воейковой, к которой князь был очень расположен. Барыня эта была очень добрая и щедрая. Наследовала миллионное состояние от своего ростовщика мужа, но его скоро прокутила, хотя ей и принадлежал целый квартал домов около храма Спасителя. Она щедро покупала картины у нашего брата и составила себе очень милую коллекцию, но благодаря своим родственникам и вообще обычной расточительности попала под опеку и скромно доживала свои дни в Москве, забытая друзьями и знакомыми. Она никогда не была хороша, но всё-таки в ней сидел какой-то чёрт, невольный к ней привлекавший. Я всегда буду о ней вспоминать с благодарностью, ибо она немало обогатила мой Радищевский музей. Одним из её почитателей был светлейший князь Меншиков, часто сдерживавший её порывы расточительности, но это не послужило ни к чему.

На возвратном пути в Петербурге я решился посетить Его Высочество, высказать ему моё желание устроить первый губернский музей в Саратове и при нём школу художественно-промышленного типа. Говорить было необходимо, с полным откровением и как бы спрашивая его совета, и о моём намерении назвать его Радищевским. Я сейчас же сказал ему о том, кто он был, как был сослан в Сибирь, как он был учёный и образован и какой был высокий христианин, несмотря на то, что признан был вольнодумцем Екатериной II. При мне была книга его «Путешествие из Петербурга в Москву», которую я просил его принять и, быть может, в часы досуга посмотреть, в чём состояло его вольнодумство. В это время пришла к нам Государыня Цесаревна, прислушалась к моей речи. Я видел ясно, что Его Высочество заинтересовался моим рассказом, и, обратясь к Её Высочеству, которая взяла книгу в руки и её перелистывала, сказал: «В этой книге есть прекрасное наизидание, как возможно воспитывать детей по теории моего деда в главе «Крестецкий помещик». Я буду очень счастлив, ежели вы, Ваше Высочество, осчастливите её вашим внимани-



Радищевский музей. Фотография 1880-х гг.

ем». — «Хорошо, благодарю вас, я посмотрю непременно», — сказала милостиво будущая наша Государыня. В результате моего разговора с Великим Князем, я узнал, что он вполне одобряет мою мысль о музее и школе, ибо сколько мне было известно, он всегда стоял за художественно-промышленное развитие в России и народение ремесленных школ, в которых видел великую потребность, говоря: «Из художественных ремесленников могут выходить и художники, ежели окажутся таланты, но чисто художественное образование неудачникам не даёт права на заработок хлеба насущного, не имея подготовки к ремеслу».

Эти мудрые слова мне неоднократно случалось от него слышать, что и было оправдано впоследствии его высоким и широким покровительством отечественному искусству по всем отраслям. «А что касается до Радищева, то я думаю, что 80 лет, разделяющие нас от его смерти и прощения, оправданы тем, что его мысли освобождения русского народа ознаменованы действительностью и не могут быть помехой, чтоб имя его было известно всем. Но об этом мы поговорим с вами ещё раз». И я в восторге простился с ним и уехал снова к себе в Париж, передав мой разговор К. П. Победоносцеву, которого просил при свидании с Его Высочеством уведомить, что город Саратов готов принять моё предложение основать Радищевский музей.

Возвратясь в Париж, я рассказал все мои похождения Ивану Сергеевичу Тургеневу, которому моё дело было частично известно, ибо он мне составил мой «Ультиматум». Он очень был доволен и сказал: «Я говорил вам, что ваши саратовцы заставили меня вспомнить басню Крылова «Петух и жемчужное зерно». Ведь город ваш — город зерновых тузов, а потому нельзя было, чтоб они отступились от своих интересов и не стали сейчас на высоте решения предложенной вами задачи. А всё-таки, как хотите, Саратов всегда был городом передовым, а потому передового человека он должен возвеличить в лице вашего деда Радищева, который всегда будет для них и России первым поборником освобождения крестьян».

Жестокий мистраль. На этюдах

В Париже я начал своё житьё очень неудачно, переменив мою мастерскую на более обширную, которую нанял, к сожалению, в пасмурную погоду, не заметив, что она выходит прямо над громадным бассейном в рю Пелуэ. Когда я перебрался и приступил к работе, то в солнечный день был поражён, что всё меня окружающее имело зеленоватый рефлекс, даже люди, входившие ко мне, были какие-то мертвецы. Для художника это было просто отчаяние. К тому же через месяц ко мне пришёл комиссар с сыщиком и потребовал от меня расписку, чтобы я не смел платить хозяину деньги, ибо он должен и Богу и дьяволу. Всё

это вместе взятое меня очень раздражало, я дал отказ от квартиры. Приходилось терять полугодичную плату даром, почему я порешил поехать на юг Франции и в Италию, чтоб сократить злополучное время.

Сборы мои были недолги, но когда горишь желанием скорости, то всегда наглупишь. Приехав на станцию, я увидел, что забыл взять с собой необходимую золотую столбушку в 1000 ф., а потому пришлось ехать обратно и отправиться в путь вечером.

Приехал я в Марсель, когда там дул жестокий мистраль. Я сейчас же взял краски и отправился на стенку гавани, где было что посмотреть. Ветер буквально резал с ног всех, кто хотел идти по ней. Волны хлестали поперёк, рассыпаясь радужною пылью, ударяя в противоположную стену с новым всплеском. Караульные солдаты, которых служба вынуждала идти на свои посты, ползали на четвереньках, заложив ружья за спину, нередко катаясь кубарем. Погода стояла солнечная, а небо голубое с летучими разорванными белыми облаками. С моря входили пароходы и суда, гонимые ветром, черпади обоими бортами до тех пор, пока не входили в пределы гавани. Приютившись в сторожевой будке таможенного стража, я в течение 3-х часов успел написать этюд, служивший мне много раз для моих картин и который считаю, конечно, одним из самых оригинальных. Но так как дело наше всегда стремиться за новым, то написанное мною продал Демидову — князю Сан-Донато.

Странное будет моё откровение, но оно не напускное. Картинами моими я никогда не дорожил и с удовольствием выпроваживал их в мир Божий. Но на этюды, напротив, я был бережен и даже скуп.

Посмотрев, хоть и не впервые, Марсельский музей, полюбовался на картину Реньо, побродил день и отправился сперва в Ниццу, в этот всемирный кабак, город без прогулок и зелени, но бойкий и жизненный по своему карнавалу и игорному клубу, где бакара столбами стоит не хуже рулетки Монте-Карло.

1881

Тут я ничего не нашёл для своих работ, а потому перебрался в Ментону, окрестности которой милы и приятны. На мою радость, строилась в порту новая дамба, которую я и начал разрабатывать во всех видах.

Как и всегда, русского люду было много, я очень был рад встретиться с прекрасным и умным моим знакомым Жемчужниковым, автором Козьмы Пруткова, с которым и проводил самые приятные часы. К сожалению, он был уже тронут болезнью и, видимо, увядал. Через него я познакомился с русским доктором Кубе, в котором тоже встретил душевного человека. Теперь он уже сделался баварцем, ибо все дети его были от природы немцы, что не мешало ему быть до конца жизни русским человеком и радеть на пользу своих сородичей. Ему обязана Ментона устройством странноприимного дома русского и православной церкви, для чего он собирал ревностно капитал. Было время, что Ментона не имела даже места, куда для отпевания ставить своих покойников. Благодаря Кубе, их ютили в подвале лютеранской церкви, ибо католики нас признавали шарлатанами. А вскоре явился благодетель граф Протасов-Бахметьев, выстроивший прекрасную капеллу на кладбище ментонском, в которой можно видеть прекрасный образ св. Анны (ежели не ошибаюсь) работы Ивана Николаевича Крамского.

В это время Ментона была скопищем нигилистов, живших в отдельном отеле, где хозяин был того же пошиба. Главою этой группы был фотограф Острога, бывший повстанец, у которого, как пересказывали мне, в день кончины Царя-Освободителя был такой раут, что чертям тошно было.

Но как ни красива, ни приятна Ментона для житья, всё это отравляется зрелищем сотен несчастных чахоточных страдальцев, греющихся на солнце около музыки. Это какое-то живое кладбище, переполняемое свистящим кашлем бедняков, ищущих спасение в мягком климате.

Но зато в 20 минутах тут есть и отрадные зрелища. Это Монте-Карло. Об этом счастливом уголке я такого мнения. Есть у вас, во-первых, деньги и здоровье и ежели вы жаждете вкусить жизнь со всеми её прелестями, то поезжайте туда. Подвезжая к этому «Эльдорадо», вы ещё ничего не видите, кроме прекрасных скал, моря и контуров холма Монако. Но войдя на террасу, окаймлённую пальмами, вы вдруг видите беспредельное голубое Средиземное море во всём его величии. У ног ваших всюду тянется предместье Кондамине с голубым пирсом, а направо и налево превосходные горы, скалы, прорезанные железной дорогой. Обернувшись назад, видите чудный дворец китайского стиля с чёрной крышей, покрытой золотом, — творчество строителя Парижской оперы, талантливого Гарнье. За ним вы видите ряд великолепных отелей, к которым вы идёте под развесистыми пальмами. Кругом дворца стоят здания выставки картин и самые изысканные рестораны и магазины,

в которых счастливец-игрок покупает всё, что попало, благо деньги оказались даровыми. Нигде в Париже нет такой роскошной и изысканной кухни, как здесь, при винах знатнейших сортов Франции. Но вот вы входите в храм игорного счастья и несчастья, но не думайте, что игра здесь обязательна. Хотите читать или писать — к услугам вашими богатейшая коллекция всех журналов мира и кабинет. Прекрасный оркестр услаждает вас 2 раза в день, а вечером к услугам вашим театр с солистами, как Патти, или актрисами Комеди Франсез и других театров. Но так как человек слаб, его влечёт в залы, где золото и серебро двигается лопатками, где дым столбом от пыли и жаркого дыхания и где субъекты со всех концов мира предаются бурной игорной страсти. Тут кишат красавицы всех народностей, старухи и молодые, мужчины всех возрастов. Не скажу, чтобы играющие отличались особенной вежливостью друг к другу, ибо под влиянием страсти приличия забываются. Частенько бесцеремонную даму, которая взяла не свой выигрыш, хватают по рукам и отнимают деньги. Причём крупье для усмирения разлада часто платит свои деньги, чтобы потушить ругань. Но отойдя от рулетки, вы глядите по сторонам на дивные прелестные сцены. Это вступление в любовь и соглашение, или упрёк мужа жене за проигрыш, или господин, жадно считающий свой выигрыш или проигрыш. А иногда, понуря голову и сложа руки на груди, сидит господин такой мрачный, что так и думается — он вечером повесится или застрелится, что бывает здесь частенько.

Зная мою натуру, я ехал сюда с определённою суммой денег, которую уже не считал своей, а потому брал билет туда и обратно, прямо шёл в Отель де Пари, где к 7 часам заказывал обед, деньги платил вперёд, даже не забывая и гарсона, и тогда с лёгким сердцем шёл испытывать своё счастье. По принципу я никогда не зангрявался, а потому и был покоен насчёт будущего. Раз как-то мне точно повезло — я выиграл 2000 фр., что со мною никогда не бывало. Отойдя от рулетки, я пошёл подышать воздухом и наткнулся на магазин. Не знаю почему, я взошёл туда и купил кусок хорошего голландского полотна, купил зонтик, 5 галстуков и 2 дюжины носовых платков. Вышел, наткнулся на антиквара. Здесь меня увлекла старая деревяшка — фрагмент истязания Христа эпохи Альберта Дюрера. Я её купил, взял ещё майолику испанскую и кокосовый колас (чашу). Приказал всё отправить в Ментону. Посчитал деньги, вижу, что у меня ещё остаётся 1350 фр. «Нет, — думаю, — я их не все проиграл!» Пошёл на почту и отослал на своё имя туда же 1000 фр., а остальные, как водится, проиграл дотла. Но это благоразумие никогда больше в моей жизни не повторялось. А в конце концов, оставляя это прелестное учреждение, оказывался всегда дефицит тысячи в 2 франков.

Из Ментоны через Вентимилью я поехал сперва в Савону, где чрезвычайно искусно подделывают старое железо с древних образцов. Надо быть большим знатоком, чтобы уметь отличить от оригиналов.

Сам порт здесь ничтожен, но дорога и отмели по взморью очаровательны¹¹¹. Здесь идёт стройка деревянных судов. Старые крепят на бок, на берегу обжигают и чинят. Всё это может дать превосходную морскую бытовую картину.

В Генуе, конечно, есть много интересного для моряка-художника, в особенности, в порту. Побывал в музее, поглядел на древние картины победоносной галерной армады Генуэзской республики. Возвращаясь на работу в порт, я часами проводил время, воображая себя деятелем этой отдалённой эпохи галерного величия, которые, как белокрылые лебеди, покрывали голубые воды залива. Под впечатлением старинных чёрных стен порта я нахватал что-то вроде картины, которую выставил в красочном магазине. И, к удивлению моему, эту мерзость у меня купил какой-то патриот-генуэзец сеньор Монтини за 500 фр., так что я сейчас же купил здесь свадебный старинный ларь XVI века и гобелен того же века, содержание которого, я думаю, и сам чёрт не отгадает¹¹².

Из Генуи, побродив по окрестностям, я поехал в Специю — итальянский военный порт, думая, что там я владык поработаю, рисуя их броненосцы. Но, к сожалению, несмотря на все мои заявления о моей личности, морское начальство приняло меня за шпиона и наотрез отказало в работе. Так что даже на рейде, когда рисовал с лодки, за мною следили. Такого тупоумия я не ожидал от моряков. А когда взошёл на «Дондало», чтоб его осмотреть, и разговорился со старшим офицером, то он мне сказал: «Да, я слышал о вас, что вы являлись в порт. Но у нас над портом такая дубина, что свет не производил, он всего бонтятся, чему причиною его жена, которая его постоянно по роже хлещет».

Специя — дивный порт, громадный по своему пространству, и по узкости входа, заграждённого торпедною батареею, совершенно не приступен. При входе в него лежит очаровательное местечко Порте Венере, где я сделал несколько этюдов и вспоминал моего учителя Андрея Ахенбаха, писавшего здесь тоже этюды и потом с них прелестные картины. Тут я впервые испытал вихрь и тайфун. Явление это я видел впервые. Тайфун шёл

поперёк залива, валил всё, что ему попадалось на берегу. Кругом море было покойно, но где он шёл, вода кипела белою пеной и вдруг позади всё снова успокаивалось. Но под кисть подобные явления природы не годятся. Я пробовал что-то, но ничего не вышло. Оно такое же трудное, как написать верно, но не лубочно небесную радугу, над которою много художников ломало себе голову, и разве только один Милле изобразил её тонко, но скромно в своём деревенском пейзаже. Говорили, что наш любитель эффектов Куинджи пишет её, но, видно, для него тут тоже камень преткновения, ибо вот 10 лет, ежели не больше, он ничего не выставляет на выставках, а молва ждёт чего-то необычайного. Но тут, верно, гора мышь родит, а нам так и ничего не даст.

Лавровская история

Вернувшись из Италии в Париж¹³, я попал, как нарочно, в страшную передрагю. В день моего приезда мне сказали, что у нас в Обществе сегодня будет литературный вечер и что будет читать Иван Сергеевич Тургенев свой новый рассказ. От такой прелести, хотя и будучи уставшим от дороги, я отказаться не мог и пришёл в Общество часов около 10-ти вечера, застав мастерскую нашу полную народу. Вглядевшись поближе, вижу всё незнакомые лица, в особенности в числе дам. Все были какие-то коротко стриженные, плохо умытые, одетые так же и нечёсаные. Спрашиваю секретаря нашего, художника Сакса: «Что это за народ?». Он отвечает как-то робко: «Право, не знаю! — «Да кто их звал и ввёл?» — «И этого не знаю, сами пришли». Налево, вижу, сидит старик длиноволоксий. «Это кто?» — «Лавров!» — коновод нигилистов и цареубийц. — «Да как он сюда попал?» — «Говорит, что его пригласил Иван Сергеевич». — «А сам-то он будет?» — «Нет, прислал сказать, что заболел». — «Но что же будут здесь делать, коли принципа нашего нет?» — «А вот г-жа Луканина будет читать что-то да поэт». — «Да что он прочтёт?» — «Спросите его». Отвечает: «Стихи свои». Обращаюсь к своим товарищам комитета и говорю: «Господа, да что это за вечер?». Говорят: «Да это Сакс устраивает, он вёл переговоры с Иван Сергеевичем, он и приглашал всех». Конечно, надо было бы поступить энергично, заявить, что по болезни Тургенева вечер отменяется, но так как я ещё не вошёл в свои права председателя комитета, то должен был молчать, хотя у меня была идея в случае упорства взять и потушить газ, но все на меня закричали «Скандал, скандал!». Ну, вот и началось чтение. Вышел поэт, прохвост, и вместо стихотворения о луне и ночной росе прочёл, как Каракозова вели на виселицу и его думы. Я ахнул! Подхожу к нему и говорю: «Вы поступили против программы. Это очень может дурно отразиться на Обществе нашем, цель которого мир, но не революция». Он побледнел, взял шляпу и ушёл сейчас же, сказав что-то Лаврову, который, в свою очередь, встал и гордо вышел. Мало-помалу, не смотря на то, что читала какую-то скуку г-жа Луканина, все стали расходиться, и скоро остались только наши художники и некоторые члены.

Дело было дрянь. Начались совещания. Г-н Сакс, конечно, удрал, и решено было идти к Ивану Сергеевичу мне, дабы рассказать ему о приходе Лаврова и чтении поэта.

Наутро в 10 часов я был у Тургенева. На моей карточке я ему написал: «Дело очень важное». Несмотря на тяжёлую подагрическую боль, он меня принял. Лицо его было страдальческое, и мне больно было нарушать его покой, а потому скоро-наскоро я ему рассказал наш инцидент и говорю: «Так это вы пригласили Лаврова?». — «Да я ему сказал дня три тому назад, что буду читать в Обществе мой рассказ и только». — «Но, чёрт его возьми, приглашают одного, а этот нахал сам лезет к нам и навёл с собою всю свою челядь». Помолчав немного, он сказал: «Но вы не беспокойтесь, всю вину я беру на себя и постараюсь дело устроить как следует. Сейчас же попрошу к себе князя Орлова (посла и президента Общества) и скажу — выручайте, непременно о чём дам вам знать». Я его оставил. На другое утро получаю от князя Орлова короткую записку: «А. П. Зайдите ко мне, надо поговорить».

С князем я давно был знаком коротко, а потому и отправился к нему с полной надеждою на хороший исход дела. Но всё-таки он меня встретил словами: «Как же вы не мне первому сказали об этом вечере, ведь я ваш президент?». — «Да я случайно попал на вечер, о чём очень сожалел, но уже утром приехал из Италии. Но так как Иван Сергеевич был причиной появления у нас Лаврова, то я счёл долгом к нему зайти прежде всего, и по его желанию вас не беспокоил». — «Всё это хорошо, но надо, чтобы у нас подобные случайности в Обществе не происходили. Я знаю, что уже об этом донесли в Петербург, и послал кому следует депешу, прося не обращать внимания. Но всё-таки это нехорошо. Теперь будем мы жить по-прежнему, но, пожалуйста, охраняйте себя, да и меня». — «Да этого бы никогда не было, ежели бы я был тут, а я, к сожалению, пришёл на готовое». — «Да кто же у вас тут орудовал?» — «Как вижу, секретарь Сакс». — «Ну так скажите ему от себя, что вы его в 24 часа выпроводите из Парижа, ежели это повторится».

Так дело и окончилось здесь. Но через день я получаю телеграмму от вора, ссыльно-каторжного в будущем, но в настоящем от подлеца конференц-секретаря Исева: «По воле Его Высочества сей час отвечайте, что у вас читает в Обществе Лавров и кто был с ним?». Конечно, я ему ровно ничего не ответил, а сейчас послал письмо страховым на имя нашего августейшего президента В. Кн. Владимира Александровича, где уяснил, что князь Орлов инцидент считает оконченным, что он лично уведомил об этом кого следует и что Лавров ровно ничего не читал, а я только был тут гостем, ибо утром приехал из Италии¹⁴.

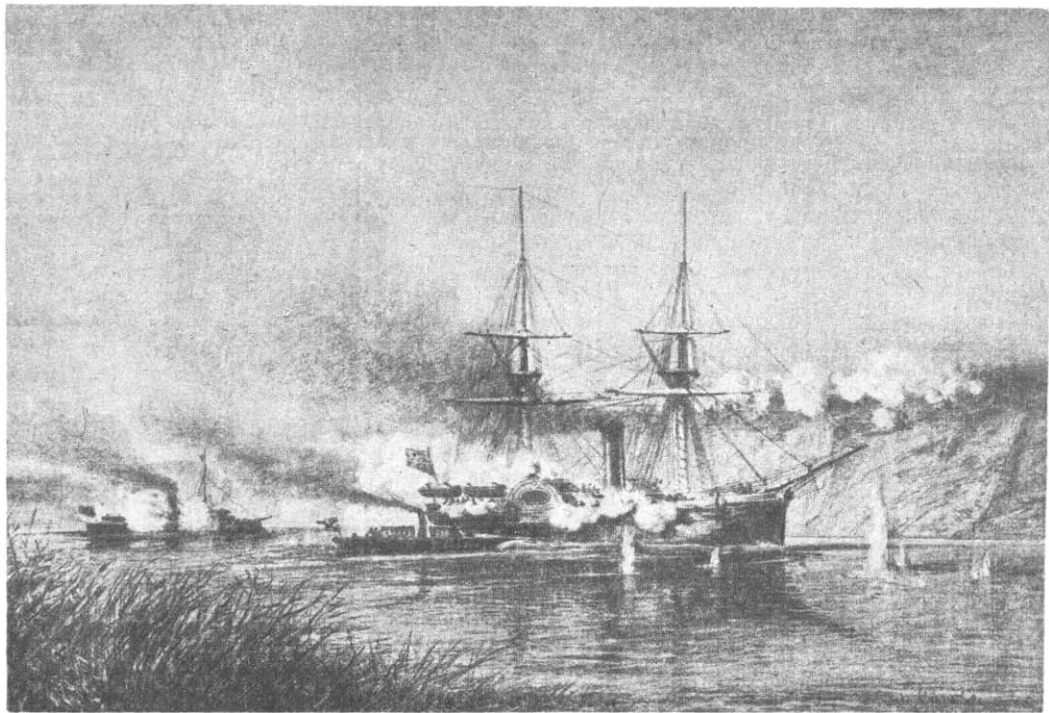
«Дело Скрыдлова»

Но вот всех нас как громом сразила внезапная весть о кончине императора Александра II I марта 1881 года.

По всей нашей колонии уныние было всеобщим. Ходили всякие разноречивые рассказы о кончине Государя. И кто-то мне сказал, что в числе покусившихся был Емельянов. Да не тот ли это ученик Школы технической имени Цесаревича Николая, который был здесь пенсионером Г. О. Гинцбурга и которого я вместе с М. М. Антокольским по его нерадению и дерзости выслал в Петербург как негодного человека, который на вопрос, почему он не ходит в церковь, ответил: «Да я и дома не молюсь, так что мне там делать». Всех пенсионеров было здесь 4. Один, столяр, умер. Другой, Емельянов, был выслан. Слесарь Пожалостин женился и изменился, и преталантливый резчик погиб от пьянства. Всех их знал хорошо Государь Наследник и всегда интересовался их успехами, ибо заведение, из которого они вышли, состоит под его личным высшим покровительством.

На другой день после присяги мы попросили Ивана Сергеевича Тургенева составить адрес от Общества русских художников к новому императору, что он исполнил в коротких, но весьма прочувствованных словах.

Считая моим благодетелем усопшего Государя, я было собрался ехать в Петербург, но после долгого размышления определил, что моё место там вовсе не необходимо и что, пожалуй, мои «доброжелатели» из-за злорадства скажут: «Вот он обрадовался и шеголяет, что близок к Государю Александру Александровичу, и навязывается, пользуясь столь прискорбным исходом жизни Царя-Освободителя». Чистосердечно говорю, что мучениче-



А. П. БОГОЛЮБОВ. Дело Скрыдлова на катере «Шутка» 8 июня 1877 г. 1881. Музей Высшего военно-морского училища (бывший Морской корпус)

ская смерть этого праведника глубоко меня тронула и в тиши я не раз слёзно молился об успокоении его праведной души.

Надо было исполнить последний приказ дунайских событий, а именно подвига лейтенанта Скрыдлова, для чего необходимы были этюды с натуры местности с берегов Дуная. Почему, заручившись от генерального консула в Париже рекомендательными письмами к рушукскому консулу Ладыженскому, в апреле я отправился через Вену в Болгарию.

В Рушуке стояла болгарская флотилия под командою капитан-лейтенанта Конкевича. В его ведении было 3 подаренных Россией речных парохода, со значительными складами угля. Да кроме того Россия отдала братушкам богатый склад артиллерии и всех госпитальных и аптекарских принадлежностей. Пароходы держались исправно. Почти все матросы-болгары от наших научились говорить по-русски и смотрели браво. Благодаря консулу Ладыженскому, в семье которого я был принят весьма радушно, Конкевич поместил меня на свободную квартиру лейтенанта Шишмарёва, бывшего в устье Дуная по делу Международной комиссии, я жил весьма прилично.

Мне дали лёгкий пароходик и приставили ко мне лейтенанта Федосьева, который не раз ездил со мною на место скрыдловской атаки турецкого броненосца. Местность здесь крайне живописная, высокая, нагорная и крутая. Во время атаки по всей возвышенности были расставлены турецкие стрелки, и надо дивиться, как эта утлая минная лодка не была потоплена, но только искалечена пулями противников, переранивших всех смельчаков. К сожалению, провод электрический был перебит, и за подведённой миной взрыв не последовал. Но дело было сделано, и турки сейчас же отретировались к Рушуку, дав возможность нам сделать минное заграждение, без которого мониторы могли парализовать наше мостовое сообщение. Раненые Скрыдлов и Верещагин дали задний ход и скрылись в камыши, удачно найдя проток к Дунаю¹¹⁵.

Окончив работу на реке, я у консула нанял коляску поденно по 40 франков и отправился в Мечку, где снял вид долины, бывшей нашей позиции войск, и через 3 дня вернулся обратно в Рушук. Проехав болгарские деревни, я могу сказать, что народ живёт здесь хорошо, пьёт местное недурное вино и изобилует фруктами и овощами. Кормили меня курицею, которую, ощипав, прямо совали в горячую золу и пекали, отчего шкура её сползала, как перчатка, составляя вкусное блюдо с соусом из помидуров, или помидоров, как хотите. Ел я зайцев с сметаной, уток и дупелей, так что в городе такой кухни не имел в ресторане. Город Рушук очень оригинальный со своими древними мечетями и горою Левон-Тобия. Всё это я снял акварелью и в масляных этюдах, что мне не мешало по вечерам ходить в столовую отеля и вглядываться в её обитателей.

Не знаю почему, как прежде в Синопе, Самсуне, Трапезунде и Константинополе, я всегда уважал турецкий народ за его честность и стойкость, так и здесь он мне был душевен и мил.

Но вот я окончил свои работы, распростился с Ладыженским, Федосьевым и доктором Заком. Хотел ехать обратно через Браилов в Россию, но дорога, размытая рекой Прут, убедила меня снова взять путь на Вену, Варшаву, Смоленск, где я не бывал никогда, но имел дальних родственников в лице И. М. Дашкевича и его жены Елены Алексеевны, урождённой Новиковой.

Смоленском я остался почти доволен, ибо отдохнул от долгого вояжа и благодаря Дашкевичу осмотрел его древности. Собор меня поразили своею архитектурой и величием, а стена городская с древними башнями, из коих «Веснуха» самая капитальная, меня очень огорчили, ибо на всём лежали мерзость и запустение. К чему же, подумаешь, у нас в Питере заседает Археологическая комиссия с различными разветвлениями, да и Академия художеств с нею! Так что невольно причисляя их к знаменитой московской говорильне — Английскому клубу, где о всём толкуют, но ничего не делают.

Выходя из Смоленского городского сада, я пошёл какою-то улицей. Было грязно. Шёл медленно, избегая луж. Вижу, что у калитки неказистого домика сидит старик в форменной фуражке, сложа руки на палочку. Я остановился. Вид его меня заинтересовал, потому что на груди висели 2 медали 1812 года и Георгиевский крест. Он поднял голову и подслеповатыми глазами, смутно на меня глядя, сказал: «А тебе что надо?» — «Ничего, — говорю, — смотрю на вас и вашу кавалерию». — «Да, на кавалерию, давно я её получил». — «А где?» — «Да ещё под шведом, когда Кваркон зимой переходили, гоняясь за шведом. Отбивали пушку, меня ранили, я и лёг на неё. Ребята отстояли ту пушку, да так меня на ней и привезли к отряду, ну и дали нам по Георгию. Спасибо ему, он меня да семью кормит, 20 рублей получаю за него». — «А сколько вам лет?» — «Да 10-й десяток живу, а не-то и вся сотня есть, хорошо не упомяну. Я очень молод был забран». — «Ну да ведь на 20 рублей едва ли вы проживёте, кто же вам ещё помогает?» — «Эфто, конечно.

Когда я был лесничим под Красным в имении у помещика, не упомяну у кого, то раз отбил барина от 7 волков, он с женой ехал и с ребятами. Ну он не забыл меня. И когда я стал спать, то поместил здесь на харчи к своему кучеру, что тоже живёт на спокойствии, ну так мы век и коротаем». — «А ты знаешь, где Кваркон-то?» — «Конечно знаю. Это между Швецией и Финляндией». — «Мой отец тоже на собственной подошве его перешёл». — «А где он служил?» — «Знаю, что в отряде графа Каменского, ещё знаю, что служил в Тенгинском полку». — «А как звали его?» — «Пётр Боголюбов». — «Нет, такого не знавал. Мы ведь в антирелии были, а он, значит, в пехоте». В заключение я предложил ему на память 10-франковую золотую монету, говоря, что она стоит 4 рубля или около. «А где я её разменяю?» — «А разве жидов у вас в Смоленске нет?» — «Жидов! Да этой твари сколько хочешь, а, пожалуй, надует». — «Ну так к купцу ступайте честному». — «Да, к честному, да их где найдёшь, ха-ха-ха». Он подал мне свою руку, сказав: «Спасибо очень, господин, куплю башмаки крестнице, она уже обносилась давно».

Глубоко западают мне в душу подобные встречи, которыми как-то невольно вращаешься.

Братья Третьяковы

Погостив здесь дней 5, я приехал в Москву в собственный дом, говоря по-московски, «под весками на Казанской», хотя весков давно уже не было.

1882

Как я сказал прежде, с тех пор, как засел в моей башке гвоздь создания Радищевского музея, дом мой стал для меня бременем, и, конечно, я искал случая его продать. Сосед мой, г. Куриар, у которого я купил землю, имел ещё участок, чтоб мне продать сходно для расширения сада, очень опечалился, когда я сказал, что скоро его покину. Это был образец ветерана 1812 года, оставшийся в России, где он 50 лет был учителем французского языка, всегда дружил с виноторговцем Депри, тоже ветераном наполеоновских войн. Но, слава Богу, покупатель нашёлся скоро. Я был всегда дружен с обоими братьями Сергеем и Павлом Михайловичами Третьяковыми, которые были почтенными и просвещёнными любителями художества. Сын Сергея Михайловича тоже занимался художеством. Ему давно хотелось высмотреть себе мастерскую в доме с садом и со всеми угодьями. Дом был двухэтажный с галереей, мастерской и ванной, не говоря о других угодьях. Мы скоро порешили. Стоял он мне 37 тысяч, я с удовольствием уступил его за 29.

Должен сказать здесь несколько слов о двух братьях Третьяковых и охарактеризовать их почтенную деятельность. Павла Михайловича я знал прежде Сергея как собирателя. Лет 30 тому назад он начал скромно покупать картины русской школы и всегда был верен этому принципу даже до педантизма. Он избегал всяческую покупку картин, писанных русским художником, но на иностранный сюжет, хотя и должен был делать уступку, ибо нельзя было всегда подчиняться этим требованиям, в особенности в пейзаже, но жанры и историю он брал только русские. Висит в его галерее прекрасная картина «Барыня вся в красном» художника Ю. Я. Лемана, которую он долго думал купить или не покупать, потому что это была парижанка. На это его едва убедил брат его Сергей Михайлович.

Особенностью его всегда было «торжище». Скажете — 1000 рублей, он сбавит 200. Скажете 6 тысяч — он даст 5. Ежели вы не упорствуете — набавит 500, даже ещё 100, но характер выдержит.

Как истинный любитель, боясь, что перебьют, плачивал полностью. Но это случаи исключительные. Не пишу это, чтобы унижить его как человека. Никогда! Это крупный наш русский меценат, что он и показал, подарив городу двухмиллионнорублёвое богатство. Но главная его заслуга состоит в том, что, будучи разумным собирателем, давал нашему брату постоянно хлеб и тем двигал русское художество.

Отдам ему справедливость, что он был знаток картин, ибо каждый год совершал поездки за границу на выставки и систематически объехал всю Европу, чтоб видеть искусство всех стран. Кроме того, учиться он не был горд, но всегда советовался с крупными художниками о выборе своих картин, даже когда сделался вполне самостоятельным ценителем. Могу без лести себе сказать, что мы были с ним приятелями. Но раз как-то мы не сошлись с ним в цене на большую картину «Петербургский ледоход весной». Я не уступал и просил 6 тысяч рублей. Через неделю он опять пришёл ко мне и порешил её купить. Но когда я ему сказал, что её у меня приобрёл барон Г. О. Гинцбург, то огорчился и, не сказав ни слова, вышел вон.

В галерее его моих 8 картин, но только 2 были куплены у меня, а все остальные он покупал из чужих рук, и никогда не купил большой картины, а только этюды с натуры, что

не мешает быть с ним приятелями самыми душевными, ибо, по приезду в Париж, его первый визит всегда был ко мне.

Другой тип представлял собой его родной брат Сергей Михайлович. Тот был всегда суров, редко смеялся. Но это был человек светский, тонкий и щедрый, и с ним я состоял до его кончины в самой тесной дружбе. Как любитель художеств, это был ярый собиратель, но европейских, иностранных школ. Его визиты ко мне были тоже первые, только после того, как он успеет обегать всех знатных парижских торговцев Гупиля, Арнольда и Триппа, Дюран-Рюэля и других, прося меня сейчас же идти с ним осмотреть всё то, что он нашёл хорошего. Конечно, выбор его всегда ходил около французской школы. 1830-х годов, как самой блестящей. Тут он не жалел денег, хотя, конечно, торговался и часто, как никто, платил 75, 80 и 100 тысяч франков за Мейссонье, Коро, Добиньи, Руссо или Фортунни. У него тоже был «нюх» на хорошую вещь. Он часто не ел и не спал, думая купить или не купить такого-то мастера. Часто, приходя в его чудесный московский дом¹¹⁶, когда и не было хозяина, я отдыхал в его кабинете, сверху донизу убранном редчайшими картинами. Когда он привозил что-нибудь новенькое из Берлина или Брюсселя, то говорил: «А приходите-ка посмотреть мой завод, найдёте кой-что новое и недурное». И, конечно, под конец он покупал уже безошибочно. Но всё-таки иногда возвращал картины торговцам, ежели находил что-либо лучше того, что приобрёл.

Любил он музыку, поддерживая многих бедных музыкантов, да и художников. И никогда вы не услышите о добре, которое он делал. Умирая, он не забыл Московскую консерваторию, оставив ей крупный куш. Но смерть рано унесла этого милейшего человека и рьяного любителя художества.

Свою Родину эти два именитых мужа обогатили богатейшим собранием картин как русских, так и иностранных¹¹⁷.

Когда я бываю в Лаврушинском переулке, в этом почти забытом уголке громадной ма-тушки Москвы, подхожу к неказистому снаружи их дому, за которым вы не представляете столь громадного музея, то кажется — решётка дома плоха и не художественна, но, слава Богу, есть площадь перед домом, где надо поставить скульптурную группу этих почтенных братьев, чтобы она всегда напоминала об их благотворной деятельности как высоких любителей искусства вообще.

Сергей Михайлович был городским головой в бойкое время, а именно после войны и во время коронации императора Александра III. Он был богат, но когда сдал свою должность, то с радостью сказал мне: «Теперь я могу тратить ещё 100 тысяч на картины, ибо отделался от официальных приёмов и обедов, которые меня заставили на время мало уделять денег художеству».

Как теперь помню. Я был у него на даче в Петергофе, куда приехал накануне, чтоб на другой день быть у Государя к завтраку. После чего провёл у него день и простился, чтобы ехать через два дня за границу. Но каково было моё удивление, когда пробыв дня 4 в Берлине, я приехал в Кёльн, где наутро, взяв русскую газету «Новое время», вижу, что скончался Сергей Михайлович Третьяков. Новость эта меня ударила как обухом по лбу, и я до сих пор, любя его сердечно, вспоминаю эту чудную добрую личность¹¹⁸.

Сергей Михайлович, кроме всех своих прекрасных качеств, обожал свою жену. Это была умная и оригинально красивая барыня, прекрасно воспитанная, читающая и образованная. Но, к сожалению, страдала астмой и нервами очень сильно. В Москве она жила по необходимости, когда её муж был городским головою, да и то всегда была за границей, лечась у всех знаменитостей. Жить в его чудесном доме она не хотела, ибо он стоял между тремя церквями, звон колоколов ей был невыносим. Летом до глубокой осени она жила всегда в Петергофе за старым городом. Наняли они дачу соседнюю с огородами, службы которых были недалеко от их помещений. У огородников, конечно, были куры и петухи. Ночью, когда царил тишина, Елена Андреевна, страдавшая бессонницей, не могла переносить петушьяго пения, так что муж её послал людей скупить всех петухов. Но через неделю они опять запели пуще прежнего. Начались новые переговоры. Упрекали мужиков, что они не сдержали своего слова. Тогда вступились бабы и говорят: «Да что же нам без яиц сидеть, што ли? Ведь не нашим же мужикам самим топтать кур, они и нас-то не больно топчат. Дайте 25 рублей, тогда дадим подписку кур не держать, а иначе хоть с дачи съезжайте». Заплатили, и точно, петухи исчезли. Но всякую весну условие возобновлялось снова.

Великие Князья

Поработав с натуры в Лиль-Адаме, к осени я возвратился в Париж, где почти ежегодно проживали В. Кн. Владимир Александрович с супругою В. Кн. Марией Павловной и В. Кн. Алексей Александрович. Раз случилось мне ехать с В. Кн., президентом Акаде-

мни, к художнику Дюбуа, директору Академической школы живописи и всех художеств. Путь был дальний. Пользуясь этим случаем, я завёл разговор с Его Высочеством об конференц-секретаре Исееве, желая его убедить, что он держит при себе отвратительного субъекта, который его именем делал в Академии всякие бесчинства, но, к сожалению, Великий Князь разом прервал меня, говоря: «Алексей Петрович, ведь мы поедем с вами завтракать, пожалуйста, не портите мне аппетит вашим рассказом об Исееве. Я знаю, чего он стоит. В нём есть дурное, как во всяком из нас, но есть и незаменимые качества, которые мне необходимы». Конечно, я замолчал, но лет 9 после его всё-таки угораздило в Сибирь. Он обокрал и церковь Божию, и всех, кто только служил в Академии, и самого Великого Князя на 90 тысяч рублей.

Те, кто судили о В. Кн. Владимире Александровиче, что он человек гордый и норовистый, очень ошибались. Нрав у него всегда был добрый, как и сердце, ибо я знаю много случаев, где он широко помогал своим близким и не близким людям. Трудно к нему было подступить во времена исеевские, ибо этот аспид отдал приказ, чтоб никто из художников не смел являться к Его Высочеству без его дозволения. И горе было тем, кто приходил к Великому Князю без его ведома. Такие просьбы никогда не исполнялись ссыльно-каторжным. Наступил период полного гонения. Будучи товарищем по флоту с гофмаршалом Двора Великого Князя адмиралом Егором Тимофеевичем фон Боком, я его предупредил об этом. И точно, он, увидев, что швейцар дворца Его Высочества получил приказание от Исеева, приказал швейцару сказать, что ежели он будет приказ его исполнять, то его и самого, Исеева, не пустят во дворец, разве с разрешения гофмаршала и не иначе, ибо здесь он не хозяин.

Подобная выходка ограничила на время заботливого начальника, но, к сожалению, скоро фон Бок скончался, и всё пошло по-старому. Впрочем, впоследствии мне придётся не раз говорить о моих отношениях к Его Высочеству, которого я всё-таки всегда любил сердечно и уважал как человека умного, доброго и знатока старины и искусства вообще. А что он обрывал меня иногда, то отношу это к тому, что он меня близко знал и любил, называя часто Лёхой или Лексеем-пустодеем в минуты доброго расположения, которые бывали нередко¹¹⁹.

Зная с юных лет В. Кн. Алексея Александровича, я составил убеждение, что он сходен во многом с его августейшим братом Цесаревичем. Даже речь его и голос всегда мне напоминали Его Высочество. Те же проявления скромности, стойкости и разума я находил в обоих братьях, портреты которых надеюсь обрисовать подробнее, когда придёт дело упомянуть об их обоюдных действиях, которых я бывал свидетелем.

Зиму я провёл в Париже, исполняя картину «Атака турецкого броненосца лейтенантом Скрыдловым».

В 1881 году скончался в Париже известный граф Муравьёв-Амурский. Все, кто его знали, искренне пожалели этого славного русского деятеля и почтили его память как доброго и честнейшего человека, прославившего нашу родину так же громко, как Ермак Тимофеевич. Сподвижником его был капитан I ранга Невельской, тот самый, которого граф Несельроде требовал предать суду и разжаловать в матросы за то, что он первый водрузил русский флаг на Тихом океане. Но Государь Александр II сказал: «Спасибо ему и Муравьёву. А где русское знамя поднято, там оно и останется».



А. П. БОГОЛЮБОВ. Площадь Клиши в Париже. 1880-е гг. Тушь, перо. СРМ. Публикуется впервые

Только теперь, когда Александр III начертал громадный сибирский Железный путь, истинная оценка заслуг графа Амурского выросла вполне. Будучи в почестях, он удалился из России после своего великого дела и скромно проживал в Париже, любезно принимая своих соотечественников, пользуясь всеобщим уважением тех, кто его знал. Странная особенность была у графа. Он терпеть не мог ездить в фиакрах и каретах и всегда пользовался конками, сидя на крышах омнибусов, говоря: «И воздушно и город изучаешь».

В то же время приехал сюда Великий Князь Константин Николаевич. Меня он знал с лейтенантского чи́на, ежели не с мичманского, а потому сейчас послал за мною своего адъютанта, лейтенанта Римского-Корсакова, чтобы я к нему явился. Жил он в маленькой квартире на авеню Морсо. Принял он меня весьма радушно, как старого своего подчинённого, сказал: «Послушай, Боголюбов, я приехал сюда отдохнуть от жизни, развлекай меня, пожалуйста. Я от тебя требую по старой памяти, чтоб каждую среду ты мне принадлежал от утра до вечера. Познакомь меня с французским искусством, с художниками, води по музеям, галереям, мастерским. Словом — води, к кому хочешь, не забывая своих русских товарищей». Так продолжалась моя служба при Великом Князе во всё время его здесь пребывания. Раз он говорит мне: «А что, ты знаком с м-м Виардо?» — «Знаком», — отвечаю я. «Зайдём к ней, ведь она живёт с Тургеневым?» — «Да!» — «Ну я хочу им сделать визит обом». Мы поехали. Ни Полины Виардо, ни И. С. Тургенева не было дома, и нас принял г-н Виардо, прося обождать его сожителей в картинной галерее, где господствовали две школы — фламандская и испанская. С интересом начал разглядывать Великий Князь картины, и тут я увидел, что он весьма хорошо знает всех старых художников Голландии и Испании, вступая в спор с хозяином и доказывая ему по годам работы всех знаменитостей.

Вскоре вошла м-м Виардо. Великий Князь почтительно поцеловал ей руку и сказал: «Пришёл поклониться той, кто увлекала всех нас в восторге прелестью своего дивного таланта. Ежели я люблю музыку, то вам я обязан этим наслаждением, ибо вы пробудили во мне то, что теперь уже никогда не угаснет и умрёт со мной».

Все, кто знали м-м Полин, помнят её увлекательный ум и светскость. Великий Князь слушал восторженно её речь и в порыве сказал: «Теперь недостаёт только, чтобы чудные ваши слова выражались пением». — «Отчего же нет?» И, закинув назад свои чёрные с проседью волосы, она подошла к роялю и залилась сперва весёлой испанской песенкой, а потом вдруг запела «Соловей мой, соловей», заставлявший когда-то трепетать и стонать от браво и аплодисментов весь Санкт-Петербургский Большой театр. В это время вошёл Иван Сергеевич. Он, видимо, как-то засмутился, сказав Его Высочеству: «Виноват, очень виноват, что до сих пор не пришёл поздравить вас с приездом в нашу деревню, но она такая сумасшедшая, что вечно в ней заболтаешься». «А я очень рад, что первый заехал к вам, — сказал Великий Князь, — и буду требовать, чтобы мы виделись, не считаясь по визитам, почаще».

Простившись почти в 7 часов вечера, мы поехали домой обедать. В карете Его Высочество говорил мне: «Да ведь Тургенев, кажется, совсем счастлив, ведь он влюблён в м-м Виардо, как юный прапорщик, а впрочем, что тут удивительного. Ведь она старуха, а я вышел от неё в полном восторге, так она умна и интересна!».

Иван Сергеевич сдержал своё слово и часто бывал у Великого Князя. Несколько раз после обеда мне доводилось слушать чтение Тургенева, которое всегда было увлекательно. Говорили часто о политике. Тургенев всегда оставался западником. И не стеснялся выражал, что идеал его правления страной есть английская конституция. Великий Князь очень ясно доказывал ему неприменимость этого образа правления к России и даже Франции и Германии. «Дайте нам побольше школ, — говорил он, — тогда мы будем достойны конституции, а пока мы почти неграмотны, как нам быть западниками, да и слава Богу!»

«Куда вы поедете летом», — спросил я Великого Князя, совершая с ним долгий путь по городу. «А, право, не знаю». — «А почему не в Крым, в Ореанду?» Тут я вспомнил, что дворец его сгорел. «А где мне жить, разве во флигеле, где ты жил, когда был с Цесаревичем, нет, брат, узко как-то, а строятся не на что, моё время прошло». И он замолчал. Ударил бы я себя в морду за этот вопрос, да уже поздно было.

Вспоминаю, как разнообразны и часто несправедливы были суждения нас, россиян, про Великого Князя. Конечно, я его знал почти поверхностно сперва и только теперь мог оценить его ум и всестороннее образование. Чего этот человек только не читал и чего он только не касался. Любопытность его была во всём и не поверхностная. Морскую науку он знал в совершенстве. Был математически образован, что я не раз слышал от моих учителей Семёна и Александра Ивановичей Зелёных и от Ф. Ф. Веселаго, наших учёных моряков. Конечно, он, как и все люди, увлекался, верил в способности тех, кто к нему был

близок, хотя бы адмирала Андрея Попова, который надул всех своими круглыми судами «поповками», чем чуть не погубил Великого Князя, плавая на императорской яхте «Ливадия», выстроенной по его системе, двигавшейся, как черепаха, и пробившей себе подводную часть о волны на переходе из Англии, когда они едва спаслись от гибели. Но он всё-таки настолько был благодарен, что взял всю эту неудачу на себя, выгородив тупого Попова, который дожил до глубокой старости генерал-адъютантом. Дело Великого Князя было — он уничтожил Архангельскую верфь и тем пустил по миру наш северный порт. Но это было в эпоху, когда железное судостроение взяло верх и листовые корабли уже не имели смысла. Точно так же он упразднил Охтинскую верфь и с ней уничтожил сословие, которое со времён Петра Великого было трудовое племя столяров и плотников. Так же неудачно уничтожил и Астраханский порт, перенеся судостроение в Баку в военный порт. Всё это теперь, конечно, забыто, но историк неумолимо скажет правду и разберёт построжее меня эти действия. Но всё же ума и высокой честности от Великого Князя никто не отнимет. От приятеля моего А.А. Зеленого я частенько слышал, что он образцово, умело и серьёзно председательствовал в Государственном совете, поражая всех честностью и правильностью постановки вопросов.

В его управление совершился факт, что до 20 вымпелов неожиданно явились в Америке и тем устранили Англию. Его деятельностью основана первая могучая Эмеритальная касса для помощи служащим во флоте. В его время заложено первое основание железному судостроению, сталелитейные русские заводы в городе Кронштадте. При нём устроены новые доки, и мало ли других ещё нововведений обязаны Его Высочеству. Над крестьянской реформой он тоже немало трудился. Но я тут не судья, а потому умалчиваю¹²⁰.

1883

Приехав в Петербург, я встретил Великого Князя в Гатчине, куда был приглашён на завтрак к Государю императору. Он стоял около Его Величества, а за ним виднелись все многочисленные приглашённые лица. Государь, как и всегда, с улыбкой подал мне руку: «А, очень рад вас видеть. Вы прямо из Парижа, Алексей Петрович?».— «Точно так, Ваше Величество».— «Верно, в Саратов пробираетесь? Я поговорю с вами о вашем музее». Великий Князь тоже подал мне руку и, обратясь к Его Величеству, сказал: «Боголюбов меня баловал в Париже, благодаря ему я теперь знаком со всеми художниками и музеями. Большое тебе спасибо, любезный!». Я поклонился и, отретировавшись, вмешался в толпу многих знакомых мне личностей. За завтраком пришлось сидеть около одного высокопоставленного господина, который с видимым участием и, как бы желая мне добра, тихо сказал: «Удивляюсь вам, г-н профессор, вы, который так близко знает Государя, по-видимому, очень близки к Великому Князю, ибо тот во всеуслышание сказал Его Величеству, что вы его постоянно руководили в Париже. Смотрите, чтоб вам эти отношения не повредили, ибо вы знаете нынешнее положение Константина Николаевича и нашего Государя». Я дерзко посмотрел на моего соседа и сказал ему: «Мало же вы знакомы с доблестью души нашего царя, а я убеждён, что ежели бы Его Величество знали, что позволяю себе подобные опасения к его дяде, так он бы выгнал меня из дворца за то, что я избегаю бывшего моего начальника, который всегда был ко мне расположен. А главное, как я смею входить в его разлады с его августейшим дядей». Откровенно скажу, что день мой был попорчен подобными разговорами. Но нет худа без добра. После этого события высокопоставленный господин перестал мне кланяться, чем я был очень доволен.

«Ну и с Богом, начинайте дело»

Двор вскоре переехал в Петергоф, где я и имел счастье представить мою картину «Атака лейтенанта Крыждова», после чего снова завтракал у Его Величества и имел разговор о Радищевском музее. Бывшему тогда министру внутренних дел гр. Игнатьеву представил план Радищевского музея и будущей школы, исполненный профессором Штромом и Мессмахером. Новое здание очень понравилось царю, он его подробно рассмотрел и сказал: «Ну и с Богом, начинайте дело».

Итак, заветная мечта моя осуществлялась. Благодаря вниманию монарха, я делался основателем первого провинциального музея, увековечивая память моего именитого деду А. Н. Радищева.

Вскоре, когда решение и план были доставлены в Саратовскую думу, то она единогласно почтила меня званием Почётного гражданина города.

Возвращаясь из Москвы, я пошёл к Его Величеству откланяться, отъезжая в Париж. Государь император имел всегда обыкновение после завтрака, курия сигару, садиться в амбразуру окна гостиной Петергофского коттеджа, и тут я мог свободно ему говорить о худо-

жестве, о заказах картин, о их присылке из-за границы, сообщал о том, что делается нового в искусстве Франции и пр. и пр. Его Величество сам вдруг сказал мне: «А ваши товарищи-передвижники всё перекочёвывают из одного городского зала в другой с тех пор, как Исеев их выжил из Академии. А потому я часто и серьёзно думаю о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства. Москва имеет, положим, частную, но прекрасную галерею Третьякова, которую, я слышал, он завещает городу. А у нас ничего нет. Вы знаете, что я строю в Копенгагене православную церковь по проекту архитектора Гримма. У вас будет в Париже барон Моренгейм, датский посол, он поговорит с вами о росписи её стен и иконостаса. Так вы выберите из ваших товарищей художника, который бы это исполнил. Я люблю и хочу здесь светлую живопись, ибо будущий храм очень хорош по освещению».

Но вот наступили дни коронавания нашего Государя и Царицы¹²¹. Я видел Государя перед самым его отъездом из Петербурга в Москву, ибо представлял ему свои картины, причём Его Величество, приказав мне написать иллюминацию Москвы, сказал: «Вы всё смотрите Москву с одной точки, а побывайте не на Воробьёвых горах, а у Драгомиловского моста. Да заходите ко мне в Москве. Я буду жить покойно в Нескучном, там поговорим о всём, что вам нужно мне сказать».

В Москве я пришёл завтракать к Их Величеству и тут сказал Государю, что еду в Саратов посмотреть, как строится мой Радищевский музей¹²². Причём Его Величество ещё раз упомянул о Петербургском национальном музее, сказав: «А ваш проект взять здание государственных имуществ хорош, но помещение мало, там почти нет двора, хотя в пожарном отношении он вполне подходит». Итак, мысль моя не осуществилась, но за неё я был сильно обруган министром Островским за то, что простой маляр позволял себе выставить его из тёплого помещения ради какого-то искусства.

Имея радужный билет, я пользовался свободным входом на все празднества коронации, но только очень умеренно, ибо вся эта толчея мне была не по силам, да и не по характеру. Но всё же я несколько раз видел Государя. На второй день он сказал мне: «А когда окончу приём, так подождите меня, я с вами пойду в столовую». Взойдя в этот блестящий золотом и серебром терем, Его Величество с любовью осматрелся — кубки, блюда, сулен и другие древности. Тут я снова увидел, как он любил старину и как тонко её понимал.

Немецкая старая работа не составляла его благорасположения, но древние русские ковши и всякая утварь им очень высоко ценилась. По осмотру он сказал: «Надо было бы, чтоб кто-нибудь описал общий вид этих прелестей. Погрудно взять точку, ибо сводчатые колонны закрывают многое». Кажется, художник И. Н. Крамской сделал ему акварель, но я её никогда не видел.

В коронационные дни совершилось освящение столь долго строившегося храма Спаса, перемещённого после неудачной планировки с Воробьёвых гор на берег р. Москвы. Строил его профессор архитектуры Константин Андреевич Тон и дал прекрасный памятник своего зодчества первопрестольному городу. Общий вид его напоминает его многие проекты этого рода, но красота обвода купола, конечно, всегда останется красивейшею линиею русского зодчества. Надо также отдать ему справедливость, что храм светел, просторен и великолепен по своему убранству и строительным материалам. Поручусь, пожалуй, и за прочность стен и постройки вообще, но не за живопись стенную, о которой говорил выше, ибо она уже теперь трескается от дурной подготовки стены. Всё это хорошее не мешало ему быть капитальным вором, так как он раздавал художникам работы за условную цену, далеко не настоящую. Но он умер, и его место занял его ученик, ректор Академии художеств Резанов, которому, конечно, уже осталось мало для наживы, а потому живопись опять подверглась гнусному террору. Самым капитальным произведением живописи я считаю купол храма, законченный или, лучше сказать, заново написанный известным нашим художником И. Н. Крамским.

После коронации я поехал с братом моим в Саратов. Сильно билось моё сердце, когда я подошёл к возникающему зданию. Цоколь и подвалы уже обрисовывались вполне, и я с радостью увидел, что мысль моя растёт не по дням, а по часам. И что, Бог даст, здесь явится здание, первое в России по мысли и по прикладному искусству. Радостно встретили меня представители города. Пригласили на обед в вокзале, что над рекою Волгой, а при входе ввели меня под звуки Морского марша, с криками «Ура». Такой чести я и не ожидал. Гости сменялись тостами, и тут я увидел, что общая наша затея основать Музей принята городом с гордостью.

Делать нам здесь было нечего, а потому мы поехали в губернию в Кузнецкий уезд, где жила моя тётка Радищева, жена моего покойного дяди Афанасия Александровича. Когда-то я бывал в этих поместьях, но они погорели и были заново отстроены ещё при жизни дя-

ди. Везде царила незнакомая мне патриархальность. 15 слуг при доме, 2 повара, 2 садовника, 2 кучера, скотник, скотница, портной, 2 подсадовника, 2 лакея комнатных и 3 горничных. Всё это жило для одной тётушки, питалось и плодилось. Дом был громадный, со службами. Амбары и конюшни, 12 лошадей в стойлах. Дядя был старый кавалерист и лошадей любил. Заглянув в каретный сарай, я увидел там допотопный высокий дормез, в котором разъезжал дядя, будучи губернатором 3-х губерний. Были долгуши-сани шестиместные, коляски, дрожки, сбруя. Но без хозяина всё это старьё как-то грустно и мертво.

Большой сад был позапущен. Яблони рдели фруктами. Малина, земляника и клубника висели в изобилии. Всякая птица, свиньи, бараны и индюшки бродили по двору, пробираясь в конопляник, а иногда и на молотилку — сооружение допотопное, которое вращало 10 лошадей. При тётке проживала её крестница, дочь её покойной горничной, из которой старики сделали ни паву, ни ворону. Вся дворня была её родня, а потому смотрели на неё завистливо. Когда девка подросла, то тётка прискакала ей мужа, мелкого помещика по соседству, дворянина Татаринова, и их повенчали. Но через два года парень запил, начал бить жену, приданое её прокутил (15 тыс. рублей) и под конец завёл любовницу и жену выгнал, которую мы и застали при старой своей барыне.

Тётка наша Камилла Ивановна была очень нам рада, с дядей они прожили чуть не 50 лет счастливо. Несмотря на то, что она была католичка, всегда ходила в нашу церковь и часто служила панихиды на могиле своего друга и мужа.

Речь она повела такую: «Положим, что дядя ваш мне всё оставил, но вы всё-таки его прямые наследники, а потому пишите сами духовное моё завещание, ибо я хочу, чтоб после вас здесь была школа для девочек и мальчиков и называлась Радищевской, а земля пусть даёт вам доходы на жизнь и потом идёт в земство для воспитания юношества. Брат и я были этим очень тронуты, и Николай Петрович составил духовную, которая нам и была вручена после её смерти. Именное это было отпрыском громадного Радищевского владения в 7 тысяч душ крестьян и называлось село Аблязово. Здесь стояла древняя церковь времён Елизаветы Петровны, а рядом был радищевский дом, соединённый крытым ходом с церковью, в которой был иконостас Луи XV, такой работы, что я ахнул, когда туда вошёл. Но что стало с домом, где жил мой дед А. Н. Радищев! Половицы его были разобраны, крыша дыривалась, и старинные древние кирпичи валялись на громадном дворе. Теперь тут жила племянница деда, тоже Радищева, но по беспутности совсем прогоревшая. Когда мы её повидали, то просили, ежели будет продаваться этот святой для нас клочок земли, чтоб нам его отдали. Но, не знаю почему, она его передала своему кузену, который продал кулаку из Пензы. Дядя, пока был жив, поддерживал сельского священника, принимал его к себе и беседовал, но старик поп помер, а молодой, его зять, и попадя оказались какими-то дурнями, всего чуждающимися.

Гуляя по двору, я заметил, что на чердаке живёт несметное количество голубей, а потому сказал повару, чтоб он их наловил и сделал паштет. Но ужас! Я и брат его только и ели, хотя он был очень вкусен, но остальное бросили псам, ибо все считали святотатством есть эту святую птицу. Так что по деревне я прослыл еретиком.

Прожив здесь недели 2, я вернулся в Петербург, где был приглашён Государем сопровождать его по смотру, который он делал на Кронштадтском рейде. Тут я насмотрелся на очень интересные вещи, а именно: на подводные мины, которые при взрыве вздымали столбы воды выше корветского вооружения, что я набросал сейчас же акварелью в альбом и впоследствии представил Его Величеству. После смотра на яхте «Держава» давался обед, куда были приглашены командиры судов и масса офицеров. Надо было видеть, как царственный хозяин любезно принимал своих гостей. Почти со всеми он говорил, шутил. Со всеми чувствовал себя, как в родной семье. Так что мне вспоминалось, как он был мил с офицерами в Севастополе, где был открытый стол для всех и кто хотел приходил без приглашения. Теперь он царь, думал я, но душа у него всё такая же любезная и внимательная.

Тургенев и Виардо

В художественном клубе нашем бывали вечера, украшением которых на этот раз были Иван Сергеевич Тургенев, А. Г. Рубинштейн, мадам Виардо и молодая певица Литвинова, она же Литвин в театральном мире. Здесь в последний раз мы слушали чудное чтение Ивана Сергеевича. Затем Полина Виардо скорее сказала, чем спела, французские два романа. Эта великая артистка, конечно, утратила свой первобытный голос, но всё-таки пела разговорно с таким знанием и вкусом, что все мы были в восторге.

Дивный виртуоз наш Рубинштейн сыграл Шопена и «Геронку» Бетховена и аккомпанировал г-же Литвин русские романсы, исполненные молодой артисткой.

Такого вечера по общей гармонии мы никогда более не видели в нашем Обществе ¹²³.

К великому нашему сожалению, мы скоро узнали, что И. С. Тургенев болен и что ему надо сделать операции. На ту пору приехал сюда известный наш врач Белоголовый¹²⁴, он присутствовал при операции, которую сделал известный хирург Сегон, сказав, что нарост, срезанный им, доброкачественный, что больной скоро оправится. Сказанное было верно. На третий день операции я был у Ивана Сергеевича. А через десять дней он уже был на ногах. Но другую речь вёл наш сибиряк Белоголовый: «Это скорое заживление раны нехорошо, нарост был раковидный, и, к сожалению, он скоро себя покажет в другом виде, так что господа французы напрасно себе воздают хвалу». И точно, болезнь приняла скоро другой вид и оказалась в позвоночном хребте.

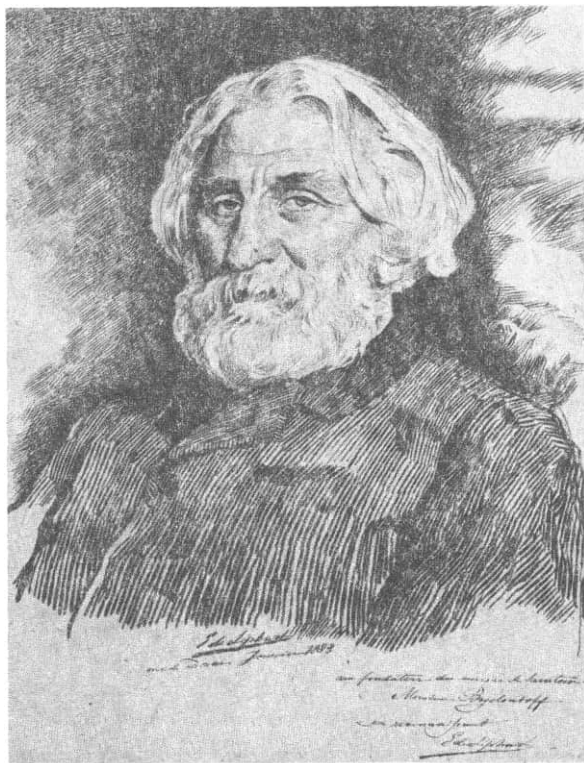
Одновременно с Иваном Сергеевичем стал хилеть его почтенный друг Виардо, ему было уже лет за 75. Жизнь в рю Дуэ была тяжка для Тургенева, и вскоре он решил переехать на дачу в Буживаль, где имел совместно с парком и домом Виардо свою виллу. Когда Тургенев оставлял своё жильё, его сносили с лестницы, а во втором этаже к двери подкатили на кресле умирающего Виардо. Друзья молча пожали друг другу руки и, сказав «au revoir»*, расстались навеки, ибо через две недели Виардо не стало¹²⁵.

Вся эта семья по принципам была вполне атеистическая и свободомыслящая, не принадлежала ни к какой религии, а потому похороны его были свободны от всякой обрядности.

Зная Виардо, я по-своему составил о нём высокое мнение. Первое — как знатока музыки и знатока людей, ибо он из простой цыганки создал Полину Виардо великой артисткой и дал ей всестороннее образование, которым она блистала до конца дней своих, будучи композитором и великой музыкантшей и укрепительницей талантов. Говорили про неё, что она жадна и обдирает своих учениц. Это правда, но только богатых. А бедных она учила массу, давала деньги на жизнь и пристраивала на сцены, имея громадные связи со всеми импрессарио и артистами. Назову здесь нашу Ильинскую, эту милую девушку, которую она вывела, но, честно говоря, голос её никогда не был для театра, а только концертный. А сколько было других её учениц, которые получили службу через неё.

Друг Тургенева, П. В. Анненков, беседа со мной, раз высказал ещё некоторые истины о своём приятеле, которые, я думаю, никак не занесены на бумагу, а потому тоже прольют свет и усугубят оригинальность отношений Полины Виардо и Ивана Тургенева.

С юных лет, когда впервые Иван Сергеевич увлёкся Полиной Виардо, два года протекли, что она почти смеялась над его страстью. Но высокий ум и талант Тургенева восторжествовали над гениальной артисткою. Муж м-м Виардо по высокой своей честности нашёл, что он не вправе мешать сочетанию столь высоких чувств, и меж ними состоялся пакт. У Виардо была дочь от Полины — Ритта. Полине разведение оказалось не пригодным, а потому муж уступил свои права Тургеневу и сделался другом без всяких скандаль-



Э. К. ЛИПГАРТ. И. С. Тургенев. 1883. Внизу подпись и надпись автора: «Э де Липгарт. Улица Дуэ, январь 1883», «Основателю Саратовского музея господину Боголюбову признательный Э де Липгарт» (обе надписи на французском языке). Тушь, перо. СРМ

* «До свидания» (франц.).

ных разводов, и Иван Сергеевич сделался фактически мужем м-м Полины. От их брака родилось две дочери, которые вышли замуж и за которыми Иван Сергеевич дал каждой по 100 тысяч франков приданого. Жили они модно в Баден-Бадене. Рядом у Тургенева была своя вилла. Но тут случилось горькое испытание для Тургенева. М-м Виадро уступила своему цыганскому темпераменту и временно жила с принцем Баденским, от которого, как говорят, родился в свет известный скрипач Поль Виадро. Перерыв этот был тяжёлым испытанием для Тургенева, но через два года их отношения снова восстановились и уже не прерывались до конца жизни.

Живя в Париже, мне случалось неоднократно бывать у Ивана Сергеевича в злополучные дни, когда он страдал подагрой. При входе м-м Виадро к нему я, конечно, сейчас же удалялся. Но всё-таки я замечал, как просветлялось лицо нашего страдальца и с какою нежностью и участием м-м Виадро к нему обращалась. Жизнь их, конечно, не подлежит ни чьему осуждению. Тургенев помещался в третьем этаже, в двух комнатах, и был совершенно счастлив и доволен. По своему бешеному темпераменту Полина была кумиром в доме, и надо было видеть заботливость Ивана Сергеевича, чтобы быть ей приятным самыми мелочными угождениями. Детей своих он любил страстно. Обе дочери были милостивы, но м-м Шамро больше его обожала, чем младшая её сестра. Когда они выходили замуж, то мне удалось быть на обеих свадьбах. Это происходило в Eglise libre, где не было ничего поповского, но пелись чудные кантаты лучшими артистами и органом дирижировал и играл знаменитый Сен-Санс. По убеждениям родителей, дети не подвергались обряду крещения, но имели дело только с мэрией. Живя в такой обстановке, Иван Сергеевич казался свободомыслящим, но я его всё-таки считал верующим.

Да, утратили мы навсегда нашего гения-художника, великого писателя Ивана Сергеевича Тургенева! Это был не только наш человек, но и собственность Европы. Он первый понят ею дотла. Он читан на всех её языках, как Байрон, Шиллер, Гёте, как Дант, как Шекспир и Диккенс. Такой чести никто ещё не доживал из русских людей. Велик Пушкин, слово его звучит в сердцах наших, но глухо и непереводаемо для других. И всё-таки от этого в минуту потери не легче на душе.

Я видел в последний раз Ивана Сергеевича в Буживале, возвратясь из Питера, пока не поехал в Трепор. Встретил там его доверенного приятеля Топорова, который жил у него недели три, а потому и передал мне всё, как страдал больной за последнее время. Прибыл я часа в три, и Иван Сергеевич тотчас же меня принял. Тут был ещё кн. Мещерский, преданный ему человек, бывший на даче Виадро до последнего дня Тургенева. Лежал он на кушетке на балконе, покрытый пледом. Чудное чело его с раскнутыми волосами покоилось на высокой подушке. Глаза были полузакрыты, как и рот. С полминуты я стоял и глядел на него, но тут он меня признал и тихо сказал: «Спасибо, что пришли, Боголюбов, а завтра, пожалуй, и не застали бы». Я что-то хотел сказать, но он проговорил тихо: «Песнь моя спета, с землёй всё кончено у меня. Остаётся прощаться с друзьями». — «А Стасюлевич не был ещё у вас?» — «Нет, жду его каждый день, и, ежели завтра не приедет, то не застанет».

После этого было опять минуты две молчания. Сжалось моё сердце, глядя на этого гиганта ума, сердца, и слёзы стали навёртываться у меня на глазах. Тут Иван Сергеевич опять ко мне обратился: «Прощайте, Боголюбов» — и протянул мне руку, которую я поцеловал. «Зачем вы это делаете? — сказал он тихо. — Вы любите людей, и я их старался любить, сколько мог, так любите их всегда, прощайте». Я зарыдал и вышел вон. Такое чувство грусти повторилось со мной в третий раз: первый — когда я закрывал глаза матери, другой — когда умерла жена и третий — когда я простился с Иваном Сергеевичем¹²⁶.

Оправясь немного, я сошёл с кн. Мещерским в подгорную аллею. Тут мы встретились с зятем м-м Виадро, музыкантом-композитором Дювернуа, который на мои слова, что Ивану Сергеевичу плохо, что вон, кажется, человек бежит за доктором, сказал очень хладнокровно: «Да, но ведь это бывает почти каждый день. Все мы знаем, что он очень болен...». Тут кн. Мещерский, наставлявший и прежде моего входа к Тургеневу, чтоб я завёл разговор с ним о месте его погребения, на что я, конечно, никогда бы не согласился, прямо в упор сказал француз: «Ну, а хоронить где его собираетесь?» — «Это вопрос почти решённый. Он всегда говаривал, что желал бы лежать у ног своего учителя Пушкина, но в конце концов сказал — положите меня рядом с Белинским». После Мещерский поставил вопрос, что ежели бы оправился Тургенев, то на зиму ведь ему жить в Париже в его мансардах невозможно. «Ну, да... конечно, но думаю, что он умрёт прежде, во всяком случае, ему надо куда-нибудь уехать». Тут мы распрощались и только свиделись на похоронах Тургенева, где я сказал ему: «Обращайтесь за всем к М.М. Стасюлевичу, это честный человек, и совет его самый достойный, ибо он был другом покойного».

Я уехал вскоре в Трепор, где и жил, работая этюды. Стала надоедать переменчивая погода. Написал я и бури и затишья всякие, всё время пил сыворотку, так что мог даже работать и утром, и вечером, а всё-таки порешил ехать во вторник в Париж, ибо письма и газеты доходят сюда плохо, как и телеграммы.

Сию я в 12 часов, ожидая завтрака у своего окошечка. Дом мой был прямо против церкви готической XIII века, строенной ещё англичанами. Вдруг слышу звон мерный с перезвоном на разные тоны, значит, говорю себе, кого-нибудь хоронят. И точно, через пять минут раздалось хриплое бляение причета католического. Потом шли простые люди в чёрных пиджаках и, наконец, бабы в чёрных капюшонах и дети. Покойник был уже в церкви, где его подняли и понесли через 10 минут на кладбище. А я стал собирать свои вещи, потому что завтра еду. Первое, что попало в руки, когда я отворил комод сельского свойства, всегда со скрипом и визгом, была книга Тургенева «Первая любовь». Я машинально покрутил её, раскрыв и закрыв, да и подумал, зачем это так случилось. Но потом перешёл к краскам, бумаге и прочему хламу.

Во вторник я, точно, уехал в Париж, а на другой день в десять часов пошёл к фотографу, где хотел непременно, не знаю почему, узнать, существуют ли клише с моих карикатур охоты у барона Урии Гинцбурга, где были две с Ивана Сергеевича и которые я дал Топорову для того, чтобы поместили в новом издании «Записок охотника», предпринятом И. И. Глазуновым.

Объяснив в чём дело г. Лошару, я вдруг увидел, что лицо его вытягивается и руки складываются: «Ах, как жаль, что господин Жан умер. Сегодня большой артикул в «Евепепе», не хотите ли прочесть» — и подал мне газету. Прочитав заголовок, я, не простясь, побежал к попу Васильеву. Его не было дома, но от привратника узнал, что за час до меня какие-то три молодых человека привезли гроб Ивана Сергеевича и что он теперь стоит в подвальной церкви. Я потребовал, чтобы мне её отворили, и, точно, вижу во мраке при маленькой, едва теплящейся лампадке стоит что-то. Стоял я перед этим полувидением, как осовевый, и, пока глаза привыкли к свету, мысль собиралась, и я, точно, разглядел дубовый гроб, покрытый золотым покровом. Тут я пробыл в раздумье минут десять один, и все слова прощались с Тургеньевым перебирались мною, и я как снова их слышал, и снова они тихо шептались тем, кого уже более не существует. Мальчик вернулся. Я вынул свою записную книжку, попросил его зажечь канделябр и зачертил это видение с его длинными тенями, теряющимися на сводах церкви — этого последнего жилья великого человека¹²⁷.

Возвратился домой. Ко мне пришли Онегин и Харламов. «Да как вы узнали, что я здесь, господа?» — говорю я им. «А мы были в церкви, сторож сказал, что вы только что ушли, вот мы и пошли вдогонку». — «Грустна наша встреча, господа». — «А каковы проводы покойнику из дома его г-жей и г-ми Виардо — так и собаку любимую лучше провожают», — сказал Онегин, — ведь мы отсюда. Ничего не ели до сих пор, поднялись в 8 часов. Приехали в Буживаль с холстами, рамами, хотим взойти — дворник говорит: «Никого не велено принимать». — «Да мы к покойнику». — «К покойнику, так поезжайте в Париж, он теперь сдан в церковь». — «Да ведь он умер в понедельник, в час пополудни». — «Это правда, но вчера работали целый день, резали, зашивали доктора, ваш консул был и священник, ну и управились, а сегодня отвезли». — «Ну, так поздравляю вас с новыми хозяевами». Побредли на станцию железной дороги. Ждали, конечно, зашли в церковь и к вам. Дайте есть», — сказал Онегин.

За завтраком я узнал следующее, что никому, кроме вышесказанных деятелей, знать не дали¹²⁸, что приглашений никаких не будет, а о дне похорон объявится в газетах, что снята фотография, что Тургеньев-скульптор, племянник покойного, снял маску и руку гипсовой. И то спасибо, что, проживая в Буживале, услышал о смерти Ивана Сергеевича от своей коровницы, отпускаявшей ежедневно два раза молоко покойному, что накануне при агонии был кн. Орлов с сыновьями, которого едва допустили взглянуть на умирающего. Но единственный кн. Мещерский из русских людей был при его смерти, и то потому, что ночевал на даче.

При конце завтрака пришёл отец Дмитрий Васильев. От него я узнал, что похороны назначены на пятницу, что был вопрос хоронить 2-м классом, но порешили на 3-й, про время отвоза гроба в Россию выяснит М. М. Стасюлевич, живущий теперь в Динаре и бывший час спустя по отходе Ивана Сергеевича в Буживале и которому я оставил при отъезде моём из Парижа в Трепор письмо, сообщая слова Ивана Сергеевича, а также желание его скорее увидеть. Михаил Матвеевич Стасюлевич писал мне в Нормандию, что он с час говорил с Тургеньевым о его делах, но, видя, что большой утомляется, ушёл, но излагал в письме надежду, что мы, быть может, ещё доживём до 25 октября, дня рождения Тургеньева, то есть до 65 лет. Но вышло иначе. Страдания стали слишком сильны; и несмотря на свою богатырскую натуру, Тургеньев уступил смерти.

О похоронах в церкви не скажу много, всё это известно из газет, но и они вралли, как и всегда. Например, лежал у гроба наш венок, чудесный, с чёрной лентой, где было написано белым по-русски: «Великому художнику-писателю от Общества русских художников в Париже». Ну и что ж, все газеты написали: «От французских художников». А то же самое перепечатывают в русских, так что я писал В. Стасову, прося по возможности поправить ошибку печатно. Речей не было. Орлов, считая церковь придворною, посольскою, нашёл это невозможным. Да и вообще в России ведь миряне не произносят их в храмах, а говорят на кладбищах. За это его осуждали, что очень неправильно, ибо он всегда, сколько мне известно, был приятелем покойного, навещал его по первому зову, что мне слишком хорошо известно, когда случилась из-за Ивана Сергеевича наша пресловутая лавровская история.

Вообще скажу, что отношения князя и Тургенева всегда были самые дружеские, и покойный не раз говорил мне, когда случалось по делам его секретарства у него что-нибудь отстоять или поправить, что такого чудного князя художники и не наживут никогда.

Отец Васильев сказал хорошую речь, где он упомянул о Тургеневе как земляке, он из Орла, так было очень прочувствованно. Людей, любивших покойного, в церкви было много. Почтенная старуха Тургенева, жена Николая Ивановича Тургенева, подуслепая и, поди, безногая, со своей семьёй. Когда я сказал ей, что хотим открыть подписку на серебряный венок от его почитателей парижских, дав 200 франков, сказала: «Не стесняйтесь, заказывайте, а что не хватит — я всё плачу». Э. Ренан молча крепко пожал мне руку, он был очень печален, считал всегда другом покойного. Благодаря ему я с ним и познакомился и ещё более сблизился через М. А. Рафалович.

Много людей русских бранят м-м Виардо, ругая её цыганкой, грабительницей Тургенева, жадной тварью, воспользовавшейся его состоянием и пр. и пр. Я не стою на их стороне и не думаю так, благодаря тому, что, бывая в их доме, мог вглядываться в интимную жизнь Ивана Сергеевича, когда случалось её заставить у постели больного за много лет до смерти, во время подагрических припадков. Что можно было лучше поступить при его кончине, оказать более внимания его друзьям — это другое дело, но где эти друзья, — все в разброд. Город пуст, а смерть не ждёт. Да почему же и не допустить в ней эту истинную грусть. Обычай страны и прочее не принимается протестующими. Жизнь Тургенева и Виардо не есть жизнь обыкновенных людей. Полина Виардо, по-моему, была с Иваном Сергеевичем истинная пара по умственным достоинствам. Что у неё нет души, что всё расчёт — это другое дело, хотя и недоказанное и, опять по честности, не наше дело. Был бы недоложен покойный всеми этими порочными оттенками великой певицы и трагической актрисы, он не пробыл бы под одной с ней крышей более сорока лет, не сносил бы её дикого характера и обид (как это говорится другими) и даже унижений. Нет, всё это было для него ничтожно перед теми высокими достоинствами, которые приковали его к дивной женщине — безобразной красавице. Другой подруги он не мог иметь, и криво судят те, которые хотели бы ему навязать свой угод и свою любовь, им присущую. Ивану Тургеневу надо было жить и любить своеобразно, так, как он своеобразно бросил взгляд на всё, что сотворил, и тем себя увековечил. А деньги, дачи, дома, имущество, оставленное им, — всё это вздор, всё это бледно перед 42-летним чувством привязанности и хоть единым мигом наслаждения ума и сердца, который ему дала м-м Виардо. А потому вопроса о духовной и о том, почему Иван Сергеевич не оставил чего Я. П. Полонскому или на школы и пр., поднимать никто не вправе. Всё это было его, и он полный властелин своего добра.

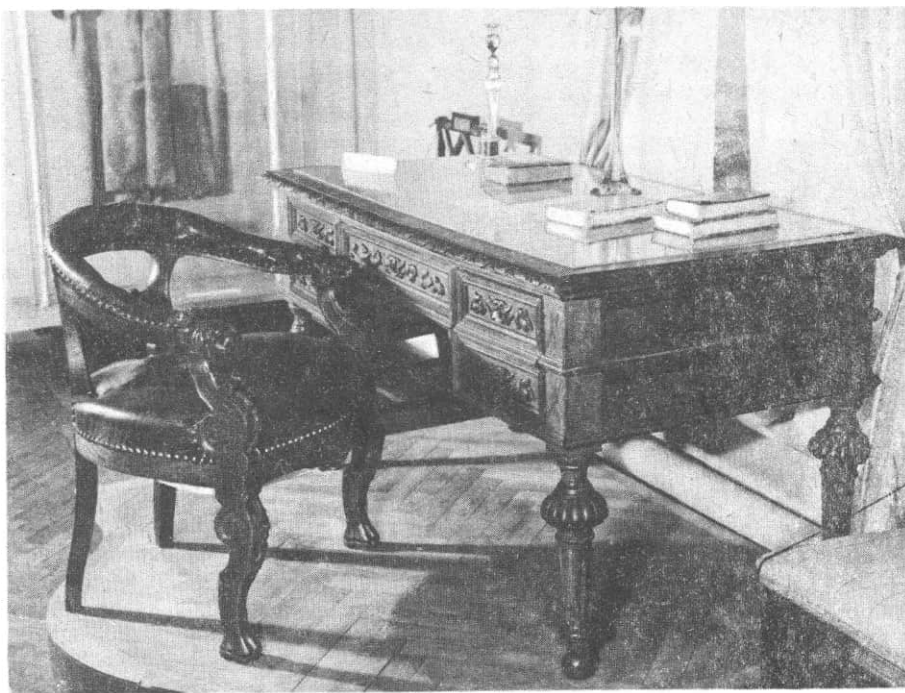
Говорил мне кн. Мещерский, что при разговоре с покойным он вывел заключение, что Иван Сергеевич хотел знать мнение м-м Виардо, где быть ему погребённым, и что ежели бы она сказала, что фамильный монмартрский склеп соединит их бранные останки навсегда, то Тургенева Россия не получила бы. Он ждал этого решения, но его не последовало. Этому я, пожалуй, и не верю, хотя допускаю, что душа Ивана Сергеевича могла требовать такой последней ласки. Но ежели так не получилось, то надо уметь опять понять слова Дювернуа: «Тургенев принадлежит России, а не нам одним. И ежели бы мы вздумали хоронить его у себя, то заслужили бы справедливый гнев всего русского общества».

Похоронили мы Ивана Сергеевича совершенно по-православному. Протоиерей нашей посольской церкви Д. В. Васильев, будучи земляком покойного, сказал над гробом прекрасное слово, где в массе обрисовал сердечную доброту Тургенева и любовь к ближне-му¹²⁹. Палатка была достойна Ивана Сергеевича, чёрная, глубоко траурная. 12 громадных канделябров её освещали. Вместила она 1000 человек народа линией. Вереница довольно потрёпанных людей взошла с достоинством и возложила венок с надписью — это были нигилисты, или лучше — жители Латинского квартала. Всё обошлось благополучно, были Арапетов, Стюрлер, гр. Капнист, Гинцбург, Рафалович и пр. и пр. А в 8 ч. вечера гроб от-

правили с тихим поездом. Завтра едут гг. Шамро и Дювернуа, зятя м-м Виардо, на границу России и дальше.

М-м Шамро проводила его останки в Россию, где друзья покойного, как г. Стасюлевич и другие, его встретили и погребли рядом с церковью Волковского кладбища подле профессора Кавелина. А как всё это произошло в Петербурге, то следует прочесть современные газеты, в которых подробно описано это знаменательное событие. Рисунок тушью, неоконченный, я отдал в альбом Общества русских художников в Париже¹³⁰.

Спустя некоторое время после всех печальных событий я поехал в Буживаль к м-м Виардо. Приняла она меня очень ласково, чего я вовсе не ожидал, ибо газетные статьи, в русских журналах, да и многие частные люди, доброжелатели Ивана Сергеевича, не очень-то лестно отзывались о великой артистке. Все громко роптали, что, кроме своего родового имени, он оставил всё своё состояние м-м Виардо, а главное — право на издание его сочинений, которое сейчас же было куплено Глазуновым за 50 тысяч рублей. Кузнецик-музыкант Я. П. Полонский тоже претендовал, что как-де Тургенев так ласкал его жену и ей ничего не оставил. Осуждали Ивана Сергеевича за недостаток патриотизма, говорили, что он только на словах любил русского мужика, но на деле забыл его. Были дамы, которые сожалели о его смерти потому, что он им обещал занести в их альбом своё славное имя и надул! Но вот что высказала мне весьма спокойно с полным достоинством гениальная подруга жизни нашего незабвенного Ивана Сергеевича: «Какое право имеют так называемые друзья Тургенева клеймить меня и его в наших отношениях. Все люди от рождения свободны, и все их действия, не приносящие вреда обществу, не подвержены ничему суду! Чувства и действия мои и его были основаны на законах, нами принятых, непонятных для толпы, да и для многих лиц, считающих себя умными и честными. Сорок два года я прожила с избранником моего сердца, вреда разве себе, но никому другому. Но мы слишком хорошо понимали друг друга, чтобы заботиться о вреде и что о нас говорят, ибо обоюдное наше положение было признано законным теми, кто нас знал и ценил. Ежели русские дорожат именем Тургенева, то с гордостью могу сказать, что сопоставленное с ним имя Полины Виардо никак его не умаляет, а разве возвышает. Мерзавцы говорят, что я обобрала Тургенева, не зная, что меж нами есть залоги, которые уничтожают всякий материальный расчёт, принадлежащий нам обоюдно».



Стол и кресло И. С. Тургенева. Музей И. С. Тургенева, в Орле

Бывая у Ивана Сергеевича и будучи знаком с домом Виардо, я никогда не мог думать, чтобы эта femme sarpiente* была со мной так любезна и откровенна, что мне дало право пощадить её. И, к удивлению, я увидел, что единственный русский человек из её знакомых, продолжающий знакомство,— это я.

Вскоре дом на рю Дуэ, где жили Иван Сергеевич и Виардо, был продан. На месте его теперь стоит громадный шестизэтажный.

Оставляя своё жильё, Полина Виардо оставила мне письменный стол и кресло, за которым сидел и работал наш русский гений. Отдала мне его клеш-блузу, перо, чернильницу, а потом берет и тогу Кембриджского университета, где он был почётным членом¹³¹. Отдала некоторые его книги, обещала рукописи, но, кажется, их у неё кто-то купил. Все эти реликвии я бережно собрал и препроводил в Радищевский музей, где стоит бюст Тургенева работы Антокольского в углу, носящем имя «Угла Тургенева». На стене висят его портреты и рукописи, а также письма м-м Виардо о даре музею его утвари. Итак, не в Орле, где родина Тургенева, хранятся о нём дорогие вещественные воспоминания, но под сенью А. Н. Радищева, которого Иван Сергеевич всегда высоко ценил¹³².

Иван Николаевич Крамской

Зашёл я как-то к К. П. Победоносцеву, который мне говорит: «Ну, что мне делать? Пристаёт Нечаев-Мальцев, надо ему егермейстера или что-то другое придворное. Как тут поступить, какие у него заслуги?».— «Да вед он подбит золотом, так дайте ему мысль украсить храм, строящийся в Копенгагене, который Государь лично созидает. Пусть предложит ему в дар три фрески из жизни князя Александра Невского, а работу отдайте Крамскому».— «Да, это чуждая мысль».— «Но не просите менее 20 тысяч рублей».— «Ну, ладно!».

На другой день получаю записку от Победоносцева: «Пришлите мне Крамского. Нечаев-Мальцев будет у меня в 11 час. утра». Ну и точно. Храм украсился тремя прекрасными иконами, только не за 20, а за 15 тысяч. На 5 тысяч егермейстер надул художника.

Хотя Иван Николаевич Крамской¹³³ был родом из казацкой семьи, но это не помешало ему занять видное место среди русских художников своей эпохи. Поступив в Академию художеств учеником и достигши натурального класса, он записался в ученики к профессору А. Т. Маркову. И с самого начала показал в себе крупную способность быть рисовальщиком, что он и сохранил до конца своих дней. Всё шло хорошо в Академии художеств, но брожение юных уже началось, незаметно нарождалось и крушение. Традиция задачи тем на золотые медали осуждалась справедливо молодёжью, желавшей выказать свои способности по той отрасли, к которой они были расположены, ибо Ахиллесы, Сократы и Агамемноны устарели, давая весьма мало жизни для ума людям, проникнутым своею отечественною историей или другими более живыми сюжетами.

В этот год (1863) конкурентов на Первую золотую медаль было много и, как нарочно, народ всё был развитой, трудящийся и талантливый. И вот им задают какую-то скандинавскую былинку, что волк гонится за луною или что-то вроде этого, которая, по общему обсуждению, оказалась вовсе неподходящею по их разуму. Вследствие чего было подано заявление Совету, что нельзя ли-де переменить сюжет, как очень трудно исполнимый. Умное начальство воспротивилось. Ученики упорствовали, и в конце концов их сочли за бунтовщиков и всех огулом выбросили за борт Академии с пожеланиями доставать на воле золотой медали и следуемой за ней пенсии.

Горько и безотрадно было положение молодых людей. Все они были люди без средств, а потому надо было что-либо придумать, чтобы не погибнуть с голода. И вот в уме И. Н. Крамского явилась блестящая мысль — составить из себя рабочую Артель художников и дружно помогать друг другу общим трудом. Думали недолго. Наняли приличную квартиру, и дело у них ежели не закипело, то по крайней мере настолько выяснилось, что явилась работа и общее существование было обеспечено.

Жила братия в таком виде года три, но тут пошли разлады. Иван Николаевич, видя, что уже нет былого дружества, вышел из Общества, которое без него скоро совсем развалилось.

В эту пору Крамской уже был женат. Трудно было выбираться на свет Божий, но за спиной была кроме строгого рисунка ещё одна громадная способность, о которой, несмотря на всю свою скромность, он позволял себе говорить с уверенностью: «У меня нет таланта, но что мне дал Господь Бог, это способность, делая портрет, доводить сходство до смешного».

* Мудрая женщина (франц. и лат.).



И. Е. РЕПИН. Портрет отца. 1884. Тушь, перо. Подарок автора СРМ

мым могучим фламандцем, так он ни сколько не сконфузится.

Цены Крамского первоначально, да и до конца жизни, когда талант его уже окреп, были крайне умеренны. И когда мне случалось ему поставлять это на вид, то он добродушно отвечал: «Алексей Петрович, я не такой счастливчик, как вы, и должен думать, что у меня семья, которую надо поставить скромно, но уверенно на ноги, не оскорбляя и не эксплуатируя заказчиков».

Надо отдать справедливость Ивану Николаевичу, что жил он всегда прилично, но скромно, обращая полное внимание на свою семью, в чём, несомненно, ему помогала его достойная жена Софья Николаевна, весьма неглупая, даже острая, но к сожалению, малообразованная. От Крамского, по его начальному воспитанию, тоже нельзя было требовать образования, но, стараясь всегда возвращаться в среде людей умных и науки, он много над собой трудился и был человеком вполне благовоспитанным, чему, конечно, ему помогал здоровый природный ум и высокая врождённая честность, которая проглядывала во всех его действиях.

Крамской владел свободно пером, писал осмысленно и весьма толково. К сожалению, В. В. Стасов, издавший его письма огулом, оказал малую услугу посмертной памяти Ивана Николаевича, ибо ежели вы станете читать его переписку, то мало узнаете по ней Крамского. Нужда, в которой он жил, проглядывает почти в каждом его послании, что вовсе не интересно и что топит в муке те письма, где он говорит горячо о искусстве и своих собратьях, которых любил сердечно и бескорыстно¹³⁵.

Никогда Иван Николаевич не был присяжным преподавателем. Но сколько народу он образовывал из молодых людей, которые приходили к нему поучиться и за дружеским советом! По нужде он давал частные уроки, но всегда тяготился ими, ибо, не видя никакого таланта в своих плательщиках, скорбел душою за них и часто говорил: «Я обворовываю эту публику». Репин, Ярошенко, Савицкий, Васнецов и многие другие пользовались советами Ивана Николаевича и не посрамили его науки. Имея такие блестящие профессорские способности, прямое место Крамского было бы в нашей Академии художеств. Но, будучи оттуда изгнан с позором, он до конца своей жизни был к ней крайне строг и враждебен. Да и как не быть врагом тогдашнего состава профессоров, которые под пятой мерзавца, вора, ссыльно-каторжного Петрушки Исеева были послушны, как овцы, которых он стриг и брил по своему произволу. Эпоха эта мне была слишком хорошо знакома, ибо, будучи

И точно, все портреты Крамского удивительно похожи и характерны, выявляют лицо вообще, а в особенности глаза человека, с которого он писал. Вы почувствуете, что находитесь под влиянием того, на кого смотрите, а вдаваясь в подробности — рот, нос, ухо, овал лица, — всё так и говорит в пользу сходства, вас поражающего¹³⁴. Многие ценители работ Крамского утверждали, что он был сух и неколоритен. Я с этим никак не согласен. Точно, мазок или удар кисти Ивана Николаевича не имел ни пошиба, ни мастерства широких живописцев. Но колбрит он никогда не утрировал, а держался сероватой, но верной ноте живописи. Черноты, сажи или дёгтя, чем страдает наша русская школа, в Крамском не было. Тени лица его модели всегда были светлы и приятны. А сколько им было написано и нарисовано портретов, так имя им легион, ибо раз он взялся сделать сто двадцать портретов исторических деятелей углём и соусом, чем владел в совершенстве. Мужские портреты Крамского стоят выше женских, но и среди таковых есть много хороших, и ежели укажу на портрет (поясной) В. Н. Третьяковой, супруги нашего знаменитого собирателя Павла Михайловича, то поставьте его с любым са-

членами Совета Академии и профессорами, Ге, Гун и я разом вышли из этого омута, поправ все связи с прекрасным, но до мерзости загаженным учреждением.

В силу ли вражды с «нашею матерью», Иван Николаевич придумал прекрасное средство, дабы оттянуть от Академии все порядочные молодые силы художников образованнѣм совершенно свободного и независимого Товарищества Передвижных Художественных Выставок. Мысль эта, не знаю, принадлежала ли всецело Крамскому, но знаю, что Мясоедов, Перов, Ге и другие вместе с Иваном Николаевичем написали Устав, который благополучно прошёл в министерстве внутренних дел, где тогда был министром Тимашев (отчасти скульптор, всегда сочувственно относившийся к нуждам нашего брата). В первый же год более двадцати членов вошла в состав учредителей, а потом явились экспоненты, и предприятие, соединясь с Москвой, получило полное гражданство¹³⁶.

Одураченный Петрушка, вор Исеев, увидел разом, что Академические выставки пусты, а потому благодушно предложил передвижникам залы в Академии. Это было, конечно, нам на руку, ибо мы были бедны жилищем. Подлость ссыльно-каторжного дошла до того, что на этих выставках давались даже профессорские и другие академические звания. На следующие годы это поощрение обострилось требованием конференц-секретаря участия членов Совета Академии на передвижной выставке. Правление наше вежливо ответило, что извольте, но только пройдёте через наше жури, что очень не понравилось генералам-художникам и Петрушке, почему начались разные подвохи, кончившиеся тем, что в одно прекрасное утро мы получили документ, в котором сообщалось, что впредь передвижные выставки не могут рассчитывать на академическое помещение¹³⁷.

Но этот остракизм не смутил Товарищество. Начали выставлять картины в зале Академии наук, хотя и плохом, но даровом. А потом также в частных городских помещениях. Видя и созная нашу бездомность, Крамской усердно хлопотал, чтобы достали мы себе постоянную кровлю, а потому делались проекты постройки общественного барака, но всё это как-то не удавалось, и мы до сих пор всё ещё странствуем без дна и покрывшки, но всё-таки служим делу честно и дружно, и до тех пор, пока будем существовать, имя Крамского в цепи нашей будет всегда крупным и крепким звеном, ибо много он потрудился, поддерживая строго без уклонения наши уставные порядки и принципы.

Кроме портретов, Иван Николаевич написал несколько весьма значительных картин, которые можно видеть в галерее П. М. Третьякова. Самым капитальным его произведением надо считать «Христа в пустыне». Про эту картину уже довольно много написано, так что я сочту лишним разбирать её. Довольно будет, ежели скажу, что это здоровая картина новейшей русской школы в ряду религиозных полотен. Но я люблю Крамского в его картине «Русалки на берегу Днепра в лунную ночь». Мне всегда по душе также «Тенистый пруд в лунную ночь», где на скамье сидит мечтающая фигурка молодой женщины (супруга С. М. Третьякова), и дорого по глубокому впечатлению и композиции «Неутешное горе». Тут Иван Николаевич положил много труда, чтобы выразить и получить простоту горечи, но в этой глубокой сердечной печали выразились все тонкие и нежные чувства художника, хотя фигура бедной матери стоит спиной к зрителю. Тяжёлую эту минуту Крамской испытал, к сожалению, вместе со своею любящею супругою, а потому и немудрено, что он так глубоко почувствовал неутешное горе¹³⁸. Ещё у меня в памяти небольшая его картина, писанная после последней турецкой войны. Сюжет взят с торжественного возвращения нашей доблестной гвардии после тяжёлого болгарского похода. Гвардейцы проходят под аркой Большой Морской улицы, завешанной флагами. Народ внизу орёт «Ура!», а на балконе стоит вдова погибшего на войне со своими детьми, одетыми в траур, и слёзы струятся у бедной молодой женщины в батистовый платок из красивых, опухших от горя глаз. Тут Иван Николаевич опять поэт, хотя грустный, но душевный и глубокий по мысли¹³⁹.

Но капитальнейшею работой Крамского навсегда останется купол нового громадного соборного храма Христа Спасителя в Москве¹⁴⁰. Громадное дело это, вполне подлое, было закончено Иваном Николаевичем из добродушия и почитальности к своему учителю в Академии, профессору Алексею Тарасовичу Маркову и прошло совершенно бесследно для него по подлости строителя архитектора Тона и его наследника Александра Ивановича Резанова, бывшего ректора Академии по архитектуре, друга и приятеля вора Исеева, в угоду которому он стёр Крамского совершенно из деятелей храма, о чём скажу ниже.

Живописные работы в храме Христа раздавались профессором, взяточником Тоном на громадные суммы, конечно, со взиманием в свою пользу крупного куша. Видя доброту и покладистую натуру А. Т. Маркова, Тон даёт ему расписать купол за 100 тысяч рублей серебром. Взял он за эту услугу двадцать пять тысяч на свои карманные расходы. Ну, бедняку подобный заказ был манною небесною. Но силы Маркова были уже плохи давно,

а потому, скомпоновав эскиз — Бога Саваофа, окружённого сонмом херувимов, он стал подыскивать доброго человека, художника, который за умеренную плату исполнил бы его работу честно под его руководством. Ученик его Иван Кузьмич Макаров взялся за дело, но, будучи беден и обременён громадным семейством, забирал у него шибко деньги, а Марков держал мошну очень туго. Да кроме того, он обязал Макарова сделать двадцать херувимов громадной величины для купола, от чего тот отказался, говоря, что это не его дело, ибо он взялся написать только Бога и не более и что готов, пожалуй, писать и херувимов, но с готовых прорезей. Марков сделал пять да и говорит: «А остальные вы кувыркните рассыпную, переворачивая бумагу». Такое нищенство в капитальной работе показалось Макарову недостойным, да притом же Марков отказал ему в деньгах, и он отказался от работы. Делать нечего, надо было искать нового силача-художника, а потому Алексей Тарасович обратился к другому своему ученику, человеку опытному, рисовальщику строгому — Евграфу Семёновичу Сорокину, посулил за работу двадцать пять тысяч, ту же сумму, что и Макарову. Первым приёмом Сорокина было требование выпрямить «Бога Саваофа», ибо он был крайне плохо нарисован и валился из купола. Марков находил, что и так сойдёт. Но Сорокин, пользуясь его отъездом в Петербург, перечертил фигуру. Когда Марков приехал обратно, то пришёл в ужас и смятение, так что на другой день Евграф Семёнович, прибыв рано утром на подмостки, скипидаром смыл всё им сделанное и более уже на строение не являлся.

Опять настало время терзаний для бедного «Колизея Фортунуича»! Опять надо было искать нового молодца к себе в помощники. Тут он вспомнил об И. Н. Крамском и за те же двадцать пять тысяч порешил с ним начать работу. Но Крамской, осмотрев всё прежде сделанное, сказал: «Извольте, берусь, но только с тем, чтобы вы не являлись в храм до тех пор, пока я вас сам не позволю, а иначе — не хочу». Надо было соглашаться. И вот через два месяца Марков с удовольствием увидел, что «Бог» всё-таки переделан и высится прямо в облаках и что херувимы вокруг него летают все разные, один на другого не похожи. Старик прослезился и опять ожидает в изгнании своей участи. Месяца через три колорит купола уже выяснился, сняты и разобраны были нарочно леса, чтобы взглянуть на общий эффект. Всё оказалось вполне добросовестно и честно, так что к концу года купол был осмотрен комиссией и принят от Маркова, и сей выдал обещанные двадцать пять тысяч, которые крохами достались художнику, ибо у него было шесть товарищей-помощников, с которыми он поделал сумму поровну.

Не так поступил Ф. А. Бруни с Тоном. Он забирал деньги вперёд, и когда дошёл до пятидесяти тысяч и хотел сдавать свою работу, то её забраковали. Но он скоро умер, а на остальные пятьдесят тысяч прежнюю работу его смыл и заново исполнил свою Евграф Сорокин.

Обсуждали лихоимства Тона в это время, рисовали карикатуры на него и Маркова. Последний был представлен с неким другом, осматривающим купол. В виде жонглёра на брюхе Тарасыча балансировал длиннейший шест, а на нём в куполе сидел и писал маленький Макаров. «Ну как ты, друг мой, думаешь о моей работе?» — «Ничего, хорошо будет, — говорил приятель, — только дай побольше Тону золотистого».

Кроме этих работ Иван Николаевич сделал ещё два образа-картины из жизни равноапостольного князя святого Александра Невского для Копенгагенской церкви.

Наступила коронация императора Александра III. Предложено было сделать альбом её, а потому приглашено было множество художников, которым были розданы различные сюжеты коронационных моментов. В числе деятелей находился и Иван Николаевич, на долю которого выпал момент приобщения святым тайнам императора в Алтарных вратах Успенского собора¹⁴¹. Жил он в это время у меня в доме, чем немало была довольна заботливая его жена, ибо здоровье Ивана Николаевича начинало сильно пошатываться. Сидел он на строгой диете, только молоко пил да ел куру, а потому не был в хозяйстве разорителен.

Князь Долгоруков, как председатель комиссии по постройке храма Христа Спасителя, по представлению архитектора Резанова исходатайствовал всем участвовавшим в этом деле, живым и мёртвым (были вдовы, которых наградили за службу мужей), щедрые награды. Не обошли даже сторожей, которым налепили награды. Но купол не был вознаграждён, и о Крамском даже и не подумали.

Я встретил Резанова и говорю ему: «Да как же это вы позабыли главного деятеля — Ивана Николаевича Крамского, представляя всех к наградам по храму Спаса?» Подлая улыбка добродушия осеняла его лицо, и он сладко промолвил: «Да, Алексей Петрович, работа эта была так сложна, что, право, не знаешь, где было начало и конец». — «Начало, говорю, другое дело, а конец всецело принадлежит Крамскому, которого обходить нельзя,

а потому предупреждаю вас, что я пойду к князю Долгорукову, расскажу всю процедуру работы в куполе, а нет — так скажу прямо Государю, который лично знает Крамского и, вероятно, по своей доброте и прямоте не оставит вниманием того, кого вы обходите».

Зная, что тут я имею дело с господином с весьма растяжимой совестью, я отправился лично к князю В. А. Долгорукову и высказал ему мою просьбу о товарище. Князь, конечно, не мог помнить всех деятелей по храму, очень меня благодарил, сказав: «Да как же это Резанов?...». — «Да, ведь, Резанов с Академией ненавидят Крамского». — «Ну, так я лично скажу об этом Государю». И через два дня Крамскому прислали Станислава на шею.

Когда он узнал моё вмешательство, то сказал добродушно: «Ах, Алексей Петрович, благодаря вам меня ещё долго будут ругать в Академии!».

Как-то мы разговорились с Крамским о благосостоянии вообще и трудности достижения душевного спокойствия. «Для этого нужно уединение от тревог жизни, — сказал он, — а где его найдёшь. Наступит лето, казалось бы, так и пошёл подышать воздухом, а восстанавливая свои силы на пляже по окрестным дачам — это ужасно скучно. Нужно поле, нужен лес, нужен горизонт беспредельный». — «Так за чем дело стало, — говорю ему, — вы честный человек, ежели капиталов нет, то задолжайте и купите себе землю где-нибудь поближе к Петербургу, выстройте мастерскую и живите, работая всласть». Так или иначе, вследствие ли нашего разговора, но вскоре Крамской купил землю на станции Сиверской при небольшой речке, к которой скатом шёл косогор, и на нём выросла красивая дача¹⁴², на которую я всегда смотрю с любовью и уважением, проезжая в Париж или возвращаясь на Родину. Здесь Иван Николаевич был счастлив в своей семье. Как-то однажды я у него переночевал, пускаясь в дальний путь, и видел его, как патриарха, в кругу молодёжи и друзей, которые рондлись около него. По-видимому, он был покоен и доволен. Но натура этого честного труженика была уже надорванною. Он страдал сердечною болезнью и грудною.

Ещё в 1876 году Иван Николаевич поехал за границу полечиться и поработать¹⁴³. Но, заехав в Париж, почувствовал себя хорошо и, мало думая о болезни, предался композиции серьёзной картины «Христос перед Пилатом». Кроме того, он посещал усердно музеи и занялся офортным портретом Цесаревича¹⁴⁴.

Подготовив свою работу, он нанял мастерскую и сел за своё огромное полотно, для которого изучал древний Рим, а дабы ближе вникнуть во все детали времени, я бывал с ним раза три у Ренана, который уяснил Крамскому многое касательно архитектуры иерусалимских построек той эпохи, а также об одеянии древних римлян и иудеев. Иван Николаевич внимательно слушал великого писателя и раз, выходя от него, сказал в раздумье: «А вот тут и нехватка во мне. Зачем я не знаю здешнего языка». Потом я его познакомил с известным и строгим рисовальщиком, художником Жеромом, членом Института Франции, который серьёзно и археологически изучал костюм древнеримских воинов во всех подробностях, причём сообщил Крамскому кальки с рисунков лат и шлемов и соседей римских. Но, к сожалению, вскоре покой Ивана Николаевича был нарушен. Он получил тревожные известия из дому, что жена его захворала вдруг меланхолично, так что он собрался наскоро и оставил Париж.

Прошло несколько лет, здоровье его не ухудшалось, но вдруг он сильно захворал, и доктора его отправили на юг Франции. Прибыв в Париж со своею юною дочкой, он остановился у меня на несколько дней¹⁴⁵. Из дому почти не выходил и на вид был жёлто-зелёный, страдая удушливым кашлем. И здесь, вспоминая прошлое, я спросил его про окончание мальцевских картин. «Сдал их, слава Богу, — сказал он, улыбаясь, — и деньги получил сполна. Не совсем сполна, да ну его к Богу — не додал, мерзавец, двух тысяч, но это уже дело прошлое!» — «Как прошлое, да ведь вы не так богаты, чтобы швырять такую сумму. Я непременно напишу об этом К. П. Победоносцеву, чтобы тот устыдил вора». — «Ну, а этого не делайте, прошу вас. При отъезде я виделся с обер-прокурором и сказал ему, что дело по заказу картин окончено и что Государь очень доволен. А мне это только и нужно». Через дней пять-шесть Крамской уехал в Ментону, где я его откомендовал русскому доктору г. Кубе. К маю месяцу он вернулся ко мне обратно, и я с радостью увидел, что добрый Иван Николаевич поправился совершенно. Сипота голоса пропала, кашель тоже. Загар был виден на лице, да и духом он совсем воспрял. Ходил в Салон ежедневно. Горячо обсуждал французскую живопись, отдавая ей полное преимущество перед немцами и Италией. Впрочем, не будучи западником, а оставаясь всегда честным и умным русским художником, он никогда не был красного, стасовского закала.

Я уже говорил выше, что Иван Николаевич писал очень хорошо, толково и грамотно. Во время Турецкой войны вышла в свет его статья «Судьбы русского искусства», где он очень просто описывал себя в Академии и его выгон из оной, конечно, с некоторыми размышлениями — чего нам недостаёт, да и месту нашего воспитания. Статья Крамского воз-

мутила Академию и главного хранителя её печати и чести Исеева, который тотчас же её отправил нашему президенту В. Кн. Владимиру Александровичу в Болгарию. Но так как у Его Высочества было на руках дело поважнее академических сплетней, то позиция и осталась без внимания. Но вор-Петрушка рассказывал всем, что президент писал ему, что, возвратясь, скрутит Крамского в бараний рог.

Кстати, скажу здесь про наружность Крамского. Он был роста среднего, на вид крепкого сложения. Маленькие серые глаза блестели у него как угли. Лицо его было приятно, хотя не было красиво и правильно. Когда он улыбался или смеялся, то всё оживлялось в нём, намного добавляя общую прелесть. Он никогда не был франтом или щёголем, но всегда был свежо одет и умыт. Волосы на голове его были стоячие, а борода редкая и с проседью. Пишу это потому, что русское искусство вообще более тратит мыла на мытьё кистей, чем на свои телеса и физиономии. Быть может, это суждение покажется злобным, но я по опыту знаю, что вся моя братия с малым исключением была чёсаная и умытая. Но общий характер русского артиста — это небрежение к своей персоне!

Но недолго Иван Николаевич пользовался восстановленным здоровьем в стране апельсинов и лимонов. Русская осень и зима взяли своё, и он зачах снова. В мае месяце, когда я с ним увиделся, то он опять страдал от удушья и сердцебиенья. Я советовал ему снова ехать за границу, но он и слушать не хотел и снова засел за свои портреты.

Прошёл ещё год такой же трудовой и страдальческой жизни, и в один день его нашли лежащим на полу перед работой, а кисти и палитра валялись вокруг. Разрыв сердца унёс в могилу этого прекрасного человека и знатного русского художника¹⁴⁶.

Теперь, когда пишу эти строки, то наша Академия возрождается¹⁴⁷. Весь старый хлам исеевского закала уволен, кто за старостью лет, а большая часть за невежество и тупоумие. Новый вице-президент гр. И. И. Толстой живёт дружно с передвижниками. Снова принял их в Академию, призвал к деятельности многих членов. Вот тут-то наш незабвенный Иван Николаевич мог бы сослужить добрую службу опозорившему его учреждению. Рисунок стал бы необходимым нашей науке, зацвёл бы снова под его верным глазом, и был бы он превосходнейшим ректором Академии, обладая качествами знаменитого Энгра!

Но Бог не дал ему века, а потому и скажем мы с уважением — «Вечная память нашему талантливому собрату!».

У художника Карла Викентьевича Лемоха, а ныне Кирилла (он принял православие), собирались частенько его друзья. Он долгое время был кассиром и членом Комитета Общества передвижников и вообще пользовался общею любовью и уважением своих приятелей.

Зашла речь о том, как трудно художнику, да и вообще человеку, честным трудом составить себе состояние, не став грязняком, ростовщиком или скупердьяем. Перебирали, кто из нас богат, или, яснее, — не беден и может жить обеспеченно. Говорили об И. К. Айвазовском как о самом богатом человеке. Упоминали об архитекторе Тоне, но тут все в голос кричали, что это вор и мошенник. Попал и я в число богачей, так что поневоле пришлось пояснить, каким образом я сделался с состоянием около трёхсот тысяч рублей. «Работаю я, господа, вот уже сорок пять лет. Начал это дело с пятнадцати. Не пренебрегал ничем. Писал, будучи ещё гардемарин, Николаев Первых, Николаев Угодников и всё, что требовал тогда Апраксин ряд. По выходе в офицеры стал литографом и уже до поступления в Академию рисовал в журналы всякую потребу, не стеснясь сюжетами. В Академии торговля моя пошла ещё бойчее, а когда открылась Крымская война, то тут, по праву морского художника, я стал писать Синоп и другие морские военные эпизоды, которые были замечены Государем Николаем Павловичем, и он мне приказал писать всю войну для галереи Зимнего дворца, с чем я и поехал за границу как пенсионер. Там надо было снова учиться, ибо я чувствовал себя очень слабым, а потому ударился в рисунки с натуры и продавал их очень дёшево, но доходно. Опять делал литографии и даже расписывал печи, блюда и тарелки, чтобы изучить керамику. За всё это брал деньги и жил ими бойко. Но при конце пенсионерства разом продал картин на тысячу двадцать франков. А вернувшись в Петербург, когда сдал заказ ко Двору, то взял за это тридцать пять тысяч рублей. Из них пятнадцать отдал в казну с тем, чтобы мне дали ежегодную пенсию в 1000 рублей, а остальные положил в капитал и не тратил его. Так я вёл своё дело постоянно. Половину заработка проедал, а другую клал в сторону, что и составляло моё состояние. Надо сказать, что у меня были года, когда я зарабатывал по 25 и 30 тысяч рублей, но вообще я был трудолюбив, как никто из вас, и это говорю без хвастовства, ибо, когда жил в Дюссельдорфе, немцы меня прозвали «Пчелой» по труду. Спекулировать я не был рождён, но долгов никогда не делал, и вот в этом-то и была моя главная сила». — «Вы правы вполне, и история

ваша поучительная, но не забудьте про энергию и крупный талант, а как достать деньги при посредственности — вот задача?» — «Я всё-таки скажу, что самое доходное положение — это юрист». Все захотели, ибо возражающий Иван Николаевич Крамской сам просветился своею неподражаемою честною веселою улыбкой. «Да! Да! Юристы! Это люди способные на состояния! Ну, возьмите Рожнова-Ротькова. Я знал его, когда у него гроша не было за душой. Подыскал он себе идиота-богача Илью Федуловича Громова¹⁴⁸ и в четыре года так оплёл, что тот при смерти оставил ему всё своё состояние, законно и правильно купленное г. Ротьковым, так что никакие родственники и контр-юристы не могли его оспорить. И вот голыш — Рожнов-Ротьков — владелец громовских лесных дач, домов, капитала. Теперь он голова города — только что избран, широко творит добро, где нужно, чтобы схватить ещё большее. Живёт в палатце на Неве, катается на резиновых шинах, брызгая грязью в проходящих бедняков, достигая чинов и сгибаясь под тяжестью всевозможных звёзд, лент и орденов. Ну не прав ли я, господа, что юристы — это люди для скорого составления богатства!».

За чашкой кофе и сигарой

В зиму 1883 года в Париже съехались наши Великие Князья Владимир Александрович с супругою, Алексей Александрович, Павел и Сергей Александровичи, герцог Лейхтенбергский и графиня Богарнэ. По-прежнему я бывал в их обществе частенько. Завтракал у них, и тут велись разговоры о том, что произошло в Париже. Смерть Тургенева, конечно, была событием, а потому, говоря о нём, В. Кн. Владимир Александрович оказался не из его почитателей. Он очень осуждал его покровительство здешней нигилистической русской шайке, за отношение с Лавровым. Напрасно я убеждал его, что Тургенев только делал добро, но вожаком их никогда не был. «Да, и добро этой сволочи делать не следовало бы, это враги отечества», — был его ответ.

Великие Князья Алексей и Павел Александрович приехали сюда со своим воспитателем контр-адмиралом Дмитрием Сергеевичем Арсеньевым и гувернёром м-е Лакостом. В. Кн. Павел Александрович схватил в Петербурге воспаление лёгких и должен был пробыть в лучшем климате. Оба воспитателя были мои хорошие приятели, а потому я часто ходил с Великими Князьями по музеям и художникам. Сергей Александрович любил старину и искусства, которое в нём развила и природила его августейшая матушка императрица, так что он всегда нами интересовался.

В это время создавалась в Париже для Нью-Йорка колоссальная статуя «Свободы» из бронзовых листов по модели Бартольди. Она была почти готова, а потому нам её показали с полным вниманием. Но люди, видевшие её в Америке, говорили мне, что она не делает такого эффекта, который ожидался, ибо громада водная её как-то поглощает.

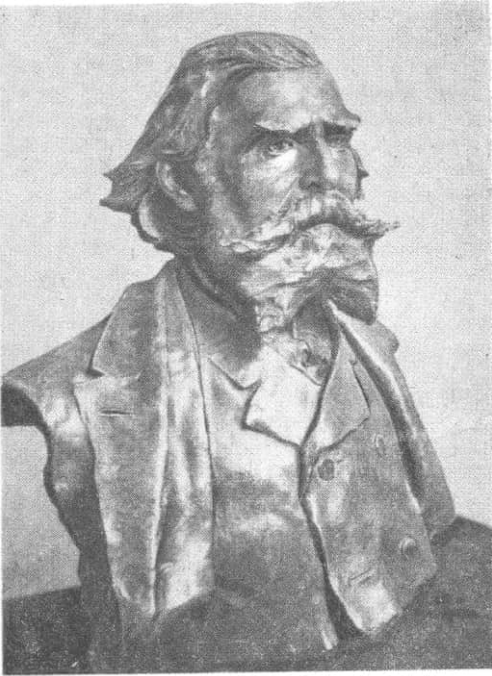
В мастерской у художника Жерома В. Кн. Сергей Александрович приобрёл картину «Продажа невольницы». Внимательный художник подарил мне прекрасный рисунок с натуры одной из сидящих женщин, который составляет редкость Радищевского музея, и фотокопию с картины.

1884

На следующий год я привёз Его Величеству мою картину «Хождение Иисуса по водам», которую поднёс ему в дар для Копенгагенской церкви. Государь меня благодарил, причём я ему рассказал, что товарищ мой Ф. А. Бронников в мастерской моей писал большой запрестольный образ «Иисус утишает бурю» для той же церкви по его заказу. Потом Его Величество меня подробно расспросил об иконостасе для церкви и его характере, сказав: «Помните, я говорил вам, что желаю светлые образа». — «Таковыми и увидите, Государь, ибо они все исполнены по вашему требованию, кроме запрестольного, где пришлось употребить тёмный фон, ибо это буря».

Во всех этих случаях я всегда дивился памяти царской и тонкому пониманию красот искусства, как картинного, так и архитектурного. Художники-баталисты наши не удовлетворили его просвещённый вкус, а потому он мне приказал пригласить на сезон манёров в Красное Село известного французского художника Детайля, но, к сожалению, он был связан контрактом панорамы с своим другом Деневицем, и приезд его был тогда отложен.

Перед отъездом за границу я завтракал у Его Величества в Петергофе, и, как всегда, он имел обыкновение за чашкой кофе и сигарой говорить со мной о разных художественных потребах, дело зашло о Копенгагенской церкви. Строитель её профессор Гримм, мой товарищ, очень был стеснён в средствах на окончание внутренности храма, а по робости характера боялся высказать Государю о своих нуждах. Вот я и докладываю Его Величе-



Л. А. БЕРНШТАМ. Портрет А. П. Боголюбова. 1893. Бронза. СРМ

пишущие историческую правду считают художественную натуру почти ничтожною, сопоставляя факты политики или внутреннего устройства государства.

Люди, писавшие историю Николая I, разве они пересчитали всё, что этот монарх делал для искусства вообще, которое он любил и щедро поощрял¹⁴⁹. Разве вспоминали с точки науки, как он любил зодчество и сколько серьёзных сооружений возникло в его царствование, не говоря уже об Эрмитаже, который он обогатил после Екатерины II испанскою школою и прочими знатными картинами, очистив и разобрав весь хлам Эрмитажный, для чего выписал знатока Дюбуа. Но тогда директор был Фёдор Антонович Бруни, опытный художник, а не выскочка чёрт знает откуда, как г-н Васильчиков, или впоследствии ничтожный любитель князь Трубецкой, безобразивший кавказские кулы и кубки, приписывая на них ни к чему не пригодные цветы.

Великая заслуга ныне царствующего Государя¹⁵⁰, что исполнил волю своего августейшего родителя учреждением Русского музея в Петербурге в бывшем здании Михайловского дворца¹⁵¹. Он призвал к этому серьёзному делу человека, хоть и не художника, но всё-таки просвещённого нумизмата в лице своего дяди В. Кн. Георгия Михайловича¹⁵², который составил Комиссию по устройству художественного хранилища, куда ввёл действительного члена Академии Михаила Петровича Боткина, знатока древностей и живописи вообще, владельца прекрасного собрания редкостей, которому он посвятил всю свою жизнь.

Надо надеяться, что новый музей не подвергнется чиновничьей плесени, как императорский Эрмитаж, и будет расти на славу двух царствований, как прошлого, так и ныне благополучно текущего.

Перед отъездом из С.-Петербурга, когда имел счастье быть у Государя, кроме разговора о церкви в Копенгагене, Его Величество спросил меня: «А что стало с пенсионерами школы Цесаревича Николая, которые учились в Париже?».— «К сожалению, Ваше Величество, все они плохо окончили. Один умер от чахотки, это был дельный парень мебельщик-столяр. Другой, его товарищ, так дурно и дерзко вёл себя, что я и Антокольский порешали его отправить в Россию. (Это был Ермолаев-убийца.) Третий — прекрасный и талантливый резчик получал по 18—20 франков в день у прекрасного мастера Берделе, спился и тоже отправлен в Россию. А четвёртый, слесарь по жести, женился и почти погиб». — «Жаль», — сказал Государь. «Да, иначе и быть не может, Ваше Величество, ибо,

стуву о плане Гримма, самолюбие которого, конечно, пострадает, ежели стены храма придётся вымазать какою-нибудь краской без всяких украшений. «А много ему нужно?» — «Да тысяч 6 или 7 — не больше». — «Ну так скажите ему, чтоб пришёл ко мне во вторник, я с ним потолкую, как убрать, ибо планом церкви я очень доволен. Она светла, и хотя мала, но величественна. Надо её закончить хорошо».

И вот как легко и просто решал все подобные дела Государь. А поди-ка по инстанциям, так и через год бы не решили окончания церкви. При уходе от Государя, он мне сказал: «Скажите Гримму, чтоб принёс мне рисунки церковной утвари, я уже говорил ему, в каком стиле желаю их иметь, забыл только про паникадило, так что напомните». Такая заботливость о создании храма в массе громадных вопросов государственных не есть ли новое доказательство истинно художественной натуры нашего царя. Конечно, никто из близких Государя не мог видеть и ценить столь высокие его качества, а потому, ежели эти записки когда-нибудь проникнут в свет, найдётся историк добросовестный, не чуждый любви к изящному, то моё простое правдивое слово послужит ему хорошим материалом. Жаль только, что

извините, ежели осмеливаюсь высказать моё мнение о первоначальном обучении молодых людей в школе Наследника Цесаревича, там больше науки, чем ремесла. Что совершенно противно постановке дела. А потом, заведение очень богато и слишком роскошно обставлено. Совершенно забыто, что принимают туда детей простолудинков, которые вдруг воспеваются как генеральские дети. А потому, почувствовав великую разницу, делаются сейчас же недовольными и агитаторами. Что же касается до заработка, то, будучи всему обучены слабо, мастерами быть не могут, ибо химия, прикладная физика, бухгалтерия и пр. пр. взяли у них всё время, отрывая от верстака, наковальни и топора. А когда Ваше Величество приезжали смотреть ученические работы, то это дело рук учителей-мастеров. Рисовать почти не учат и чертить тоже. Что же касается до жизни, я сравнивал со своим прошедшим. Когда я был кадетом в Морском корпусе, то помню, что мы сами себе чистили сапоги, ружьё, пуговицы и амуницию. У редкого из нас не было иголки с ниткой за погонами, чтоб зашить по шву, пришить пуговицу. А в плавании нас заставляли самих вязать койки и мести палубу. Но мы были дети столбовых дворян, и готовили нас по выходе быть офицерами. Тогда как дети крестьян и мещан опять возвращаются в свой скромный и даже бедный угол».

Государь весьма внимательно выслушал меня, поблагодарил и сказал: «Вы сколько времени ещё пробудете в Петербурге?» — «Дня три-четыре». — «Ну, так я пришлю к вам Ермакова, скажите ему всё, что знаете, а я велю привести в исполнение и укажу полную перемену организации школы».

На другой день, часов около двух, в скромный номер гостиницы Демута вошёл усталый и удручённый тайный советник Ермаков, директор департамента министерства финансов налоговых сборов. Его превосходительство даже не снял пальто, а опустился в кресло, повесив обе руки, как истинно расслабленный. Спустя минут пять, он начал: «Вы знаете цель моего визита к вам. Я сейчас от Государя, он приказал вас выслушать, ибо вы зарезали, уничтожили всю мою многолетнюю деятельность. Дивлюсь вам, господин профессор, что, пользуясь вашим положением, вы обходите стоящих при деле и, не говоря с ними о том, что хотите высказать Его Величеству, прямо злоупотребляете вашим положением». — «Вы окончили, ваше превосходительство?» — «Да, окончил и вас слушаю». — «Ну, так знайте, что перед вами стоит подлец, который, говоря об училище, где вы начальство, умолчал, что из него вышел, благодаря вашему надзору и воспитанию юношества, цареубийца Ермолаев!».

Глаза у генерала почти выкатились, он вскочил, взял меня за руку и сказал: «Как, вы этого не сказали! Какое счастье!» — «Счастье для вас, но с моей стороны, как верноподданного, это подлость, в которой, ежели хотите, то можете меня обвинить, только едва ли это вам послужит на пользу. А укоризна ваша, сказанная, что зачем я не поговорил с вами до разговора с Государем, совсем неуместна. Ну, скажите, пожалуйста, откровенно, ведь вы бы меня выгнали от себя как человека, осмеливающегося давать вам советы, тогда как теперь слова мои имеют характер приказаний».

Генерал был, видимо, побеждён, встал и говорит: «Прошу вас завтра принять директора училища и письменно выяснить всё то, что вы докладывали Его Величеству. Слова изменчивы, а тут нужна точность, ибо дело серьёзное». Его превосходительство подал мне руку, и мы расстались.

А ежели кому угодно будет знать яснее личность г. Ермакова, то пусть он прочтёт роман Григоровича «Акробаты благотворительности» — он тут весь и есть.

На другой день, в полдень, прибыл ко мне директор училища Цесаревича Николая г. Анопов. Оказался он человеком весьма умным и понятливым, как только вник в мою речь, то с живостью сказал: «Ах, как я обязан вам, что вы дали средство реорганизовать весь наш учебный строй. С самого начала моего поступления я всё ратовал, что ремесло у нас на заднем плане, а негодная наука поглощает его. Ведь председательствует нами сам император, которому щедро валят деньги для благоустройства училища, а потому у нас такая роскошь во всём, но дела настоящего нет». И тут с моих слов он записал всё, что я имел передать по высочайшей воле.

Впоследствии, когда я интересовался этим делом, то узнал, что науку сократили, ремесло возвысили и что на те же деньги прибавили ещё 50 учеников. Но всё-таки училище не достигло своей цели, ибо молодёжь выходит балованная и без специальности, а с общим образованием, что непригодна хозяевам мастерских, желающим иметь хорошего работника.

Зима 1884 года протекла у меня без всяких впечатлений. Было порядочно холодно. Я занят был большой картиной «Иллюминация Кремля» (в коронацию), которую весной и повёз в Петербург. Выставил я моё художество в Анничковом дворце в библиотеке, где свет ровный ей много помог, так что Государь и Царица были ею очень довольны, причём

Его Величество сказал мне: «Вы мастер не иллюминаций. Напишите-ка мне Москву, вид на храм Христа Спасителя по эскизу, который я у вас видел». Но, к сожалению, я эту картину затаскал, и она до сих пор стоит у меня не оконченной.

Петербург ликовал в празднествах по случаю свадьбы В. Кн. Сергея Александровича, невестой которого я вполне любовался¹⁵³. Свежесть и юность при правильном строении её лица делали её красивейшей женщиной, тогда как её будущий супруг был всегда высок и тощ.

Сознаюсь откровенно, что, желая сделать добро ближнему, я иногда огорчал Его Величество представлением плохих художественных произведений. Так было с посредственными ширмами работы моего приятеля Р. Ф. Романа. Поглядев их, добрейший Государь с улыбкой сказал мне: «А эта работа нуждающегося художника?».— «Точно так, Государь. Художник беден, помогите».— «Ну, хорошо, беру. Только на этот год довольно будет».— И опять добродушно улыбнулся.

Сколько раз я выговаривал себе, дураку, за подобные выходы, когда дело оканчивалось душевною доброю нашего царя и его пониманием добра. Конечно, я его эксплуатировал на гроши и не для себя, а для бедняков, но всё-таки внутренний голос всегда говорил, что я злоупотребляю царскою доброю.

На этот год известный француз — художник-баталист Детальё по моему вызову прибыл в Россию и провёл всё лагерное время в Красном Селе. Государь сделал ему радущный приём. И этот человек, всякий раз, когда теперь встречает меня, всегда с восторгом вспоминает Россию и русских солдат и русского царя. Приехал от коронации в Россию художник, тоже француз, Беккер (эльзасец) и написал впоследствии превосходные две картины «Коронование царя и царицы в Успенском соборе». Оба эти произведения замечательны по портретам всех присутствующих и, конечно, составят историческую страницу в живописи этого торжества.

Коллекция Базилевского

При посещении Государя несколько раз он начинал со мной разговор о коллекции Базилевского: «Ну, что вы мне скажете нового, могу я рассчитывать её приобрести?».— «Дело вам было доложено статс-секретарём А. А. Половцовым, я ему сообщал всё, что знаю, и он, вероятно, вам докладывал о возможности приобретения, но цифра пока очень велика. Но я убеждён, что её можно очень убавить».— «Ну, так продолжайте действовать, а осенью Половцов поедет в Париж, так и дадите мне окончательный ответ».

С этим приказанием я уехал сперва в Баден-Баден, а потом на виноградное лечение в городок-курорт Дюркгейм, где ел по 10 фунтов винограду в день и нажил себе такую оскомину, которую носил целый месяц. Жил там на частной квартире. При мне был человек-солдатик Орлов. Парень весьма смыслёный. Он же был и за повара. Раз как-то он заметил, что хозяйская дочка лет 11—12 ворует у него масло, сыр и вино. Поймав её на месте преступления, он закатил ей здоровую оплеуху. Девчонка разоралась. Выбежали родители и набросились на Орлова, он и им отвесил по оплеухе. На эту возню я пришёл в кухню. Утишил бурю и приступил к разъяснению инцидента. Когда отец узнал, что девка подучила за воровство, забыл нанесённую ему обиду, строго взглянул на дочь и сказал ей: «Признайся». Та созналась, и он безмолвно вышел вон и вернулся обратно с двумя бутылками вина. Жена принесла стаканы, он их наполнил и поднёс первый Орлову. И все пили круговую, а девочку поставил во дворе на колени около свинарника и продержал больше часу. С этих пор мы сделались с хозяином великие друзья. Причём я ему сказал, что дивюсь его справедливости и доброте душевной. Немец подарил мне на прощание мышеловку очень умную, а я ему рисунок «Ярмарка в Дюркгейме».

Кстати, о ярмарке. Время было осеннее. Ярмарка маленького городка больше всего щеголяла кабаками, где распивали местное вино. Было два балагана и театрик кукол. А главный торг производился кадками, вёдрами, чанами всех размеров, кадушками, прессами и пр. пр. предметами виноделия. В аллее сада гулял народ и сидели торговки, торговавшие мягкими пирогами и вафлями, а между ними убогие нищие. На окраине поместился я со своим складным стульчиком и стал зачерчивать панораму ярмарки. Но вдруг вижу — проходит мимо зажиточная семья мужика. Бабы чисто одетые ведут детей. Девочка лет 5 подходит ко мне и, вероятно, приняв меня за нищего, кладёт мне на мой рабочий ящик два пфеннига и бежит к матери. Я ей делаю знак, чтобы она ко мне вернулась. Семья остановилась. Тогда я встаю, вынимаю из кармана 10 марок, золотую монетку и кладу ей в руку. Вся публика загалдела разом на разные голоса и начала рассыпаться в извинениях, что обидела меня. «Нисколько я не обижен, напротив, вижу, что вы прекрасно воспитываете своих детей и что они идут по Евангелию, то есть не знают, давая помощь правою рукою, что делает левая». Вечером возвратился домой — мой хозяин уже рассказывает об этой

истории, как о важном событии, которое уже всем было известно на ярмарке, выхваляя мой поступок. А я, в знак воспоминания этого эпизода, велел обделать пфенниг в оправу и до конца жизни буду носить его на моих часах.

Возвратясь в Париж, я к ужасу моему узнал, что в городе холера. Незваную гостью эту я всегда недолюбливал, потому что приходилось думать о гигиене и о всяком куске, что в рот кладёшь. Почти одновременно со мной прибыл в Париж и А. А. Половцов, имевший поручение от Государя приступить со мною к торгу коллекции Базилевского. Так как я с хозяином редкостей давно был в переговорах, то и посоветовал Александру Александровичу идти без меня и сбивать с 8 миллионов до 6, предупредив, что известный эксперт аукционных продаж уже находится в переговорах с Базилевским, который, покидая свою любовницу, обещал ей выплатить миллион, и что с 700 тысяч ловкий жид уже выманил у него под залог 12 блюд Лиможа, которые уже выбыли из его дома, о чём, впрочем, я ему сообщаю келейно. Половцов был у него, осмотрел снова всё чрезвычайно аккуратно, но и добился цифры 6 миллионов, сказав, что дальнейшие переговоры получат окончательный вид, когда он повидает Государя.

Через две недели я получил короткую телеграмму: «Государь император возлагает на Вас покупку коллекции г. Базилевского». Дня через три от министра Двора — форменную бумагу: «Государь император возлагает на вас покупку коллекции редкостей г. Базилевского 6 миллионов франков одобрены».

Иду к Базилевскому и говорю: «Вы сказали А. А. Половцеву, что за 6 миллионов коллекцию свою по каталогу продаёте. Я уполномочен её купить или не купить. Просимую цену я могу вам дать, но не даю, ибо знаю, что у вас есть условия с экспертом Монгеймом, которому вы даёте 500 тысяч за все его хлопоты по устройству аукциона, и что он гарантирует вам 5,5 миллиона, которые могут всё-таки не выручиться. И тогда вы подвергаетесь процессам и пр. пр. Ежели вы ему даёте 500 тысяч, то мне, который вам это дело устроил, почему не дадите?» — «Да разве вы их возьмёте?» — «Конечно, возьму и даже вам позволю говорить, что вы дали мне эту взятку». Бродил он долго из угла в угол и, наконец, сказал мне: «Через неделю ровно буду у вас в доме в час пополудни». Мы расстались.

В это время я избегал его видеть, но на четвёртый день приходит ко мне Монгейм и говорит, что я у него отбиваю полмиллионное дело и что, ежели я хочу, то мы можем взойти в сношение. Тут я вспылал и говорю ему: «Вы — торгаш, это ваше ремесло, а я русский дворянин и воров моего царя не был, да и не буду». С этим он и ушёл. А через неделю, ровно в 1 час, мы с Базилевским ударили по рукам, и коллекция была куплена¹⁵⁴.

1885

«Слава тебе, Господи», — сказал я от души, когда тронулся товарный поезд со станции Норд с драгоценной коллекцией¹⁵⁵. Была она в верных руках, и потому я и уснул спокойно, как давно не спал. Добрый г. Лакост присылал мне телеграммы с дороги и, наконец, из Петербурга, что всё благополучно обошлось и что редкости сдал в Эрмитаж.

В это время в Париже была холера, которую я очень недолюбливал, но будучи занят ответственно по горло, я не видел, как она прошла. Работал в это время ширмы в 4 цвета — жёлтый, красный, синий и белый, то есть основные краски. Отправил в Питер, и их взял у меня В. Кн. Сергей Александрович. Я был знаком в Париже с бароном Юлием Леонтьевичем Гауфом. Это был почтенный человек, когда-то петербургский банкир, но теперь живущий здесь на спокойствии. До того он жил в Бельгии, уже там сделался собирателем картин, а когда приехал в Париж, то страсть эта возросла в нём очень сильно, и он собрал недурную, хотя небольшую, у себя коллекцию, где был Мейссонье, Коро, Декан, Марилаа, Добиньш, Руссо и прочие знаменитости эпохи 1830-х годов. Покупал он и русские картины, но мало. Были у него Айвазовский, мои две вещи, Харламов, Репин, Виллевальд, да и только. Он был хлебосол, хотя и болел часто. Состоял в родстве с Тотлебенем. Его сестра была за ним замужем. Он очень любил эту фамилию и оставил им всё своё состояние после смерти жены.

В 1885 году в январе я приступил к работе и написал к весне две картины «Нормандия, Трепор» — рыбаки на отмели и «Ментона. Закат солнца в свежую погоду». Обе эти картины были собственностью А. И. Зака, большого любителя музыки и искусств вообще. Дом его в Питере был отрадным сборищем любителей музыки, где премьерами были Рубинштейн и Чайковский и другие русские таланты, а любители, гуляя, глядели серьёзное собрание картин, как европейских, так и русских мастеров.

Год этот был очень для меня знаменательным, а потому я поехал в Россию в начале мая. И начались мои хлопоты по открытию Саратовского Радищевского музея¹⁵⁶.



*Мемориальная доска, установленная на здании Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева к его 100-летию 29 июня 1985 г.
Скульптор Илья Постол*

Фоторепродукции с работ, хранящихся в СРМ,— Владимира Ефимкина

Сокращения, принятые в комментариях и указателе имён

АХ — Петербургская академия художеств.

ГРМ — Государственный Русский музей.

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея.

«Летопись» — Н. В. Огарёва. Летопись жизни и творчества художника А. П. Боголюбова. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1988.

ОПХ — Общество поощрения художников в Петербурге.

ОРХП — Общество вспомоществования русских художников в Париже.

СРМ — Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева.

ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок.

ЦВММ — Центральный военно-морской музей.

- ¹ П. Г. Боголюбов скончался 8 июля 1830 г.
- ² В Александровский Царскосельский малолетний корпус Боголюбов был зачислен 4 ноября 1832 г.
- ³ По документам, в Морской кадетский корпус Боголюбов был переведён 23 апреля 1835 г.
- ⁴ Гардемарином Боголюбов стал 9 января 1839 г.
- ⁵ Увлечение карикатурой грозило Боголюбову отчислением из корпуса за шаржированное изображение экзаменационной комиссии во главе с Крузенштерном. Заступничество А. А. Радищева и Н. П. Боголюбова смягчило Крузенштерна, и в воспитательных целях с Боголюбова было взято письменное обязательство до выхода в офицеры карикатурой не баловаться. Слово он сдержал.
- ⁶ Боголюбов 8 января 1841 г. получил звание мичмана и был зачислен в 16-й экипаж, а в 17-й переведён 21 ноября того же года.
- ⁷ В царствование Николая I ежегодный Высочайший смотр Балтийского флота был крупным событием, призванным к дню бракосочетания Николая и Александры Фёдоровны 1 июля 1817 г. День этот был именными царицы. В ЦВММ хранится картина Боголюбова «Смотр Балтийского флота в 1848 г.», который Николай I проводил на царском бриге «Невка».
- ⁸ В 1885 г. Боголюбов в Париже написал картину «Яхты „Держава“ и „Забава“ (при открытии Морского канала в Петербурге)». ныне — в ЦВММ.
- ⁹ Звание лейтенанта флота Боголюбов получил 7 апреля 1846 г.
- ¹⁰ В частной коллекции в Москве имеется небольшая акварель Боголюбова «Вид Ревеля» 1848 г. На полях рукой Боголюбова начертаны эти слова. Возможно, он её исполнил для А. С. Горюхино как подарок другу.
- ¹¹ «Полярная звезда» Герцена почти одновременно с изданием «Путешествия из Петербурга в Москву» в 1858 г. впервые опубликовала сочинение историографа Екатерины II М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России» — памфлет на двор Екатерины. Рукопись была тщательно скрыта и обнаружена только в 1855 г. У Герцена Радищев и Щербатов оказались соединёнными и как бы уравненными. То же видим и у Боголюбова. Это позволяет считать, что Боголюбов внимательно следил за деятельностью «Вольной русской типографии».
- ¹² В 1870-е гг. под руководством А. И. Епанчина произошла реорганизация Морского корпуса. Он был разделён на Морское училище и Николаевскую Морскую академию. Начальником обоих учреждений был сам Епанчин. В 1872 г. там был раскрыт нелегальный кружок. Это стало причиной ужесточения дисциплинарного режима, сказавшись на воспитательном и учебном процессе, разрушило атмосферу товарищества, которое свято почиталось в Морском корпусе. В 1880-х гг. Александр III восстановил Морской корпус, чем Боголюбов был несказанно доволен.
- ¹³ Восхищение красотой «Камчатки» Боголюбов попытался передать в картине 1848 г. «Пароходо-фрегат «Камчатка», изобразив «портрет» корабля в движении, поднятого на гребне волны в безбрежном морском просторе. Находится в ЦВММ.
- ¹⁴ Боголюбов ошибается. У К. Брюллова было большое сердце.
- ¹⁵ Фоли Бержер (шалости пастушки) — парижское увеселительное заведение.
- ¹⁶ Имеется в виду здание АХ, строителем которого был архитектор А. Ф. Кокоринов.
- ¹⁷ Боголюбов здесь говорит от имени В. В. Стасова, высказанном в его статье «О значении Брюллова и Иванова в русском искусстве». Первая её часть «Карл Брюллов» была напечатана в «Русском вестнике» (1861, т. 35, № 9, 10). Боголюбов, глубоко уважая Стасова, не принимал его прямолинейной публицистической резкости в отставлении социальных «народных» позиций русского реализма, главенства «содержательности» над эстетическими свойствами искусства. К мнению Боголюбова о Стасове был близок и И. С. Тургенев.
- ¹⁸ Вероятно, в память Боголюбова слились дела двух директоров Морского корпуса. Н. П. Римский-Корсаков действительно директорствовал после Крузенштерна в 1842—1848 гг., занимался переустройством здания корпуса. Возможно, именно по его заказу были исполнены указанные три картины. Но 100-летний юбилей корпуса в 1852 г. проводил Б. А. Глазенап, который руководил им в 1851—1855 гг., и, значит, он заказал картину «Афонское сражение 19 июня 1807 г.». Картина эта до сих пор находится в музее Высшего военно-морского училища (бывшего Морского корпуса) вместе с многими другими морскими батальческими полотнами Боголюбова.
- ¹⁹ Боголюбов исполнил не копию, а вариант картины «Эпизод Афонского сражения». Местонахождение её после Октябрьской революции неизвестно, но с неё художник Л. Д. Блинов, современник Боголюбова, в 1885 г. сделал 2 копии в подарок Морскому музею (теперь — ЦВММ).
- ²⁰ Ф. А. Бронников подарил СРМ более 100 своих произведений, главным образом живописных этюдов и рисунков. По примеру Боголюбова, он завещал одному Шадринску всё своё художественное наследие и коллекцию других мастеров, которые стали основой Шадринского музея.
- ²¹ До середины 1870-х гг. годовичные (ежегодные) выставки в АХ проводились после летней практики в сентябре — ноябре.
- ²² Боголюбов вспоминает 25-летнее президентство (1817—1843) А. Н. Оленина.
- ²³ Совет АХ 24 сентября 1852 г. за картины «Вид Смольного монастыря с Большой Охты», «Бой брига „Меркурий“, с двумя турецкими кораблями» и «Отбытие из Лиссабона герцога М. Лейхтенбергского» присудил Боголюбову Малую золотую медаль.
- ²⁴ Уклонившись от экспедиции на фрегате «Диана», Боголюбов лишился, как выяснили позже, интереснейших впечатлений и нелёгких испытаний. 52-пушечный корабль — совсем новое судно, спущенное на воду в Архангельске в 1852 г., — сразу же был переведён в Кронштадт, откуда отплыл на Дальний Восток. 11 декабря 1854 г. в японской бухте Симода он попал в сильнейшее землетрясение с цунами, которое смыло городок на берегу бухты. «Диана» сильно пострадала. 7 января 1855 г. фрегат затонул. Команда была спасена.
- ²⁵ Совет АХ 24 сентября 1853 г. присудил Боголюбову Большую золотую медаль за картины «Вид Ревеля от Екатериненталя. Буря», «Вид Ревеля с острова Карлос», «Вид Ревеля. Утро» и «Вид С.-Петербурга с взморья в лунную ночь», а 27 сентября — звание художника первой степени.
- ²⁶ Авторство этой песенки приписывается многим.

²⁷ 18 ноября 1853 г. Боголюбов получил отставку из флота, чин титулярного советника с причислением к Главному Морскому штабу в звании художника, которое прежде имел только И. К. Айвазовский.

²⁸ Римское отделение Французского института искусств, размещавшееся на Вилле Медичи.

²⁹ Голландский порт на Северном море Схевенинген Боголюбов называет в немецкой огласовке — Шевенинген. Одно из любимых мест Боголюбова, где он написал множество этюдов. Некоторые из них, принадлежащие СРМ, — подлинные шедевры.

³⁰ Широко известные путешественники по странам Западной Европы назывались по имени издателя Карла Бедкера (1801—1859) или красными книгами — из-за красного переплётки.

³¹ А. И. Иванов провёл в Париже вторую половину мая 1858 г.

³² Картина называется «Явление Христа народу» и с 1925 г. находится в ГТГ.

³³ Александр Дюма путешествовал по России в 1858 г. Перевод его книги — «От Парижа до Астрахани» — в 1991 г. опубликовал журнал «Волга», № 11.

³⁴ СРМ имеет два пейзажа Ш. Добиньи — «Вид в Нормандии» и «Городок на Сене», в правом нижнем углу второго авторская дарственная надпись «a monsieur Bogoluboff. S. Doubigny 1874.» — «Господину Боголюбову. Ш. Добиньи 1874.».

³⁵ Письмо это воспроизведено Боголюбовым по памяти. С точным текстом можно ознакомиться в герценовском «Колоколе» (1859, № 56).

³⁶ В 1881 г. Боголюбов представил Двору «Проект» об устройстве художественных музеев в провинции, предлагая использовать и излишки из дворцовых кладовых. Васильчиков назвал проект несвоевременным и резко отклонил участие дворцовых ведомств. Через 3 года Боголюбов открыл СРМ, в который Александр II делал неоднократные огромные пожертвования — это вторая «пощёчина». Третья — Боголюбов в 1884 г. организовал и лично исполнил приобретение царём для Эрмитажа ценнейшей коллекции Базилевского без ведома и участия Васильчикова — директора Эрмитажа.

³⁷ В 1868 г., когда в России гостили родители цесаревны Марии Фёдоровны король Дании Христиан IX и королева Луиза, Боголюбов, устраивая праздник в Петергофе, использовал сюжеты и декорационные приёмы этой феерии.

³⁸ Можно предположить, что Боголюбов впервые был у Шумана в 1854 г., а посещал постоянно вечера Клауры Шуман в 1859—1860 гг., уже после кончины композитора в 1856 г.

³⁹ Вероятно, Боголюбов вспоминает здесь «Соловья» А. А. Алябьева. Слова этого романса принадлежат А. А. Дельвигу, а не Ф. Глинке.

⁴⁰ Боголюбов венчался с Н. П. Нечаевой 6 ноября 1859 г.

⁴¹ Выставка проходила в АХ с 15 ноября по 15 декабря 1860 г. Имела каталог. По желанию Боголюбова плата за посещение — 25 копеек — взималась в пользу вдов и сирот художников.

⁴² Совет АХ 31 октября присвоил Боголюбову звание профессора живописи «...за особые успехи и достоинства. До сего времени ни один из пенсионеров Академии при возвращении в Россию не привёз такого большого количества отличных этюдов и картин» (см. «Летопись», с. 31, 32).

⁴³ Серия «Петровские морские победы» создавалась почти 20 лет. В неё вошли картины, заказанные Александром II, и множество законченных вариантов, эскизов, этюдов, акварелей и рисунков. Они существуют не только как подготовительные работы, многие имеют значение вполне самостоятельных произведений.

⁴⁴ Эта выставка определила место и роль Боголюбова в русском искусстве и положение в обществе. Признание его таланта было всеобщим. Любители искусства и коллекционеры многое приобрели. Царь щедро расплатился за крымские картины, заказал новую серию полотен на сюжеты всех Петровских морских сражений. От АХ получены звание профессора, право иметь учеников, квартира. Художники оценили собрата по заслугам: «...на честь и славу» (А. Горавский в письме П. М. Третьякову); «...сразу стал тем Боголюбовым, которого мы знаем...» (И. Н. Крамской). Не забыли товарища и моряки. В «Морском сборнике» (№ 13, т. I) был напечатан пространный отзыв о его маринах и батальных: «...результаты изумительного трудолюбия, глубокой наблюдательности, добросовестного изучения природы и такого таланта, который, усвоив лучшие методы современной морской живописи в России и за границей, остался самобытен и сделал шаг вперёд в этом роде искусства». Оппозиционный журнал Чернышевского «Современник» (№ 12) откликнулся серьёзной статьёй с многозначным названием «Новое имя в русских художествах...» («Летопись», с. 33, 86).

⁴⁵ Известно, что картину «Вико близ Неаполя» приобрёл Громов, «Отлив в Нормандии» и «Босфор. Скаутри» — Новоскольский, «Вид близ Неаполя. Торре дель Греко» и «Остров Капри» — Боничевский, «Ночной вид Константинополя. Адмиралтейство» — Раевская, «Вид Венеции. Дворец Дожей» и «Утро в Шевенингене» — Якунчиков, «Нормандский порт. Сен-Валери» — Кушелев-Безбородко, «Вид Нормандии близ Гавра» — Новосельский. Кокорев приобрёл, кроме этюдов, картины «Вид Константинополя. Золотой Рог», «Константинопольский Байрамский праздник», «Мечеть на Босфоре».

⁴⁶ У Боголюбова занимались ученики АХ — пейзажисты Ф. Ф. Боганц, Д. В. Вележев, И. В. Волковский, П. П. Джогин, Е. Э. Дюккер, Е. А. Ознобишин, И. И. Шишкин, позже — В. Д. Орловский.

⁴⁷ В Москву Боголюбов приезжает в начале апреля 1861 г.

⁴⁸ «Волга от Твери до Астрахани». Путеводитель. М., 1862. Богато иллюстрирован полнотипажами с рисунков Боголюбова.

⁴⁹ В личном собрании Александра III было более 50 работ Боголюбова. Вообще семья Романовых имела около 70 его работ, не считая 30 батальных исторических полотен, заказанных для Военной галереи Зимнего дворца.

⁵⁰ В 1853 г. Боголюбов написал портрет дяди — А. А. Радищева (СРМ).

⁵¹ Звание Почётного гражданина Саратова Боголюбов получил 29 сентября 1880 г.

⁵² Место рождения А. Н. Радищева неизвестно. Предположительно называются — Петербург, Саратов, Аблязово.

⁵³ Аблязово лично А. Н. Радищеву не принадлежало. Теперь Аблязово называется Радищево (ныне — Пензенской области), там организован Радищевский музей.

⁵⁴ В 1960-х гг. прах Боголюбова с Малоохтенского кладбища перенесён в Некрополь Александро-Невской лавры, но место захоронения утеряно.

⁵⁵ Промышленный район Петербурга — Выборгская сторона.

⁵⁶ В это время губернатором Саратова был кн. Владимир Алексеевич Щербатов. Его дом находился на пересечении улиц Александровской (ныне — Горького) и Константиновской (Советской). Снесён в советское время.

⁵⁷ Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. был организован народовольцем С. Н. Халтуриним. Александр II не пострадал. Халтурину удалось скрыться.

⁵⁸ Альбом рисунков Боголюбова «Путешествие по России» Наследников Николая Александровича и Александра Александровича был нарядно оформлен и помещён в стильный футляр из красного дерева с бронзовыми золочёными накладками. Хранится в Павловском дворце-музее.

⁵⁹ Сын Боголюбова Николай родился 10 сентября 1864 г., умер 15 июня 1865 г.

⁶⁰ Наследник Николай Александрович умер 20 апреля 1865 г.

⁶¹ Картина «Курильщик» сейчас находится в Эрмитаже.

⁶² Картины «Гибель фрегата «Александр Невский». Ночной вид» и «Гибель фрегата «Александр Невский». Молебен» 1868 г. теперь принадлежат ЦВММ.

⁶³ Членом Совета АХ Боголюбов назначен 24 января 1871 г.

⁶⁴ Выставка в память А. Е. Бейдемана, погибшего 23 февраля, открылась в АХ в конце апреля 1869 г. На ней были экспонированы произведения Бейдемана, В. В. Верещагина, Монигетти. Боголюбов представил две картины о крушении фрегата «Александр Невский», 24 живописных этюда — пейзажи России и около 200 рисунков из альбома путешествий Наследников по России, альбома датских видов, принадлежавшего Вел. Кн. Марии Фёдоровне, альбома видов Петровско-Разумовской лесной академии в Москве, исполненного для А. А. Зеленого.

⁶⁵ Путешественники жили в доме губернатора Саратова кн. Щербатова — см. комментарий 56.

⁶⁶ Дворянское собрание размещалось в доме на углу Московской и Соборной улиц, ныне на его месте построено административное здание.

⁶⁷ Речь идёт о сыне великого полководца А. В. Суворова.

⁶⁸ Боголюбов заболел в ноябре — декабре 1871 г.

⁶⁹ Уезжая за границу, Боголюбов взял на себя обязанность наблюдения за работой пенсионеров АХ по просьбе Вел. Кн. Владимира Александровича. В это время в Риме были В. Д. Поленов, Г. И. Семмиадский, скульптор А. М. Чижов, в Париже — М. М. Зеленский, А. А. Харламов, гравёр И. П. Пожалостин, в Дюссельдорфе — Н. П. Дмитриев-Оренбургский. Бронников считал, что «...такого человека посылать с такою целью действительно польза и удовольствие. ...Он так же деятелен, так же добр... Он очень интересные вещи показывает мне по части техники, на которой он, кажется, собаку съел. Талант у него действительно большой» (из письма к М. П. Боткину) («Летопись», с. 55).

⁷⁰ В СРМ среди более чем 800 графических работ Боголюбова хранятся его чудесные акварели и сепии.

⁷¹ Боголюбов говорит об Альберте Бенуа.

⁷² Пётр Фёдорович Исеев с 1868 г. был конференц-секретарем АХ. Деятельный, властный, честолюбивый чиновник, он фактически к концу 1870-х гг. стал полновластным хозяином АХ, инициировал и возглавил борьбу с передвижниками, не гнушаясь никакими интригами. Подозреваемый в финансовых махинациях, особенно в злоупотреблении со строительством храма на месте гибели Александра II, Исеев в 1889 г. был разоблачён, сослан в Сибирь, где вскоре умер. Боголюбов активно противостоял интригам Исеева и участвовал в его разоблачении.

⁷³ Работа по составлению нового устава АХ не имела результатов.

⁷⁴ Вел. Кн. Владимир Александрович в 1872 г. был ещё товарищем президента АХ, но в сущности заманил Марию Николаевну, которая к этому времени фактически отошла от дел.

⁷⁵ Боголюбов установил свои две картины «Хождение Христа по водам» в 1872 г. и «Проповедь Христа с подки» в следующем году в русской церкви на рю Дарю. Их влияние сказалось на создании Поленовым серии картин из жизни Христа. Эскизы этих картин Боголюбова экспонировались на выставках ТПХВ.

⁷⁶ На Венской всемирной выставке были картины Боголюбова «Вид в Кронштадте» и «Вид Крыма. Ай-Петри с потоком воды».

⁷⁷ Боголюбов ошибочно указывает 1873 г. На постоянное жительство в Париж он приезжает в середине февраля 1874 г., приняв от АХ обязанности инспектора над пенсионерами. Поселяется в большой квартире с хорошей мастерской на рю де Рома, 95.

⁷⁸ Близкие по происхождению, воспитанию, оба окончили Морской корпус, Боголюбов и В. В. Верещагин в начале 1870-х гг. были дружны, но принадлежали они разным поколениям (Верещагин — на 20 лет моложе) и разным типам людей. Неуживчивый, вспыльчивый, подозрительный, обидчивый и обижанный, индивидуалист, считавший, что ему — таланту — всё позволено, Верещагин был полной противоположностью Боголюбову, который прежде всего хотел быть полезным и людям, и Отчеству. Конфликты были неизбежны. В 1876 г. в Париже чуть не дошло до дуэли. Но полное расхождение произошло в 1879 г. По привычке Боголюбов уговаривал Наследника приобрести серию картин Верещагина о последней войне. Картины считал замечательными. Но Наследник их признал непатриотичными и отказался. Верещагин обиделся на Боголюбова и порвал с ним отношения окончательно. Картины эти долго не могли найти хозяина.

⁷⁹ Репин писал Стасову: «По вторникам собираемся у Боголюбова, бывает человек больше 30-ти, все художники и певцы и музыканты — не скучно» («Летопись», с. 71). Часто бывали рисовальные вечера. Тогда двигался на всю мастерскую стол, затягивался ватманом, и, усевшись вокруг, художники импровизировали на разные темы карандашом, тушью, акварелью. Чтобы молодёжь не увлеклась парижской жизнью, Боголюбов старался занять своих подопечных серьёзными делами. Освоили живопись по фарфору. Для работы в гравюре Боголюбов поставил в мастерской офортный станок. Сам тоже много и успешно трудился, так что знаменитый знаток гравюры Ровинский, отмечая в его офортах особую живописность, сожалел, что Боголюбов не посылал свой талант офорту. Но главной заботой Боголюбова было, конечно, совершенствование живописного мастерства пенсионеров. По настоятельной рекомендации Боголюбова лето они провели в деревенке Вёль в Нормандии, постигая законы живописи на воздухе. Поленов сообщал в АХ о результатах Боголюбовской опеки: «...уже год, что он дружески руководит моими занятиями. Благодаря его примеру, с одной стороны, а с другой — опытным и добрым советам, очень многое, бывшее прежде для меня неясным, стало понятным и простым. Работая с натуры летом вместе с ним и сравнивая свои этюды с его мастерскими произведениями, я научился в несколько часов большему, чем работая месяцы один». То же происходило и с Репиным, Савицким,

Бегровым, Харламовым и другими. Кроме того, Боголюбов считал своим долгом «пристроить» работы пенсионеров, обеспечить им материальную свободу для жизни и творчества. К примеру: по рекомендации Боголюбова заочно П. М. Третьяков приобрёл у Репина «Еврея на молитве», «Портрет И. С. Тургенева», у Поленова — «Право господина». Наследник заказал Репину «Садко», у Поленова приобрёл «Графиню д'Эстремон».

⁸⁰ Сёстры Ге — племянницы художника Н. Н. Ге. Репин в это время написал портрет Зои Ге. Мария Ге впоследствии опубликовала воспоминания о Тургеневе.

⁸¹ В «Записках» Боголюбов соединяет встречи двух новых годов — 1875 и 1876. Первый был замечательным праздником — чествованием Боголюбова. Подготовка велась втайне. Боголюбова на сутки удалили из дома, а встретили хороводом с хлебом-солью под святую песню «Слава на небе солнцу... слава нашему Алексею Петровичу, слава!». Далее были костюмированные пьески, народные песни, сцены и арии из «Фауста» Гуно, комические сценки и, наконец, живая картина «Апофеоз искусства» — пирамида, у подножья которой восседали Гомер, Шекспир, Бетховен, Рафаэль и Микельанджело. Выше были музы поэзии, музыки, живописи и скульптуры. Над ними летал крылатый гений искусства (десятилетний Тоша Серов — будущий знаменитый портретист В. А. Серов). Он держал вензель Боголюбова. Художники подарили учителю свои этюды, среди них были «Белая лошадь» Репина и «Венецианский дождь» Поленова (обе — в СРМ). «Все пришли в неопишумый восторг... Тургенев радовался как ребёнок... Боголюбов, который вовсе не ждал этого, был, как говорится, на седьмом небе. Обнимал нас, целовал, не знал, как отблагодарить» («Летопись», с. 73). Боголюбов одарил всех собравшихся своими рисунками.

На встрече нового, 1876 г. молодёжь преподнесла своему попечителю большое блюдо, расписанное Репиным, Поленовым, Дмитриевым-Оренбургским, Бегровым и К. Маковским. По борту блюда — посвящение: «Нашему хорошему Алексею Петровичу Боголюбову от юных друзей его преподносится сей первый блин». Блюдо хранится в СРМ.

⁸² Николай Александрович — будущий император Николай II.

⁸³ Артистические собрания в доме Виардо широко освещены в мемуарной литературе о Тургеневе. Об одном из них сообщает и Репин: «Сумасшедшие французы... Вот так веселятся! По-детски, до глупости. Всего перепробовали: начали с пения, музыки, потом импровизировали маленькие пьески (Тургенев тут отличался, сколько в нём молодости и жару!!!), фанты и кончили танцами. Всех превозшёл в шутовстве и глупости композитор Сен-Санс (чуть на голове не ходил, танцы играл!)» (Репин и Стасов. Переписка. Т. I. С. 107—108).

⁸⁴ «Пророк» опера Мейербера. Полина Виардо пела партию Финдес.

⁸⁵ Русская керамическая мастерская в Париже была популярна. Вещи раскупались нарасхват, прямо из печи. В России известны буквально единицы, и только в СРМ уникальная коллекция пейзажных росписей по фарфору, керамике и лаве Виллие, Похитонова, Бегрова и самого Боголюбова.

⁸⁶ 15 мая 1876 г. кн. Г. Г. Гагарин, увлечённый работой в керамической мастерской в Париже, исполнил портрет Боголюбова на бруске лавы.

⁸⁷ Имеется в виду храм Спаса на крови на Екатерининском канале.

⁸⁸ В 1874—1876 гг. Наследник приобрёл картины «Водосвятие» Дмитриева-Оренбургского, «Путешествие в Оверни» Савицкого, «Портреты» царских яхт «Цесаревна», «Дагмара», «Славянка», «Увальень» и парового катера «Шутка» Бегрова, «Балаганы в Париже» В. Васнецова, картины Добиньи, Жерома и других художников. О Репине и Поленове — см. комментарий 79.

⁸⁹ Барбедьен — владелец магазина художественной скульптуры из бронзы.

⁹⁰ Н. П. Боголюбов. История корабля. Т. I и II. М., 1879.

⁹¹ Россия объявила войну Турции 10 апреля 1877 г.

⁹² Боголюбов провёл в Болгарии июль 1877 г.

⁹³ Полёт этой трубы Боголюбов изобразил в картине «Взрыв турецкого броненосца «Люфти-Джелиль» на Дунае 29 апреля 1877 г.» — написана она была осенью. Сейчас — в ЦВММ.

⁹⁴ Переправа 200-тысячной русской армии через Дунай осуществлялась с 14 по 29 июня 1877 г. около Добруджи в районе Зимницы. В следующем году Боголюбов написал картину «Переправа русских войск через Дунай у Мачина». Ныне находится в ЦВММ.

⁹⁵ Картину «Потопление турецкого монитора «Сейфи» на Дунае 14 мая 1877 г.» Боголюбов закончил в начале 1878 г. Она изображает первый в мире опыт применения мин, утвердивший идею создания минных катеров. Под покровом ночи катера «Царевна» и «Ксения» подошли к месту стоянки 3 крупных турецких кораблей и около 3 часов ночи взорвали один из них — «Сейфи». Он мгновенно затонул. Русские катера возвратились без потерь.

⁹⁶ В июне 1877 г. русские катера ставили мины у турецкого порта Рушук. Неожиданно появился турецкий пароход. Катер «Шутка» под командой лейтенанта Скрыдлова под прицельным огнём береговых батарей нанёс кораблю удар шестовой миной. Взрыва не было, так как запальные проводники были повреждены турецким огнём, но турецкий пароход немедленно удалился, и катера произвели минное заграждение. На «Шутке» было много пострадавших. В ноги были ранены Скрыдлов и В. В. Верещагин, который находился там как волонтер. Картину с этим сюжетом — атака катером «Шутка» турецкого парохода на Дунае Боголюбов исполнил только в 1882 г., после вторичного посещения Болгарии в 1881 г.

⁹⁷ На Парижской всемирной выставке 1878 г. был показан эскиз картины «Вид Нижнего Новгорода». А сама картина исполнена в следующем году — это одно из капитальнейших произведений художника. Эскиз и картина ныне находятся в ГРМ.

⁹⁸ 10 декабря 1877 г. русские войска взяли Плевну. А в Париже многочисленная колония русских художников приурочила основание Общества взаимного вспомоществования русских художников к этому дню. Организатором выступил Боголюбов, его и выбрали председателем, секретарём — И. С. Тургенев. Членами-уредителями были Антокольский, Бегров, Харламов и другие. Официально президентом назвали русского посла Орлова. Вследствии Наследник Александр Александрович стал высочайшим покровителем ОРХП. После кончины Боголюбова председателем был Харламов. ОРХП сначала разместилось на рю Трезель, 17 в квартире умершего сына Г. Гицбургера. В 1878 г. Боголюбов уступил ему свою большую квартиру на рю де Рома, 95 и окончательно к 1880 г. оно обособилось на рю де Тильзит, 18, имея мастерские, библиотеку, клубный зал, капитал для помощи пайщикам. ОРХП просуществовало до Октябрьской революции.

⁹⁹ Воспоминания об А. А. Иванове — «Поездка в Альбано и Фраскати» — Тургенев напечатал впервые в журнале «Век» (1861, № 15).

¹⁰⁰ Осенью 1877 г. Боголюбов чувствует себя в Париже неуютно. Окончились годы пенсионерства, Репин, Поленов и другие вернулись на Родину; идёт война, Франция не сочувствует России. И Боголюбов задумывает оставить Париж, поселиться в Москве, где живут брат, Репин, Поленов, а собранные коллекции — картины, мебель, утварь — передать Саратову для музея. Для постройки дома брат покупает 647 квадратных саженей земли с тополями. Дом (ул. Суцесская, 14) сохранился, там размещается Библиотека искусств — Центр культуры им. А. П. Боголюбова.

¹⁰¹ Победоносцев 6 декабря 1877 г. пишет письмо Галкину-Врасскому — передаёт предложение Боголюбова создать в Саратове художественный музей в память А. Н. Радищева. 20 декабря Галкин-Врасский передаёт письмо на рассмотрение Думы.

¹⁰² На открывшейся 1 мая 1878 г. в Париже Всемирной выставке были представлены произведения Боголюбова «Битва при Гангуте», «Вид Петербурга в летнюю ночь со стороны Биржи» и эскиз к картине «Вид Нижнего Новгорода».

¹⁰³ Боголюбов запечатлел. Картина «Сражение у о. Эзель» исполнена в 1866 г. Сейчас она — в ЦВММ.

¹⁰⁴ После Крымской войны Россия была лишена права иметь военный флот на Чёрном море. К началу Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. у Турции был мощный броненосный флот, а у России несколько срочно вооружённых пароходов, 14 паровых катеров, 20 гребных шлюпок, но и новинка — минные катера. Пароход «Веста» под командой Н. М. Баранова, крейсируя близ порта Констанца, встретился с турецким броненосцем «Фетих-Буленд». Бой длился 5 часов ярким днём. Оба получили повреждения, и в итоге противники разошлись, но нервная дуэль была признана как победа малоомощной «Весты». Боголюбов в 1878 г. написал картину «Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетих-Буленд» в Чёрном море 11 июля 1877 г.». (ЦВММ).

¹⁰⁵ Другое успешное дело Баранова Боголюбов запечатлел в картине «Взятие вооружённым пароходом «Россия» турецкого транспорта «Мерсина» 13 декабря 1877 г.». Находится в ЦВММ.

¹⁰⁶ Боголюбов в 1879 г. исполнил картину «Голицынская больница в Москве». Теперь она — в ГРМ.

¹⁰⁷ Дочь Ф. Ф. Трепова — художница какое-то время занималась под руководством Боголюбова.

¹⁰⁸ Письмо «Ультиматум» для Боголюбова было написано И. С. Тургеневым в марте 1880 г.

¹⁰⁹ Вероятно, это картины: «Потопление турецкого монитора «Сейфи»», «Переправа русских войск через Дунай у Мачина» и «Взрыв турецкого броненосца «Люфти-Джелиль»».

¹¹⁰ Имение Тургенева Спасское-Лутовично находилось в Орловской губернии. Савина гостила у Тургенева в следующем году с 16 по 20 июня.

¹¹¹ В СРМ находится несколько пейзажей бурного моря 1880—1881 гг. — «Вентимилья», «Дорога в Савону».

¹¹² Гобелен с ларь хранится в СРМ.

¹¹³ Боголюбов вернулся в Париж в начале февраля 1881 г.

¹¹⁴ «Лавровская история» для ОРХП не имела последствий. Сам Лавров в статье о Тургеневе описывает эту историю в благодушных тонах («Вестник народной воли», 1984, № 12).

¹¹⁵ Картина «Дело Скрыдлова 8 июня 1877 г.» находится в Музее Высшего военно-морского училища (бывший Морской корпус).

¹¹⁶ Дом С. М. Третьякова на Пречистенском (ныне — Гоголевском) бульваре, 6.

¹¹⁷ Городская галерея братьев Третьяковых была открыта 15 сентября 1892 г., через 7 лет после СРМ.

¹¹⁸ С. М. Третьяков скончался 25 июля 1892 г.

¹¹⁹ Прозвище «Пустодей» совершенно не подходило Боголюбову — он умел всё задуманное воплощать. Но Исеев, не зная предела своей ненависти к Боголюбову, передвижникам и влиятельным в Владимира Александровича, с истиной не считался. Интересный живой пример оставил в своём дневнике А. А. Половцов 10 июня 1885 г. Обычно, рекомендую царю какое-либо произведение, Боголюбов сам его представлял, определял стоимость, условия выставок и т. д. Вот что произошло с эскизом к картине Савицкого «На войну». «Государь был очень мил и любезен, как всегда, а Владимир Александрович, увидев картину Савицкого... и, вероятно, подушенный Исеевым, который сердит за то, что художники доходят до Государя помимо его, Исеева, сказал: «Какая дерзость представлять Государю пьяных солдат». Императрица и Елизавета Фёдоровна старались перед Боголюбовым смягчить резкость этой выходки» («Дневник государственного секретаря А. А. Половцова». Т. I. М., 1966. С. 440). Царь заказал картину Савицкому. Теперь она в ГРМ.

¹²⁰ «Умный и широкообразованный Константин Николаевич, несмотря на свой сумасбродный и несколько взбалмошный характер, являлся одним из наиболее крупных государственных деятелей эпохи реформ. По своим политическим воззрениям великий князь Константин Николаевич был решительным сторонником буржуазных преобразований, являясь идейным вождём либеральной бюрократии». Такую характеристику Константину Николаевичу дал советский историк Т. А. Зайончковский («Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов». М., 1964. С. 122). Она не расходится с мнением Боголюбова.

¹²¹ Коронация Александра III происходила традиционно в Успенском соборе Московского кремля 15 мая 1883 г.

¹²² 1 мая в Саратове на Театральной площади был заложен фундамент Радищевского музея. Архитектором был друг Боголюбова Иван Васильевич Штром.

¹²³ Этот вечер в ОРХП был встречей нового, 1883 г.

¹²⁴ Боголюбов неточен. Врач Н. А. Белоголовый не присутствовал при операции, которую сделал Тургеневу французский хирург Сегон 14 января 1883 г. Но Белоголовый следил за болезнью и после кончины Тургенева описал её ход: «Я высказал своё предположение о вероятности в данном случае мелких раковых или саркоматозных узлов в спинном хребте и, вероятно всего, в мозговых оболочках. ...Говорят, что при вскрытии нашли рак позвоночника...» («Всемирная иллюстрация», 1883, № 767, с. 218—219).

¹²⁵ Луи Виардо умер 5 мая 1883 г.

¹²⁶ Прощание Боголюбова с Тургеневым происходило 30 июля 1883 г., о чём свидетельствует Стасюлевич: «Я приехал в Париж вечером 31 июля и нашёл в своём отеле, между прочим, записку А. П. Боголюбова, от утра того же дня; он извещал меня о новом, страшном припадке с Тургеневым и сомневался, чтобы я мог застать его живым на следующий день. Но я застал...» («Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева». «Вестник Европы», 1883, № 10, с. 850—851).

¹²⁷ Этот рисунок Боголюбова до сих пор не обнаружен.

¹²⁸ О смерти Тургенева Боголюбова извещали: «Тотчас после смерти были посланы депеши ко всем близким

людям покойного: к П. В. Анненкову в Баден... к А. П. Боголюбову в Шато д'Э, но он переехал, как после узнали, в Трелор...» («Вестник Европы», 1883, № 10, с. 853).

¹²⁹ 1 октября 1883 г. перед отправкой гроба с телом Тургенева в Россию с Северного вокзала было торжественное прощание, на котором выступили священник Васильев, Э. Абу, Ренан и Боголюбов.

В Петербурге грандиозные похороны Тургенева состоялись 27 сентября ст. ст. Серебряный венок от русских художников в Париже нёс И. Н. Крамской. Публичная библиотека взяла его на хранение. Это организовал В. В. Стасов по просьбе Боголюбова.

¹³⁰ Рисунок неизвестен.

¹³¹ Тога и шапочка не Кембриджского, а Оксфордского университета, который присвоил Тургеневу звание доктора права.

¹³² «Уголок Тургенева» существовал в СРМ до 1919 г., когда личные вещи Тургенева — стол, кресло, маску, слепок с правой руки, костюм доктора Оксфорда, охотничьи принадлежности — ружьё, ягдташ, несколько портретов, рукописи, книги — были переданы Историко-филологическому факультету Саратовского университета. Оттуда в 1930-е гг. они перешли в музей Тургенева в Орле. Теперь ружьё и ягдташ экспонируются в доме Тургенева в музее-усадьбе Спасское-Лутовиново.

¹³³ С этих слов начинается текст отдельного очерка Боголюбова о И. Н. Крамском.

¹³⁴ Крамской в 1869 г. в Париже нарисовал великолепный портрет Боголюбова, который Боголюбов подарил АХ в 1872 г. Сейчас он в ГРМ.

¹³⁵ В 1887 г. в связи с изданием писем Крамского Стасов получил от Боголюбова, Суворина, Д. В. Григоровича разрешение на публикацию всего, что о них писал Крамской, включая нелицезные отзывы.

¹³⁶ Боголюбов, всецело поддерживая ТПХВ, на первой выставке, открывшейся 28 ноября 1871 г., участвовал только как экспонент, так как не подготовил специально для неё вещей. Но в 1872 г., 26 ноября, на общем собрании ТПХВ Боголюбов, Гун, Максимов и В. Маковский были приняты в его члены единогласно.

¹³⁷ Окончательное размежевание ТПХВ с АХ произошло в 1876 г.

¹³⁸ В этой картине отражено горе Крамского, у которого умер сын Николай. Мать изображена не со спины, а прямолико. Картина сейчас — в ГТГ.

¹³⁹ Картина «Встреча войск». Находится в Ивановском художественном музее.

¹⁴⁰ В 1862—1863 гг. Крамской исполнил картоны для росписи купола храма, а расписывал его в 1866—1867 гг. Помогали ему Б. К. Вениг и Н. А. Кошелев.

¹⁴¹ Этот царский заказ Крамской получил через Боголюбова так же, как Репин на картину «Приём Александра III волостных старшин».

¹⁴² Лес для строительства дачи Крамской получил в беспроцентный кредит у В. Ф. Громова по просьбе Боголюбова.

¹⁴³ Крамской приехал в Париж в начале июня. Боголюбов был счастлив принять его у себя, предоставить бытовой комфорт, мастерскую. Он чувствовал себя одиноко после отъезда пенсионеров в Россию. Крамской работал в мастерской Боголюбова 4 месяца, написал портрет приехавшего Н. П. Боголюбова (находится в СРМ).

¹⁴⁴ Увидев в мастерской Боголюбова офортный эскиз, Крамской решил освоить офорт и сделал портрет Наследника Александра по фотографиям, которые у Боголюбова были. Наследнику портрет понравился, он разрешил тиражировать и распространять его. Боголюбов назначил продажную цену — 100 рублей. Многие русские его приобретали. В СРМ имеется оттиск.

¹⁴⁵ Весной 1884 г. по пути в Ментону и из неё Крамской с дочерью Софьей жили у Боголюбова.

¹⁴⁶ Крамской умер 13 марта 1887 г. внезапно, работая над портретом доктора Раухфуса (находится в ГРМ). С 1875 г., когда Крамской стал доверять искренней взаимности Боголюбова к ТПХВ и оценил его душевные качества, между художниками установилось полное взаимопонимание. Осталась обширная переписка Боголюбова и Крамского, частично опубликованная.

¹⁴⁷ 15 октября 1893 г. утверждён новый устав АХ, над созданием которого много трудился Боголюбов. По уставу АХ, оставаясь в ведении министерства Двора, получала широкие полномочия по руководству развитием искусства, музеев, реставрации памятников искусства, художественного образования. Президентом оставался Владимир Александрович. Организованы среднее и высшее художественные училища со своим советом профессоров и ректором. В обновлённую АХ пришли передвижники — Репин, В. Маковский, Шишкин и другие. Боголюбов стал действительным членом АХ.

¹⁴⁸ Речь идёт о младшем брате В. Ф. Громова.

¹⁴⁹ Кроме пополнения царских коллекций, при Николае I были отреставрированы здания Старого Эрмитажа, построен Новый Эрмитаж с прекрасными залами и хранилищами. Здание было украшено грандиозным перистемом с гигантскими гранитными атлантами работы скульпторов Терезенева и Гальберга. Новый Эрмитаж был открыт 5 февраля 1852 г. В него был уже свободный вход всех желающих, только в чистом платье. Боголюбов много работал в залах Нового Эрмитажа.

¹⁵⁰ Имеется в виду Николай II.

¹⁵¹ Музей Русского искусства Александра III был основан ещё при жизни Боголюбова Высочайшим указом от 13 апреля 1895 г., открыт 7 марта 1898 г.

¹⁵² Вел. Кн. Георгий Михайлович был августейшим попечителем и СРМ, где хранится его портрет работы В. А. Серова.

¹⁵³ Женой Сергея Александровича была старшая сестра Александры Фёдоровны, жены Николая II, Елизавета Фёдоровна, вместе с Великими Князьями убитая в 1918 г. в Алапаевске.

¹⁵⁴ Боголюбов 24 ноября подписал с Базилевским соглашение о покупке коллекции. Сам вёл все денежные расчёты. В проверке наличия ценностей с документами, упаковке ему помогал Лакости.

¹⁵⁵ Коллекция была отправлена в Петербург 11 января 1885 г. с Северного вокзала. Размещалась в 6 вагонах. Сопровождал её Лакости.

¹⁵⁶ В честь открытия Радищевского музея в Кафедральном соборе Александра Невского 27 июня преосвященный епископ Павел отслужил торжественную литургию. Затем многолюдным крестным ходом пришли к музею для его освящения. На следующий день Боголюбов знакомил общественность Саратова с экспозицией музея. 29 июня состоялось торжественное открытие Радищевского музея.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

- Адлерберг Александр Владимирович** (1818—1882) — граф, министр императорского Двора и Уделов в 1872—1881 гг., покровитель Боголюбова.
- Адлерберг Владимир Фёдорович** (1791—1884) — граф, министр императорского Двора и Уделов в 1852—1872 гг., покровитель Боголюбова.
- Александр Александрович** (1845—1894) — Вел. Кн., Наследник, затем российский император Александр III в 1881—1894 гг.
- Александр Николаевич** (1818—1881) — Вел. Кн., Наследник, затем российский император Александр II в 1855—1881 гг.
- Алексей Александрович** (1852—1908) — Вел. Кн., сын Александра II, генерал-адмирал, главный начальник флота и морского ведомства с 1881 г.
- Анненков Павел Васильевич** (1813—1887) — литератор, приятель Боголюбова.
- Антокольский Марк Матвеевич** (1843—1902) — скульптор, подарил Боголюбову для СРМ скульптуру Петра I и другие произведения.
- Арендт Николай Фёдорович** (1785—1859) — хирург, участник всех походов против Наполеона I, с 1829 г. лейб-медик Николая I, друг отца Боголюбова.
- Ахенбах Андреас** (1815—1910) — немецкий живописец-пейзажист, с 1860 г. почётный вольный общник АХ, один из учителей Боголюбова.
- Ахенбах Освальд** (1827—1905) — немецкий живописец, пейзажист и жанрист, с 1861 г. почётный вольный общник АХ, друг Боголюбова.
- Бабст Иван Кондратьевич** (1823—1881) — историк и экономист, профессор Московского университета, воспитатель Наследников Николая Александровича и Александра Александровича, директор Лазаревского института восточных языков в 1864—1868 гг., с 1867 г. управляющий купеческим банком.
- Баженов Александр Иванович** (1820—1897) — вице-адмирал с 1886 г., друг Боголюбова с времён учёбы в Морском корпусе.
- Баженов Роман Иванович** (1824—18?) — вице-адмирал с 1885 г., друг Боголюбова с времён учёбы в Морском корпусе.
- Базилевский Александр Петрович** (1829—1899) — владелец знаменитой коллекции западноевропейского прикладного искусства.
- Баранов Николай Михайлович** (1836—1901) — капитан I ранга; участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; градоначальник С.-Петербурга в 1881—1882 гг., Нижегородский губернатор в 1890-е гг., знакомый Боголюбова, имел с ним переписку.
- Баранов Павел Миронович** — генерал, начальник службы маяков в 1840-е гг. на Балтике.
- Барятинский Владимир Антонович** — кн., генерал-майор свиты Александра III, егермейстер, приятель Боголюбова.
- Басин Пётр Васильевич** (1793—1877) — исторический живописец и педагог.
- Беггров Александр Карлович** (1841—1914) — живописец-маринист и морской баталист, ученик Боголюбова.
- Бейдеман Александр Егорович** (1826—1869) — исторический и религиозный живописец, друг Боголюбова.
- Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич** (1778—1852) — адмирал, мореплаватель, флотский начальник Боголюбова.
- Белоголовый Николай Андреевич** (1834—1895) — врач, общественный деятель.
- Бенуа Альберт Николаевич** (1852—1937) — живописец и акварелист.
- Бернар Клод** (1813—1878) — французский физиолог, знакомый Боголюбова.
- Бернардский (Бернадский) Евстафий Ефимович** (1819—1889) — гравёр.
- Бернштам Леопольд Адольфович** (1859—1939) — скульптор-портретист; в 1893 г. исполнил портрет Боголюбова — бронзовый бюст (находится в СРМ).
- Бобринский Александр Алексеевич** (1823—1903) — граф, гофмейстер Двора Александра III, член Государственного совета.
- Боганц Фёдор Фёдорович (Боганц Фридрих-Генрих)** (1834—1873) — живописец-пейзажист, ученик Боголюбова.
- Боголюбов Николай Петрович** (1821—1898) — моряк, писатель, брат А. П. Боголюбова.
- Боголюбов Пётр Гаврилович** (17?—1830) — отец Боголюбова.
- Боголюбова Екатерина Михайловна** (?—1892) — жена Н. П. Боголюбова.
- Боголюбова Надежда Павловна**, урожд. Нечаева (1839—1865) — жена Боголюбова.
- Боголюбова Фекла Александровна**, урожд. Радищева (1795—1845) — мать Боголюбова.
- Бок Александр Романович**, фон (1829—1895) — скульптор, товарищ Боголюбова.
- Бок Георгий Тимофеевич**, фон — адъютант, затем гофмаршал Двора Вел. Кн. Владимира Александровича.
- Бонвель Феликс** (1802—1842) — французский живописец.
- Бонёр Роза** (1822—1899) — французская художница.
- Бонна Леон Жозеф Флорантен** (1833—1922) — французский живописец.
- Боткин Михаил Петрович** (1839—1914) — живописец, коллекционер, директор музея ОПХ, товарищ Боголюбова.
- Боткин Сергей Петрович** (1832—1889) — врач-терапевт, лейб-медик с 1872 г., физиолог, общественный деятель; наблюдал за здоровьем Боголюбова.
- Бочаров Михаил Ильич** (1831—1895) — живописец и театральный художник, товарищ Боголюбова.

- Бриджмен Фредерик Артур (1847—1928)** — американский живописец, входил в парижский круг знаковых Боголюбовых.
- Бронников Фёдор Андреевич (1827—1902)** — исторический живописец и жанрист, друг Боголюбова, в 1856 г. написал его портрет (СРМ).
- Бруни Фёдор Антонович (1799—1875)** — исторический живописец и педагог.
- Брюллов Александр Павлович (1798—1877)** — архитектор и акварелист, близкий знакомый Боголюбова.
- Брюллов Карл Павлович (1799—1852)** — живописец и педагог.
- Брюллов Павел Александрович (1840—1914)** — архитектор и живописец-пейзажист, друг Боголюбова.
- Брюллов (Брюлло) Фёдор Павлович (1795—1869)** — исторический живописец.
- Брюллова Софья Константиновна, урожд. Кавелина (1851—1877)** — историк и переводчица, жена П. А. Брюллова.
- Брянченинов Дмитрий Александрович (1807—1867)** — при постриге в 1831 г. принял имя Игнатий, богослов, епископ Кавказский и Черноморский, канонизирован в 1988 г.
- Бурго Адольф Вильям (1825—1905)** — французский живописец.
- Буржуа де Мерсье Фредерик (1805—1860)** — французский живописец, литограф, пейзажист.
- Василенко Мария Львовна, в замуж. Левитон (1856—1948)** — певица, ученица П. Виардо.
- Васильев Дмитрий Иосифович** — настоятель русской православной церкви в Париже после 1881 г.
- Васильев Иосиф Васильевич (1821—1881)** — священник в русском посольстве в Париже, настоятель русской церкви на рю Дарю, агент 3-го отделения.
- Васильчиков Александр Алексеевич (1832—1890)** — гофмейстер, директор Эрмитажа в 1879—1889 гг.
- Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926)** — исторический живописец.
- Великий Князь — см. Владимир Александрович.**
- Вениг Карл Богданович (1830—1908)** — исторический живописец, товарищ Боголюбова.
- Верещагин Василий Васильевич (1842—1904)** — живописец-баталист.
- Верещагин Василий Петрович (1835—1909)** — исторический живописец, портретист, исполнил портрет жены Боголюбова.
- Веселого Феодосий Фёдорович (1817—1895)** — генерал-лейтенант, историк русского флота; Боголюбов дарил ему свои работы.
- Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821—1910)** — французская певица, педагог, композитор; дарительница в СРМ вещей И. С. Тургенева.
- Виардо Клоди, в замуж. Шамро (1852—1941)** — художница, дочь Полины Виардо.
- Виардо Луи (1800—1883)** — французский историк искусства и художественный критик.
- Виардо Марианна, в замуж. Дювернуа (1854—1913)** — певица, дочь Полины Виардо.
- Виардо Поль (1857—1914)** — скрипач, сын Полины Виардо.
- Вьельгорский Михаил Юрьевич (1788—1856)** — граф, музыкант.
- Виллевальде (Виллевальд) Богдан Павлович (1818—1903)** — живописец-баталист.
- Виллие Михаил Ювлевич (1838—1910)** — живописец и акварелист, друг Боголюбова.
- Владимир Александрович (1847—1909)** — Вел. Кн., сын Александра II, генерал-адъютант, товарищ президента АХ в 1868—1876 гг., президент АХ в 1876—1909 гг. и председатель ОПХ в 1867—1909 гг., главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа в 1884—1905 гг.
- Воейкова Юлия Адольбертовна** — московская барыня, рязанская и могилёвская помещица, коллекционер, имела несколько работ Боголюбова.
- Волконский Григорий Петрович (1808—1882)** — кн., гофмейстер, попечитель русских художников в Италии в 1850-х гг.
- Воробьёв Максим Никифорович (1787—1855)** — живописец-пейзажист, педагог, учитель Боголюбова.
- Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916)** — граф, генерал-адъютант, министр Двора и Уделов в 1881—1897 гг., наместник на Кавказе в 1905—1915 гг., покровитель Боголюбова.
- Вотье Бенжамен (1829—1898)** — немецкий живописец.
- Вукотич** — саратовский почтмейстер в 1860-е гг.
- Вюртембергская королева** — см. Ольга Николаевна.
- Габриэль Макс (1840—1915)** — немецкий живописец.
- Гагарин Григорий Григорьевич (1810—1893)** — кн., художник-акварелист, вице-президент АХ в 1852—1879 гг., исполнил портрет Боголюбова.
- Галкин-Врасский Михаил Николаевич (1834—1916)** — Саратовский губернатор в 1870—1880 гг., начальник главного тюремного управления в 1879 г., действительный тайный советник, член Государственного совета; помогал Боголюбову в организации СРМ.
- Ге Николай Николаевич (1831—1894)** — исторический живописец.
- Гейден Людвиг Сигизмунд Якоб (1772—1850)** — граф, адмирал, главный командир Ревельского порта в 1834—1850 гг., покровительствовал Боголюбову.
- Гейсмар Алексей Фёдорович** — барон, морской офицер в 1842—1858 гг., товарищ Боголюбова.
- Генерал-адмирал — см. Алексей Александрович.**
- Георгий Михайлович (1863—1919)** — Вел. Кн., генерал от инфантерии, учёный, нумизмат, управляющий Русским музеем Александра III, попечитель СРМ, где хранится его портрет работы В. А. Серова.
- Герен Пьер Нарсис (1774—1833)** — французский живописец.
- Гинцбург Гораций Осипович (1833—1909)** — барон, банкир, меценат, коллекционер, друг Боголюбова.
- Гинцбург Урий Осипович** — брат Г. О. Гинцбурга.
- Гирс Николай Карлович (1820—1895)** — статс-секретарь, министр иностранных дел в 1882—1895 гг.
- Гирш Густав Иванович (1828—1907)** — хирург, лейб-медик Александра III, друг Боголюбова.
- Глазенап Богдан Александрович (1811—1892)** — адмирал с 1869 г., военно-морской историк, директор Морского корпуса в 1851—1855 гг., генерал-губернатор и начальник порта в Архангельске в 1857—1860 гг., генерал-губернатор и начальник порта в Николаеве в 1860—1871 гг., с 1871 г. член Адмиралтейского совета.
- Головачёв Дмитрий Захарович (1822—1886)** — вице-адмирал с 1886 г., командир Гвардейского экипажа в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг., начальник переправ на Дунае, командир Гвардейского экипажа с 1881 г., друг Боголюбова.
- Голпё Герман Дмитриевич (1836—1885)** — владелец магазина художественных принадлежностей, основатель и издатель журналов «Всемирная иллюстрация» в 1868—1894 гг. и «Огонёк» в 1879—1883 гг., в которых много писало о Боголюбове.

Горавский Аполлинарий Гиляриевич (1833—1900) — живописец-пейзажист.

Горковенко Алексей Степанович (? — 1876) — вице-адмирал с 1874 г., писатель, друг Боголюбова со времён учёбы в Морском корпусе.

Горковенко Николай Степанович — вице-адмирал с 1876 г., писатель, друг Боголюбова со времён учёбы в Морском корпусе.

Грейг Самуил Алексеевич (1827—1887) — генерал-лейтенант по Морскому ведомству, директор канцелярии Морского министерства в 1866—1874 гг., государственный контролёр в 1874—1877 гг., министр финансов в 1877—1880 гг.

Григорович Василий Иванович (1786—1865) — историк искусства, конференц-секретарь АХ в 1829—1859 гг., покровитель Боголюбова.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — писатель, секретарь ОПХ в 1864—1884 гг., основатель музея ОПХ.

Григорович Константин Васильевич (1825—1855) — исторический живописец.

Гримм Давид Иванович (1823—1898) — архитектор, ректор АХ по архитектуре в 1888—1892 гг.

Гриценко Николай Николаевич (1856—1900) — живописец-маринист и морской баталист, ученик Боголюбова.

Громов Василий Федулович (1799—1879) — лесопромышленник, коллекционер.

Грузинский Пётр Николаевич (1837—1892) — живописец-жанрист.

Гуде Ганс Фредерик (1825—1903) — немецкий живописец.

Гюйом Эжен (1822—1905) — французский скульптор.

Давыдов Иван Григорьевич (1826—1856) — живописец-пейзажист, товарищ Боголюбова.

Даль Лев Владимирович (1834—1878) — сын В. И. Даля, архитектор, строил дом Боголюбова в Москве.

Дациаро Осип Осипович — владелец художественных комиссионных магазинов в Москве и Петербурге.

Декан Александр Габриель (1803—1860) — французский живописец.

Деларош Ипполит (Поль) (1797—1856) — французский живописец, почётный вольный общник АХ с 1845 г.

Демидов Павел Павлович (1839—1885) — кн. Сан-Дonato, уральский заводчик, коллекционер, имел работы Боголюбова.

Детайль Эдуард Жан Батист (1848—1912) — французский живописец.

Диде Франсуа (1802—1877) — швейцарский живописец.

Джиганте Джачинто (1806—1876) — итальянский живописец и рисовальщик.

Дмитриев-Кавказский Лев Евграфович (1849—1916) — рисовальщик, офортист.

Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич (1837—1897) — живописец-жанрист и баталист.

Добиньи Шарль Франсуа (1817—1878) — французский живописец.

Доливо-Добровольский Михаил Иванович (1841—1881) — живописец-пейзажист, в 1879 г. написал «Вид Саратова с Волги».

Долгоруков Владимир Андреевич (1810—1891) — кн., московский генерал-губернатор в 1865—1891 гг.

Долгоруков Николай Сергеевич (1840—1913) — кн., флигель-адъютант Александра III.

Дорогов Александр Матвеевич (1819—1850) — живописец-маринист, Боголюбов копировал его работы.

Дурасов Александр Алексеевич (? — 1848) — адмирал, начальник Боголюбова.

Дюбуа Поль (1829—1905) — французский живописец и скульптор.

Дюккер Евгений Густав Эдуардович (1841—1916) — живописец-пейзажист, ученик Боголюбова.

Дюма Александр (1802—1870) — французский писатель.

Дюпре Жюль (1811—1889) — французский живописец.

Дюран-Рюэль Поль (1831—1922) — парижский торговец картинами.

Егоров Евдоким Алексеевич (1832—1891) — живописец по фарфору и лаве.

Елизавета Фёдоровна (1864—1918) — Вел. Кн., жена Вел. Кн. Сергея Александровича, старшая сестра императрицы Александры Фёдоровны, канонизирована православной церковью в 1990 г.

Епанчин Алексей Иванович (1823—1913) — адмирал с 1909 г., реорганизатор Морского корпуса в 1870-х гг.

Епанчин Иван Петрович (1788—1875) — адмирал с 1856 г., военный губернатор и командир порта в Ревеле в 1853 г.

Епифанов Александр Николаевич — член комиссии по постройке СРМ.

Жакмар Жюль Фердинанд (1837—1880) — французский акварелист.

Железнов Михаил Иванович (1825—1891) — живописец-портретист, приятель Боголюбова.

Жеребцов Николай Арсентьевич (1807—1868) — инженер, действительный статский советник, почётный вольный общник АХ с 1857 г., скульптор-любитель, дядя Н. П. Боголюбовой.

Жером Жан Леон (1824—1904) — французский живописец, рисовальщик, скульптор.

Жилло — парижский фабрикант керамических изделий.

Жирарде Карл (Шарль) (1813—1871) — французский живописец и иллюстратор.

Жуковский Павел Васильевич (1845—1912) — художник-любитель, друг Рихарда Вагнера, автор архитектуры памятника Александру II в Московском Кремле, приятель Боголюбова.

Зак А. И. — директор Учётно-судного и Волжско-Камского банков в Петербурге, коллекционер, в его собрании были произведения Боголюбова.

Зеленый (Зелёный) Александр Алексеевич (1818—1880) — генерал-адъютант, министр Государственных имуществ в 1862—1872 гг., член Государственного совета.

Зеленой Александр Ильич (1809 — ?) — член Адмиралтейского совета.

Зеленой Иван Ильич (1811—1878) — генерал-майор, редактор журнала «Морской сборник».

Зеленой Илья Семёнович (1774—1853) — капитан-лейтенант флота.

Зеленой Павел Алексеевич (1833 — ?) — контр-адмирал, Одесский градоначальник.

Зеленой Порфирий Алексеевич (1823—1874) — чиновник особых поручений при министерстве Двора, товарищ Боголюбова со времён учёбы в Морском корпусе.

Зеленой Семён Ильич (1812 — ?) — адмирал, председатель Главного Военно-морского суда.

Зим (Зием) Феликс Франсуа Жорж Филибер (1821—1911) — французский живописец.

Зичи Михаил (Михай) Александрович (1829—1906) — венгерский живописец и рисовальщик, в 1847—1874 и 1881—1906 гг. работал в России, придворный художник Александра II и Александра III.

- Зон Карл Фердинанд (1805—1867) — немецкий живописец.
- Зон Рауль Эдуард Рихард (1834 — ?) — немецкий живописец.
- Иванов Александр Андреевич (1806—1956) — живописец и рисовальщик.
- Иванов Антон (1818—1865) — живописец-пейзажист.
- Иванов Сергей Андреевич (1822—1877) — архитектор.
- Ивашиных Николай Александрович (? — 1871) — гидрограф, контр-адмирал с 1869 г., учитель Боголюбова.
- Игнатъев Алексей Павлович (1842—1906) — граф, генерал, товарищ министра внутренних дел, член Государственного совета.
- Изабеле Луи Габриэль Эжен (1803—1886) — французский живописец.
- Иордан Фёдор Иванович (1800—1883) — гравёр, ректор АХ в 1871—1883 гг.
- Исеев Пётр Фёдорович (1831—1889) — конференц-секретарь АХ в 1868—1889 гг.
- Кабанов Иван Андреевич (1819—1869) — исторический живописец, товарищ Боголюбова.
- Кавелин Александр Александрович (? — 1850) — наставник и воспитатель Александра II, друг отца Боголюбова.
- Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — писатель, публицист.
- Калам Александр (1810—1864) — швейцарский живописец, почётный вольный общник АХ с 1845 г.
- Каролюс-Дюран Шарль Эмиль Огюст (1838—1917) — французский живописец.
- Кастелани — римский фабрикант и торговец народной итальянской керамикой.
- Киселёв Павел Дмитриевич (1788—1872) — граф, министр Государственных имуществ в 1837—1856 гг., русский посол в Париже в 1856—1862 гг.
- Клейнмихель Пётр Андреевич (1793—1869) — граф, генерал-адъютант, начальник штаба военных поселений, управляющий путями сообщения с 1842 г., руководитель строительства Нового Эрмитажа.
- Клодт Михаил Константинович (1832—1902) — барон, живописец-пейзажист, руководитель пейзажного класса в АХ, организованного в 1872 г. по проекту и методическим разработкам Боголюбова, приятель Боголюбова.
- Клодт Михаил Петрович (1835—1914) — барон, живописец-жанрист и гравёр, приятель Боголюбова.
- Клодт Пётр Карлович (1805—1867) — барон, скульптор; покровительствовал Боголюбову при поступлении и обучении его в АХ.
- Кнаус Людвиг (1829—1910) — немецкий живописец.
- Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907) — литератор и художественный критик, приятель Боголюбова.
- Козлов Павел Александрович — адъютант Наследника Александра Александровича.
- Кокорева Василий Александрович (1817—1889) — московский откупщик, почётный член АХ, имел собрание русской и западноевропейской живописи, в 1861 г. «Кокоревская галерея» была открыта для публики; в 1879 г. обанкротился, собрание было почти пополам приобретено П. М. Третьяковым и Наследником. Имел более 50 работ Боголюбова.
- Кокоринов Александр Филиппович (1726—1772) — архитектор, первый ректор АХ в 1769—1772 гг.
- Константин Николаевич (1827—1892) — Вел. Кн., сын Николая I, генерал-адмирал, управляющий Морским министерством в 1855—1876 гг., наместник в Польше в 1861—1863 гг., председатель Государственного совета в 1865—1881 гг., с 1881 г. в опальной отставке жил частным лицом в Париже.
- Корнелиус Петер (1783—1867) — немецкий живописец.
- Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — вице-адмирал, герой Севастопольской обороны в 1854 г.
- Коро Жан Батист Камиль (1796—1875) — французский живописец, советами которого пользовался Боголюбов.
- Коробка Максим Петрович (1780—1836) — вице-адмирал с 1824 г. и командир 1-й дивизии Балтийского флота, главный командир Кронштадтского порта и генерал-губернатор Кронштадта в 1826—1836 гг.
- Корроди Сальмон (1810—1892) — итальянский акварелист, учитель Боголюбова.
- Кохус Василий Петрович (? — 1873) — генерал-лейтенант, инспектор всех учебных морских экипажей с 1847 г., начальник Боголюбова.
- Краббе Николай Карлович (1814—1876) — адмирал, управляющий Морским министерством в 1860—1876 гг.
- Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — живописец и художественный деятель, идейный руководитель ТПХВ, друг Боголюбова.
- Крамская Софья Ивановна, в замуж. Юнкер (1866—1933) — дочь И. Н. Крамского.
- Крамская Софья Николаевна, урожд. Прохорова (1840—1919) — жена И. Н. Крамского.
- Крузенштерн Иван Фёдорович (1770—1846) — адмирал с 1842 г., мореплаватель, учёный-гидрограф, океанолог, учредитель Географического общества, директор Морского корпуса в 1827—1842 гг.
- Круговихин Константин Васильевич (1815 — ?) — живописец-маринист.
- Кузнецов А. Г. (1855—1895) — промышленник.
- Кузьмин Роман Иванович (1810—1867) — архитектор.
- Кутюрн Тома (1815—1879) — французский живописец, учитель Боголюбова.
- Кушелев-Безбородко Александр Григорьевич (1800—1855) — граф, государственный контролёр, коллекционер.
- Кушелев-Безбородко Григорий Александрович (1832—1876) — граф, беллетрист, издатель журнала «Русское слово» в 1859—1862 гг.
- Кушелев-Безбородко Николай Александрович (1834—1862) — граф, коллекционер, завещал коллекцию АХ.
- Лавеццари Андрей Карлович (1817—1881) — акварелист.
- Лавров Пётр Лаврович (1823—1900) — идеолог революционного народничества.
- Лавровская Елизавета Андреевна, в замуж. кн. Цертелева (1845—1919) — певица, профессор Петербургской консерватории.
- Лагорио Лев Феликсович (1827—1905) — живописец-маринист, товарищ Боголюбова.
- Лазарев Михаил Петрович (1788—1851) — адмирал, флотоводец и мореплаватель, начальник Боголюбова.
- Лакости (Лакост) — знаток искусства, связанный с Эрмитажем, воспитатель Вел. Кн. Павла и Сергея Александровичей.
- Лебедев Михаил Иванович (1811—1837) — живописец-пейзажист.

Лейхтенбергский Максимилиан-Евгений-Иосиф-Наполеон, герцог, принц Эйхштеттский (1817—1852) — внук Жозефины Богарнэ, муж дочери Николая I Марии, первый из августейших президентов АХ (1843—1852).

Лейхтенбергский Евгений Максимилианович (1847—1901) — герцог, военный деятель, участник походов в Среднюю Азию и Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., генерал-лейтенант с 1886 г., коллекционер.

Леман Юрий Яковлевич (1834—1901) — живописец-портретист, жил в Париже, член ОРП.

Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841—1910) — живописец-жанрист.

Ленбах Франц (1836—1904) — немецкий художник.

Лентовский Михаил Валентинович (1843—1906) — актёр, режиссёр и антрепренёр, владелец сада «Эрмитаж» в Москве.

Лессинг Карл Фридрих (1808—1880) — немецкий пейзажист и теоретик искусства.

Липгарт Эрст Карлович (1847—1932) — живописец-портретист и рисовальщик, хранитель Эрмитажа.

Литвинова Фелия Васильевна, урожд. Франсуаза Жанна Шютц (1861—1936) — певица (псевдоним Литвин), ученица П. Виардо.

Лоранс Жан Поль (1838—1921) — французский живописец.

Лорис-Меликов Михаил Гариелевич (1825—1888) — граф, генерал, начальник Верховной распорядительной комиссии по сохранению государственного порядка и общественного спокойствия, министр внутренних дел в 1880—1881 гг.

Лоррен Клод (1600—1682) — французский живописец.

Лоуренс Томас (1769—1830) — английский живописец.

Луиза — королева Дании, мать императрицы Марии Фёдоровны.

Луканина Аделаида Николаевна, урожд. Рыкачева, во втором браке Паевская (1849—1908) — писательница, переводчица, доктор медицины.

Лукашевич Николай Александрович (1821—1899) — живописец-декоратор.

Львов Фёдор Фёдорович (1820—1895) — художник-любитель, секретарь ОПХ в 1859—1863 гг., конференц-секретарь АХ в 1859—1865 гг., почётный вольный общник АХ с 1847 г.

Мазурин Митрофан Сергеевич — московский купец, коллекционер.

Макаров Иван Кузьмич (1822—1897) — живописец-портретист, исполнил портрет жены Боголюбова (СРМ).

Маккарт Ганс (1840—1884) — австрийский живописец.

Маковский Константин Егорович (1839—1915) — исторический живописец, жанрист и портретист.

Максютов Василий Николаевич (1826—1886) — кн., живописец-баталист, товарищ Боголюбова.

Мане Эдуард (1832—1883) — французский живописец.

Марилла (1811—1852) — французский живописец.

Мария Александровна (1824—1880) — принцесса Гессен-Дармштадтская, жена Александра II.

Мария Николаевна (1819—1876) — Вел. Кн., дочь Николая I, жена герцога Максимилиана Лейхтенбергского, во втором браке,morganaticеском, была за графом Григорием Александровичем Строгановым, президент АХ и председатель ОПХ в 1852—1876 гг.

Мария Павловна, урожд. герцогиня Мекленбург-Шверинская (1854—1920) — жена Вел. Кн. Владимира Александровича.

Мария Фёдоровна, урожд. Мария Софья Фредерика Дагмара (1847—1928) — датская принцесса, жена Александра III.

Марков Алексей Тарасович (1802—1878) — исторический живописец и педагог.

Матз Василий Васильевич (1856—1917) — гравёр.

Мейссонье Эрнест Жан Луи (1815—1891) — французский живописец.

Менцель Адольф (1815—1905) — немецкий живописец.

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — светлейший князь, генерал-адмирал, морской министр в 1827—1855 гг., главнокомандующий в Крымскую войну 1853—1855 гг., покровительствовал Боголюбову.

Месмахер Максимилиан Эдуард Егорович (1842—1906) — архитектор, директор Училища технического рисования барона Штиглица в 1877—1896 гг.

Мещерский Арсений Иванович (1834—1902) — живописец-пейзажист.

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — кн., писатель, издавал газету «Гражданин» в 1874—1914 гг., журнал «Добро» в 1881 г. и «Дружеские речи» в 1908 г.

Микешин Михаил Осипович (1836—1896) — скульптор.

Милле Жан Франсуа (1814—1875) — французский живописец.

Михаил Павлович (1798—1849) — Вел. Кн., генерал-фельдцейхмейстер.

Михелис Александр (1823—1868) — немецкий живописец.

Моллер Фёдор Антонович (1812—1875) — живописец, товарищ Боголюбова.

Монигетти Ипполит Антонович (1819—1878) — архитектор, друг Боголюбова.

Морелли Доментио (1826—1902) — итальянский живописец.

Мункачи Михаэль (1844—1900) — венгерский живописец.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881) — граф, генерал-адъютант, губернатор Восточной Сибири в 1847—1862 гг., с 1862 г. поселился в Париже, как частное лицо.

Мюллер Андреас Иоанн Якоб Генрих (1811—1890) — немецкий живописец.

Мюссер Евгений Иванович (1814—1896) — секретарь герцога М. Лейхтенбергского и Вел. Кн. Марии Николаевны, друг Боголюбова.

Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911) — живописец-жанрист.

Навахович Михаил Львович (1817—1859) — журналист, издатель журнала «Ерлаш».

Нахимов Павел Степанович (1802—1855) — адмирал, флотоводец, организатор и герой обороны Севастополя в 1854—1855 гг.

Невиль Альфонс Мари де (1835—1885) — французский живописец.

Недошин Ананий Иванович (1842 — после 1911) — саратовский городской голова в 1871—1891 гг., Почётный гражданин Саратова.

Нелидов Василий Степанович — морской офицер, начальник Боголюбова.

Нефц Тимофей Андреевич (1805—1876) — исторический живописец и портретист.

Нечаев-Мальцев Юрий Степанович (1834—1913) — промышленник, владелец стекольных заводов в Гусь-Хрустальном.

Нечаева Надежда Павловна — см. Боголюбова.

Николай Александрович (1843—1865) — Наследник, сын Александра II, генерал-майор, атаман казачьих войск.

Николай Александрович (1868—1918) — сын Александра III, император Николай II в 1894—1917 гг.

Николай Николаевич старший (1831—1891) — Вел. Кн., сын Николая I, главнокомандующий Балканским фронтом в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., фельдмаршал с 1878 г.

Новосельский Николай Александрович — директор-распорядитель Общества пароходства и торговли, коллекционер.

Оболенский (Нелединский-Мелецкий) Владимир Сергеевич (1847—1891) — кн., полковник, флигель-адъютант, гофмейстер Двора Александра III.

Овербек Фридрих (1789—1869) — немецкий художник.

Олсуфьев Александр Васильевич (1843—1907) — граф, полковник, флигель-адъютант, начальник канцелярии императорской главной квартиры Александра III.

Ольга Константиновна (1851—1926) — Вел. Кн., королева Греции, дочь Вел. Кн. Константина Николаевича.

Ольга Николаевна (1822—1892) — Вел. Кн., дочь Николая I, королева Вюртембергская.

Онегин (Отто) Александр Фёдорович (1844—1925) — литератор.

Ом Фёдор Адольфович (1826—1898) — действительный тайный советник, секретарь Наследника Александра Александровича в 1865—1867 гг. и императрицы Марии Фёдоровны 1867—1898 гг.

Опекушин Александр Михайлович (1841—1923) — скульптор, создатель памятников в Москве Пушкину и Александру II.

Орлов Николай Алексеевич (1827—1885) — кн., генерал-адъютант, посланник в Брюсселе, Вене, Лондоне, Берлине в 1871—1884 гг., посол в Париже в 1880—1885 гг.

Орловский Владимир Донатович (1842—1914) — живописец-пейзажист, ученик Боголюбова.

Островский Михаил Николаевич (1827—1901) — статс-секретарь, министр Государственных имуществ в 1881—1893 гг., член Государственного совета, брат драматурга А. Н. Островского.

Павел Александрович (1860—1918) — Вел. Кн., сын Александра II, генерал от инфантерии, командующий Гвардейским корпусом.

Патти Карлотта (1835—1889) — итальянская певица.

Петров Василий Григорьевич (1834—1882) — живописец-жанрист и портретист.

Перовский Алексей Борисович (1842—1887) — граф, чиновник канцелярии императорского Двора, приближённый Вел. Кн. Владимиром Александровича.

Перовский Борис Алексеевич (1815—1881) — граф, генерал-адъютант, заведовал конторой детей Александра II, член Государственного совета.

Пети Жорж — парижский торговец картинами.

Пилоти Карл Теодор (1826—1886) — немецкий живописец.

Пилоти Фердинанд (1828—1895) — немецкий живописец.

Пищалкин Андрей Андреевич (1817—1892) — гравёр.

Плешанов Павел Фёдорович (1829—1882) — исторический живописец, товарищ Боголюбова.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — юрист, обер-прокурор Святейшего Синода в 1880—1905 гг., член Государственного совета.

Пожалостин Иван Петрович (1837—1909) — гравёр.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — исторический живописец и пейзажист, ученик Боголюбова.

Половцов Александр Александрович (1832—1910) — статс-секретарь в 1883—1892 гг., попечитель Училища Штиглица, организатор и руководитель «Русского исторического общества» в 1866—1909 гг., член Государственного совета.

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт.

Попов Андрей Александрович (1821—1898) — адмирал с 1891 г., кораблестроитель, конструктор броненосцев, создатель круглых кораблей «половок».

Поляков Самуил Соломонович (1837—1888) — коммерции советник, железнодорожный предприниматель, меценат.

Пост Эдуард (1827—1882) — немецкий живописец.

Постников Сергей Петрович (1830—1880) — исторический живописец и портретист.

Посьет Константин Николаевич (1819—1899) — генерал-адъютант, адмирал, воспитатель Наследников Николая Александровича и Александра Александровича, министр путей сообщения в 1874—1888 гг., друг Боголюбова.

Похионов Иван Павлович (1850—1904) — живописец-пейзажист, ученик Боголюбова.

Прахов Адриан Викторович (1846—1916) — историк русского искусства.

Премацци Людвиг Осипович (1814—1891) — живописец и акварелист.

Прянишников Фёдор Иванович (1793—1867) — генерал, директор почтового департамента в 1841—1867 гг., с 1854 г. — член Государственного совета, коллекционер русской живописи (в 1867 г. коллекция поступила в Румянцевский музей в Москве).

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — писатель, дед Боголюбова.

Радищев Афанасий Александрович (1796—1881) — генерал-лейтенант, дядя Боголюбова.

Радищева Анна Александровна (1792—1870-е) — тётка Боголюбова.

Радищева Камилла Ивановна — жена А. А. Радищева.

Раев Василий Егорович (1808—1871) — живописец-пейзажист.

Раух Христиан-Даниэль (1777—1853) — немецкий скульптор.

Раухфус Карл Андреевич (1835—1915) — врач.

Рафлович Артур (Артемий) Германович (1853—?) — экономист, представитель министерства финансов России в Париже.

Рашель (Элиза Рашель Феликс) (1820—1858) — французская трагическая актриса.

Ребезов Дмитрий Иванович (1817—1893) — управляющий канцелярией и хозяйством АХ, в 1865—1868 гг. — и. о. конференц-секретаря АХ.

Резанов Александр Иванович (1817—1887) — архитектор, с 1871 г. — ректор архитектуры АХ.

Реймерс Иван Иванович (1818—1868) — исторический живописец, жанрист и медальер.

Реймерс Яков Иванович (1812—1877) — архитектор, помощник Тона при строительстве храма Христа Спасителя в Москве.

- Рейнке Михаил Францевич (? — 1859) — начальник экспедиции по производству описей и промеров Балтийского моря в 1833—1852 гг., вице-адмирал и директор Гидрографического департамента с 1855 г.
- Ренан Жозеф Эрнст (1823—1892) — французский историк и философ.
- Репин Илья Ефимович (1844—1930) — живописец, написал два портрета Боголюбова (СРМ).
- Ретель Альфред (1816—1859) — немецкий живописец.
- Ридель Рудольф (1828—1893) — немецкий живописец.
- Римский-Корсаков Воин Андреевич (1822—1871) — контр-адмирал, директор Морского корпуса в 1861—1865 гг.
- Римский-Корсаков Николай Петрович (1793—1848) — вице-адмирал с 1848 г., участник Отечественной войны, Русско-турецкой войны 1828—1829 гг., в 1823—1826 гг. совершил кругосветное плавание на шлюпе «Предприятие», директор Морского корпуса в 1842—1848 гг.
- Рихтер Густав (1823—1884) — немецкий живописец.
- Рихтер Оттон (Отто) Борисович (1830—1908) — генерал, близкий Двору Александра III, член Государственного совета.
- Рихтер Фридрих Фёдорович (? — 1868) — архитектор-реставратор.
- Рицон Александр Антонович (1836—1902) — живописец и автарелист.
- Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) — юрист, государственный деятель, собиратель гравюр и историк искусства.
- Рольман Юлиус (1827—1865) — немецкий живописец.
- Ропет (Петров) Иван Павлович (1845—1908) — архитектор.
- Россини Джоаккино Антонио (1792—1868) — итальянский композитор.
- Руссо Теодор (1812—1867) — французский живописец.
- Савина Мария Гавриловна (1845—1915) — актриса.
- Савицкий Константин Аполлонович (1844—1905) — живописец-жанрист, первый директор Пензенского художественного музея с 1892 г.
- Сакс Николай Эдуардович (1842 — после 1918) — живописец-пейзажист, помощник секретаря в Обществе русских художников в Париже в 1881 г.
- Самойлов Василий Васильевич (1812—1887) — актёр Александринского театра в Петербурге.
- Самойлова Юлия Павловна, урожд. Пален (1803—1875) — графиня, друг К. П. Брюллова.
- Сарычев К. А. — капитан I ранга, управляющий делами двора Вел. Кн. Константина Николаевича.
- Сверчков Владимир Дмитриевич (1820—1888) — живописец-анималист.
- Селивёрстов Николай Дмитриевич (1830—1890) — отставной лейб-гусар, миллионер, губернатор Пензенский, Симбирский в 1860-х гг., шеф жандармов в 1878 г., член монархической организации «Священная дружина»; коллекция и капитал завещал Пензе для устройства художественного музея и рисовальной школы.
- Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902) — живописец.
- Сен-Санс Камил (1853—1921) — французский композитор и пианист.
- Сергей Александрович (? — 1857—1905) — Вел. Кн., сын Александра II, генерал-адъютант, командир Преображенского полка в 1887—1891 гг., Московский генерал-губернатор и командующий военным округом в 1891—1905 гг.
- Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец.
- Серяков Лаврентий Авксентьевич (1824—1881) — гравёр.
- Скрятин Владимир Владимирович — генерал-майор, адъютант Вел. Кн. Владимира Александровича.
- Скрыдлов Николай Илларионович (1844—1924) — адмирал, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., герой картины Боголюбова «Дело Скрыдлова».
- Солдатёнков Козьма Терентьевич (1818—1901) — купец, финансист, книгоиздатель, коллекционер, собрание завещал Румянцевскому музею (в 1925 г. перешло в ГТГ).
- Сорокин Евграф Семёнович (1821—1892) — исторический живописец и педагог, товарищ Боголюбова.
- Сорокин Павел Семёнович (1839—1886) — живописец.
- Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — художественный критик.
- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, издатель и редактор журнала «Вестник Европы» с 1866 г.
- Стенбок-Фермор Юлий Иванович (1812—1878) — граф, обер-гофмейстер Двора, с 1857 г. — действительный член АХ, вице-президент АХ в 1864—1865 гг., почётный член АХ с 1871 г., имел картины Боголюбова.
- Стефанс Франц Вильгельм (1818—1910) — немецкий живописец.
- Строганов Григорий Александрович (1824—1878) — граф, дипломат, член Государственного совета, муж Вел. Кн. Марии Николаевны.
- Строганов Григорий Сергеевич (1832—1910) — граф, завещал большую коллекцию картин Эрмитажу.
- Строганов Николай Сергеевич — сын Сергея Григорьевича.
- Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — барон, граф, генерал-адъютант, член Государственного совета, владелица фамильной художественной галереи, открытой для художников и любителей, основатель Московского художественно-промышленного училища (Строгановского) в 1825 г., попечитель Московского учебного округа, основатель и председатель Археологической комиссии, воспитатель Цесаревича Николая Александровича.
- Стюрлер Александр Николаевич (1825—1901) — граф, генерал-адъютант.
- Татищев Дмитрий Александрович (1824—1878) — генерал-майор, художник-любитель, друг Боголюбова.
- Тёрнер Джозеф Мэлорд Уильям (1775—1851) — английский живописец, повлиявший на творчество Боголюбова.
- Тимашевский (Тимошевский) Орест Исаакиевич (1822—1867) — исторический живописец, товарищ Боголюбова.
- Тим Василий Фёдорович (1820—1895) — художник, рисовальщик, баталист и жанрист, издатель журнала «Русский художественный листок».
- Тихообразов Николай Иванович (1818—1874) — живописец.
- Ткаченко Михаил Степанович (1860—1916) — живописец-пейзажист, маринист и морской баталист, ученик Боголюбова.
- Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — граф, поэт и драматург.
- Толстой Иван Иванович (1858—1916) — граф, археолог, историк искусства, конференц-секретарь АХ

в 1889—1893 гг., вице-президент АХ в 1893—1905 гг., министр народного просвещения в 1905—1906 гг.

Толстой Фёдор Петрович (1783—1873) — граф, скульптор, медальер, рисовальщик, педагог, вице-президент АХ в 1828—1859 гг.

Тон Константин Андреевич (1794—1881) — архитектор, ректор АХ по архитектуре.

Третьяков Николай Сергеевич (1857—1896) — юрист, художник-любитель, сын С. М. Третьякова, в 1882 г. приобрёл дом Боголюбова в Москве.

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — фабрикант, коллекционер русского искусства, основатель ГТГ, имел картины Боголюбова.

Третьяков Сергей Михайлович (1834—1892) — фабрикант, московский городской голова в 1877—1881 гг., коллекционер западноевропейского искусства, основатель ГТГ, имел картины Боголюбова.

Тройон Констан (1810—1865) — французский живописец.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель.

Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — государственный деятель, экономист, декабрист.

Тургенев Пётр Николаевич (1853—1912) — скульптор.

Уткин Николай Иванович (1780—1868) — гравёр, хранитель графики в Эрмитаже.

Фландрен Ипполит (1809—1864) — французский живописец.

Флери Тони Робер (1837—1911) — французский живописец.

Фортуни и Карббо Мариано Хосе Мария Бернардо (1838—1874) — испанский живописец.

Фраисса Альроис (1811—1888) — французский живописец.

Франц Карл (1829—1875) — немецкий живописец.

Харламов Алексей Алексеевич (1842—1922) — живописец-портретист.

Хлудов Алексей Иванович (1818—1882) — московский купец, библиофил, коллекционер старопечатных книг и икон, имел картины Боголюбова.

Хлудов Герасим Иванович (1821—1885) — московский купец, коллекционер, имел картины Боголюбова.

Чернецов Григорий Григорьевич (1802—1865) — живописец-пейзажист.

Чернецов Никанор Григорьевич (1805—1879) — живописец-пейзажист.

Чернышёв Алексей Филиппович (1827—1863) — живописец-пейзажист, друг Боголюбова, исполнил несколько его портретов-карикатур (СРМ).

Черкасов Павел Алексеевич (1834—1900) — живописец-пейзажист, устроитель академических выставок, хранитель Кушелевской галереи в АХ, инспектор классов АХ.

Чижев Матвей Афанасевич (1838—1916) — скульптор, исполнил портрет Боголюбова (ГРМ и СРМ).

Шадов Фридрих Вильгельм фон (1789—1862) — немецкий живописец.

Шерлемань Адольф Иосифович (1826—1901) — исторический живописец, рисовальщик, друг Боголюбова, исполнил его портрет.

Шаховской Яков Петрович — кн., генерал-адъютант Вел. Кн. Константина Николаевича, владетель подмосковной усадьбы Глебово-Стрешнево, где отдыхал Боголюбов.

Швейнфурт Эрнст (1818—1877) — немецкий живописец.

Швинд Мориц Людвиг (1804—1871) — австрийский живописец, работал в Германии.

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1919) — граф, почётный член Академии наук, председатель Археологической комиссии.

Шестов Михаил Иванович — лейб-медик Двора.

Шеффер Ари (1795—1858) — французский живописец.

Шешковский Степан Иванович (1719—1794) — государственный деятель, секретарь тайной экспедиции при Екатерине II.

Шивр Елизавета Францевна (1832—1896) — баронесса, гражданская жена Боголюбова.

Шиндлер Панталеон (1846—1905) — польский исторический живописец и портретист, исполнил портрет Боголюбова.

Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — живописец-пейзажист.

Штельб Карл-Фридрих Карлович (1821—1894) — архитектор.

Штернберг Василий Иванович (1818—1845) — живописец-пейзажист.

Штилиц Александр Людвигович (1814—1884) — барон, придворный банкир, основатель Центрального художественно-промышленного училища в Петербурге, носившего его имя (теперь — Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухомовой).

Штром Иван Васильевич (1823—1887) — архитектор, строитель здания СРМ.

Шуман Клара Жозефина (1819—1896) — немецкая пианистка.

Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор.

Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791—1830) — живописец-пейзажист.

Щербатов Владимир Алексеевич (1826—1888) — кн., Саратовский губернатор в 1863—1869 гг.

Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — историк, публицист.

Эйлер Леонтий Леонтьевич — морской офицер, друг Боголюбова.

Энгр Жан Огюст Доминик (1780—1867) — французский живописец.

Эрасси Михаил Спиридонович (1823—1898) — живописец-пейзажист.

Эрдели Христофор Леонтьевич — морской офицер, друг Боголюбова.

Якоби (Якобий) Валерий Иванович (1836—1902) — исторический живописец и жанрист.

Якубович Николай Мартынович (1817—1879) — физиолог.

Публикация, вступление, комментарии, указатель имён — Н. В. Огарёвой

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи, а только сообщает о своём решении. Рукописи просим высылать бандеролью — посылки редакция не принимает.

При перепечатке материалов ссылка на «Волгу» обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. Г. БОРОВИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**В. Ф. ВОЛОДИН, Н. В. ДЕГТЯРЁВА, А. Н. КИСИНА, В. Н. ПАНОВ,
В. И. ПЫРКОВ, А. И. СЛАПОВСКИЙ, Н. В. ШУЛЬПИНА**

Технический редактор Г. И. Иванова

Корректоры Е. Н. Белозёрова, Г. Б. Смольянинова

Адрес редакции: 410002, Саратов, набережная Космонавтов, 3

Телефоны: гл. редактор — 26-26-44, ответственный секретарь — 26-44-92; отделов журнала, производственный и снабжения — 26-07-98, бухгалтерия — 26-06-63

Сдано в набор 8.02.1996 г. Подписано в печать 8.05.1996 г. Формат 70 × 100¹/₁₆. Усл. печ. л. 18,2. Уч.-изд. л. 23,02. Тираж 3800 экз. Заказ 2—3

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Комитета Российской Федерации по печати. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59

До конца 1996 года

журнал «ВОЛГА» опубликует:

Рустем Юнусов. ИЗ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО ВРАЧА. Повесть -
Марина Вишневецкая. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, РАССКАЗАННАЯ
ГЕННАДИЕМ. Повесть

Евгений Попов. ХРЕНОВО ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ КЛАВИР. Пьеса
Лоренс Даррелл. КЛЕА. Роман, завершающий «Александрийский
квартет»

Под рубрикой «Laterna magica»:

Макс Ауслендер. СКАЗКИ

Уильям Батлер Йейтс. КЕЛЬТСКИЕ СУМЕРКИ

Герман Гессе. ИЗ РАННИХ РАССКАЗОВ

РАССКАЗЫ Анатолия Гаврилова, Анатолия Генатулина, Николая Яку-
шева, Артёма Рондарева, Майи Кучерской

СТИХИ Светланы Кековой, Марии Максимовой, Руслана Элинина,
Сергея Зубарева, Андрея Полякова, Евгения Малякина, Сергея Грибова,
Сергея Яковлева, Татьяны Батуриной

ЭССЕ Ольги Лебёдушкиной, Кирилла Кобриня, Сергея Ильина

Александр Романов. ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ. Воспоминания о со-
ветском лагере для политзаключённых в 70-е годы

Г. В. Веденяпин. АНТОНОВЩИНА. Извлечённые из архива воспоми-
нания участника подавления антоновского восстания

Вячеслав Дьяконов. ПЕВЧИЕ. Исследование уникального культурного
явления старой Руси

Глеб Литвинов. СОВРЕМЕННЫЙ ВАВИЛОН И «РОЗА МИРА». Над
страницами книги Даниила Андреева

А. Л. Грипич. ВОСПОМИНАНИЯ О ВСЕВОЛОДЕ МЕЙЕРХОЛЬДЕ

Юрий Никитин. КОРОЛЕВСКИЕ ОХОТЫ. Очерки о том, как охотились
сильные мира сего

К 175-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского:

Статьи, исследования, публикации С. В. Белова, свящ. Н. Балашова,
В. А. Викторovichа, К. А. Баршта, Н. В. Паншева, Л. И. Сараскиной,
Г. Н. Антоновой

Издательский и книготорговый дом «Пароход»

Оптом, мелким оптом, в розницу, наложенным платежом всегда большой выбор книг.

В. М. Цыбин. ПАРОХОД НА ВОЛГЕ. Подарочное издание. 368 стр., 185 оригинальных фотографий. 15000 руб.

В. Н. и Н. Н. Семёновы. САРАТОВ КУПЕЧЕСКИЙ. Подарочное издание. 352 стр., более 70 старинных фотографий. 12000 руб.

СТАРЫЙ САРАТОВ. В 2 т. Миниатюрное сувенирное издание, богато иллюстрированное. 12000 за 2 т.

А. Слаповский. Я — НЕ Я. Роман, повести. 5000 руб.

Д. Лондон. СЕРДЦА ТРЁХ. Роман. 3000 руб.

ПОДУШКА ДЛЯ СОЛНЫШКА. Сказка-раскраска. 1000 руб.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРШАВЧИКА. Азбука-раскраска, комиксы. 2500 руб.

КОМПЛЕКТ ИЗ 3-х ТЕТРАДЕЙ для подготовки дошкольников к школе

Крупным оптовикам предоставляются скидки.

Для мелкооптовых покупателей — формирование ассортимента до 300 наименований книг.

Книгообмен.

Тел. в Саратове (845—2) 26-44-92, 26-07-98, 26-06-63

Адрес: 410002, г. Саратов, наб. Космонавтов, 3, ИКД «Пароход»

